Цена 90 коп. Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 12 / 1988

А. ХАРИТОНОВ. «Тетка». Повесть

Д. ГАЙ. «Десятый круг». Документальное повествование

А. ЛАРИНА (БУХАРИНА). «Незабываемое». Воспоминания

Стихи
Леонида МАРТЫНОВА, Владимира ЛЕОПОВИЧА, Наума КОРЖАВИНА

Очерк В. ВИНОГРАДОВА «Египет: смутная пора»

Статьи
А. ТУРКОВА, В. ОСКОЦКОГО

Знамя, 1988, № 11, 1—240.

ЗНАМЯ 11 1988

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1988

Ноябрь



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Содержание

Книга одиннадцатая
НОЯБРЬ
1988

Москва
Издательство
«Правда»

Ольга Фокина

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

★

Папоротники воспоминаний!
Прохожу опять по вашим дебрям,
Тихо дорогими именами
Стебли ваши стройные колебля.

В папоротниках — или во храме?
Грезится неясное звучанье:
Пенье ль поминальное по маме?
Будущих ли внуков величанье?

В сводах ваших сумрачно-зеленых,
Солнечным лучом не опалимых, —
Скорби ли отвергнутых влюбленных?
Грусть ли по несбывшимся любимым?

Робкая ль прохлада расставаний?
Вздохи ль неразвенчанных мгновений?
Папоротники воспоминаний —
Бархат дорогих прикосновений...

★

А ты уже, друже, похоже, угодлив:
Умеешь моститься не рядом, а подле.
Дружа с авангардами, жмешься в резерве,
Живешь — не последний, а все ж и не первый.

А чем тебе первое место не мило?
Иль жизнь за бывалое — милое — била?
Ты с первыми мог бы сравняться по праву!
...Но чем-то тебе середина по нраву.

— И то, — рассуждаю, — цени золотую:
Срединных при ветре не первыми сдует!
В морозы — не первыми их заморозит,
И первый — погреться — средины попросит,

И сам приобщится, наивнейший, к тайне,
Что средний живет лишь в наличии крайних.
А крайний (иль первый) при смене теченья
Окажется самым презренным последним.

Пока — улыбаюсь, но, грешная, каюсь:
В срединных — сильней, чем в иных — сомневаюсь.
Ведь «подле» на подлинность как-то не тянет:
Все мнится, что подлость из «подле» проглянет.

★

Не по-нашему,
Все — по-вашему! —
Как задумано, так и будь.
Терпко пахнет свечой погашенной:
Я решилась ее задуть.
Мрак в квартире. Метель на улице.
Одиночество — до утра.
Спите с миром. У вас — все сбудется:
Новогодняя ночь щедра.
Ей висеть еще, чуть позванивая,
Отраженьем светил мерцать.
Счастье — вам, мне — одно название:
Фантик красочный. Снять и смять.
Не сниму: пусть детишки празднуют,
Пусть глядят, затаив мечту,
На бумажку сусально-красную,
На волшебную пустоту.

Василий Гроссман

ДОБРО ВАМ!

(ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК)

«Добро вам!» — последняя значительная литературная работа Василия Семеновича Гроссмана (1905—1964). Она писалась по свежим следам двухмесячного пребывания автора в Армении зимой 1961—1962 годов. Вас. Гроссман оказался там в тяжелую для себя пору, когда новых его работ — за малым исключением — не печатали ни один журнал, ни одно издательство, а рукопись главной его книги «Жизнь и судьба» была арестована, казалось, без всякой надежды вернуться к читателю.

По внешним приметам жанра «Добро вам!» — обычный путевой очерк: литератор впервые попадает в незнакомый ему прежде край и добросовестно его описывает. Но силою таланта путевые записки обретают черты высокой прозы со своей философией, лирикой, отголосками давней и недавней истории и, главное, с единым художественным дыханием. Это к тому же и очерк-исповедь с несколько ироническим взглядом автора на себя со стороны и даже с рискующими показаться избыточными подробностями относительно малых забот и немощей тела (одна из редакций называлась «Записки пожилого человека»).

Вас. Гроссман — писатель твердого убеждения и самобытного взгляда на вещи. Не со всеми его суждениями сегодняшний читатель, к которому книга приходит спустя четверть века после того, как была написана, возможно, согласится. Такова, например, оценка автором Сталина как государственного деятеля — ныне мы знаем об этом много больше и можем судить, пожалуй, точнее и строже. Субъективны и его впечатления от поездки в Эчмиадзин. Но при этом у читателя всегда сохраняется доверие к писательской честности, человеческой искренности Вас. Гроссмана.

Это относится и к раздумьям автора о национальном характере, об отношениях людей разных наций — русских, армян, евреев. То, что Вас. Гроссман неизменно демократичен, то есть не книжно, а душою любит простых трудовых людей, к какому бы народу они ни принадлежали, делает столь убедительным его отрицание всех видов розни, любого пригнетения и унижения на национальной почве.

Записки «Добро вам!», предназначавшиеся для «Нового мира» Твардовского, не были тогда напечатаны и с той поры публиковались лишь со значительными купюрами в журнале «Литературная Армения» (1965, №№ 6—7) и в одном из сборников Вас. Гроссмана. Полностью приходят к широкому читателю впервые. Рукопись подготовлена к печати дочерью писателя — Е. В. Коротковой.

I

Первые впечатления от Армении — утром, в поезде. Камень зеленовато-серый, он не горой стоит, не утесом, он плоская россыпь, каменное поле; гора умерла, ее скелет рассыпался по полю. Время состарило, умертвило гору, и вот лежат кости горы.

Вдоль полотна тянутся ряды колючей проволоки, не сразу сообразил — поезд идет вдоль турецкой границы. Стоит белый домик, рядом ослик — это не наш ослик,— турецкий. Людей не видно. Сплять аскеры...

Армянские деревни — дома плоскокрышие, низкие прямоугольники, сложенные из крупного серого камня; зелени нет — вместо деревьев и цветов вокруг домов густо рассыпан серый камень. И кажется — дома не людьми сложены. Иногда серый камень оживает, движется. Это овцы. И их породили камни, и едят они, наверное, каменную крошку, и пьют каменную пыль — травы нет, воды нет, одна лишь каменная плоская степь — большие, колючие, серые, зеленоватые, черные камни.

Крестьяне в великой единой форме советского трудового народа — ватниках серых, черных; люди, как эти камни, среди которых они живут, лица, темные от смуглости кожи и от небритости. На ногах у многих шерстяные белые носки, натянутые на штанины. Женщины в серых платках, обмотанных вокруг головы, закрывающих рты, лбы до глаз. И платки под камень.

И вдруг одна-две женщины в ярко-красных платьях, в красных кофтах, в красных жилетах, в красных лентах, красных платках. Все красное — каждая часть одежды красная по-своему, кричит пронзительно, своим особым красным голосом. Они курдянки — жены вековых, тысячелетних скотоводов. Может быть, это их красный бунт против серых столетий, прошедших среди серого камня?

Сосед по купе, начальник на какой-то стройке, все сравнивает райское плодородие Грузии с камнями Армении. Он молод, настроен критически — если речь заходит о семикилометровом туннеле, о дороге, проложенной среди базальтов, сосед говорит: «Это еще при Николае построили».

Потом он говорит мне о возможностях купить доллары, золотые десятки, сообщает курсы черной биржи. Чувствуется: парень завидует тем, кто крутит большие дела. Потом он рассказывает о ереванском мастере, делающем металлические венки с металлическими листьями. Оказывается, в Ереване на похороны — даже самые скромные — приходят двести — триста человек. И венков бывает немногим меньше, чем людей. Этот создатель могильных венков стал богатейшим человеком. Потом сосед угощает меня гранатом, купленным в Москве. А дорога — от Москвы до Еревана — длинная, огромна страна: попутчик на Курском вокзале был брит, а к Еревану зарос черным волосом.

II

Над Ереваном на горе стоит памятник Сталину. Откуда ни посмотришь, виден гигантский бронзовый маршал. Если бы космонавт, прилетев с далекой планеты, увидел бы этого бронзового гиганта, возвышающегося над столицей Армении, он бы сразу понял, что это — памятник великому и грозному владыке.

Сталин одет в длинную бронзовую шинель, на голове его военная фуражка, бронзовая рука его заложена за борт шинели. Он шагает, шаг его медлителен, тяжел, плавен — это шаг хозяина, владыки мира, он не спешит. В нем странное, томящее соединение — он выражение

силы, которой может обладать лишь бог, так огромна она; и он выражение земной грубой власти — солдатской, чиновной.

Конечно, этот величественный бог в шинели — превосходная работа Меркурова. Может быть, это его лучшая работа. Может быть, это лучший памятник нашей эпохи. Это памятник эпохе, эпохе Сталина. Кажется, облака касаются головы Сталина. Высота фигуры Сталина — 17 метров. Фигура вместе с постаментом — 78 метров. Когда шла сборка памятника и части огромного бронзового тела лежали на земле, рабочие проходили, не сгибая головы, внутри полой ноги Сталина.

Он высится над Ереваном, над Арменией, он высится над Россией, над Украиной, над Черным и Каспийским морями, над Ледовитым океаном, над восточно-сибирской тайгой, над песками Казахстана. Сталин — государство.

Этот памятник установили в 1951 году. Ученые, поэты, знатные чабаны, передовые рабочие, студенты и школьники, старые большевики собрались у подножия бронзового гиганта. Конечно, ораторы в своих речах говорили о величайшем из великих, о гениальнейшем из гениальных, о мудрейшем из мудрых, дорогом и любимом отце, учителе. Все головы склонились перед хозяином, вождем, строителем Советского государства. Государство Сталина выразило характер Сталина. В характере Сталина выразился характер построенного им государства.

Я приехал в Ереван в дни XXII съезда партии, в дни, когда проспект Сталина, красивейшая улица города, обсаженная чинарами, широкая и прямая, ночью освещенная фонарями, вчеканенными в асфальт мостовой,— был переименован в проспект Ленина.

Мои собеседники-армяне, один из них был в свое время в числе тех знатных людей, которым поручили стянуть полотнище с памятника Сталину, очень нервно относились к моим похвалам, обращенным к гигантскому монументу.

Некоторые говорили изящно: «Пусть металл, пошедший на создание этого памятника, обретет свою первоначальную благородную сущность».

Но остальные ругали Сталина — они его кляли даже не за страшные дела и убийства, совершенные в 1937 году, а за его ничтожество — невежда, хвастун, выскочка.

Все мои попытки замолвить словцо о причастности Сталина к созданию Советского государства ничего не дали. Мои собеседники не хотели присвоить ему и кванта заслуг в строительстве тяжелых и сверхтяжелых заводов, в руководстве войной, в создании советского государственного устройства. Все совершилось вопреки ему, несмотря на него. Их необъективность была столь очевидна, что порождала невольное желание вступиться за Сталина. Эта абсолютная необъективность могла быть сравнима лишь с той необъективностью, что, вероятно, проявляли эти же люди при жизни Сталина, в абсолютных формах обожествляя его ум, волю, предвидение, гений. Думаю, что истерика обожествления Сталина, так же как полное и безоговорочное оплевывание его возникли на одной почве.

Слушая своих ереванских собеседников, я узнавал черты многих своих русских собеседников. Видимо, чертами глобального человеческого характера являются не только равно присущие всем народам доброта, разум, благородство. Лукавое слабодушие тоже свойственно человеку, его встретишь на севере и на юге, оно объединяет блондинов и брюнетов, народы, расы, племена.

Вечером 7 ноября 1961 года я в обществе двух моих ереванских знакомых поднялся на гору, где находится памятник Сталину. Солнце садилось. Мы сидели в ресторанчике, смотрели на розовые снега Ара-

рата. Разговор шел о Сталине. Нас кормили очень соленой и невкусной рыбой, может быть, от этого собеседники мои были особенно желчны.

Когда стемнело, начался салют в честь 44-й годовщины Октябрьской революции. Собеседники продолжали разговор — в нем все время фигурировали два грузинских слова — «Сосо» и «мама дзоглу», что значит «сукин сын»...

Я подошел в темноте к памятнику Сталина. Картина, которую я увидел, была поистине потрясающей. Десятки артиллерийских орудий стояли полукругом у подножия монумента. При каждом залпе длинный огонь пушек освещал окрестные горы и гигантская фигура Сталина вдруг выступала из мрака. Светящийся, раскаленный дым клубился вокруг бронзовых ног хозяина. Казалось, генералиссимус в последний раз командовал своей артиллерией — мрак раскалывался грохотом и огнем, сотни солдат суетились у орудий, и вновь тишина и мрак, и опять слышались слова команды, и вдруг из горной тьмы выступал грозный бронзовый бог в шинели. Нет, нет, нельзя уже отнять от него того, что принадлежит ему,— он, он, совершивший множество бесчеловечных злодейств, безжалостный строитель, руководитель великого и грозного государства.

Его уже не уместить в ранге мама дзоглу. Так же, как не годилось ему звание отца и друга народов Земли.

Работники Ереванского горкома партии рассказывали, что в одной деревне в Араратской долине на общем собрании колхозников было предложено снять памятник Сталину. Крестьяне заявили: с нас государство собрало сто тысяч рублей, чтобы поставить этот памятник. Теперь государство хочет его разрушить. Пожалуйста, разрушайте, но верните нам наши сто тысяч... А один старик предложил памятник снять и, не разрушая, похоронить. «Он, может, еще пригодится, если придет новое правительство, тогда нам не придется вновь выкладывать свои денежки».

Как это страшно — утверждение сталинского государства приходит в форме протеста лидеров государства против Сталина. А дух бунтарства хочет осуществить себя в утверждении Сталина — одного из самых бесчеловечных злодеев истории.

...В тихом горном поселке Цахкадзоре в шестидесяти километрах от Еревана к семи часам вечера на улице не встретишь ни души. Есть в Цахкадзоре свой сумасшедший — семидесятипятилетний старик Андреас. Говорят, что он помешался во время массовых убийств армян, совершенных турками,— на глазах у Андреаса были убиты его родные. Говорят, что Андреас в молодости служил в русских войсках, в отряде обоготворенного армянским крестьянством партизана и русского генерала Андроник-паши, недавно умершего в Соединенных Штатах Америки. Год назад умерла жена Андреаса — мученица, прожившая свой век с безумцем. Он бил ее при жизни, а когда старуха умерла, Андреас не давал ее похоронить — обнимал ее, целовал, все пробовал посадить свою мертвую подругу за стол, хотел кормить ее. Никто не смел подойти к старому безумцу, не верившему в смерть своей жены.

Теперь Андреас живет один в маленьком каменном доме; у него есть две овечки, они полны доверчивой любви к нему — его безумства, его пение по ночам, его приступы гнева и отчаяния, его слезы и молчание не кажутся овечкам странными.

Если при Андреасе называют имя Андроника-паши, он плачет. Вероятно, для того, чтобы создать образ безумного старого Лира, не было с шекспировских времен натуры лучше, чем Андреас. Среднего роста, плечистый, несколько полный, должно быть, отечный, одетый в теплый рваный крестьянский пиджак, с бараньей шапкой на голове, с большим суковатым посохом, он ходит по крутым улочкам Цахкадзора величественной и печальной, непельной походкой. Его большая голова заросла серыми седыми кудрями, они не умещаются под простором бараньей шапки. А лицо Андреаса таково, что Рембрандт, отложив кисть, сказал бы: «Тут мне нечего делать, природа все сделала за меня». И действительно, это лицо лучше сфотографировать, чем нарисовать. У Андреаса львиный лоб, нависшие густые брови, тяжелые складки рта, большой нос, обвисшие гинденбурговские щеки и выпуклые, воспаленные и одновременно тусклые, желто-серые глаза. В этих глазах доброта и усталость, неукротимый гнев и ужасная тоска, в них задумавшийся ум и бешенство безумия.

Жители Цахкадзора жалеют Андреаса. Лукавый и расчетливый Карапет-ага, репатриант из Сирии, сменявший сан владельца кабачка в городе Алеппо на должность заведующего Цахкадзорской столовой-забегаловки, всегда угощает Андреаса. Он угощает старика почтительно, тот при всей своей гордости и подозрительности никогда не обижается на бесплатное угощение Карапета, доверчиво ест горячий хаш — чудовищно калорийный телячий холодец с чесноком. Иногда Карапет-ага подносит Андреасу стаканчик виноградной водки. Андреас пьет водку, поет военную песню об Андронике-паше и плачет.

Пастух Хачик бесплатно пасет в горах овечек Андреаса. Сирануш, соседка, иногда топит кизяком печку в каменной клетушке старика. Однажды я видел гнев Андреаса. Андреас ругался по-армянски, раскаляя армянские проклятия на грязном огне русских матерных слов.

Вскоре я узнал, чем было вызвано бешенство Андреаса. Ночью по указанию партийного комитета была снята гипсовая выкрашенная золотой краской фигура Сталина, стоявшая на площади поселка.

Когда Андреас увидел исчезновение Сталина, он пришел в страшный гнев. Он потрясал посохом, он бросался на шоферов, на детей, на Карапета-агу, на студентов-лыжников, приехавших из Еревана.

Для него Сталин был победителем немцев. А немцы были союзниками турок. Значит, памятник Сталину разрушили агенты турок. А ведь турки убивали армянских женщин и детей, казнили армянских стариков, бесчеловечно уничтожали мирных, ни в чем не повинных тружеников — крестьян, рабочих, ремесленников, убивали армянских писателей, ученых, певцов. Турки убили родных Андреаса, разрушили его дом, убили его брата. Турки убивали купцов-армян и армян-нищих, убивали армянский народ. Против турок воевал великий Андроник-паша, русский генерал. А главнокомандующим русской армии, разбившей могущественных союзников турок, был Сталин.

Весь поселок смеялся над гневом Андреаса — он спутал две войны — в его безумном мозгу смешались 1914 и 1941 годы... Сумасшедший старик требовал, чтобы гипсовый, покрытый золотой фольгой Сталин вновь вернулся на площадь в Цахкадзоре — ведь он разгромил немцев, победил Гитлера. Люди смеялись над стариком — он был безумен, а люди вокруг не были безумны.

III

Удивительное оказалось дело. Среди армян немало светловолосых, сероглазых, голубоглазых, синеглазых. Я видел светлоголовых деревенских ребятишек, прелестную четырехлетнюю голубоглазую, золотоголовую Рузану. У армянских мужчин и женщин встречаются лица классической, античной красоты, с идеальным овалом, с прямыми небольшими носами, с миндалевидными голубыми глазами. Встречал я скуластых, с приплюснутыми носами, с несколько косым разрезом глаз, встречал курносых, видел армян с вытянутыми, острыми лицами, с невероятными по размеру носами, острыми, крючковатыми.

Я встречал синих от черноты брюнетов, угольные глаза, видел иезуитски тонкие губы, видел толстые, вывороченные губы африканцев. Но, конечно, в этом огромном разнообразии существует главный, основной национальный тип.

И трудно сказать, что достойно большего удивления — разнообразие или упорная устойчивость.

Однако каким образом возникли отклонения от считающегося обычным облика армянина?

Мне кажется, что это разнообразие отражает историю тысячелетних нашествий, вторжений, пленений, историю торговых и культурных сближений — ведь в этих типах лиц отражены и древние греки, и грозные монголы, и ассирийцы, и вавилоняне, и персы, и тюрки, и славяне. Армяне — древний народ, с тысячелетней культурой, с тысячелетней историей, народ, переживший множество войн, народ-путешественник, народ, веками терпевший гнет захватчиков, народ, в борьбе обретавший свободу и вновь попадавший в рабство. Может быть, в этом и объяснение монгольских приплюснутых носов, голубых греческих глаз, ассирийской черноты, персидских угольных очей?

Интересно, что разнообразие светлых и темных лиц, голубых и черных глаз особенно ясно видно в армянских деревнях, живущих патриархально, замкнуто,— там, в деревнях, этого разнообразия не объяснишь событиями недавними. Глубина веков отполировала зеркало, в котором отражается лицо современного армянства.

Ведь то же можно сказать не только об армянах — но и о русских и особенно о евреях. Конечно, так — разве однообразны русские лица, разве рядом с голубоглазыми и сероглазыми, курносыми, с льняными волосами не живут горбоносые русаки, «цыгане», как зовут их, с черными южными глазами, со смоляными кудрями; а рядом — лицо с монгольскими скулами, с монгольским разрезом глаз, с приплюснутым носом. А евреи! И черные, и горбоносые, и курносые, и смуглые, и голубоглазые, белоголовые — лица азиатские, африканские, испанские, немецкие, славянские...

Чем длинней история народа, чем больше в ней войн, пленений, вторжений, скитаний, тем больше разнообразие лиц... Это разнообразие лиц есть отражение вековых и тысячелетних ночевок победителей в домах побежденных. Это рассказ о безумствах женских сердец, переставших биться тысячи лет назад, рассказ о страсти разгоряченных победой пьяных солдат, о чудной нежности иноземного Ромео к армянской Джульетте...

IV

Я встретил богатство человеческих характеров — в Ереване, в равнинных и горных поселках, деревнях. Я встречал армян ученых, врачей, инженеров, строителей, старых революционеров, партийных деятелей, художников, журналистов. Я видел основу, корень тысячелетнего народа: пахарей, виноделов, пастухов, видел каменщиков; видел убийц, стиляг, спортсменов, леваков и ловкачей, видел беспомощных оболтусов, видел полковников и севанских рыбаков.

За каждой человеческой профессией стояли характеры — властные, прямые, лукавые, робкие, злые, мягкие, практичные... Я видел деревенских стариков, перебирающих коричневыми пальцами янтарные четки,— огромный, почти столетний труд среди базальтовых камней не ожесточил и не огрубил их, в глазах их была мягкая улыбка, ум.

Боже, боже,— воины, рыцари, мыслители, жулики, торгаши, поэты, строители, ученые астрономы, религиозные проповедники. Видел

я виноделов, председателей колхозов, инженеров-мостостроителей, физиков.

И тут мне приходят в голову ходячие представления об армянах, бытующие в жизни не только русского лабаза, армянские анекдоты — глупые и ошеломляюще сальные. Ну конечно, армяне примитивны, педерасты, торгаши, смешные людишки из анекдотов. Ну конечно: «Карапет мой бедный, почему ты бледный». Ну конечно, и по сей советский день — вопросы и ответы армянского радио... И бесчисленные анекдоты: «Скажи, пожалуйста, Карапет...» И со смешком, с усмешечкой произносимые слова: «Наш профессор, знаете ли, армянин», «Представьте, пошла замуж за армяшку...»

Горько, что самая великая литература Земли и величайшие представители этой литературы иногда прикладывали руку к недоброму делу создания ходячего образа армянина — торгаша, сластолюбца, хапуги.

Как могло случиться, что великая литература работала на лабаз, на туполобое, шовинистическое человеконенавистничество?

Только во времена Гитлера, после него во весь свой страшный рост встали вопросы национальной ненависти, национального презрения, национального превосходства.

Как далеки эти лабазные армяне от огромного множества сложных, особых, своеобразных характеров армянских крестьян, солдат, ученых, врачей, инженеров...

Что же объединяет эти разнообразные человеческие характеры в единство национального характера?

Как ни разнообразны человеческие характеры, им присуща некая общность — национальный характер. В каждом из этих, таких особенных, разных людей есть оттенок, окраска национального характера.

Я говорил со многими десятками людей, у каждого, конечно, свои интересы, страсти, горести, надежды, своя судьба, свои друзья, свои враги... Что общего между жизнью, судьбой, горем, надеждой пожилого пастуха, живущего на склоне Арагаца, и молоденькой аспирантки, тоскующей о своем московском друге, пишущей работу о французской литературе XVIII века и жаждущей купить нейлоновую шубу. Но подобно тому как тысячи ручьев, бегущих среди лесов, горных камней, пустынных песков, молчаливых, задумчивых, ревущих, пенящихся, прозрачных и мутных, бывают рождены одним глубинным подземным ключом и несут в себе единство происхождения и солевого состава, так и весь этот миллион человеческих характеров и судеб объединен общностью тысячелетней истории армян, общностью беды, выпавшей на долю людей в турецкой Армении, общностью тоски по покинутой ванской и карской земле.

Поговорим о сути.

Национальный характер составлен из человеческих характеров, поэтому национальный характер по сути своей характер человеческий. В этом родство и сходство всех национальных характеров мира, рожденных из единой человеческой основы.

Человеческий характер — основа национального. Национальный характер — это окраска, цвет человеческого характера, кристаллическая форма человеческого характера.

Общение людей различных наций обогащает, делает более красочным человеческое общежитие. Необходимым, первым, главным условием такого богатства является свобода.

Какое доброе, хорошее богатство приносит людям общение с людьми других наций в условиях свободы!

Представьте себе наших русских умных, наблюдательных, веселых и добрых деревенских старух, стариков рабочих, парней, девчонок, попадающих в котел свободного человеческого общения с людь-

ми Южной и Северной Америки, Китая, Франции, Индии, Англии, Конго.

Какое богатство обычаев, привычек, моды, кухни, труда откроется людям. Какая чудная человеческая общность возникнет, вынырнет из национальных особенностей характеров и жизненного уклада.

И какой нищей покажется бесчеловечная слепота национальной ограниченности и государственной розни.

Поистине пора признать, что все люди братья.

Реакция всегда стремится отсечь, уничтожить человеческую основу, человеческую суть национального характера, всегда выдвигает и провозглашает бесчеловечную внешнюю сторону его, его шелуху, а не зерно.

Реакция, консерваторы стремятся, провозглашая национализм, уничтожить, искоренить гуманную, человеческую основу его. Утверждая превосходство национального характера, реакционный национализм признает лишь внешнее, что общо жизни нации, и уничтожает то глубинное, что свойственно людям. Реакция обоготворяет черты национального типа, и это обожествление национального и пренебрежение к человеческой сути так же нелепы, как уродливая и издевательская типизация образа армянина русским лабазом,— суть едина, лишь знак минус меняется на знак плюс.

Борьба за национальное достоинство, за национальную свободу — это прежде всего борьба за человеческое достоинство, за человеческую свободу; те, кто борется за истинную национальную свободу, борется против обязательной типизации, против обоготворения национального характера, независимо от того, со знаком ли он плюс или со знаком минус. Истинные борцы за национальную свободу — это те, кто утверждает великое разнообразие и богатство человеческих характеров данной нации, отбрасывает нищету типичности.

В человеческом богатстве, противопоставленном железу национальной кичливости, и есть единственная и истинная суть национальной свободы.

Очень важно понять, что к чему и от чего что. Конечно, национальный характер существует, и все же он не основа, а цвет, форма звучания человеческой сути.

Двадцатый век столкнулся с невероятным преувеличением значения национального характера. Это преувеличение допускают и великие и малые нации. Но провозглашение национального превосходства многочисленного и сильного народа, способного создать миллионные армии и владеющего грозным оружием, сулит миру завоевательные, несправедливые войны, порабощение племен и народов земли.

А националистический экстаз малых угнетенных народов возникает как средство обороны достоинства и свободы.

И все же при всем различии национализма нападающих и национализма обороняющихся оба эти национализма во многом сходны.

С коварной легкостью теряет национализм малого народа свою человеческую, благородную основу. Он не становится от этого грозным, но он становится жалким, не возвышает, а унижает. Так, стремясь доказать чужую неполноценность, человек обнаруживает свою собственную.

Разговаривая с некоторыми интеллигентными армянами, я видел их большую национальную гордость — они гордились армянской историей, своими полководцами, своей древней архитектурой, поэзией и наукой. Что ж, прекрасно! Всей душой я понимал это высокое чувство.

Но кое-кто из моих собеседников во всех областях человеческого творчества прежде всего особо выделял армянский национальный приоритет — в архитектуре, науке, поэзии. Они подчеркивали превосходство архитектурных достоинств древнего храма в Гарни над ка-

завшейся им конфетной, примитивной архитектурой Акрополя; одна интеллигентная женщина, говоря о поэте Туманяне, убеждала меня, что гений Туманяна выше гения Пушкина. Суть, конечно, не в том, совершенней ли архитектура Гарни, чем архитектура Акрополя, гениальней ли Туманян, чем Пушкин. Суть, и суть, конечно, печальная, в том, что и поэзия, и архитектура, и наука, и история сами по себе, по существу своему в разговорах некоторых моих собеседников перестают значить. Они значат лишь для того, чтобы обнаружить превосходство армянского национального характера над национальным характером других народов. Не поэзия, оказывается, важна, а важно лишь доказать, что армянский национальный поэт выше, скажем, русского или французского национального поэта.

Мои собеседники, сами того не замечая, обедняли свои души и сердца тем, что переставали радоваться поэзии, совершенству архитектуры, величию науки, а видели в поэзии и науке лишь средство утвердить свое национальное превосходство. Это стремление бывает так фанатично, узко, что минутами кажется проявлением безумия.

Но я понимал, что виновны в этом чрезвычайном утверждении национального армянского характера прежде всего те, кто на протяжении долгих веков попирал достоинство армян. Виновны в этом турецкие убийцы, лившие невинную армянскую кровь, виновны завоеватели-ассимиляторы. Виновны в этом и шутники-рассказчики армянских анекдотов...

Не в споре армянского национального типа со знаком минус и родившегося как протест против него армянского национального типа с гигантским знаком плюс суть дела.

Суть в одном — в уходе от железа типичного к человеческому; суть в раскрытии богатств человеческих душ, характеров, сердец, в человеческом содержании поэзии, науки, в общечеловеческой прелести и красоте архитектуры, в человеческом благородстве, мужестве, доброте исторических деятелей и народных вождей. Лишь всегда, неотступно возвышая человеческое, лишь объединяя национальное с человеческим, можно достичь истинного достоинства, а значит, и истинной свободы.

Вот в борьбе за человеческое богатство— духовное и материальное, в борьбе за человеческую свободу мысли, слова, свободу сеять то, что хочет сеять крестьянин, в свободе пользоваться плодами рук своих и есть истинная борьба за национальное достоинство.

Национальная свобода может торжествовать лишь в одной форме— в торжестве человеческой свободы.

Это путь и малых народов, и народов великих по государственной силе, по численности своей.

И конечно, русские люди так же как армяне, грузины, казахи, калмыки, узбеки, должны во всей глубине понимать, что в отказе от идей превосходства своего национального характера лежит истинное утверждение величия и достоинств русского человека, русского народа, его литературы, его науки.

V

Поезд пришел в Ереван утром 3 ноября. Меня никто не встречал, а я дал телеграмму о выезде писателю Мартиросяну, чью книгу приехал переводить. Я был уверен, что меня встретят, я даже думал, что встретит меня не только Мартиросян, но и другие писатели-армяне. Я стоял под голубым теплым небом на перроне, а на мне был толстый шерстяной шарф, суконная кепка и новое демисезонное пальто — я его купил перед отъездом, чтобы, как говорится, выглядеть в Армении прилично. И действительно, оглядывая меня, московские знатоки

светской жизни говорили: «Не шикарно, но для переводчика пригодно». В одной руке у меня был чемодан, довольно-таки тяжелый,— я ведь приехал в Армению на два месяца, в другой руке мешок с тяжелой рукописью — подстрочником эпопеи о строительстве медеплавильного завода, написанной видным армянским писателем.

Умолкли радостные возгласы, и отсверкали черные глаза встречавших, промчались люди, спешившие занять очередь на такси, состав «Москва — Ереван» пополз на запасный путь, уплыли мутные стекла в потеках дождя, пыльные зеленые стены усталых, взмыленных вагонов, пробежавших почти три тысячи километров. Кругом все было незнакомое, и сердце сжалось — последний кусочек Москвы ускользнул от меня.

Я увидел большую площадь, склоненную к вокзалу, и огромного полуголого молодого человека на бронзовом коне — он обнажил меч,— я понял: это Давид Сасунский. Памятник поражал мощью: герой, конь, меч — все было огромно, полно движения, силы.

Я стоял на просторной площади и тревожно соображал: почему меня никто не встретил? Надменность? Забывчивость? Восточная лень? Путаница с телеграммой? Я все поглядывал на площадь и на великолепный монумент... Сейчас мне показалось, что и движение, заложенное в бронзу, и мощь коня, и мощь Давида Сасунского чрезмерны. Это не бронзовая легенда, это бронзовая реклама легенды.

Ужасно неприятно. Отправляться прямо в гостиницу? Без брони в гостиницу не пустят. Тащиться по улицам армянской столицы под жарким солнцем в мохнатом пальто, в кепке, в теплом шарфе... Что-то тоскливое и смешное есть в облике залетного человека в чужом городе. Стиляги смеются, глядя, как душным августовским днем идет по Театральной площади якутский дядя в меховой куртке, транзитная тетка в валенках.

Хорошо, что мои соседи по купе не видели меня на площади. Вчера я надменно отверг их попытки объяснить мне, какими автобусами должно добираться до гостиницы. Они поняли, что меня встретят на легковой.

Вот я стою в полутьме и прохладе в очереди к камере хранения, нейлонов тут не видно: грустная молодая женщина с тихим, послушным ребенком, парень в фуражке ремесленного училища, непривычный к отечественным пространствам лейтенант с детскими деревенскими глазами, за ним старик с деревянным чемоданом... И вот я иду по площади, и встречные ереванцы не оглядывают меня, человека в пиджаке. Я вышел погулять, я иду купить хлеб-лаваш, пол-литра, иду в поликлинику принимать процедуры, никто не догадается, что я приезжий, что я растерян и нетечно помню адрес единственного своего ереванского знакомого писателя Мартиросяна.

Я сажусь в автобус. Почему-то неловко объявляться человеком, не знающим, сколько стоит автобусный билет. Я даю кондуктору рубль — он знаками спрашивает, нет ли денег помельче,— и отрицательно качаю головой, хотя в кармане моем немало медяков. Оказывается, цена на билет московская.

Первые минуты на улице незнакомого города — это особые минуты, их не могут заменить не только месяцы, но и годы. Какую-то атомную зрительную энергию, ядерные силы внимания выделяет в эти минуты приезжий человек. С пронзительной остротой, со всепроникающим волнением он впитывает, вбирает, всасывает огромную вселенную — дома, деревья, лица прохожих, вывески, площади, запахи, пыль, цвет неба, наружность собак и кошек. В эти минуты человек, подобно всемогущему богу, совершает новый мир, создает, строит в себе город со всеми площадями, улицами его, дворами, двориками, воробьями, с его тысячелетней историей, с его продовольственным и промтоварным снабжением, с оперой, забегаловками. Этот город, что внезапно возникает из небытия, особый город, он отличается от того, что существует в реальности,— это город человека: в нем по-особому, неповторимо шуршит осенняя листва, в нем по-особому пахнет пыль, стреляют из рогаток мальчишки.

Это чудо создания совершается даже не в часы, а в минуты. Человек умирает, и с ним погибает единственный, неповторимый мир, созданный им,— вселенная со своими океанами, горами, со своим небом. Эти океаны и небо поразительно похожи на те миллиарды, что существуют в головах других людей, эта вселенная поразительно похожа на ту единственную, которая существует сама по себе, помимо людей. Но эти горы, эти морские волны, эта трава и этот гороховый суп имеют в себе нечто неповторимое, единственное, возникшее на протяжении бесконечности времени, свои оттенки, шорохи, свой плеск волны — это вселенная, живущая в душе создавшего ее человека.

И вот я, сидя в автобусе, идя по площади, глядя на гигантского бронзового Сталина, на дома, построенные из розового и желтовато-серого туфа, с естественностью и грацией воспроизводящие рисунок и контуры древних армянских церквей, создавал свой особый Ереван — необычайно похожий на тот единственный, что был в действительности, необычайно похожий на тот, что жил в головах тысяч людей, шагавших сегодня по этим улицам, и в то же время отличный от всех миллионов Ереванов, мой неповторимый город. В нем по-особому шумели осенние листья платанов, в нем по-особому кричали воробьи.

Вот главная площадь — четыре здания из розового туфа: гостиница Интуриста «Армения», где живут приезжающие повидать родину зарубежные армяне, Совет народного хозяйства, ведающий армянским мрамором, базальтом, туфом, медью, алюминием, коньяком, электричеством, Совет Министров — совершенный по архитектуре и почтамт, где потом тревожно сжималось мое сердце при получении писем до востребования. Вот бульвар, где бешено, по-армянски, кричат воробьи среди коричневых листьев платанов, вот дивный ереванский рынок— груды желтых, красных, оранжевых, белых и сине-черных плодов и овощей, бархат персиков, балтийский янтарь винограда, каменная красно-оранжевая, прыщущая соком хурма, гранаты, каштаны, могучая полуметровая редиска, напоминающая о фаллическом культе, гирлянды чурчхелы, холмы капусты и дюны грецких орехов, огненный перец, душистая и пряная зелень.

Я уже знал, что академик Таманян создал архитектурный стиль нового Еревана, повторяющий стиль древних церквей. Я знаю, что традиционный древний орнамент, возрожденный на современных зданиях, изображает кисть винограда, голову орла... Потом уже ереванцы подробно показали мне лучшие создания архитекторов Армении, показали улицу особняков, каждый из них маленький архитектурный шедевр. Но мне не показывали (это не интересно) старые строения Еревана и ереванские внутренние дворы, прячущиеся за фасадами храмоподобных новых домов, за фасадами приземистых зданий девятнадцатого века, шагнувших в Ереван вместе с русской пехотой. Их я увидел в свой первый ереванский день.

Внутренний двор! Не храмы и правительственные здания, не вокзалы, не театр и филармония, не трехэтажный дворец универмага, а внутренние дворики — вот душа, нутро Еревана... Плоские крыши, лестницы, лестнички, коридорчики, балкончики, террасы и терраски, чинары, инжир, вьющийся виноград, столик, скамеечки, переходы, галерейки — все это слажено, слито, входит одно в другое, выходит одно из другого... Десятки, сотни веревок, подобно артериям и нерв-

ным волокнам, связывают балкончики и галерейки. На веревках сохнет огромное, многоцветное белье ереванцев — вот они простыни, на которых спят чернобровые мужья и бабы, делают детей, вот они просторные, как паруса, лифчики матерей-героинь, рубашонки ереванских девчонок, обесцвеченные на ширинке кальсоны армянских старцев, штаны младенцев, пеленочки, парадные кружевные покрывала. Внутренний двор! Живой организм города со снятыми кожными покровами, тут видна вся жизнь Востока: и нежность сердца, и перистальтика кишок, и нервные вспышки, и кровное родство, и мощь землячества. Старики перебирают четки, неторопливо пересмеиваются, дети озоруют, дымят мангалы — в медных тазах варится айвовое и персиковое варенье, пар стоит над корытами, зеленоглазые кошки глядят на хозяек, ощипывающих кур. Рядом Турция. Рядом Персия.

Внутренний двор! В нем связь времен — нынешнего, когда четыре мотора самолета ИЛ-18 доставляют человека из Москвы в Ереван за три с половиной часа, и времени караван-сараев, верблюжьих троп...

И вот я строю, воздвигаю свой Ереван — я перемалываю, дроблю, впитываю, втягиваю розовый туф, базальт, асфальт и булыжник, стекло витрин, памятники Сталину и Ленину, памятники Абовяну, Шаумяну, Чаренцу, бесчисленные портреты Анастаса Микояна, лица, говор, бешеную прыть легковых машин, ведомых бешеными водителями... Я вижу, как много носатых, как много небритых, поросших черной щетиной, я понимаю, что это происходит оттого, что трудно брить железные бороды.

Я вижу сегодняшний Ереван с его заводами, его обширными кварталами новых многоэтажных домов для рабочих, с его пышным оперным театром, с драгоценным хранилищем книг — Матенадараном, с великолепными розовыми школами, с научными институтами, с гармонично и грациозно построенным зданием Академии наук. Эта Академия прославлена светлыми армянскими учеными головами.

Я вижу Арарат — он высится в голубом небе, мягко, нежно очерченный, он словно растет из неба, а не из земли, сгустился из облаков и небесной синевы. На эту снежную, голубовато-белую, сияющую под солнцем гору смотрели глаза тех, кто писал Библию.

Ереванские стиляги любят костюмы черного цвета... Снабжение тут хорошее: в магазинах много масла, колбасы, мяса. Ох, и хороши армянские девицы и молоденькие дамочки. Ох, но и жутко большие носы у некоторых... Удивительное дело: стоит старухе, деду поднять руку, и водители останавливают автобусы: люди здесь добры и сердобольны... По тротуарам идут прелестные ереванки, стучат высокими тонкими каблучками, а рядом франты в шляпах ведут овечек, купленных к празднику, овечки идут по тротуару, стучат копытцами, и дамы стучат модными каблучками, а кругом архитектура, неоновый свет, овечки чуют свою смерть, некоторые упираются ножками, и франты, боясь запачкать костюмы, подталкивают их, овечки, полные предсмертной тоски, ложатся на тротуар, и франты в шляпах, боясь запачкаться, поднимают их; овечки в предсмертной тоске сыплют черные горошины... Женщины с добрыми лицами несут за лапы кур, индеек, маленькие головки птиц свисают вниз, затекли, наверное, очень болят, и птицы выгибают шеи, чтобы хоть немного уменьшить свои страдания перед смертью. Их круглые зрачки смотрят без укора на Ереван, в их маленьких закружившихся, затуманившихся головках тоже возникает, строится город из розового туфа...

Я, владыка, созидатель, хожу по Еревану, я строю его в душе своей, тот Ереван, которому армяне насчитывают две тысячи семьсот лет, тот, в который вторгались монголы и персы, тот, в который приезжали греческие купцы и входила армия Паскевича, тот, который еще три часа назад не существовал.

И вот созидатель, всемогущий владыка ощущает тревогу, начинает беспокойно оглядываться по сторонам...

Кого спросить? Ведь среди людей, окружающих меня, многие не понимают по-русски, я стесняюсь обращаться к ним, язык владыки скован. Вот вхожу я во двор. Но куда там, ведь это не наш пустынный русский двор, это восточный внутренний двор, десятки глаз обращаются ко мне. Я поспешно выхожу на улицу. Но вскоре я снова вхожу во двор. Тревога моя растет, я уже не думаю о том, что на Востоке двор есть душа, сердце жизни. Но действительно, так оно и есть, и я снова выхожу на улицу. Куда мне деваться? Я стремительно вторгаюсь в третий двор, я в отчаянии оттого, что снова вижу переплетение лестничек, галереек, старик прихлебывает из чашечки кофе, женщины прерывают беседу и смотрят на меня. Я растерянно улыбаюсь и поворачиваюсь назад. Но — всюду жизнь! Что мне делать, мне не до поэзии. Поспешно искать Мартиросяна? Но что это даст мне? Не могу же я явиться в дом и, пренебрегая тем, что меня начнут знакомить с женой, родней, начнут расспрашивать, устремиться семимильными шагами в нужник. Говорят, интеллигентные армяне очень насмешливы и любят посплетничать. Если я, ворвавшись в квартиру одного из ведущих мастеров армянской прозы, шагая по трупам, устремлюсь в санузел, возникнет анекдот, этот анекдот станет спутником моей армянской жизни. Нет, нет, отставить. И вот рождается решение — я вскакиваю в полупустой трамвай, приобретаю за три копейки билет. Я плотно уселся на жесткую скамью, и мне на время становится легче на душе. Я уже не владыка, не создатель, я раб низменного желания. Это желание владеет мной, моими мыслями, моей душой. Оно сковало мой гордый мозг.

Весь мир подчинен моей мечте — архитектура зданий, горный рельеф, нравы и обычаи населения, растительность.

Я вижу высокие дома-коробки, я вижу площади, магазин «гастроном», телевизионное ателье, булочную, новостройку, вот мост, глубокое ущелье, по каменным его склонам лепятся дома, в узкой глубине ущелья бежит быстрая, пенная вода... Все ново для меня, все это я вижу впервые. Но мысль творца уже не создает Ереван с его самыми новыми и самыми старыми кварталами, мысль упорна, прямолинейна и одновременно гибка. Как устроен в данном доме санузел? Труд на новостройке недостаточно механизирован, поэтому на стройке много рабочих, а это для меня никак не годится, за какую груду кирпича ни пойдешь, здесь — люди, люди... Но если сойти у моста, стать над обрывом, может закружиться голова. Гипертония чертова... Но как прекрасен этот белый от пены поток, бегущий в глубине ущелья...

Детский парк... Чепуха! Он просматривается со всех сторон, деревца, как прутики, их, видимо, недавно посадили. У такого деревца и младенцу неловко остановиться.

Завод, дымят трубы, заводской поселок... В таких районах особенно густое население, домик к домику, в каждой комнате семья.

И вот проскрежетали колеса, трамвай делает резкий поворот. Улица иссякла, кругом пустыри, глинистые осыпи. На остановке сошли почти все пассажиры, остались два небритых, заросших черной щетиной,— один длинноносый, у другого приплюснутый монгольский нос. Я третий. Кондукторша испытующе поглядывает на меня. Вот она прошла по вагону к вожатому, быстро заговорила с ним по-армянски. Видимо, она делится с ним своими подозрениями, да, да, она оглянулась на меня — что нужно странному человеку в очках на конечной остановке трамвая, среди глинистых осыпей и пустырей?

Сейчас ко мне подойдет вожатый, откуда-то из-под земли покажется милиционер. Что я им скажу? Приезжий, москвич, знакомлюсь с Ереваном? А к чему для знакомства с Ереваном понадобились пу-

стыри и свалки? Конечно, я запутаюсь, скрою истинную причину своего появления на окраине города. И правда, странно — вещи человек сдал на хранение, его никто не встретил, полдня он прошлялся по улицам, он не пошел в учреждение отметить командировку, он не сделал попытки устроиться в гостинице и в доме колхозника, в комнате матери и ребенка. Он появился на окраине города, где находятся свалки и ямы. Да, это действительно странно, нет, это более чем странно. Нет, нет, это уже не странно, тут уже все ясно...

Тогда, припертый к стенке, охваченный ужасом, я наконец признаюсь во всем, открою низменную и смешную причину, которая привела меня на окраину столицы Армении. Но никто не поверит моей исповеди — я столько лгал, притворялся, что правда покажется смехотворной: матерый диверсант заврался, старый волк запутался окончательно.

Трамвай дошел до конечной остановки, никто не задержал меня. Я устремился на пустыри, скрылся среди осыпей и ям...

Чувство счастья... Нужно ли описывать его? Поэты и писатели уже тысячелетиями стремятся передать на бумаге, что такое счастье...

Скажу только, что это не было гордое счастье созидателя, мыслителя, всемогущий разум которого строил свою неповторимую и единственную действительность. Это было тихое счастье, равно доступное овце, быку, человеку, макаке. Нужно ли было добираться до Арарата, чтобы испытать его?

VI

Сказать, все армяне прекрасные люди,— это примерно то же, что сказать: все армяне торгаши, все они жулики.

Армяне люди, а люди бывают и плохие, и хорошие — разные. И все же я не могу удержаться от обобщения, правда, не столь всеобъемлющего: армянские крестьяне хорошие люди.

Я прожил в Армении два месяца — почти половину этого срока я провел в Ереване. Но жизнь в Ереване не дала мне новых литературных знакомств. Я приехал в Ереван, зная писателя Мартиросяна и переводчицу Гортензию, приготовившую подстрочник мартиросяновской книги о медных рудниках, и уехал из Еревана, будучи знаком с Мартиросяном, его семьей и переводчицей Гортензией.

Раза два или три Мартиросян меня знакомил на улице со своими друзьями писателями, но эти знакомства ограничились полуминутными кивками, меня даже не спросили приличия ради, как я доехал, понравился ли мне Ереван? Правда, один из литераторов осведомился, не собираюсь ли я переиздать «Записки Д'Аршиака» [1]. Редактор русского журнала «Литературная Армения» при нашем знакомстве не проявил даже микропризнаков интереса к моему прибытию в Армению — он не пригласил меня напечататься. Человеческого интереса редактор ко мне тоже не проявил — не задал одного-двух вопросов, которые задают из приличия, чтобы создать видимость человеческого общения. Подобным же образом встретились со мной и армянский поэт, и руководитель Союза писателей, и дама-поэтесса. Все это меня огорчило,— я слышал, что ереванская интеллигенция очень патриотична, очень чувствительна к тому, что пишут на иных языках об армянах. А случилось так, что я довольно много писал об армянах в своих военных статьях, в книгах «Народ бессмертен» и «За правое дело». И статьи мои, и «Народ бессмертен», и «За правое дело» были переведены на армянский язык, я получал от армян-читателей письма.

[1] Вас. Гроссман иронизирует по поводу того, что его спутали с однофамильцем — Леонидом Гроссманом, перу которого принадлежат «Записки Д'Аршиака» (1930 г.).

В общем, я ждал, что меня встретят не с таким безразличием и что будет проявлен интерес к тому, чтобы напечатать меня в «Литературной Армении»... Я даже привез рассказик, рассчитывая, что его у меня попросят, но у меня его не попросили. Можно было думать, что этот лед есть следствие моих литературных бед: моя новая книга вызвала гнев редакторов, не напечатана... [1]

Причина горькая, ничего не скажешь. Но в подобном положении человек не склонен преувеличивать значение своей личности. И мне рисовалась причина еще более горькая — дело не в опале, дело в моем полном литературном и человеческом ничтожестве... Пигмей, пигмей, чего хочешь ты?

Потом я привык. Но иногда мне делалось тошно и неприятно, весь день Нового года я просидел в номере, в гостинице, хоть бы одна собака позвонила мне. Вообще изобретение великого Эдисона почти бесполезно для человека в моем положении. Меня несколько утешило то, что некоторые мои собеседники отчетливо помнили приезды в Армению работников аппарата московского Союза писателей и даже приезды дамы, выдававшей в московском Литфонде путевки в дома отдыха и санатории. Меня утешило несколько и то, что совершенно сияющими были воспоминания об именитых московских гостях, чьи служебные заслуги, на мой взгляд, превосходили их заслуги перед литературой.

А я-то полагал, что, подобно Платону, стану дарить своей беседой не только ереванских художников пера и кисти, но и ученых — астрономов, физиков, биологов.

Дальше бесед со старушкой — дежурной по коридору в гостинице — дело не пошло. Она симпатизировала мне: с утра до вечера командировочный работал, не шатался пьяным по гостиничным коридорам, не пел хриплым голосом в два часа ночи песен, аккомпанируя себе на баяне, не водил к себе в номер девок. Наивная старуха из гостиницы «Интурист» полагала, что все это связано с моими высокими моральными качествами, и, видимо, не учитывала моей бедности, болезней и возраста.

Утешился я несколько тем, что спросил как-то у Мартиросяна о пребывании в Армении Мандельштама. Мне были известны милые и трогательные подробности о жизни Мандельштама в Армении, я читал армянский цикл стихов Мандельштама. Я вспоминал его выражение о «басенном армянском христианстве».

Однако Мартиросян не помнил Мандельштама. Мартиросян по моей просьбе специально обзванивал некоторых поэтов старшего поколения,— они не знали, что Мандельштам был в Армении, не читали его армянских стихов. Мартиросян мне сказал, что смутно вспоминает худого носатого человека, видимо, весьма бедного, дважды Мартиросян его угощал ужином и вином, выпивши, носатый читал какие-то стихи, по всем видимостям, это был Мандельштам. Воспоминания о пребывании дамы из санаторного отдела Литфонда были куда отчетливей.

Ну что ж, ясно, думал я. Стихи Мандельштама прекрасны, это сама поэзия, сама музыка слов. Быть может, она даже слишком сама поэзия, слишком сама музыка слов. Мне иногда кажется, что в поэзии двадцатого века, как бы блистательна ни была она, меньше стало жаркого сердечного могущества и всепоглощающей человечности, которыми отмечены поэтические гении прошлого века. Словно поэзия из булочной перебралась в ювелирный магазин, и на смену великим пекарям пришли великие ювелиры. Может быть, поэтому так сложны стихи некоторых замечательных поэтов современности, этой сложно-

[1] Речь идет о романе «Жизнь и судьба».

стью они обороняются от парижского платинового метра, меры всех душ и вещей.

Но в стихах Мандельштама звучит чарующая музыка, а некоторые его стихотворения — среди самых лучших из написанного русскими после смерти Блока. Хотя, говоря откровенно, и Блок не мой кумир, и он не создал меры душ и вещей — святого ржаного хлеба, и в его поэзии многое создано не дивными руками пекаря, а тончайшим уменьем ювелира,— но, уж конечно, некоторые его стихи, некоторые его строки среди лучшего, что написано поэтами после 1837 и 1841 годов. И хотя Мандельштам не нес на своих плечах весь великий груз русской поэзии, он истинный и чудный поэт. Бездна отделяет его от поэтов мнимых. И вот мои знакомые ереванцы не помнят о его пребывании в Армении.

Ясно, ясно...

Вот от всей этой горькой житейской истории я вдруг перешел к мыслям о предметах общих. Во многих ереванских музеях видел я портреты декабристов, разжалованных в солдаты и отбывавших службу в тогдашней Эривани. Читал я о том, что первую в России постановку «Горе от ума» осуществили эти самые солдаты, они и женские роли играли. Читал я, как гордилась армянская интеллигенция тем, что в Ереване раньше, чем в Питере и Москве, была поставлена комедия Грибоедова. Можно сто лет помнить, что в пыльном захолустье волжского городка Камышина жил высланный, нищий, едва живой Налбандян, что в Петербурге бедствовал, сидел в тюрьме студентик Туманян и что Короленко пришел к воротам тюрьмы в день освобождения Туманяна. И вот не умирает память о грузинском изгнаннике, жившем на Украине, в Миргороде, и память об украинском скитальце Сковороде, и о жившем в прикаспийских песках штрафном украинском солдате.

Вот живут, работают в головах горцев, школяров, студентов, не тускнея, не слабея, переживают смену времен и всемирно-исторические катастрофы — стихи опального поручика Тенгинского полка, стихи опального надворного советника из Петербурга.

Живут, работают в тайге, в тундре Якутии важные и добрые дела, завязанные ссыльными студентами, Короленко, Таном-Богоразом, опальным Кропоткиным, запали навек в человеческие души рассказы, стихи, сказки о том, что нужно и важно всем людям, живут, торжествуют в школах и институтах, в саклях, избах, ярангах... Вот оно вольное, доброе, неистребимое русификаторство, совершаемое Пушкиным, Добролюбовым, Герценом, Некрасовым, Толстым, Короленко.

Но сколько было бесследно ушедших из кавказской памяти наместников и генералов, действительных тайных советников, вельможных представителей государственной, казенной науки и чиновной орденоносной литературы...

Я подумал: истинные вековые связи людей, народов, культур, братство возникает не в кабинетах, не в губернаторских дворцах, а вот так — в избах, на этапах, в лагерях, в солдатских казармах. Вот эти связи оказываются самыми сильными, живучими. Вот эти слова, что писаны при тусклой коптилке и читанные в избе, на тюремных казарменных нарах, в прокуренной комнатенке, и вяжут вязь единства, любви и взаимного уважения народов.

Они есть те артерии и вены, по которым бежит вечная кровь. А казенная поверхность жизни, шумная, бесплодная, заполняет, как мыльная пена, тех людей, которые сами и есть мыльная пена: трещат, шуршат и исчезают без следа.

А тут же рядом лежат те связи, что завязывают и закладывают каменщики, плотники, лудильщики, бондари, старухи-крестьянки...

Вот он пришел, горшок русского борща, и стал на стол в армянском доме. Вот он армянский прочесноченный хаш, что в серьезном сосредоточенном молчании едят бородатые мужики-молокане.

Тут все интересно — и восприимчивость, и консерватизм. Ведь тысячи трудовых приемов, бытующих бок о бок десятилетиями, столетиями, не вживаются в жизнь, не находят отклика в труде, быту соседа — русский крестьянин и армянский крестьянин пекут хлеб в разных печах, и хлеб их разный; упрямо не хочет русский есть испеченного в тондыре лаваша, и равнодушен к высокому пшеничному хлебу, вышедшему из русской печи, армянский мужик. А десятки других дел, вещей, рабочих приемов переняли они друг у друга, обогатили ими свою жизнь и трудовую сноровку.

И вот солдат Паскевича, стуча тяжелыми сапогами, промерил от края до края Армению и вернулся домой, принес новый, невиданный способ класть кирпичи, обтесывать камень, заимствованный им у каменщиков-армян. И не понадобилось для этой армянизации винтовок и пушек — посмеялись, похлопали друг друга по спине, один подмигнул, другой сказал: «Хорошо, толково», — покурили, и все.

И вот связи, завязанные в советские времена,— связи рабочих и инженеров на заводах и фабриках, связи армянских и русских студентов, ученых в университетских лабораториях и библиотеках, в лабораториях научно-исследовательских институтов, связи русских и армянских агрономов, полеводов, виноделов, связи астрономов, связи физиков.

В горном поселке Цахкадзор свою первую прогулку я совершил как иностранец. Прохожие вглядывались в меня. Женщины у водоразборной колонки, старики, сидевшие под каменной оградой и перебиравшие четки, джигиты XX века — шоферы, галдевшие у дверей забегаловки, все умолкали, когда я, шаркая ногами и испытывая неловкость от всеобщего внимания, плелся среди каменных одноэтажных домиков. Я проходил, люди молча переглядывались.

Я шел по улице и видел, как шевелились занавески на окнах,— новый российский приезжий появился в Цахкадзоре.

Потом меня изучали, разрабатывали,— все, что узнавали служащие в доме писательского творчества, становилось известно всем: я сдал паспорт на прописку, я отказался есть хаш, не говорю по-армянски, я из Москвы, женат, двое детей. Я переводчик, приехал переводить книгу писателя Мартиросяна. Переводчик не молод, но переводчик пьет коньяк, прескверно играет на бильярде, переводчик часто пишет письма. Он гуляет и интересуется старой церковью на окраине поселка, по-русски окликает армянских собак и кошек. Он зашел в деревенский дом, где старуха пекла лаваш в тондыре,— переводчик не знал по-армянски, старуха не знала ни слова по-русски. Он смеялся, показал, что интересуется тем, как пекут лаваш. Старуха тоже смеялась, когда от кизячного дыма приезжий заплакал.

Потом старуха поставила на пол скамеечку, приезжий сел на скамеечку, и шелковый кизячный дым стоял над его головой. Московский человек стал любоваться тем, как старуха раскатывала в воздухе, именно раскатывала в воздухе, тесто. Она подбрасывала лист теста вверх и ловила его на протянутые руки с растопыренными пальцами, тесто силой своей собственной тяжести делалось тоньше и постепенно превращалось в тонкий лист. Приезжий любовался движениями старухи, они были плавные и быстрые, осторожные и самоуверенные, казались красивым, древним танцем. Действительно, этот танец был древний, одних лет с печеным хлебом. И патлатая, в рваном ватнике, семидесятилетняя старуха сразу почувствовала, что приезжий из Москвы, седой и в очках, любуется тем, как она раскатывает тесто, печет лаваш. И ей это было очень приятно, ей сделалось весело и груст-

но. Потом пришли ее дочь и зять, давно не бритый, с синей щетиной, пришла внучка в розовых пижамных штанах, волоча за собой санки. И старуха смеялась с ними, повелительно крикнула что-то по-армянски, и переводчику принесли на тарелочке сухого зеленоватого сыра. Сыр казался заплесневевшим, но был очень вкусным: острым и душистым. Переводчику дали горячего лаваша, научили заворачивать сыр в лаваш, потом ему дали кружку молока.

А когда он уходил с красными от кизячного дыма глазами, собака, лаявшая при его приходе, слегка повиляла ему хвостом — от него пахло привычной собаке горечью. А дочь старухи, худая, черная, и зять старухи, небритый, худой и черный, и внучка старухи с антрацитовыми глазами стояли у каменного забора и махали ему вслед.

Потом московский приезжий ходил на почту и хотел отправить авиаписьма, но оказалось, что на почте нет нужных конвертов,— выяснить все это дело было нелегко, так как черноглазые девушки на почте не говорили по-русски. Поэтому все кричали, размахивали руками и смеялись.

На следующий день он гулял по горной дороге, дошел до кладбища, там старик копал могилу, переводчик покачал головой, а старик сокрушенно махнул рукой, бросил недокуренную папиросу и снова стал копать. В этот же день москвич проходил мимо водоразборной колонки и хотел помочь женщине поднести к дому ведро с водой. Но женщина застеснялась, опустила глаза и пошла с ведром, не оглянувшись, а переводчик стоял, по-глупому растопырив руки. В этот же день он долго стоял возле каменщиков, возводивших вокруг школьного двора ограду из розового туфа. Каменщики оббивали камень, обтесывали грани, подгоняли камни к ограде, а молодые женщины в ватных штанах, с головами и лицами, замотанными платками, готовили глиняную кашу. Когда осколки розового камня попадали в приезжего, глаза женщин смешливо поблескивали из-под платков.

В этот же день переводчик имел беседу с ишачком и с овечкой, шедшими по тротуару в сторону горного пастбища. Он заметил, что по тротуарам в поселке ходят главным образом овцы, телята, коровы и лошади. А люди и собаки почему-то ходили в Цахкадзоре по мостовой. Ишачок сперва довольно внимательно слушал русскую речь, а потом прижал уши, повернулся задом и хотел ударить переводчика копытцем. Его милое добродушное личико с толстым славным носиком вдруг преобразилось, стало злым, нехорошим, верхняя губа наморщилась, обнажились огромные зубы. А овца, которую хотел погладить переводчик, прижалась к ослику, ища у него покровительства и защиты. Было в этом что-то непередаваемо трогательное — овца инстинктом чувствует, что протянутая к ней рука человека несет смерть, и вот она хотела уберечься от смерти, искала у четвероногого ослика защиты от той руки, что создала сталь и термоядерное оружие.

В этот же день приезжий купил в сельмаге кусок детского мыла, зубную пасту и пачечку пургена. Переводчик шел в сторону дома и думал об овце.

У овцы светлые глаза, они какие-то виноградно-стеклянные. У овцы человеческий профиль — еврейский, армянский, таинственный, равнодушный, неумный. Тысячелетиями пастухи смотрят на овец. Овцы смотрят на пастухов, и вот они стали похожи. Глаза овцы как-то по-особому, отчужденно-стеклянно смотрят на человека, так не смотрят на человека глаза лошади, собаки, кошки...

Вот такими брезгливыми отчужденными глазами смотрели бы обитатели гетто на своих гестаповских тюремщиков, если бы гетто существовало пять тысяч лет и каждый день на протяжении этих тысячелетий гестаповцы отбирали старух и детей для уничтожения в газовых камерах.

Боже, боже, как долго должен человек вымаливать прощение у овцы, чтобы она простила его, не смотрела на него стеклянным взглядом. Какое кроткое и гордое презрение в этом стеклянном взгляде, какое божественное превосходство безгрешного травоядного над убийцей, пишущим книги и создающим кибернетические машины... Переводчик каялся перед овцой и знал, что завтра будет есть ее мясо.

Прошел еще день и еще день. Приезжий перестал чувствовать себя заморским попугаем на улицах горного поселка. И вот люди, встречая его, стали здороваться с ним. И вот он стал здороваться с жителями поселка.

Он уже знал девушек с почты, продавца из сельмага, учителя физики с лицом оперного злодея, ночного сторожа — меланхоличного человека с ружьем, двух пастухов, старика, охранявшего тысячелетние стены Кичкарийского монастыря, он знал Карапета-агу, седого и голубоглазого репатрианта из Сирии, стоявшего у прилавка деревенской столовой, знал статного красавца шофера Володю Галосяна, знал преподавателя физкультуры в зеленых лыжных штанах, с выпуклым лбом и смеющимся лицом молодого сильного барана, знал безумного старика Андреаса, знал женщину, кормившую индеек под инжирным деревом, знал ребят шоферов с трехтонных грузовиков, проносившихся подобно урагану по крутым улочкам, у этих ребят были души орлов и виртуозные пальцы Паганини.

В писательском доме я уже знал, какая милая и добрая улыбка у худенькой поварихи Кати, знал, как она краснеет, если хвалят сваренный ею суп. Катя рассказала мне, что она приехала в Армению из Запорожья, рассказала, что муж ее молоканин. Она, смущаясь, рассказала, как ей странно, что на свадьбах молокане пьют чай и не прикасаются к вину, и какая странная секта — прыгуны. Она с достоинством сказала: «Наши, цахкадзорские молокане не прыгают». У Кати мягкий и добрый характер. Голос, движение, походка у Кати робкие, нерешительные. Ее все смущает — вот входит ее сынок Алеша, ученик первого класса, и Катя краснеет, опускает глаза. И Алеша краснеет, чуть слышно лепечет, когда ему задают незамысловатый вопрос: ты в каком классе? И лицом он похож на мать — бледненький, голубоглазый, в веснушках, с пшеничными ресницами и бровями.

«Армяне хорошие люди»,— говорит Катя и краснеет. «Армяне живут дружно. У армян уважают старших»,— говорит она и снова краснеет. Но потом все же оказывается, что Катя считает армян самыми обыкновенными людьми, есть и пьяницы, и дерутся, и воры есть. Люди как люди, не лучше и не хуже наших. «А что касается крестьянства, то работают очень тяжело»,— говорит Катя и густо краснеет.

Стал я знаком со смуглолицей сестрой-хозяйкой Розой,— у нее темный пушок над верхней губой, и она всегда улыбается, чтобы люди могли любоваться ее ослепительными, сахарными зубами. Ходит Роза в высоких хромовых сапожках, по-русски не знает ни слова, занимается трудом непроизводительным, всегда носит с собой бухгалтерскую книгу, вписывает в нее, что вчера съели и что завтра съедят творческие работники.

Стал я знаком с кочегаром Иваном,— он большой, белоголовый, лицо его кажется жестоким,— у него светлые усики, светлые глаза. Он молод, силен, иногда груб, иногда угрюм. Лицо у него круглое, большое, белое и румяное и почему-то от этого кажется особенно недобрым. Ходит он, громко ступая большими тяжелыми и высокими сапогами. И говорит он, как ходит, медленно, тяжело, четко, каждое слово — как сапог. Иван — молоканин. Оттого, что он русый, светлоглазый, светловолосый, белозубый, румяный, и оттого, что он молоканин, кажется, что он ест лишь молоко с белой пшенной кашей. Но Иван — нарушитель отцовских молоканских законов — пьет москов-

скую, курит. Выпивши, он разговорился — рассказал, как уходит в горы — бьет козлов, рысь, убил однажды «барсука» — барса. В рассказах его явно отсутствует железо достоверности, но он не врун, а вот как писатель-романтик,— реалист для фантазеров, милый выдумщик среди реалистов. Я нравлюсь Ивану тем, что плохо играю на бильярде.

Почти все люди честолюбивы, но Иван особо, бешено. Проиграв партию Мартиросяну, Иван мучается, страдает, а обычные честолюбцы в таких случаях не страдают, а лишь расстраиваются. «Сыграем?» — говорит он мне, и в светлых глазах его жажда овечьей крови.

Познакомился я с уборщицей Астрой и ночным сторожем стариком Арутюном, свекром Астры.

Астра красавица. Я вспомнил чеховский рассказ — «Красавицы». Вот отъехали от постоялого двора, долго молчали, и, вдруг, возница оглянулся и сказал Чехову-седоку: «А хороша у армяшки дочка!»

Действительно, хороша! Так хороша, что описывать ее красоту не хочется. Скажу лишь, что ее красота есть выражение ее души — в ее тихой походке, в ее робких движениях, в ее всегда опущенных ресницах, в ее едва заметной улыбке, в мягких очертаниях девичьих плеч, в целомудрии бедной, почти нищей одежды, в задумавшихся серых глазах и живет ее красота. Вот так белая кувшинка возникает в пруду, затененном ветвями деревьев, среди спокойно думающей воды.

Эта белая кувшинка и есть выражение лесной воды, выражение лесной полутьмы, неясных очертаний погруженных в воду растений, скольжения по тихой воде белых беззвучных облаков, отражения в пруду молодого месяца и звезд. И все это вместе: речушки, затоны, лесные пруды и озерца, камыши, осока, рассветы, закаты, странные одинокие вздохи илистой земли, шелест листьев и шорох камышин, булькающее кувыркание водяного пузыря и выражается в белом цветке — кувшинке.

Вот и Астра выразила своим лицом, обликом своим дивный мир скромной женской красоты. А уж что там в тихом омуте, какие черти водятся, пусть судит об этом тот, кто, ломая гладкую поверхность пруда, лезет босыми ногами среди режущей осоки, прет по илистому, теплому и холодному всасывающему дну. А я с берега полюбуюсь кувшинкой.

Мне казалось, что этого моего скромного тихого любования никто не замечает,— всегда я молчалив, хмур, аскетически строг, а при Астре и вдвойне.

Но однажды моя добрейшая сопереводчица, хохоча, как Тарас Бульба, проговорила: «Ох и нравится Василию Семеновичу наша Астрочка, так бы и съел ее».

Я сделал кислое лицо и пожал плечами.

Вообще говоря, если муж Астры похож на своего отца, скорбного, унылого, большеносого, сутулого ночного сторожа Арутюна, то... Боже мой, товарищи, да какое мне дело до всего этого.

Арутюн печален. Иногда лицо его и глаза принимают какое-то режущее, пронзительно-тоскливое выражение. Ночью я бесшумно прохожу мимо него, в предрассветный час, когда все сторожа мира спят, и он смотрит на меня из темноты, его глаза полны огромной, спокойной тоски.

Я думаю, он никогда не спит — огромная печаль не дает ему уснуть. Он никогда ни с кем не разговаривает, никто не приходит к нему. Иногда на улице встречается ему веселый деревенский армянский дед, и мне кажется — вот Арутюн сейчас заулыбается, остановится, закурит, заговорит об овечках и пчелах, о вине. Но нет, Арутюн идет, сутулясь, тяжело шаркая кирзовыми сапогами, погруженный в свою огромную тоску... Что это с ним?

И вот так странно подумать, что всего несколько дней тому назад я, московский незнакомец, впервые в жизни вступил в этот горный поселочек, о существовании которого не знал.

— Барев — добро,— говорят мне встречные.

— Барев дзес — добро вам! — говорю я и снимаю шапку. Кругом хорошие, добрые знакомые.

И вот идут дни, и я уже знаю многое об Иване, о Кате, об Астре, о старике Арутюне. Сколько трогательного, человечески милого и не меньше, а может быть, и больше тяжелого, жестокого, ужасного.

Катин муж безногий, паралитик, уже несколько лет лежит в постели, и тихая Катя, тоскуя по далекой родине, отцу, матери, подругам, ходит за ним, выгадывает копейки, чтобы побаловать его яблочком, конфеткой, с гордостью говорит: «Наши, цахкадзорские молокане не прыгают».

У Арутюна пять сыновей — старший работал буровым мастером, год назад его убили в пьяной драке, ударили обрезком чугунной трубы по голове. Говорят, он был плохим человеком, и в поселке жалеют не его, а того, кто, убив его, попал в тюрьму. Второй сын Арутюна — муж красавицы Астры. Полтора года назад он сел в тюрьму — зарезал шофера по пьяному делу в заведении Карапета-аги... А пьяное дело было такое — шофер приехал на грузовике со своей возлюбленной с синего озера Севан, они хотели выпить, поесть знаменитого люля-кебаба, который изготовляет Карапет-ага, в общем хотели провести время. За соседним столиком пил Арамаис, муж Астры, с компанией приятелей. Он стал ругать женщину: она была замужем, а гуляла с шофером. Шофер обиделся, ударил Арамаиса по морде, и Арамаис зарезал его финским ножом. Говорят, что Астра не хотела идти замуж за бездельника, хулигана, игрока, пьяницу. Но Арамаис очень уж влюбился в нее, плакал, валялся пьяным у нее в ногах, потом обещал зарезать ее и себя, и Астра и Астрина мама, и все в поселке знали, что это не пустая угроза. А теперь она ходит в стоптанных сапогах, оборванная, копит деньги, чтобы собрать мужу передачу побогаче, каждый месяц ездит к нему за 280 километров — он теперь шахтер-лагерник. Срок ему не сократят — он в лагере на плохом счету,— дерется, не работает, пьет. Третий сын Арутюна недавно вышел из ереванской тюрьмы, сам же старик Арутюн недавно вернулся из районной больницы — третий сын во время семейной ссоры ударил отца ножом в бок. Арутюн пролежал три месяца в больнице, а сын просидел три месяца в тюрьме — отец спас сына, дал ложные показания следователю. Иногда этот третий сын, узкоплечий юноша с худым лицом, с тяжелым, горбатым носом, приходит на террасу в писательский дом поиграть на бильярде. На лице его какая-то шизофреническая улыбка, то она кажется виноватой, то безумной, то безразлично наглой. А отец, старик Арутюн, смотрит, как сын играет на бильярде. Закончив игру, сын проходит мимо отца молча, и отец молчит.

Рассказывают, что четвертый сын Арутюна, самый отчаянный из всех, уехал три года тому назад на целину. Уехал и пропал, ни одной весточки нет от него, никто не видел его, никто не знает, где он, жив ли.

Самый удачный — пятый сын Арутюна — безумный мальчик-подросток; его детское лицо обросло черным пухом, он слюняво, ласково улыбается, показывает мне книжку с картинками — армянские сказки про животных. Все животные на картинках с армянскими восточными лицами — брюнеты, и волк брюнет, и заяц, и пожилая лисица в чепчике брюнетка, смотрит хитро поверх очков. А мальчику уже пора быть в девятом классе. Теперь-то я понимаю, почему так огромна тоска в глазах старого Арутюна, почему и походка его, и мол-

магов, учителя, каменщики, пили виноградную водку, пели песни, вспыхивали, скандалили, ели люля-кебаб, бастурму, сыр сулгуни, огненную зеленую фасоль и зеленую траву киндзу, снова пили виноградную водку и шипящую минеральную воду джермук.

Пьяные бахвалились,— джермук лучше грузинского боржома, сыр сулгуни первыми создали армяне. Нет лучше армянского коньяка, хотя коньяк французское слово, и нет слаще армянского винограда. Грузины научились от армян жарить шашлык, а по правде говоря, до сих пор не научились.

Иногда на тихих улицах поселка слышалось пение, гром барабанов — это справлялись свадьбы.

Прошло еще несколько дней, и меня пригласили в деревенский дом в гости — пить водку. А еще через день я зашел в библиотеку, и усатая, плечистая библиотекарша мне показала мою книгу, переведенную на армянский язык, и я увидел, что страницы книги припухли и края переплета растрепаны.

Что же еще мне нужно? На улице мне улыбаются — барев... барев дзес... Со мной делятся, рассказывают о горе, о жизни. Я слышал рассказ Ивана, и Иван, казавшийся мне жестоким человеком, плакал. Меня позвали в гости в крестьянский дом пить вино, поговорить о жизни. Мою книгу читали в Цахкадзоре, ее страницы немного припухли. Значит, совершилось: я здесь человек среди людей.

VII

Моя первая дальняя поездка была на озеро Севан.

Севан лежит в россыпи камней. Так странно — среди камней вдруг видишь синюю озерную воду. Севан не связан с каменистой, сухой землей,— вот так же нет ничего общего между граненым светлым камнем и черным бархатом, на котором он лежит. Прожаренные зноем и ветрами, оглаженные геологической тяжестью времени сухие горы и холмы, а среди них синяя вода. Ведь обычно вода и суша связаны, постепенно переходят друг в друга,— сырой песок, тонкий чавкающий, все понижающийся берег, сочная трава, камыши, ивы — их листва глядится в воду, дышит водой. А здесь прожаренный горный камень сам по себе, синяя вода сама по себе. Эта высокая вода кажется неземной, она словно отделилась, отслоилась от неба, она так высоко, что, вероятно, ей ближе до уровня неба, чем до уровня моря. И даже странно, что в этой синей, прозрачной и холодной воде живут рыбы, казалось, под поверхностью Севана должны летать птицы небесные. Правда, рыба тут особая — серебристо-серая, стройная, вся в звездных пятнах — ичкан, что значит рыба-князь, форель.

В каменной чаше, в которой лежит Севан, люди пробурили шахту, и вода гибко рушится в долину, своей синей тяжестью движет турбины, создает свет и электрическую работу. В долине вода теряет синеву, становится зеленой, серой. Наверное, эта севанская синева и превращается в свет.

Вся Армения залита светом, затерянные в горах деревушки, зангезурские древние пещеры, где поныне живут люди, освещены электричеством. В этих пещерах люди жили за много тысячелетий до нашей эры, до появления шумеров, вероятно, во времена каменного и бронзового оружия.

Большинство нынешних обитателей этих пещер работает в цехах завода тончайшего приборостроения. В пещерах, освещенных электричеством, стоят радиоприемники и телевизоры. Электричество всюду — оно в движении моторов, электропоездов, оно в музыке, в кадрах кинодрамы, в плавном вращении телескопов на Арагаце. Севан сжигает свое голубое тело, превращает его в свет и тепло. Уровень воды

в озере упал на 11 метров — унылая черно-коричневая низменность выступила там, где стояла озерная вода. Озеро уходит из каменной чаши. Армения, залитая светом электричества, горюет о гибнущем Севане. Недавно родился проект ввести в Севан горную реку, которая предотвратит гибель озера. Но пока синяя жемчужина день ото дня уменьшается в размерах, тает...

Что будут рисовать художники, если высохнет Севан? Я видел в Ереванской картинной галерее, во многих ресторанах и вокзальных залах, в гостиничных номерах и холлах множество Севанов. Я видел Севан в книжных иллюстрациях, на почтовых открытках, в рекламе пищевых и промышленных товаров.

Что будут делать граждане, приезжающие на Севан в ресторан «Минутка» поесть форели?

Когда наша машина, совершив очередной виток, вдруг воспарила над озером, мы увидели снеговые хребты гор, освещенные солнцем. Они казались светло-голубыми, видимо, горный снег впитал синь неба и синь озерной воды. А на грубом шершавом каменном блюде — черном, рыжем, коричневом—лежал Севан, синий, почти безбрежный

На горбатом острове, ныне из-за обмеления озера соединившемся с берегом, стояла древняя часовня, созданная с непонятными нынешнему человеку простотой и совершенством. По легенде эту часовню построила княгиня Мариам для молодого монаха, красота которого поразила ее. По утрам Мариам из окна своего горного замка видела юношу-монаха на острове, ведь воздух здесь прозрачен и ясен.

Гете говорил что за свою восьмидесятилетнюю жизнь он пережил одиннадцать счастливых дней... Мне думается, что каждый человек за свою жизнь неминуемо видел много сотен восходов, закатов, видел дождь, радугу, озера, море, луга... Но из сотен картин природы всего две-три с какой-то совершенно особенной чудной силой вошли в душу человека, стали для него тем, чем стали для Гете его одиннадцать счастливых дней. Никогда не гаснет в памяти облачко, однажды зажженное тихим закатом, хотя сотни, быть может, более прекрасных и пышных закатов забылись, навсегда погасли; никогда не забудется летний дождь, а может быть, молоденький месяц, отраженный в рябоватой поверхности апрельского лесного ручья.

Видимо, для того, чтобы подобная или иная картина вошла в человека и стала частью его души и жизни, мало того, чтобы картина эта была прекрасна. Что-то прекрасное чистое должно в этот миг быть и в человеке — это, как разделенная любовь, миг соединения, встречи человека и мира, в котором он счастлив и несчастлив.

Мир был прекрасен в этот день. И, конечно, Севан — одно из красивейших мест на земле. Но я не был хорош, слишком уж много наслушался я рассказов о севанском ресторанчике «Минутка». Узнав историю влюбленной княгини, я спросил: «А где этот самый ресторанчик?»

Встреча с Севаном не вышла, не запала в мою душу, а чистое, божье не торжествовало во мне, я с бескрылой четвероногой низменностью беспокоился лишь о форели. Дело в том, что в начале поездки Мартиросян отравил меня словами: «Не всегда в «Минутке» бывает форель». Эти слова тревожили меня всю дорогу.

В Москве простому смертному севанской форели не поесть. Говорят, что ее на специальных скоростных самолетах отправляют из Еревана в Москву для снабжения посольств. Да и улов ее очень невелик. Действительно, обидно проехать 3000 километров, добраться до Севана и узнать, что в этот день форелью в «Минутке» не кормят.

А может быть, бесчисленные художественные изображения Севана отравили мне встречу с высокогорным озером? Роль художника нам всегда кажется прекрасной, нам кажется, что искусство, если

чание, и бессонница, и сгорбленная спина, все, все в нем есть выражение его огромной тоски. Да, все теперь стало мне ясно.

Когда мы завтракали, в кухне было необычайно шумно и весело, так шумно, так весело, что я приоткрыл дверь и заглянул,— что же там происходит? Я увидел хохочущую раскрасневшуюся Катю, хохочущую белозубую сестру-хозяйку Розу, смеющегося директора дома писательского творчества, всегда озабоченного и хмурого Тиграна — опального секретаря райкома, отца шести малолетних дочерей. Вся кухня смеялась, слушая маленькую, поворотливую старуху. Старуха была весела, глаза ее задорно блестели. Я, не зная по-армянски, слушая ее речь, стал смеяться вместе со всеми. Потом мне объяснили, что эта старуха—самая веселая женщина в поселке, она жена нашего сторожа Арутюна, родила ему пять сыновей... Есть у Гамсуна хорошее, прямо-таки чудное название романа: «А жизнь идет».

Мне почему-то, т. е. не почему-то, а вполне естественно почему, вспомнились казенные встречи с казенными людьми на улицах Еревана.

А мое вхождение в жизнь, узнавание жизни в горном поселке шло все дальше и все шире. И этому человеческому движению почти не мешало то, что мои собеседники очень плохо знали русский язык, вместо одних слов произносили другие и делали совершенно чудовищные ударения, а я, переводивший с армянского эпопею о медеплавильном заводе, знал два армянских слова — «че» и «барев».

Узнал я историю безумного старика Андреаса. О ней я уже говорил. Рассказал мне седой красавец Армо историю своей жизни, горести и тяжести свои,— его отец был одним из самых богатых помещиков Армении, а Армо стал одним из самых пламенных комсомольцев Армении. Да, нелегкий это был переплет. Находившиеся в Турции курды, почитавшие по старым временам отца Армо, узнав о его бедствиях, перегнали через границу пятьсот баранов в подарок разоренному помещику. А сын его в это время организовывал армянский комсомол, всем своим молодым, бешеным сердцем ненавидя помещиков и капиталистов, врагов трудового народа, всем своим сыновьим сердцем любя отца, гордясь его былой знатностью, гордясь тем великим почетом, которым пользовался отец среди стариков по ту и другую сторону Аракса. Но отец Армо не дожил до наших дней, похоронили его в Сибири, и никто не знает, где его могила.

Рассказал мне о своей жизни милый, задыхающийся в сердечной одышке старик Саркисьян. Он доживает со своей старой женой в тихом домике нетихую свою жизнь. Был он в молодости большим партийным деятелем, встречался в эмиграции с Лениным, затем объявили его турецким шпионом, били смертно, послали в сибирский лагерь, где он прожил девятнадцать лет.

И вот он вернулся, не озлобившись, а убежденным, что люди хороши, радуясь, что он обогатил свое сердце, общаясь за Полярным кругом с простыми русскими людьми, что он обогатил свой ум в барачных лагерных беседах с русскими учеными и интеллигентами-мыслителями.

Он рассказал много и о том, как, оскотинясь и озверев, лагерные люди жалеют людей, и о том, как погибающие не дают погибать погибающим, как чуть живые доходяги, нуждающиеся в помощи, помогают своим дружкам-доходягам, и что не мешали их доброте ни пурга, ни сорокаградусный мороз, ни национальные различия...

Он рассказал, как его жена приехала к нему из Армении за Полярный круг и поселилась у лагерной проволоки в нищей, грязной избе, сколько счастья пережил он от ее доброты, как он гордился ею, как хорошо относились к ней заключенные. Он сохранил умение смеяться от души, находить смешное в своей двадцатилетней каторге.

Он рассказал мне, как в тесной, маленькой камере ереванской тюрьмы сидели восемьдесят человек, все это были ученые люди — профессора, старые революционеры, скульпторы, архитекторы, артисты, знаменитые врачи, и как мучительно долго, каждый раз сбиваясь со счета, пересчитывали их охранники. А однажды стража вошла вместе со старым угрюмым человеком, он оглядел человеческий сплошняк на нарах, на полу быстрым взглядом и вышел. Так стало повторяться каждый день. Потом выяснилось, что этот старик — чабан. Администрация тюрьмы использовала при поверке заключенных его феноменальную способность мгновенно подсчитывать сотенные и тысячные стада овец. Конечно, это было смешно — подсчет пастухом стада профессоров, писателей, врачей, артистов.

Он рассказал, как, приехав из лагеря, некоторое время продавал газированную воду на улице Абовяна и как пришедший из района старик колхозник, попивая шипучую водичку, обстоятельно беседовал с ним. Саркисьян рассказал старику, что участвовал в подпольной работе, потом в 1917 году свергал царя, потом строил Советскую власть, потом сидел в лагере. «А вот теперь я продаю газированную воду». Старик подумал и сказал: «И зачем ты сбрасывал царя, разве он мешал тебе продавать газированную воду?» Конечно, это было смешно, у Саркисьяна на глазах стояли слезы, когда он рассказал мне эту смешную историю.

А от Ивана узнал я о событии, недавно взволновавшем всю молоканскую округу,— о том, как две большие русские молоканские семьи, семья плотника и семья мельника, перешли вброд ночью через Аракс из Турции в Армению. Побег готовился долго, много месяцев. Плотник переехал со всей семьей из-под Карса в домик к другу своему мельнику, жившему на границе. Во всех поистине поразительных по тонкости подробностях были узнаны привычки, повадки турецких пограничников, изведаны полноводия и обмеления Аракса. Безлунной ночью люди вышли на берег дохнувшей на них сыростью реки. Первыми пошли вброд мужчины, плотная сильная вода стала им по грудь, сбивала с ног, голосила, шумела, округлые камни беззвучно скрежетали под ногой, не хотели служить опорой; во мраке быстрая вода казалась страшной, как смерть, а пена на воде была очень белой, смертно бледной. Женщины шли следом за мужчинами, несли грудных детей на руках, на середине Аракса отцы взяли детей на руки, подняли над водой; бороды у них стали мокры от воды, но потом дно стало подниматься. Удивительно, что малые дети в темноте, над шумной холодной водой молчали, ни один не заплакал. Дважды переходили мужчины через Аракс, помогли переправиться старикам, подросткам, девчонкам,— семьи были большие, старинные. Выйдя на берег, люди стали на колени, плача, целовали землю, холодные прибрежные камни. Советские пограничники их заметили не сразу, уж очень темная была ночь. Кто-то из беглецов свистнул; тотчас пограничная стража окликнула их. На берег пришел начальник заставы, стал спрашивать беглецов. Он сразу же понял трогательную суть этого чрезвычайного происшествия. На берегу собрались офицеры-пограничники, из поселка прибежали жены начальствующего состава, неся одежду для женщин и детей.

Видимо, что-то пронзительно-трогательное было в этом ночном возвращении, в этой встрече вернувшихся из Турции русских бородатых мужиков с молодыми русскими солдатами, в этих плачущих офицерских женах, обнимавших молоканских старух и детей на берегу шумного Аракса. Рассказывая эту историю, Иван вдруг заплакал, а слушая Ивана, заплакал и я.

А в Цахкадзоре шла своя жизнь.

В заведении Карапета-аги собирались шоферы, продавцы из сель-

оно не ремесленно, сближает нас с природой, оно обогащает, углубляет, оно ключ. Но так ли это? Может быть, насмотревшись на сотню картин, я, наконец увидев Севан, подумал, что и эту, сто первую картину создал очередной член Союза художников.

Должен признаться, что полотна Сарьяна, которые я видел в Москве, не помогли мне ощутить Армению. Я ее увидел по-иному. Мне пришлось соскрести со своей души яркую радость сарьяновских картин, чтобы ощутить туманный древний камень трагического армянского пейзажа. Может, поэзия, живопись вредят душе, навязчиво служат шаблону духа, а не глубине духа? Но форель в этот день была в ресторанчике. Встреча с ней состоялась.

Ресторан, одноэтажный деревянный дом с террасой, стоит над озером, у подножия горы. В передней под нашими ногами зычно заскрипел дощатый пол. Мы прошли в пустынный зал, точнее, не в зал, а зальце, проще же — в просторную, прохладную комнату. В комнате стояло пять-шесть столиков, покрытых белыми скатертями. Окна комнаты выходили в сторону озера, но комната не была светлой — свету мешала крытая терраса, окружавшая дом.

Мы подошли к буфетной стойке — под стеклом, на больших овальных и круглых, как древние боевые щиты, блюдах лежали маринованные зеленые и красные перцы, различные травы, синие фаршированные баклажаны, уступами поднимались к потолку коньячные и винные бутылки. Это была свита, барабанщики, фрейлины и пажи — эскорт форели. Сама форель, видимо, находилась за полуприкрытой дверью. Через несколько минут улыбающийся седой буфетчик занял место за стойкой, и в комнату вошел высокий бледный молодой человек с кудрявой, растрепанной шевелюрой. Всякий, поглядев на него, определил бы в нем поэта.

Молодой человек обрадовался и даже взволновался, увидев Мартиросяна. Меня познакомили с молодым поэтом. Дальше разговор пошел на неизвестном мне армянском языке. Но я понимал, что этот живой, быстрый разговор был важный и хороший. И вот мы сели за столик у окна, поглядели на озеро, потом повернулись в сторону кухонной двери, в которую ушел молодой поэт.

Мартиросян кратко информировал меня: на кухне имеется свежая, утром вынутая из сетей форель, есть мы ее будем вареной, варить ее будут в севанской воде, что придает рыбе особый вкус. Пить мы будем коньяк и минеральную воду джермук.

Стало тихо. За окном молчало синее озеро. В пустом зальце мы были одни. Бесшумно подошел буфетчик, поставил на стол графинчик с зеленовато-желтой жидкостью, напоминавшей молодое вино. Мартиросян объяснил мне — это особый, винный уксус, его отличает мягкий и нежный вкус. Затем бесшумный буфетчик принес тарелки с солеными перцами, баклажанами, травами. Затем буфетчик принес бутылку коньяку, откупорил ее, открыл бутылку джермука, налил нам по бокалу охлажденной воды, негромко сказал несколько слов по-армянски и бесшумно ушел. Мы молчали, слышно было, как потрескивают буйные, быстрые пузырьки ртутного газа в потеющем стекле.

Мы сделали по маленькому глотку воды, пожевали пламенной травки, огненного перца, сделали по два глотка ледяной воды. Все было тихо. Вновь подошел буфетчик, оглядел стол, потом нас — так, вероятно, устроители корриды оглядывают боевых быков перед тем, как выпустить их на арену. Буфетчик смахнул салфеткой со свежей, белой скатерти условные крошки и удалился за стойку. Мы молчали.

И вот шумно распахнулась кухонная дверь, выглянула очень полная, низкорослая, румяная, черноглазая женщина в белом халате, послышались сдержанные, взволнованные и смеющиеся мужские и женские голоса, и молодой поэт, закинув голову, высоко держа

большое белое блюдо, над коим обильно клубился пар, направился к нам.

Вот так же, как человек, описывающий свадьбу, замолкает, когда рассказ его дошел до того момента, как молодые зашли в спальню, так и я замолчу в тот миг, как блюдо с форелью было поставлено на стол и Мартиросян разлил в рюмки коньяк.

Да, да, да — встреча моя с высокогорным озером Севан не состоялась, я оказался бескрылым, заземлила меня форель.

VIII

Месяц прошел в непрерывных и тяжких трудах. Решено отдохнуть, мы едем гулять, как здесь говорят,— пировать — в район города Дилижана. Дорога идет мимо Севана, через Семеновский перевал, к границе Азербайджана.

В корзине бутылки, сырое баранье мясо, вчера Арутюн зарезал овечку. «Бейдный овечка»,—сказал Мартиросян, инициатор убийства. На его совести сотни овечьих жизней, он любит шашлык. В багажник шофер Володя укладывает сухие дрова, шампуры — шашлычные рапиры.

В маленький стеклянный автобус первыми садятся дамы — жена Мартиросяна Виолетта Минасовна, моя сопереводчица Гортензия; затем садятся автор эпопеи о медеплавильном заводе, директор дома писательского творчества опальный секретарь райкома Тигран и я — переводчик, знающий по-армянски два слова — «че» и «барев».

У Виолетты Минасовны красивые серые глаза, она изумительно готовит армянский куриный суп, голубцы, завернутые в виноградные листья,— долму, она дивно фарширует перцы и синие баклажаны, она фарширует орехами персики. Она гостеприимна, мила, но не лишена недостатков. С ней нелегко ездить в автобусе — слабым, но властным голосом она требует остановок у каждого сельмага, независимо от того, промтоварный он или продуктовый. Ей хочется найти кофточки и туфли для дочерей, кроме того, она подчинена идее гречневой крупы. В дороге она упрекает мужа — он много курит, а ей трудно дышать продымленным воздухом. Слов я не понимаю, но иногда голоса становятся недобрыми, в черных глазах автора эпопеи вспыхивает огонь. Так горят они, когда он смотрит на «бедную барашку». А серые глаза Виолетты увлажняются слезами обиды.

Переводчица Гортензия влезает в автобус боком, с грацией толстухи. Армянские юноши смотрят на нее глазами молодых волков. Ее успех здесь грандиозен, он пришел на смену московскому скептицизму, обращенному к ее титанической груди и легендарным бокам. Она себя чувствует здесь, как Гоген, который после долгих лет непризнания стал кумиром снобов. Успех пьянит ее, но она очень нервна. Это цена славы. И все же деловая энергия Гортензии огромна. Эту женщину нельзя сравнить ни с одним порождением земной фауны и флоры, это самка бульдозера, дочь ковша шагающего экскаватора. По утрам Гортензия худеет, прыгает через веревочку,— дом, построенный когда-то богачом молоканином Сливиным, дрожит. Так дрожит земля вблизи Везувия. Гортензия порывиста, добра, бесцеремонна, цинична.

Она чистит друзьям-мужчинам ботинки, стирает им носки, подштанники, покупает для них на базаре яблоки и кислую капусту, снабжает их лекарствами, всегда готова поставить пожилому товарищу банки, а если нужно и мыльную клизму. Она отдаст товарищу все свои деньги, будет месяц дежурить у постели больного. Она страстная патриотка, армянка. Но ей нравятся русские мужики. Она очень чувствительна, любит музыку, стихи, цветы и живопись, но в разговоре употребляет самые крепкие русские слова. В том числе и матер-

ные. Ее главная странность в том, что она одновременно аморальна и в то же время по-христиански добра. Иногда она озабоченно говорит: «Пойду работать, буду вкалывать до самого ужина». К ужину она выходит заспанная, краснолицая, пылающая, как домна,— от обеда до ужина дом был наполнен ее могучим храпом. Иногда она плачет, ее слезы обильны, как африканский ливень. Плачет она чаще всего от обиды, реже от боли, еще реже от жалости.

Да, так кто же хорошие, кто плохие люди? Добрые люди всегда ли хорошие? А плохие бывают ли добрыми? А добрые все же бывают плохими?

Таковы наши дамы.

Сказание о Мартиросяне. Больше всего на свете он любит свой народ. Это даже не любовь, это — страстное обожание. История народов, мировая литература, архитектура, философия, человечество, Солнечная система, Млечный путь, галактика, метагалактика, все существует как следствие, сопутствующее глобальному, космическому армянскому приоритету.

Иногда эта страсть трогает, восхищает, иногда кажется милой и смешной, иногда она не кажется милой и смешной, ошарашивает подобно безумию.

Мартиросян, пятидесятилетний мужчина, высокий, темноглазый, с приятным умным лицом, с несколько великоватым мясистым носом; он собеседник и рассказчик, гастроном, знаток коньяков, человек, который, по выражению Анатоля Франса, любит хвалить господа в творениях его. А творения господа беспредельно разнообразны, к ним относятся не только внучки Евы, но и суп хаш, и суп спас, и шашлык из бараньих почек, и розовая форель, и сельский мацун, и вода джермук, и бильярд, и фаршированные синие баклажаны, и дом из розового туфа на берегу журчащего горного потока, и купе международного вагона, и беседа друзей, и кресло в президиуме...

Мартиросян как-то очень естественно, просто объединил культ дивной армянской архитектуры, армянского пейзажа, армянской старинной гусанской песни, армянской пергаментной мудрости, записанной на грабаре, с культом своей личности. Он искренно и глубоко любит себя. Он обожает себя так же поэтично, как обожает синюю воду Севана, снега Арагаца, розовую от цветущих персиковых деревьев Араратскую долину. Он дорог себе так же, как дороги ему бесценные богатства Матенадарана. Он любит рассказывать милые истории о том, как он попадал в смешное положение, как сердито критиковали недруги его книги, как студенты хлопали Ширазу, а ему не хлопали, как в сталинские времена он проявлял покорность. Но это не самокритика, как может показаться. Наоборот, эти рассказы — выражение глубокой любви к себе, это слабости и чудачества бога.

IX

Дорога на Дилижан очень красива.

Мы проехали по берегу Севана, мимо нас мелькнул ресторан «Минутка», но я не поглядел в его сторону. Машина пошла в гору.

Как могуча, ужасна и добра сила привычки! К чему только люди не привыкают — к морю, к южному звездному небу, к любви, к тюремной койке и к лагерной проволоке.

Какая бездна лежит между первой ночью страсти и скрипучим разговором с женой о воспитании детей! Что общего между чудной встречей с морем и походом в душный полдень на морской берег за покупкой в киоске сувенира! Ужасно отчаяние потерявшего свободу человека. И вот он, зевая, размышляет на койке, будет ли тюремная баланда со шрапнелью или с квашеной капустой. Эту бездну создает привычка. В ее кажущейся монотонной неизменности всесокрушающий динамит. Привычка уничтожает все: страсть, ненависть, горе, боль! Ничто не противостоит ей. И вот я привык к севанской форели, больше того — она надоела мне.

Мы проезжаем через деревню, мальчишки стоят поперек шоссе и поднимают в воздух форелей.

— Давайте купим форель, мы зажарим шашлык из нее,— говорит Мартиросян. Шашлык из форели — это новое, каток привычки не проехал по такому шашлыку.

— Что ж, давайте купим форель. Володя, стой!

Юные продавцы суют нам связки рыбы — тела мертвых княгинь все еще прекрасны, но глаза их слепы, рты полуоткрыты, искривлены гримасой смерти.

— Почем? — спрашиваю я.

— Двадцать пять рублей старыми деньгами кило,— переводят с армянского дамы.

Мой вопрос носит теоретический характер, я гость и лишен права платить по ресторанному счету, за газированную воду, за яблоки, купленные на базаре, за билет в троллейбусе, за газету, за почтовую марку. Вначале это меня смущало, расстраивало, раздражало. Но беспредельна мощь привычки, и вот уже я привык к тому, что на улице мне никак не истратить ни рубля, ни пятака. Правда, иногда это безмятежное чувство покидает меня,— не слишком ли быстро я приобрел эту странную привычку, и почему она начала мне казаться приятной? К тому ли меня приучали в детстве?

У каменной стены сидят десятка три колхозников. Хотя день будний, время рабочее, утреннее, незаметно, чтобы они строили коммунизм,— большинство перебирает четки.

После войны резко изменился облик армянской деревни: тысячелетние, древние, темные и тесные, вырытые в земле хижины, выложенные булыжником, почерневшим от кизячного дыма, исчезают, уходят, перестают существовать. Год от года число этих древних хижин все уменьшается. Во многих армянских деревнях они полностью исчезли. Их нет, а ведь были они неизменны на протяжении тысячелетий.

Мы осматриваем новые, светлые колхозные дома, потом мы осматриваем старые дома,— каменные продымленные норы с тондырами, вырытыми в земле. Нет сомнения, что новые, светлые дома лучше старых. Мы возвращаемся к машине.

Колхозники окружают Мартиросяна, беседа идет оживленно. Потом Мартиросян говорит речь. Удивительно хорошо умеют слушать армянские крестьяне. С таким задумчивым выражением лица можно слушать проповедь апостола.

Мартиросян подходит к машине, лицо его оживлено. Он говорит, что почти все его деревенские собеседники читали его роман, так вчитались в книгу, сроднились с ее героями, что просят автора изменить некоторые жестокие судьбы: потерявшему во время аварии две ноги вернуть одну ногу, просят оживить нескольких покойников. К нему обращаются, как к богу, всемогущему хозяину мира, в котором живут созданные им люди. Он хозяин их жизни и судьбы. Какое высокое чувство! Ведь это действительно счастье — люди, созданные тобой, стали частью любимого тобой народа. И как все же добр народ: он никогда не просит оторвать вторую ногу у того, кто стал одноногим калекой. Он не просит заменить орден Суворова, врученный полководцу, медалью «За боевые заслуги» или значком «Отличный повар». Он не просит о том, чтобы сын озлился на старую мать, которая пишет ему на фронт письма, полные фальшивого елея. Он не просит бога взыскать с ответственного работника, который

в метельную стужу и в знойной пыли, при лунном свете и при свете солнца изрекает истины, одни лишь истины.

Да, народ великодушен, он просит у бога снисхождения и сострадания.

Земные боги — члены Союза писателей, художников, композиторов — создают мир по образу и подобию своему.

Вот мир Хемингуэя. А вот мир Глеба Успенского. Ну, конечно, они разные — ведь Хемингуэй описывает людей, обожающих бои быков, экзотическую охоту, пишет испанских динамитчиков, рыбаков у берегов Кубы, а Успенский описывает тульскую пьяную мастеровщину, будочников, городовых, уездных мещан и деревенских баб.

Но миры-то, миры создаются не по образу русской бабы и не по образу рокового красавца тореадора! Мир-то создан по образу и подобию Успенского и Хемингуэя. И вот это-то и особенно интересно — пусть Хемингуэй населит свой мир русскими будочниками и в доску пьяными тульскими слесарями, мир будет тот же хемингуэевский. И все в нем — мокрые осины, грязные проселки, пыль, лужи, домишки, серое осеннее русское — небо будет хемингуэевским. И в пронзительно тоскливом мире Глеба Ивановича Успенского пронзительно тоскливым будет и синее небо Испании, и дивный красавчик тореадор, кушающий молодых угрей в чесночном соусе и прихлебывающий виноградное вино.

До чего же несовершенны и слабы земные боги, создавшие мир по земному образу и подобию своему,— Гомер, Бетховен, Рафаэль. Что за образ, что за подобие,— вот синий космический, переложенный в краски душевный мир Рериха — всё в нем однообразно синее: и горы, и люди, и снег, и деревья, и воробьи. А вот мир углов, квадратов: всё в нем углы и квадраты — и девушки, и цветы. А рядом чудной кривой и косой мир Пикассо. А дальше странный мир спиралей, запятых, загогулин. А дальше невнятный, бормочущий, туманный, философский мир Пастернака.

Вот миры многозначительных бессмыслиц, миры бессмысленных многозначительностей. Вот миры одержимых: одни одержимы любовью, другие — вином, третьи — войной, четвертые — желанием сеять квадратно-гнездовым способом, пятые беспрерывно и непроизвольно мыслят.

А есть миры, созданные гениальными школьниками, они хотят воссоздать, дать в тиражах тот мир, что напечатан лишь в одном экземпляре. Это великие школьники — они пишут переложение мирового чуда, они художники-реалисты...

Но все эти миры — миры живого образа и подобия!

А ведь есть совсем иные боги, расторопные, услужающие, боги-официанты, боги «чего изволите», эти живо создают миры по конторскому заказу, по циркулярному мечтанию, по резолюции министерства. Их мир населен бумажными призраками, раскрашенными картонными и восковыми фигурками. Это мир фанеры, жести и папье-маше. Эти мыльнопузырные миры всегда полны гармонии и света, целевые миры, в них все разумно. Но чьим подобием являются они? Вот в чем вопрос.

Да, миры, которые создают боги пера, боги кисти и боги струны и клавиш по образу и подобию своему, полны несовершенств и неразумия, они недопечены, перекошены, перекривлены, в них смещения, они куцы, убоги, иногда смешны, в них идиотическая прелесть примитива и наивности, в них смешное глубокомыслие, кубиковый пафос добра, в них милая суета и восторг перед собственной утонченностью и красотой, в них слепота страдания, в них бессмысленная надежда, в них нудная монотонность одной краски, в них дурацкая ситцевая пестрота.

И ведь удивительно и странно, но в самой безумной картине самого абстрактного субъективиста, создавшего нелепое соединение линий, точек, пятен, больше реализма, чем в гармоничных мирах, сработанных по конторскому заказу. Ведь странная, нелепая, безумная картина есть истинное выражение хотя бы о д н о й живой человеческой души. А чью же живую душу выражает гармонический, полный натуральных подробностей, полный тучной пшеницы и дубрав мир, воздвигнутый по конторскому заказу? Ведь у конторы нет души, она ведь не живая.

Совершенных миров не существует. Существуют лишь те смешные, странные, плачущие, поющие, усеченные и несовершенные вселенные, созданные богами кисти и струны, вложившими в свои создания грешную либо безгрешную кровь и душу свою. Вероятно, истинный господь Саваоф, создатель мироздания, с усмешкой глядит на эти миры.

Графоманы, сердясь на то, что их произведения отвергаются в редакциях журналов, обычно говорят: «Непонятно, почему моя рукопись не принята. Недавно сам главный редактор опубликовал свое создание, ей-богу, совершенная дрянь, никак не лучше моего романа». Именно таким способом, именно этими графоманскими доводами должны защищаться от усмешки господа Гомер и Бах, Рембрандт и Достоевский.

Ведь не писатели и поэты, не композиторы создали душу Эйхмана, шестидесятиградусный мороз Верхоянска, тарантулов и кобр, бессмысленные провалы и бездны космоса, раковые клетки, испепеляющую радиацию, малярийную топь, рядом с вечной мерзлотой огненный песок Каракумов, безумие, жестокость и бессмысленность мироздания.

Позволительно будет спросить у божественного насмешника, по чьему образу и подобию построено человечество, по чьему подобию созданы Гитлер, Гиммлер? Люди не дали Эйхману души, они лишь сшили для него мундир оберштурмбанфюрера. Много божьих созданий прикрыли наготу свою мундирами жандармских генералов, шелковыми рубахами палачей.

Призовем к скромности творца, он создал мир сгоряча и, не работая над черновиками, сразу же отпечатал его. Сколько в нем противоречий, длиннот, опечаток, сюжетных неувязок, лишних персонажей! А мастера знают, как больно кроить, резать живую ткань сгоряча написанной и сгоряча изданной книги.

И вот мы выезжаем из деревни.

X

Первое, что я увидел, приехав в Армению, был камень. Уезжая, я увез виденье камня. Вот так в человеческом лице запоминаются не все, а некоторые черты его, особо полно выражающие характер, душу: суровые ли морщины, кроткие ли глаза, а может быть, слюнявые, толстые губы. И вот, кажется мне, не синева Севана, не персиковые сады, не виноградники Араратской долины, а камень выразил характер и душу армянской страны.

Такого камня, так лежащего камня я никогда не видел, а я видел хребты Урала, скалы Кавказа, великий камень Тянь-Шаня. В Армении поражает не скальный камень, не тот, что образует горные пики, ущелья, крутые склоны, снежные вершины. Потрясает камень плоский, лежачий, каменные луга и поля, каменные степи.

Камень не имеет начала и конца, он лежит плоско, густо, безысходно, безначально и бесконечно. Кажется, что тут работали каменотесы, тысячи, десятки тысяч, миллионы каменотесов, кажется, что

они работали день и ночь в течение многих лет, веков, тысячелетий. Они разъяли клиньями и молотами огромные горы, раздробили их на осколки, пригодные для строительства крепостных стен, хижин, храмов. Из развала этой огромной каменоломни можно составить гору, на вершину которой ляжет навечно снег; из этой каменоломни можно вывезти столько строительного камня, что его хватит на постройку всех земных Вавилонов, начиная от того, что был засыпан песками три тысячи лет назад, и кончая тем, что сегодня гудит по ту сторону Атлантического океана.

Но когда глядишь на эти черные и зеленые камни, понимаешь, кто был каменотесом, заготовлявшим их. Время! Этот камень необычайно древний, и кажется, что он почернел и позеленел от старости. Могучее тело базальта было раздроблено ударами тысячелетий. Горы рассыпались, время оказалось сильнее базальтовых массивов. И вот уже кажется, это не вселенские каменоломни, это поле битвы между огромной каменной горой и громадой времени. Два чудовища сразились на этих полях, и время победило — горы умерли, пали так же, как пали в битве со временем комары, мотыльки, люди, одуванчики, дубы и березы. Мертвые, побежденные временем горы лежат, обращенные в прах, их скелеты рассыпались, их черные и зеленые кости валяются на поле проигранной битвы. Время торжествует, оно непобедимо.

А минутами кажется, что в этом странном и страшном царстве земля родит не жизнь, а смерть, здесь вместо шиповника, кизила, травы из земли растут черные камни, апрель и май не рождают здесь цветов, а один лишь камень. Камень прет из чрева земли, заполняет ее поверхность; угрюмые, равнодушные силы напоминают о том, что тончайшая кисея чернозема, кисея жизни едва-едва прикрывает мертвый космический шар, выточенный из тяжелых руд и излившихся горных пород. Здесь-то и видно, как случаен, мимолетен голубой и зеленый рай земной. Тут-то видна истинная угрюмость земли, видна без фальшивой игры и жеманства, без птичьего гама, без цветочного весеннего и летнего одеколона, не припудренная живой пыльцой.

Вот идешь среди камней по каменному полю. Как странно, как удивительно странно! Каменные кости, оказывается, лежат на плоском каменном ложе. Тут вообще нет земли. Нога ступает по черному, зеленоватому, рыжему отциклеванному, отшлифованному каменному паркетному полу. Он гладкий и скользкий и, кажется, натерт воском. Иногда померещится — вот впереди кусок черной земляной земли, но нет — это не земля, это черный каменный пол. А вот рыжая, глинистая лужа. Нет — это рыжие плиты каменного паркета, гладкого, поблескивающего, натертого воском. Здешний полотер знаком мне, он ведь и здешний каменотес — время, время, непобедимое время.

Армянские художники, мне кажется, ни разу во всю силу не изобразили эту каменную россыпь, лежащую на гигантском каменном паркете. Как странно думать, что живописец, изображающий радостный, праздничный хаос цветущих лугов и садов, считается национальным художником Армении. Как грустны, странны, эфемерны цветущие луга и сады на трагическом фоне истории древнего народа, на трагическом фоне мертвых, рассыпавшихся гор! И вот громада камня породила у меня особое чувство к народному труду армян.

Маленький народ стал казаться мне народом-великаном.

Я вспоминал обилие плодов, которое увидел на колхозном рынке в день своего приезда в Ереван, и одновременно передо мной стоял молчаливый и неумолимый камень Армении.

Лишь великану под силу превращать камень в сладчайший виноград, в сочные холмы овощей. Румяны персики и яблоки Армении, непоколебим ее камень, безводны, сухи склоны ее гор... Титанический труд породил эти персиковые сады среди жаркого камня, исторг виноградный сок из базальта.

Когда-то, молодым человеком, я приехал работать в Донбасс. Мне пришлось работать на самой глубокой, самой газовой, самой жаркой шахте в СССР — «Смолянке-II». Глубина ее ствола была восемьсот тридцать два метра, а продольные на восточном уклоне лежали на глубине больше километра. Я увидел труд забойщиков, крепильщиков, коногонов в жаркой и влажной глубине «Смолянки». Меня поразила суровая мощь всесоюзной кочегарки. И вот теперь, под синим армянским небом, глядя на лежащие среди камня виноградники и сады Армении, я вспомнил Донбасс.

Минутами мне казалось, что над виноградниками стоит дымное зарево великой работы доменщиков и сталеваров, что камень Арагаца дробят шахтерские отбойные молотки, режут буры врубовых машин.

Какой огромный, тяжелый и умный труд! Но этот труд не только огромен. Труд этот — свидетельство смелости, бесстрашия человека. Если солдаты — чернорабочие люди войны, то человек с молотом, заступом, плугом несет в себе бесстрашие солдата.

Маленький великан наступает, замахнулся на двух чудовищ — горы и время,— камень Армении дрогнул и стал отходить: ширятся отбитые у врага, освобожденные от камня, оживленные водой гектары армянской земли.

Какой-то особой, волшебной силой обладает здесь вода. Это действительно сказочная, живая вода, воскрешающая мертвых.

И когда глядишь, как по прорытым среди крутого камня каналам движется вода, растекается по склонам гор, обращается пышным чудом садов и полей, кажется, что крестьяне, рабочие и инженеры Армении опровергли и отменили Ньютонов закон вселенского тяготения,— вода словно бы сама по себе карабкается вверх, а не бежит вниз, вода, как альпинист, стремится к горным вершинам, идет, шагает, всползает на каменные холмы, кряхтит, сопит, морщится, взбирается по кручам, указанным ей бесстрашием человека.

А маленький великан неустанно творит свой геркулесов подвиг. В потоки света превращаются потоки горной воды, мертвая россыпь камня обращается в полные живого гама дома. Шелковая серая сеть дорог легла на горы, холмы и долины Армении.

Человеку присуще наступать. Наступление — это стратегия человеческой культуры. Человек наступает на болота и океанские просторы, на льды, на болезни, на лесные массивы, на вечную мерзлоту, человек забрался на небо.

Маленький великан неутомимо и бесстрашно наступает на безводный камень Армении. Маленький великан гонит воду вверх по горной круче, и эта вода рождает из камня пшеницу и виноград, он рушит горную воду в долины и высекает из воды огонь электричества. Маленький великан оживляет мертвый камень, и тот становится живым кристаллом, он обращает рудные комья в звенящую медь. Он долбит толщу тысячелетий и собирает древний мед в прохладе Матенадарана.

Маленький великан, упершись в хрусткий снег Арагаца, пробуривает бездонную бочку парсеков и, преодолев муть пространства, вглядывается в зрачки Вселенной. Дымное зарево бессонного труда стоит в безоблачной синеве армянского неба.

Но маленький великан не только трудится, он любит выпить и закусить. Он пьет и закусывает, а выпивши, он пляшет, шумит и поет песни.

Машина въехала в русскую, молоканскую деревню, и вдруг встали видения и образы Пензы, Воронежа и Орла — бородатые дядьки,

белоголовые мальчишки в драных ситцевых рубахах навыпуск, в стоптанных взрослых валенках, избы с подслеповатыми окнами. И даже в собачьем брехе, в поступи петухов ощущалась Россия.

И вот мы поднялись на Семеновский перевал, здесь начинается чудесная дорога, ведущая к Дилижану. Этой дорогой в 1928 году проехал Максим Горький. Этой дорогой проехала в 1941 году моя тетя Рахиль Семеновна, эвакуированная из Одессы. Конечно, об этом нет смысла писать в литературных заметках. Горький всемирно знаменитый писатель, а тетя моя никак не лезет в литературу — ее папа Семен Моисеевич был страховым агентом и считался среди родни человеком ограниченным и неумным. Да и тетя, говорят, не блистала научными достижениями, учась в одесской частной гимназии Лебензона. Считалось, что она унаследовала невосприимчивость к литературе и к алгебре от отца и не походила на свою мать, Софью Абрамовну. Но Рахиль Семеновну все родные очень любили — ее отличала большая доброта, безропотность, приветливость. Ей выпала нелегкая жизнь — ее муж, экономист, был без вины репрессирован в 1937 году и умер на Колыме, ее сын Володя, читавший, несмотря на молодые годы, микробиологию в университете, был репрессирован и забит следователем в тюрьме, не хотел сознаться, что отравлял колодцы; ее дочь Нина, девушка удивительно милая и красивая, покончила самоубийством в день, когда ей вручили диплом с отличием об окончании Химического института, ее младший сын Яша был убит на фронте во время кавалерийской атаки — он был бойцом-конником. А все ее родные, близкие, друзья, оставшиеся в Одессе, погибли страшной смертью в деревне Доманеевке, куда немцы вывезли на казнь девяносто тысяч одесских евреев.

Путешествие в Дилижан этой кроткой женщины не лезет в литературные заметки. Заплакала ли она, глядя на чудную красоту горной дороги и оглянувшись на свою жизнь, или понадеялась, улыбнулась грустно, нашла в этой красоте какое-то утешение и надежду? Сие не суть важно.

Я расспрашивал своих спутников: кто из великих людей проехал этой чудной дорогой? Но, конечно, я и не думал сообщать им: «А знаете, моя тетя проезжала здесь зимой 1941 года». Недотянула она, старуха, пребывает в косяке безымянной камсы, сельди. А, как известно, обстоятельства жизни камсы и сельди в историю не попадают.

Ну вот, машина прошла Семеновский перевал. Шоссе идет в горах, делает шестнадцать просторных многокилометровых витков, пока не спустится в долину. Спешить здесь нельзя,— дорога узкая, обрыв смертельный. Даже бешеный темперамент армянских шоферов не проявляется на этой дороге — машины идут чинно, медленно, как разумные существа, боящиеся за свою жизнь.

Неспеша, плавно открываются чудные картины, они возникают, плывут мимо глаз, медленно исчезают, а после поворота на витке вновь появляются, начинают наплывать, расти, наворачиваться, но уже в несколько измененном положении, чуть-чуть по-иному. И вместе с той картиной, что уже знакома, щедро появляются, растут новые, невиданные чуда.

Склоны гор поросли сосновым лесом, сосны огромны, солнце не пожалело своей силы на них. Вершины гор покрыты снегом. Эти вершины очерчены плавными округлыми линиями — напоминают сахарные головы. Они напоминают сахарные головы людям, которые старше пятидесяти лет,—-уже много десятилетий заводы не выпускают сахарных голов, завернутых по плечи в толстую синюю бумагу.

Какими скупыми и простыми средствами пользуется природа для того, чтобы создать картину необычайной силы. Спокойный и ясный зимний день, снег на горах, сосны, белое, зеленое, синее... То ли огромность неба и бесконечного медного леса, то ли суровый покой, то ли предельная чистота красок — не может быть белый цвет более этого чистого горного снега, не может быть синева чище, глубже, ясней, чем синева неба над этим горным снегом,— то ли дышащий дым, стелющийся в долине, то ли все это, соединенное воедино, создает картину удивительную по живописной прелести своей, по простоте, по внутренней мудрости.

Человек глядит на этот молчаливый и ясный мир, мир хрустального покоя и чистоты, и начинает понимать, что суета жизненной долины не нужна ему, что она губит его душу. Человеку, соблазненному великой чистотой снежных вершин, начинает мерещиться подвиг отшельничества, он видит хижину в лесу, он слышит шум горного ручья, он глядит на звезды, они поблескивают меж сосновых игл.

Обо всем этом невольно стал думать и я, ведь действительно жизнь в долине так горька, так мутна; сколько горя причинил я людям, вероятно, больше, чем люди причинили мне. Надо жить одиноко.

Но пока я думал о жизни на снежной горе, наш стеклянный автобус спустился в долину, побежал, набирая скорость, по ровной дороге.

Обочины шоссе здесь были покрыты не снегом, а жидкой грязью. В грязных лужицах отражалось солнце, и никто бы не заподозрил его в том, что оно декабрьское — таким ярким и теплым было оно.

Мы въехали в деревню, и сразу не стало мечты об отшельничестве. Домики стояли среди сосен, обхватывавшие их терраски и галерейки были полны ребячьей, стариковской и женской жизнью: воображение угадывало времена сельского года и часы деревенских суток, и так ясно встала жизнь людей в этих домах, на этих галерейках у источника — и в час весеннего рассвета, и летним вечером, когда слышно мужское пение, звуки зурны, мычание коров, и в знойный полдень, когда старики дремлют в холодке, перебирают четки, поглядывают на молодых баб, идущих с кувшинами и ведрами к источнику.

Убийцы с добрыми, честными лицами разделывают окровавленное тело только что убитой ими овцы. Пошатываясь, идет упившийся пьянчуга. Вот она, грешная жизнь грешной долины.

И почему-то недавние мысли вызвали какую-то неловкость, вспомнились насмешливые строки Саши Черного:

Жить на вершине голой, писать простые сонеты
И брать у людей из дола хлеб, вино и котлеты.

Да есть ли мужество в отшельничестве? Есть ли мужество в уходе от жизни? Вот и самоубийство — уход от жизни. Уход в вечное отшельничество. Что же это — слабость, трусость, бегство? Но так ли? Иногда мне кажется, что самоубийство — это высшая сила слабого человека. Человек был слаб, жил не чисто и ради потерянной чистоты своей и того, что нет у него, слабого, силы жить так, как надо, ушел из жизни. Слабость ли это? Не знаю. Но подумаем — легко ли отказаться от всего того, чем владеет слабый человек,— борща с фасолью, вина, моря, любви, весеннего неба.

Иногда самоубийство кажется проявлением совсем иных сил — это отчаяние существа капризного, привыкшего к баловству; человек не получил того, что хотел, и он, капризун, считает невыносимым не иметь того, что он хочет, и вот он уходит из жизни, уходит от обиды, что его обделили сластями, от досады, перешедшей в отчаяние.

Иногда самоубийство — это вывод большого ума, видящего, что впереди стена, пропасть, болото, видящего это, когда близорукие и неумные копошатся в трясине надежд и оптимизма.

Иногда самоубийство — это проявление слепоты, ограниченности: человек видит лишь стену, приходит в отчаяние и не замечает в близорукости своей, что тут же рядом дорога, дверь.

А часто самоубийство — это следствие душевной болезни спившихся, морфинистов, людей, для которых и зелень травы, и море, и солнце — все покрылось коростой тоски и боли.

Эти люди добровольно умирают потому, что мир, в котором они живут, обессмыслен, умерщвлен ими.

Иногда самоубийство — это верность делу: что мне моя жизнь, погибло высокое дело, которому я служил.

Иногда самоубийство — это измена делу: что мне великое дело, если от меня ушла моя обожаемая, милая, кроткая.

Но одно мне ясно: самоубийство — это не просто поступок, это сверхпоступок сильных ли, слабых ли. Малое, очень малое число сильных и слабых способны на этот грозный и страшный шаг, добровольный, последний...

Отшельники двадцатого века живут не в кельях и пещерах, не в лесных скитах и не в пустынях. Поэтому и кажется, что нет в современном, цивилизованном мире отшельников. Но это не так. Их много. Их больше, чем было во времена христианского мученичества. Их кельи замаскированы, они расположены в городах современного мира, в коммунальных квартирах, они на московских и киевских улицах, отшельники вкалывают в цехах, служат в министерствах, работают малярами. Они ходят в пиджаках, в демисезонных пальто, в каракулевых шапочках пирожком.

Но они такие же отшельники, ушедшие из мира в пустыню, как и те, что в рваных звериных шкурах, в тканных из сухих трав рубахах искали высшего откровения в подвиге лесного уединения.

Некоторые из этих отшельников в уединении своих келий каются перед богом в грехах, другие в тайных стихах поют свободу, любовь, красоту, третьи, подобно Пимену, пишут летописи,— все они объединены тем, что главным в своей жизни считают не часы и дела житейской суеты, а уединенную жизнь в скиту. Все они объединены тем, что служат своему богу в глубокой тайне, не делясь с миром своим откровением, не стремясь вернуться из пустыни, в которую удалились, и поведать людям о посетившем их свете.

Мне кажется, что именно на отшельниках двадцатого века с особой, прямо-таки предельной ясностью видно и то возвышенное, и то бессильное, что миряне всегда подмечали в тех, кто уединился в пустыне. Отшельники из коммунальных квартир всегда помнят о бездне, что лежит между судьбой отшельника во имя тайной правды и судьбой проповедника и пророка этой правды.

Видимо, никогда и не помышляет современный отшельник переступить эту бездну и даже приблизиться к ее краю. В мире много отшельников, но редки, редки в нем пророки и проповедники.

Город Дилижан — чудесный город. Он чудесный город потому, что не стоит на железной дороге, потому что нет авиалинии, соединяющей его с миром. Он отшельник, частично, конечно. Горы уберегли его от путей современного транспорта, лес спрятал его — его каменные и деревянные дома стоят на склонах горы среди высоких сосен. Этот город полон тишины, он одновременно и город, и деревня, и дачный поселок.

Он наполнен покоем, он сохранил в себе то милое, что было в патриархальном немилом прошлом. Он не враждебен природе, горный лес доверчиво впустил его в себя; город и лес живут вместе.

Большинство домов в Дилижане выкрашено в светло-голубую краску, лес не страшится того, что эти дома построены из дерева; садовые деревья стоят рядом со своими лесными прирученными братьями. Цены на фрукты в Дилижане дешевые — ведь вывоза мало, нет железной дороги. Яблоки в Дилижане большие, сладкие, сочные... Вина на базаре много, оно мутное, опаловое, холодное, его продают бутылями, графинами, кружками, стаканами. Продавцов на базаре в Дилижане больше, чем покупателей.

В Дилижан влюбляешься с первого взгляда. И первая мысль влюбившегося человека — сюда, только сюда надо приехать исцелять душу. Здесь можно найти покой, мир, тишину, ощутить прелесть вечерних гор, молчаливого леса, журчащих ручьев.

Но ведь это не верно. Не прав был молодой Лермонтов, написав:

...Тогда смиряется души моей тревога...

Ужасна, неугасима тревога человеческой души, ее не успокоишь, от нее не убежишь, перед ней бессильны и тихие сельские закаты, и плеск вечного моря, и милый город Дилижан. И вот Лермонтов не успокоил у подножия Машука свою тревогу. От скрежета тоски не спасешься тишиной, не остудишь смолы, которая жжет нутро, горной прохладой, не заполнишь кровавую брешь жизнью в чудном городе Дилижане. Вот и старая эвакуированная женщина, Рахиль Семеновна, спокойно ли, мирно ли спала она здесь, не плакала ли по ночам?.. Плачет Рахиль по детям своим и не хочет утешиться, потому что их нет...

Мы едем к границе Азербайджана. Справа шумит горная река, слева у дороги деревни, полные до края деревенской прелестью, той, которой так приятно и сладко любоваться из окон машины, той, которую не ценит деревенский народ, упорно стремящийся в город. Дальше высятся холмы, за ними скалы. Лес кончился, холмы покрыты колючей, прокаленной летним зноем травой. Скалы обрывисты, красные, черно-коричневые. Но земля тут распрямляется, горы иссякают, рождается степь, идущая к Каспийскому морю.

Мартиросян показывает мне красные отвесные камни и рассказывает, что здесь живут дикие пчелы. Скалы настолько отвесны, что никто еще не смог взобраться на них, и мед, накопленный трудом несметных поколений горных пчел, переполняя пещеры, льется с высоты — люди у подножия скал собирают его.

Но вот мы выбрали место на берегу реки. Володя складывает из булыжников очаг, разводит огонь, насаживает на шампуры баранье мясо, потрошит княгинь, моет их тела в реке. Дамы в это время раскладывают скатерть, закрепляя ее края увесистой речной галькой, достают из авосек и корзин лаваш, зелень, бутылки, стаканы. Звон вилок и ножей смешивается с шумом горной реки.

Вот мы и уселись вокруг скатерти. Шашлык из форели хорош, обуглившаяся на огне кожа княгинь местами лопнула, видно княжье розовое тело. Я пью много, пью больше, чем обычно пью. Коньяк ложится коряво, тяжело, голова не наполняется светлым спиртовым паром, огонь не идет по телу, на холодном ветру по-прежнему мерзнут пальцы и уши, течет из носа, и хотя носа своего я не вижу, чувствую, что он красно-синий. Я пью и ем и все тревожусь, что женщины по случаю холодного ветра тоже пьют и двух бутылок коньяку не хватит. Хорошо, что Володя не пьет,— нам ведь предстоит трудная обратная дорога. Но Мартиросян говорит ему что-то по-армянски, Володя смеется, кивает и выпивает стаканчик. Выпил я много, но коньяк не подействовал на меня. Так бывает. Иногда выпьешь сто граммов, и мир дивно преображается — мир внутренний и мир вокруг, все звучит внятно. Тайное становится явным, с лиц спадает паутина, в каждом движении людей, в каждом человеческом слове есть особый смысл и интерес, скучный пресный день наполняется прелестью, она во всем, она волнует и радует. И самого себя чувствуешь, сознаешь как-то по-особому, по-глубокому, по-странному. Такие счастливые сто граммов случаются обычно утром, до обеда...

А иногда пьешь, пьешь и становишься все угрюмей, словно наполняешься битым, колючим стеклом, тяжелеешь, какая-то ленивая

дурость охватывает мозг и сердце, вяжет руки, ноги. Вот в таких случаях и дерутся ножами шофера и слесаря, охваченные жуткой злобой, ползущей из желудка, из охваченной тошнотой души, из тоскующих рук и ног.

И вот в таких случаях пьешь много, все хочешь прорваться в рай, выбраться из лап тоски, из беспричинного отчаяния, из гадливости к себе, из жгучей обиды к самым близким людям, из беспричинной тревоги и страха, из предчувствия беды...

А уж когда понимаешь, что в рай не попасть, снова пьешь. Теперь уже для того, чтобы одуреть, заснуть, дойти до того состояния, которое дамы определяют словами «нажрался, как свинья».

Обратный путь мы совершаем на закате. Великая вечерняя тишина ощущается не на слух, а зрительно, ее видишь через стекла автобуса, она океан, и маленькая дребезжащая машина движется в океане тишины, едва-едва баламутя ее поверхность.

Заходящее солнце, когда мы стали подниматься по асфальтовым виткам дороги, осветило десятки снежных вершин, и четкая белизна дневного света вдруг сменилась совершенно невероятным богатством цветов и оттенков. Это было до того изумительно, до того красиво, до того чудно — тихий вечер, тень в долине, сосны, кажущиеся в сумраке черными, а склоны и вершины гор голубые и фиолетовые, медные, розовые и красные, каждая вершина имеет свой свет, и все они соединены в широкое, единое чудо, такое прекрасное, что спокойно всматриваться в него было невозможно. Эта чрезмерная, невероятная красота гор вызывала чувство большее, чем волнение, она вызывала смятение души, почти страх. Снеговые вершины казались совершенными в своих округлых мягких очертаниях, на фоне бледного голубого неба, а цвет их, живой и чистый, нежный и одновременно яркий, как африканские цветы, жаркий, но рожденный зимним солнцем на холодном снегу, казалось, наполнял воздух музыкой, и музыка эта звучала, не нарушая великой тишины. В такие минуты должно произойти нечто невероятное, какое-то душевное преображение людей, какое-то коренное изменение всего, что есть внутри человека, и всего, что есть вокруг него. И странно, горько, но это ожидание преображения, рождая нестерпимое счастливое волнение, одновременно вызывало прямо противоположное чувство: пусть скорей погаснет эта невыносимая картина, пусть придут спокойные сумерки, милый привычный пепел, умрут краски; пусть все станет, как было, не нужно нестерпимого изменения, пусть останется обычное, знакомое, а не освобождающая, ломающая кости, раздирающая в кровь новизна...

Это чувство, должно быть, рождено самой темной и роковой, быть может, самой спасительной глубиной человеческой души. Страх мужчины и страх женщины.

Ну, что ж, мое жалкое желание совершилось: африканские цветы увяли, пришли сумерки. Мы въехали в поселок, я попросил остановить машину перед дверьми закусочной. Я подошел к стойке, где галдели выпивохи, дождался своей очереди и сказал:

— Сто пятьдесят граммов, три звездочки.

Буфетчик армянин, не знающий по-русски, конечно, понял мои слова. Когда я выпил, он вопросительно посмотрел на меня, и я провел пальцем по пустому стакану, совсем не высоко от дна, и буфетчик вновь понял меня: налил мне еще пятьдесят граммов.

В общем, я добился своего: обалдел, и, добравшись до дома, добравшись до своей комнаты, торопливо разделся, чтобы не уснуть одетым, торопливо лег, чтобы не уснуть на стуле. Обычно перед сном я открывал окно,— очень уж жарко топил наш Иван; хорошо спалось в прохладе, иногда сквозь сон я слышал негромкий плеск

бегущего под окном ручья. Но на этот раз я не открыл окна. Может быть, из-за духоты, а может быть, потому, что мое сердце уже не годится для большого спирта, ночью я проснулся.

Пьющие и выпивающие братья средних и пожилых лет, вы, наверное, знаете, каково это проснуться после тяжелой выпивки среди ночи.

Тихо. Сердце бьется сильно, тревожно, но не болит, дыхание не стеснено, вот только тело покрыто прохладной испариной. Кругом все тихо. Но именно потому, что пробуждение не вызвано болью, оно пугает, настораживает. Что-то случилось, но что же? Хочется вскочить, двигаться, зажечь свет, открыть окно и почему-то страшно пошевельнуться, страшно кашлянуть, поглядеть на лежащие на стуле, рядом с изголовьем, часы. Какая-то незримая беда заполнила ночную духоту. Что-то очень страшное должно вот-вот случиться. Чтобы предотвратить это страшное, нужно двигаться, шуметь, но кажется, что стоит шевельнуть пальцем, приподнять голову, и это страшное совершится. Чувство необычайного одиночества охватывает человека — слышится ли рядом дыхание спящей жены, либо человек один в комнате, он совершенно одинок и беспомощен.

Я проснулся среди ночи и понял, что умираю. Грудь, плечи были покрыты холодным потом, сердце, казалось, билось отдельно от меня, я дышал ровно, но воздуха в легких не было, словно я дышал одним лишь бесполезным азотом. Чувство предсмертной тоски охватило меня. Ужас умирания, конца жизни рос от секунды к секунде, он был в этой мучительной легкости в теле, уже не моем теле, единственном доме моем, доме моего «я». Мне казалось, что тело покидало меня, бросало меня — меня покидали мои руки, ноги, мои легкие, сердце, моего «я» уже не было в них, я не ощущал своих пальцев изнутри, как привык их ощущать с первого мига своего рождения, а извне; нераздельная слитность моего «я» с моим лбом, ушами, коленями, волосатой грудью страшно нарушилась, я становился сам по себе, а тело — само, отдельное от меня. Я щупал свой пульс, я ощущал ладонями лоб в холодном поту, но меня, меня, моего «я» уже почти не было ни в этих пальцах, ни в этом пульсе, бившемся под нажимом пальцев, отказавших моему «я» в убежище; и в холодной ладони, и в холодном лбу под ладонью меня было все меньше, с каждой секундой мы все больше расставались. Происходило нарушение той непередаваемой близости, той несказанной слитности меня и моего тела, по сравнению с которыми ничто слитность мужей и жен, матерей и их обожаемых детей. Словно река, единая от мига рождения своего, вдруг раздвоилась, растекалась на два русла, расслаивалась.

А я в темной ночной духоте, почти уже брошенный своим телом, выскальзывавшим, выползавшим из меня, думал с ужасной стеклянной ясностью о том, что происходит. Я умирал. И чувство смерти, ни на что в жизни не похожее, мука смертной тоски от этого и возникли, что мое «я» продолжалось, ничуть не затемненное, продолжалось отдельно от тела, само по себе. И в то же время в отказе от меня, моей холодной, потной груди, моих жалких влажных пальцев был мой конец, моя амба, моя хана, моя смертушка, мое невиданное истребление дотла, бесконечное и необратимое. В них-то, в этих пальцах, в этих ногтях, в этих подмышках, в этом сопящем носе, оказалось, и был я. А вот тут-то и затаился ужас: я был не в подмышках своих, не в пупе, а в моем бесплотном «я» с Великим океаном, с Большой Медведицей, с цветущими в апреле яблонями, с любовью к маме, со страстной привязанностью к близким мне, с тревогой совести, с книгами, прочитанными мной, с бетховенской музыкой и песенками Вертинского и Лещенко, с горькой обидой, стыдом, с жалостью к животным, с ненавистью к истребительной силе фашизма, с восторгом

перед впервые увиденным мною пятьдесят лет тому назад морем и с восторгом перед увиденными восемь часов назад снеговыми горами, с воспоминанием о детских драках, с обидами, которые я вольно и невольно причинил людям...

И этот бесплотный мир, бесплотная Вселенная, бывшая моим «я», погибала потому, что мои пальцы, череп, сердечная мышца отслаивались от меня, выскальзывали из моего «я». В темной комнате, в душной темноте произошла космическая катастрофа, умирал пожилой человек, далеко от близких людей, где-то у турецкой границы. Умирая, он и об одиночестве своем тосковал — нет близкого рядом с ним, в чьем отчаянии, может быть, он нашел бы утешение: бесплотный мир его оставит горестный отпечаток в чьей-то душе, заплаканных глазах.

Так лежал я в поту, безбилетный пассажир, выброшенный на ходу из поезда со своим громоздким багажом, следил, как вылетали в вечный зимний мрак из моих набитых чемоданов и корзин десятки тысяч ставших вдруг бесполезными, дурацкими мыслей, чувств, воспоминаний.

Я умирал, и я не сразу заметил и ощутил, что пальцы снова стали моими, что я вновь был внутри них, что сердце стало во мне, я в нем, что мое «я» вернулось в легкие, дышащие кислородом. Я не был вне их. Череп, покрытый холодной потной кожей, стал по-привычному моим теплым, сухим лбом... Я и тело мое не расслаивались больше, снова слились в одно — в Вас. Гроссмана. И по-прежнему было тихо и темно, не произошло ни малейшего шума, движения, я не изменил положения тела, не зажигал огня. Но страха, тоски уже не было, во мраке вместо смерти стала жизнь. Мне захотелось спать, и я уснул.

Вот я и думаю: мир противоречий, длиннот, опечаток, безводных пустынь, лагерных комендантов, дураков, мир окрашенных вечерним солнцем горных вершин прекрасен. Не будь он так прекрасен, не было бы страшной, ни с чем не сравнимой смертной тоски умирающего человека. Поэтому я так волнуюсь, радуюсь, плачу, читая и рассматривая создания тех людей, что соединяют, скрепляют воедино любовью и истинность вечного мира, и истинность своего смертного «я».

XI

В Армении много древних церквей, часовен, монастырей. В Армении имеется храм Гехард, он вырублен внутри скалы, чудо, рожденное внутри камня. Это чудо совершено тридцатилетним трудом человека, обладавшего не только титаническим талантом, но и титанической верой. Человек, вырубивший внутри горы гармоничный, грандиозный и грациозный храм, высек на грабаре слова: «Помяните меня в молитве своей».

Обсаженное цветами шоссе проложено от Еревана к Эчмиадзину, городку, в котором находится резиденция католикоса всех армян Вазгена I, где находится прекрасный собор, монастырь, семинария.

Человек долгие тысячелетия неустанно трудится на земле, создает предметы и духовные ценности. Многое созданное человеком изумляет потомков своим изяществом, грандиозностью, богатством, сложностью, смелостью, пышностью, блеском, грацией, умом, поэзией.

Но лишь некоторые создания человека совершенны, и их не так уж много — эти истинно совершенные создания не отмечены ни грандиозностью, ни пышностью, ни чрезмерным изяществом. Иногда совершенство проявляется в стихах великого поэта, не во всех стихах его, хотя все стихи его отмечены гением; но лишь о двух, трех можно сказать: эти стихи поистине совершенны. Ничего не надо добавлять к этим словам. Совершенной может быть музыка, часть музыки.

Совершенным может быть математическое рассуждение, физический опыт и физическая теория, винт самолета, выточенная токарем деталь, работа стеклодува, кувшин, созданный гончаром.

Мне кажется, что древние армянские церкви и часовни построены совершенно. Совершенство всегда просто, всегда естественно — совершенство есть самое глубокое понимание сути и самое полное выражение ее, совершенство есть самый краткий путь к цели, самое простое доказательство, самое ясное выражение. Совершенство всегда отмечено демократичностью, совершенство общедоступно.

Мне кажется, что совершенную теорию воспримет школьник, что совершенная музыка доступна не только восприятию людей, но и восприятию волков, дельфинов, ужей, лягушек, что совершенные стихи могут запасть в сердце надзирателя в режимном лагере и сварливой стервы-бабы.

Армянская древняя церковь выражает своим простым обликом, что в ее стенах живет бог пастухов, красавиц, ученых, старух, богатырей, каменотесов, бог всех людей.

Это понимаешь сразу же, едва в прозрачном горном воздухе издали завидишь ее, стоящую на горе, простую, как мысль Ньютона, молодую, как будто она лишь вчера, а не полторы тысячи лет назад возникла здесь, по-человечьи божью, по-божьи человечную. Кажется, ребенок сложил эту церковь из базальтовых кубиков, так по-детски проста и естественна она. Я, неверующий, глядя на эту церковь, думаю: «А может, бог есть, неужели простоял его дом полторы тысячи лет необитаемым?»

Лишь чистая детская вера могла помочь людям построить эти церкви, монастыри, часовни.

Церкви эти совершенны, но у меня сложилось ощущение, что армяне, построившие эти совершенные церкви, все же народ не христианский, а языческий.

Так мне кажется. Я не видел верующих ни в деревне, ни в городе, но я видел исполняющих обряд. Верующих ощущают, а не видят и слышат. Я ни разу не ощутил верующего. Я видел многих деревенских стариков и старух — и в них я не ощутил веры.

В Армении много развалин языческих храмов, ни один из них не сохранился, не выдержал испытания двух тысячелетий. Но дух язычества сохранился, дух язычества не обратился в развалины, он выдержал испытание тысячелетий. Этот дух ощущаешь так же, как и дух христианства, его ощущаешь не в проповеди, не в слове, не в молитве. И вот в том, как армяне пьют вино, едят мясо, пекут хлеб, справляют обряды, в их походке, в их песнях, в их смехе я ощутил дух язычества. Духа христианства я не ощутил, хотя армянские церкви прекрасны, а языческие храмы лежат в развалинах.

Под алтарем эчмиадзинского собора несколько лет тому назад был обнаружен древний языческий храм. Раскопки раскрыли огромный жертвенник, высеченный из цельной глыбы базальта. Это угрюмый плоский котел с грубо просеченными желобами для стока крови. Размеры жертвенника очень велики, кажется, его не сдвинет с места самый мощный современный тягач, танк. В каменном мраке подземелья все дышит древней жестокостью. Какие жертвы приносились на этом темном камне, чья кровь бежала по этому желобу? Молодой просвещенный и образованный монах, тайно приведший нас в языческое капище, лукаво и умно улыбался. Удивительная символика: христианский собор, выросший над языческим храмом. Когда мы поднялись наверх, в собор, в алтаре полнотелый, черноглазый священник крестил ребенка. Держа в левой руке евангелие, он погрузил кропило в массивную серебряную купель, правой рукой он обрызгал святой водой новорожденного. Священник быстро, невнятно, нараспев читал

слова святой книги, ноги его стояли над черным языческим жертвенником — набычившийся свод языческого храма стал подошвой христианского алтаря. В украшенном массивным золотом и образом распятого бога алтаре служит торжественное богослужение высший пастырь всех армян Вазген I. Поколения католикосов, чьи тела похоронены под мрамором у входа в собор, служили церковную службу, славя Христа, не ведая того, что под их ногами угрюмо затаился жертвенный языческий камень...

Но дух язычества не затаился, не умер, он живет в армянских деревнях, в пьяных старинных рассказах и песнях, в скептической мудрости стариков, в бешеных вспышках ревнивцев, в безумстве влюбленных, в простодушных соленых суждениях старух, в прославлении виноградной лозы и персикового дерева, в плотоядной верности ножу, режущему барашка, в народной мудрости, накопившей свой тысячелетний опыт не в священной книге, а в тяжелой жизни, в веселой чарке, в объятиях женщины.

Дух язычества проявляет себя не только на виноградниках и пастбищах. Он и в деревенских домах, где никогда не увидишь иконы, где нет смирения, где старики пьют крепкий виноградный самогон, каштановое золото коньяка. Дух язычества подступает к самым дверям божьего дома, куда в праздники приводят овечек, приносят петушков и кур, режут их, бедных, у врат церкви, во славу христианского бога. Почти на всех церковных дворах, у действующих церквей и у тех, что превращены в заповедники, земля залита кровью жертвенных животных, валяются куриные головы, перья и пух. Принесенных в жертву животных тут же, неподалеку от церкви, варят, жарят на угольях, тут же угощают жертвенным мясом прохожих людей.

Язычество живет и в самих храмах и церквях, оно в грубой материальности тех подношений, что делают заграничные миллионщики-армяне богу,— в массивном золоте, в огромных изумрудах, в алмазах, в пудовых серебряных купелях.

Дух язычества живет в старых, написанных на тысячелетнем пергаменте книгах, трактующих о гелиоцентризме, о шарообразности Земли, о прелести любви. Эти книги написаны на языке народа, прожившего на Земле несколько тысячелетий, принявшего христианство на 600 лет раньше русских, но сохранившего память о мудрости, благородстве, доброте языческих народов, существовавших задолго до рождества Христа. Эта память освободила армян от религиозной нетерпимости, от жестокости и фанатизма.

Истинное добро чуждо форме и формальному, безразлично к овеществлению в обряде, в образе, не ищет подкрепления себе в догме; оно там, где есть доброе человеческое сердце. Мне кажется, что и в доброте язычников, в милосердном порыве неверующего, атеиста, в незлобивости инаковерующего торжествует свою победу добрый бог христиан. В этом его сила.

Все это так. Но повторяю: человек, верующий в бога, ощущается по множеству признаков, они проявляются не только в содержании слов, но и в интонациях голоса, в построении фразы, в выражении глаз, в походке, в манере есть и пить... Верующих можно ощутить, я их не ощущал в Армении.

Но я видел людей, выполняющих обряд. Я видел язычников, в чьих добрых сердцах жил бог доброты.

Мы осматривали эчмиадзинский собор, дары, преподнесенные богу армянами-миллионщиками, живущими заграницей; меня особенно поразили неправдоподобно огромные изумруды и рубины, украшающие серебряные и золотые ризы, пудовые драгоценные переплеты евангелия, осыпанные крупными бриллиантами кресты.

Сколько очевидной любому ребенку неправды было в этом пышном переплете евангелия!

При выходе из собора мы увидели секретаря католикоса, провожавшего очередного американского гостя. Секретарь — невзрачный молодой человек в цивильном пиджачке — усадил американца в интуристскую «Волгу» и подошел к нам.

Как и всегда, я ничего не понял из разговора Мартиросяна с секретарем. Почему-то меня это не смешило, казалось законным, что переводчик с армянского ждет, пока автор, которого он переводит, растолкует ему по-русски, о чем шла армянская речь. Я ведь переводил по подстрочнику. А речь шла о том, что Мартиросян просил секретаря доложить католикосу о своем и моем приезде, узнать, не сможет ли он принять нас.

Мы ожидали ответа, стоя посреди церковного двора. Я почувствовал волнение. Никогда в жизни мне не приходилось встречаться с высшим духовным лицом, патриархом церкви. А все увиденное впервые в жизни всегда волнует, будь то новый город, новое море, по-новому особый человек. Католикос, конечно, был для меня человеком по-новому, по-особому необычным. Но так как людям почему-то свойственно стесняться и даже стыдиться своего естественного волнения, да и многих простых и естественных чувств, я в ожидании прихода патриаршего секретаря шутил и смеялся, лживо показывая Мартиросяну, насколько привычны для меня беседы с вождями церкви. А Мартиросян хмурился, видимо, и он волновался: не прими нас Вазген I, Мартиросяну было бы неприятно передо мной,— он мне раза два говорил о своих добрых отношениях с католикосом — получилось бы, что он прихвастнул.

Но вот из-под красной арки, ведущей в патриаршью резиденцию, вышел секретарь и журчащим, лишенным оттенков голосом сказал о том, что католикос ждет нас.

Мартиросян перестал хмуриться и улыбнулся, я перестал улыбаться и нахмурился.

Мы прошли под аркой и увидели большой милый сад. Среди высоких осенних цветов стояла беседка. Я представил себе, как в вечерний час здесь пьет кофе и «гутарит» духовенство. Но я не успел подумать, о чем духовенство гутарит: мы вошли в приемную католикоса. Я потерял после гриппа обоняние и потому, к сожалению, лишь зрительно воспринял эту комнату с довольно низким потолком, со стенами, украшенными гравюрами, со старинной мебелью, которую современные молодые люди, получив в наследство, тотчас вышвыривают вон, заменяя обтекаемой и компактной. А в приемной, наверное, стоял милый запах кипарисового дерева, ладана, нагретого воска и сухих васильков. Я ожидал этих запахов так же, как чеховский мальчик полагал, что чемоданы дяди генерала набиты порохом и пулями. Но я не успел спросить, действительно ли ощущался в приемной запах кипарисового дерева: нас пригласили к Вазгену I, католикосу всех армян.

В просторном светлом кабинете, полном прекрасных драгоценных вещей, картин, роскошно изданных книг, за огромным письменным столом, заваленным рукописями и книгами, сидел полнотелый человек лет пятидесяти в черной шелковой рясе. Лицо католикоса улыбалось, улыбались его очень добрые темные глаза, улыбались из-под черной седеющей бороды влажные полные губы. Простота его рясы свидетельствовала не об аскетизме, а об изысканности.

Мы познакомились, смеясь и улыбаясь друг другу. Мартиросян и я уселись в креслах у столика, приставленного перпендикулярно к письменному столу.

Наверное, я смеялся несколько громче, чем следует, и улыбался

чрезмерно радостно. Действительно, непонятно было, почему я декларировал своим видом такую радость от встречи с католикосом.

Бледный прислужник, одетый в мышиного цвета пиджачок и брючки, принес кофе в маленьких чашечках, коньяк в тоненьких символических рюмочках, коробку шоколадных конфет.

Мы несколько мгновений молча следили, как прислужник ставит на стол угощение, и могло показаться, что моя продолжавшаяся радостная улыбка относится к коньяку и шоколадным конфетам.

У кресла католикоса стоял монах в черной рясе и в черном остроконечном капюшоне, прикрывающем лоб. Я слышал, что многие монахи в Эчмиадзине необычайно красивы, но, видимо, я не представлял себе до того, как посмотрел на этого монаха, что такое настоящая мужская красота. Монах этот был действительно потрясающе красив!

Он не был красив конфетной, ложной красотой, красота его была демонической. Его желто-карие, сияющие глаза, нос, губы, бледные щеки и лоб соединялись в рисунок необычайно прекрасный, но надменный, гордый. Какое-то резкое противоречие было между принятой им позой смирения у кресла католикоса и недоброй красотой его.

Католикос приветливо приподнял свою рюмочку и произнес несколько слов, пригубил коньяк. Я добросовестно выпил. Мартиросян, автор, которого я переводил с армянского на русский, перевел мне слова патриарха: он пил за мое здоровье, он рад был со мной познакомиться.

Началась беседа. С первого же мгновения я ощутил, что волнение мое было напрасно: католикос не был человеком необычной и новой для меня породы. Для меня необычным и новым был бы человек, охваченный фанатической верой, пророк, религиозный вождь, чья внутренняя жизнь целиком и полностью определяет каждое слово, движение, взгляд одержимого. Меня волновала предстоящая встреча с человеком, который, лишь взглянув на меня, увидел бы, как много мелкого, суетного, земного во мне, не верующем в бога.

Но я не ощутил в моем собеседнике одержимого, я ощутил в нем умного, просвещенного и светского человека. Именно просвещенная светскость и была доминирующей чертой его.

Мы говорили о литературе. Католикос сказал мне, что не только читал, но и изучал Достоевского, что серьезное и глубокое познание человеческой души немыслимо без изучения Достоевского. Он сказал, что опубликовал работу о Достоевском, но, к сожалению, не может просить меня прочесть ее: она написана на румынском языке в пору, когда Вазген был епископом бухарестским.

Потом католикос сказал мне, что самый любимый им писатель Лев Толстой. Мне не показалось странным, что все проходит,— ведь церковь в свое время предала Толстого анафеме.

Потом католикос заговорил о писателях, писавших об армянах и истории армянского народа. Потом выяснилось, что моих книг католикос не читал.

Потом католикос спросил о моих армянских впечатлениях. Я сказал о прекрасных древних церквах Армении. Я сказал, что мне хотелось бы, чтобы книги были, как эти церкви, построенные скупо, выразительно, и чтобы в каждой книге, как в церкви, жил бог.

Но, кажется, мне единственному понравились мои слова — католикос слушал меня с равнодушной, мягкой улыбкой. Я поглядел на монаха, стоявшего у кресла Вазгена. Казалось, он не слышал нашего разговора. Я вдруг заметил, что из-под его черной рясы видны модные туфли из коричневой замши, нейлоновые узорные носки.

Затем разговор пошел между католикосом и Мартиросяном. Я не понял ни слова, разговор шел по-армянски. Но мне кажется, я понимал кое-что, помимо разговора. Это был разговор двух умных, воспитанных, порядочных, знавших жизнь и житейские отношения людей, разговор людей, ценивших шутку, ценивших друг друга и искренно, хорошо, с уважением относившихся друг к другу. Что-то внутренне объединяло их — коммуниста в отличном костюме, знатока армянской истории, владельца милой дачи, любителя вин и коллекционера, и патриарха церкви, европейски образованного филолога с телефонами на столе, воспитанного и светского человека.

Это «что-то», объединявшее их, было несходство Мартиросяна с тем, кто голодный, кашляющий, в рваной шинели горел пламенем революции, несходство Вазгена I с тем, кто, проповедуя слово божье, в счастливом озарении поднимался на костер.

Две великих идеи человечества: царства небесного и царства божья на земле — были представлены этими двумя людьми.

Я подумал: часто приходится читать и слышать, что люди перед встречей с великим человеком волнуются, а едва встретившись с ним успокаиваются, оказывается великий человек прост, добр, мил, внимателен, так же, как и все простые, добрые и милые люди. Вот так говорят обычно о Толстом, Ленине, Эйнштейне.

Но с католикосом у меня произошло другое. Ведь увидя, что Эйнштейн мил и прост, собеседник не подвергает сомнению его гений.

А Вазген I был мил, прост, добр ко мне, но я подверг сомнению свою первоначальную мысль о нем. Мое волнение прошло потому, что я встретил знакомого, а мне казалось, что я встречу незнакомого.

Я сидел, полный пустой и мелкой житейской суеты, и запоминал подробности нашего разговора, запоминал разные пустяковины, сопутствующие разговору, и делал я это, имея в виду мой рассказ московским друзьям о том, как я пил кофе, разговаривал о Достоевском и Толстом с католикосом всех армян Вазгеном I.

Я словно бы рецензировал театральное представление. Мы простились, беседа длилась двадцать минут. Провожал нас к машине красавец монах в черном капюшоне. Он шел рядом с Мартиросяном и о чем-то, смеясь, говорил с ним. Он уже не был на сцене. А я думал: хорошо бы сняться с монахом на фоне собора, жаль, что мы не сфотографировались с Вазгеном, хорошо я сказал насчет литературы и церквей.

Мы прошли мимо слепого нищего. Лицо его было печально, лицо Иова, мы прошли мимо крестьянина, ведущего к собору на веревке овцу, она была ужасна в трогательном и покорном ожидании смерти. Я посмотрел на красавца-монаха, шедшего рядом,— бог доброты и сострадания не коснулся его дивного взора: он, смеясь, прошел мимо шепчущего старика и беспомощного, обреченного животного.

Спустя полтора месяца после этой встречи я пошел в гости к истопнику Ивану, мне хотелось познакомиться с его отцом Алексеем Михайловичем, пресвитером молоканских сектантов, живущих в поселке Цахкадзоре.

Зимним вечером мы шли по засыпанным снегом, крутым улицам Цахкадзора. Снег в высоких горах какой-то особый, необычайно пушистый, необычайно легкий.

Иван молчал, я молчал. Чего-то мне стало скучновато. Шагать по снежной целине было трудно, у меня началась одышка. Мы спускались по очень крутой и очень длинной улице, и я затосковал, придется ведь на обратном пути подниматься в гору по глубокому снегу.

Наконец, перешагнув через полуповаленный плетень, мы вошли во двор, прошли мимо нерешительно брехнувшей собачонки, мимо сараюшек, кое-как сложенных из ржавой жести и старых досок. На нас дохнуло теплом овечьего закута и запахом курятника. Этот запах продолжался, когда мы вошли в полутемные сени.

В сенях ушло ощущение гор, Армении, Аракса, турецкой границы. Все было необычайно русским, деревенским — и пол под ногами, и полутьма сеней, и бочка для воды, и жестяная кружка на ведерке, прикрытом фанеркой.

Потом мы вошли в комнату. Господи, боже мой, вот она деревенская Россия, курская, орловская. Большая русская печь, некрашеные лавки в углу, немятая кровать с немятыми подушками. Деревенская Россия, та, что чуть-чуть ощущает на себе дыхание Украины. Россия, что граничит на Льговщине с Глуховщиной, на Орловщине с Сумами, на Воронежщине со степями Сватова. Это дыхание Украины сказывается в беленых крейдой стенах, в земляном полу, в узорном рядне на стене над кроватью, в устройстве сеней. Но это не было дыхание Украины, то Армения коснулась русской избы.

Русская изба. Задумывались ли о ней ученые и мыслители? Изучены ли ее разнообразие и единообразие, ее эволюция и ее безмерный консерватизм. Есть ли труды о русской печи — о десятках, а может быть, сотнях обликов ее, существующих в России. Вот они волжские, приволжские печи, камышинские, саратовские, все на один образец, по железному математическому закону сходные. Кто помнит мастера, создавшего их? Он нигде не написал: «Помяните имя мое в молитве своей». А сколько хлеба, сколько щей, сколько живого тепла родили его печи. И вдруг обрывается царство приволжских печей, началось царство воронежских. Все то же и все по-иному, по-новому — и кладка, и дымоход, и лежанка. Иной мастер создал тут свой закон, выразил свой характер, но и он не осмелился написать: «Помяните имя мое в молитве своей». А вот идут курские, орловские, вдруг начинаются они, царят, правят, пекут, и вдруг обрываются, иссякают. Какой-то невидимый атаман объединяет районы и области под знаменем своего, особого облика русской печи, и вот граница, и вот новый печной атаман создает печи по образу и подобию своему. А вот они, северные курени — вятские, архангельские, вологодские.

А где-то в Восточной Сибири, на Дальнем и самом дальнем Востоке неожиданно ахнет человек: да ведь это наши, полтавские, волынские печи, вот же и припечек наш, и лежанка наша. Как не задуматься: переселенцы через тысячи скрипучих тележных, медленных верст бережно пронесли образ своей печи, сотни лет обороняли ее от постоянного натиска иных, новых влияний, от модернистских, декадентских, языческих очагов.

И может быть, в Канаде или в украинских поселениях в Бразилии все тот же закон печи, закон сруба, закон сеней, крыш.

Мне рассказывал один наш мининделец, что в джунглях Амазонки старуха полуиндианка, вдруг, прошамкала беззубым ртом, обращаясь к невестке: «Зачини виндовы, бо чильдринята заилиють...»

Устойчивость душевного мира, характера, устойчивость речи, устойчивость привычек, обычаев, бытовых предметов противостоит мощи океанских просторов, экваториальной жаре, тропическим зарослям, десятилетиями и столетиями длящейся, вторгающейся чужой, яркой, шумной жизни.

Вот и в Армении увидел я великую стойкость русской печи, русской избы, русского крыльца, русских сеней.

Я подумал: не в печи тут дело, не в чугунах, а в душевной глубинной сути людей, не в избе сила, сила в том, что в этой избе жил Иван.

А Иван говорил по-армянски так, что армяне завидовали его огромному словарю, его произношению, его знанию оттенков сельских диалектов, богатству армянских словечек, присказок, прибауток, которых он знал множество.

Мартиросян сказал мне, что армянскую речь Ивана он считает совершенной. Иван дружил лишь с армянами, пил с армянами, ходил на охоту с армянами, ел армянский хаш и армянский спас.

Но вот мы вошли в избу, и я познакомился с приветливой и красивой Нюрой, женой Ивана. На печи сидели белоголовые дети Ивана — два мальчика, две девочки. Дети были не шумные, не балованные, светлые личики их повернулись ко мне. Мы заговорили о сказках, и дети толково и серьезно подхватили разговор об Иване-царевиче, об Иване-дурачке, о жар-птице, о братце Иванушке и сестрице Аленушке. И как-то по-особому трогательны были в горах Армении эти дети на печи, их льняные белые головки, их глаза и милый серьезный разговор о русских сказках. Какие-то они были очень славные — тихие, но не робкие. А рядом с печью стоял Иван и смотрел на своих детей с такой нежностью и любовью, которых я не предполагал в нем. И для меня объединились эти дети и русские сказки, и эта изба, и живший в ней Иван: вот где раскрылся и выразился характер русского человека, чей отец, и дед, и прадед провели свой век в горах Армении.

Но тут в комнату вошли родители Ивана — старик Алексей Михайлович и старуха Мария Семеновна.

Это были деревенские старые люди — седой, плечистый темнолицый крестьянин в бедном, бумажном, сильно заношенном пиджаке, в рубахе с белыми пуговками, в бумажных залатанных на коленях штанах, заправленных в кирзовые сапоги. И старуха его, Мария Семеновна, была русской деревенской старухой, чье морщинистое лицо, согнутые плечи, большие коричневые руки говорили о долгой жизни и тяжелой непрерывной работе.

Мы познакомились и сели за стол. Алексей Михайлович, видя мой интерес к себе, нахмурился и, казалось, застеснялся.

А через минуту мы уже вели разговор о том, что интересовало его больше всего на свете,— о любви к людям, о правде и неправде, о добре и зле, о вере и неверии.

И с первых слов Алексея Михайловича, глядя в его лицо, в его глаза, слушая его трудную, нескладную, малограмотную мужичью речь, я ощутил то, чего не ощущал в покоях католикоса,— одержимость веры, я ощутил верующего человека, ощутил не по словам его, а по необманывающему чувству.

Он не убеждал меня, он говорил с горестью о том, что люди не хотят следовать главному закону жизни — желать того, что желаешь себе, всем людям без изъятия, желать без различия богатства и бедности, без различия национальности, без различия веры и неверия, партийности и непартийности. Не желаешь плохого себе, не делаешь плохого себе, не желай плохого, не делай плохого людям.

Ведь ты хочешь себе хорошего, вот и людям желай хорошего. Он говорил об этом, волнуясь, заикаясь, подыскивая слова, покраснев, на его лице выступил пот, и он несколько раз вытирал лоб платком, а пот все выступал.

Какая-то особая сила была в этих словах — их произносил не священник в храме, их произносил старый мужик в замызганном пиджачке, мужик, на плечах которого лежал тяжелый каждодневный труд, мужик, живший в тесной, душной избе. Но ни тяжесть жизни, ни тяжесть труда не могли ничего поделать с его душевной силой.

Старуха жена и невестка внимательно слушали его и время от времени вмешивались в разговор; говорили они с той же серьезной и глубокой заинтересованностью в доброте людей и в правдивости их жизни, какая была и в Алексее Михайловиче. И это-то и было, пожалуй, самым замечательным: вера их существовала не вне их жиз-

ни, а стала их долгой, трудной жизнью, соединилась, сплелась с тем борщом, что они варили, и с тем бельем, что они стирали, и с теми дровами, что они несли вязанками из леса.

И во всем том, что говорил Алексей Михайлович, с чем соглашались женщины, что внимательно слушал Иван и притихшие на печи дети, не было ни душевной экзальтации, ни религиозной одержимости — это были простые слова о том, что надо жалеть всех людей, желать им того же, чего желаешь самому себе. Это были слова из жизни, а не из проповеди, слова из той жизни, что шла в бедной избе, в каждодневной тяжелой работе.

И произносились эти слова без поучительства и кичливости, а с грустью о том, что так все кажется просто, а вот не могут люди жить хорошо, по закону доброты и правды, то и дело срываются.

Мне очень запомнилось, что Алексей Михайлович, говоря о плохих людях, о неправде, о клевете, о злобе людской, никого не осуждал, а лишь, хмурясь, негромко произносил: «Это уж напрасно, это уж лишнее».

Потом мы с Иваном пили водку, закусывая мятыми солеными огурцами, ели армянский хаш, ели вареную курицу. А Алексею Михайловичу Нюра подала чаю с хлебом. Пил он чай и ел хлеб с каким-то виноватым видом, не кичась святостью своей, а как бы стесняясь показывать ее людям.

Я спросил его, как он относится к убийству животных, и он сказал:

— Что ж поделаешь, видно, без этого людям не обойтись, а вот на охоту ходить для забавы это уж напрасно, это уж лишнее.

Он посмотрел на сына, вздохнул, сказал:

— Жестокий у меня Иван.

И Иван ничего не сказал, тоже вздохнул.

Чем больше говорили мы, тем сильней становилось мое волнение. Я не замечал мелочей, не любопытствовал, я был всерьез захвачен неожиданным для меня чувством.

Удивительно бывает: человек знаменитый, наделенный великим даром, быть может, даже гением, оказывается самым обыденным, обыкновенным по душевному складу своему. Дар его отделен от его души. И как-то сразу становится безразлично, что этот обыкновенный, средний человечек где-то там, в лаборатории, на сцене ли оперного театра, либо в хирургической операционной, либо сочиняя сочинения, проявляет свою одаренность.

Но бывает и хуже — когда человек, понимая, что от него при встрече ждут каких-то необыкновенных внутренних черт и качеств, и зная, что не обладает ими, начинает позировать, изрекать пророчества, кокетничать. Это случается, конечно, не с гениями, а с людьми талантливыми, но не дотянувшими до высшей черты. А бывает так, как случилось у меня с католикосом: человек оказался умный, просвещенный, приятный, но совсем не того склада, что я ожидал.

А здесь было так: крутые улицы занесло снегом, ходить по ним стало очень трудно, особенно мне было трудно с моей одышкой, и я досадовал на себя и сожалел, что договорился пойти в гости к Ивану и его отцу,— затея казалась напрасной, скучной, лучше бы я поужинал в доме писателей, поиграл на бильярде, почитал журнал «За рубежом».

Затем были милые, трогательные впечатления от русской печи, белоголовых ребятишек, мысли о русском характере, о том, что изба выражает неизменность русского человека, говорящего по-армянски не хуже златоустов-армян.

Затем я сидел за столом со старым, плохо грамотным мужиком в замасленном пиджачке и в кирзовых сапогах, и то волнение сердца,

которое не состоялось во многих случаях моей жизни, захватило меня.

Тут уж не было ни Армении, ни России, не было мыслей о национальном характере, мыслей о величии, о гении, а была душа человека, вот та, что тревожилась, мучилась, верила среди каменных осыпей и виноградников Палестины, та душа, что по-человечески хороша и в пензенской деревушке, и под небом Индии, и в заполярной яранге,— ведь хорошее всюду есть в людях, потому что они люди.

Эта душа, эта вера жила в неграмотном старике и она была проста, как его жизнь, его хлеб, без единого пышного слова, без высокой проповеди, и глаза мои наполнялись слезами оттого, что я прикоснулся к этой вере, оттого, что я вдруг понял ее силу, обращенную не к богу, а к людям, понял, что Алексей Михайлович не может жить без нее, как не может жить без хлеба и воды, и что он, не колеблясь, пойдет на крестную смертную муку, на самую страшную бессрочную каторгу ради нее.

Есть дар высший, чем дар, живущий в гениях науки и литературы, в поэтах и ученых. Много есть среди одаренных, талантливых, а иногда и гениальных виртуозов математической формулы, поэтической строки, музыкальной фразы, резца и кисти людей, душевно ничтожных, слабых, мелких, сластолюбивых, обжорливых, лакействующих, корыстных, завистливых, моллюсков, слизняков, в которых раздражающая их тревога совести сопутствует рождению жемчуга. Высший дар человеческий есть дар душевной красоты, великодушия, благородства и личной отваги во имя добра. Это дар безымянных, застенчивых рыцарей, солдатушек, чьим подвигом человек не становится зверем.

XII

Меня пригласили на свадьбу — женился племянник Мартиросяна. Жених был водителем, невеста продавщицей сельмага. Ехать надо было далеко, в Талинский район, на южный склон горы Арагац.

Я сомневался, ехать ли мне — с вечера у меня болел желудок, и я, подобно пловцу, не верящему в свои силы, опасался отплывать далеко от родного берега. Но когда утром зазвонил телефон и Мартиросян сказал мне, что ереванская делегация — он, Виолетта Минасовна и Гортензия — уже подъехала к гостинице и ждет меня, я принял смелое решение.

Вскоре наш стеклянный автобус бежал по шоссе. В автобусе был устроен завтрак — дома Мартиросяны не успели поесть. Я из страха потревожить задремавшего зверя не прикоснулся к еде, лишь сделал глоток кофе из термоса.

Слева от нас лежала Араратская долина, поднимались вершины большого и малого Арарата, справа громоздились снеговые склоны Арагаца. По обе стороны дороги расстелились каменные поля, кости умерших гор.

Дорога всегда интересна. Мне кажется, что движение делает интересной любую дорогу. Я не знаю неинтересных дорог. Наша дорога шла в пространстве и во времени — мы ехали мимо молчаливых тысячелетних храмов и часовен, мимо застывших развалин некогда шумного караван-сарая, мимо поселков, где торчали антенны телевизоров, мимо бараков исправительно-трудового лагеря, увешанных бодрыми оптимистическими лозунгами, мы смотрели на гору, на которой Ной спасался от потопа, а повернув голову вправо, мы смотрели на гору, где стоят рефлекторы Амбарцумяна, исследующие строение далеких вселенных.

Каменная россыпь в долине напоминала Арарату и Арагацу о том, что все на свете проходит — когда-то эти поверженные камни были такими же могучими, в белых шапках, а теперь обращены в мертвые скелеты.

Нигде в Армении, пожалуй, я не видел такой каменной безысходности, как в горных долинах Арагаца. Я даже не знаю, как передать это невероятное ощущение — камень в трех измерениях — вширь, вглубь, ввысь. Только камень, один лишь камень. Нет, не в трех измерениях был камень, камень выражал и четвертую координату мира — координату времени. Передвижения народов, язычество, идеи Маркса и Ленина, гнев Советского государства были выражены в камне Арарата, в базальтовых стенах храмов, в надгробиях, в стройных зданиях клубов, дворцов культуры, школ-десятилеток, в разработках карьеров и рудных жил, в каменных стенах исправительно-трудового лагеря.

Но вскоре вокруг остался лишь поверженный, долинный камень — кости и скелеты гор, умерших в прошедшие геологические эпохи, не стало мифа христианства о будущем счастье в царстве небесном, выраженного в церковном камне, не стало каменных строек и рудников во имя будущего земного блаженства.

И когда сделалось ясно, что впереди одни лишь каменные кости гор, умерших десятки миллионов лет тому назад, мы въехали в деревню, где молодой шофер справлял свадьбу с миловидной девушкой, продавщицей из сельмага.

Меня предупредили, что деревни на Арагаце самые бедные в Армении, что крестьяне здесь до недавнего времени изнывали под тяжестью бессмысленно начисляемых на них налогов. Бюрократы требовали с колхозов сдачи мяса, шерсти, винограда с десятков тысяч прилегавших к колхозам каменных полей. Но ведь нельзя из камня жать вино, нельзя превращать базальт в баранье мясо. Лишь совсем недавно были сняты налоги на камень, колхозы стали отвечать лишь за плешинки удобной земли. Людям стало легче, но люди не стали богаты.

Стеклянный автобус медленно ехал по каменной улице каменной деревни, среди каменных, вросших в камень и выросших из камня хижин. От хижины к хижине тянулись каменные заборы. Длинные желобы для водопоя были выдолблены из массивного камня; возле хижин стояли выдолбленные из камня бочки, базальтовые корыта для стирки, базальтовые кормушки для овец.

Очаги были выдолблены в камне. Ступени, крылечки — все было каменным. Жилье и бытовая утварь были созданы из базальта. Казалось, здесь продолжался каменный век. Ветер нес по улице каменную пыль.

Но звуки радиомузыки говорили о том, что век электроники наступил. Вдоль каменных улиц стояли каменные столбы, к хижинам каменного века тянулись провода электрического освещения. От трогательных, пронзительно печальных голосов свадебных флейт замирала душа — среди камней жили люди.

Мы подъехали к особо бедным домикам, стоявшим над каменным обрывом. Нас ждали. Грянул барабан, заиграли флейты.

Мать жениха, высокая старуха с изможденным лицом, обняла Мартиросяна, они поцеловались и заплакали. Они плакали не потому, что сын женился и уходил от матери, они плакали потому, что неисчислимы потери, страдания, выпавшие на долю армян, потому что нельзя не плакать о страшной гибели близких людей во время армянской резни, потому что нет в мире радости, которая могла бы заставить забыть народное страдание, забыть родную землю, лежащую по ту сторону Арарата. А барабан гремел победно-оглушительно, лицо носатого барабанщика было неумолимо весело: что бы ни было, жизнь продолжается, жизнь народа, идущего по каменной земле.

Толпа крестьян окружила нас. Мартиросян познакомил меня с сестрой и с ее мужем—худым стариком в зеленой гимнастерке, подпоясанной солдатским ремнем с медной бляхой и пятиконечной звездой. Очень бедно был одет отец жениха, старик с печальными глазами. Но бляха со звездой блестела на солнце, видимо, ее начистили перед свадьбой. Я пожимал десятки рук, все хотели познакомиться с другом писателя Мартиросяна.

Под открытым небом стоял стол. Нас подвели к нему и предложили выпить и закусить.

Незнакомые обряды и народные обычаи вызывают всегда уважение, я всегда испытываю страх, даже ужас при мысли, что могу оскорбить людей, не выполнив какого-либо их обычая. Как посмотрит деревенский народ на мой отказ принять угощение родителей жениха?

Я выпил стакан виноградной водки, закусил зеленым перцем и куском баранины. Затем, чтобы не нарушать обычай, я выпил второй стаканчик водки и вновь закусил зеленым моченым помидором, таким огненно режущим, что захотелось сделать еще глоток крепкой водки — успокоить ею помидорный огонь. Так и пьют в Армении — огнем перца тушат огонь водки, огнем водки тушат огонь перца.

Водка после ночных желудочных страданий подействовала на меня с необычайной, но прекрасной силой. Так, должно быть, скульптор воздействует на камень — все лишнее вдруг откололось, отвалилось,— резец скульптора освободил из камня таившееся в нем живое существо.

Мое восприятие мира совершило дивный скачок вверх— я увидел лица, освещенные не только светом солнца, но и внутренним собственным свечением. Характеры людей стали ясны мне. Моя любовь и доверие к людям колоссально возросли. Я словно бы из зрительного зала перешел на сцену. Чувство привычки, обычности покинуло меня. Я словно бы впервые участвовал в прекрасном и торжественном спектакле в одном стройном действии — «жизнь». Я был полон волнения, удивления — какое синее небо над головой, какой чистый прохладный воздух, как сияют снега на вершинах гор, какая радость и печаль в свадебной музыке. Люди, столпившиеся у дома родителей жениха, свободно, легко входили в самую сокровенную глубину моей души — я чувствовал их тяжелый труд, их бедную одежду и обувь, их морщины, их седые волосы, молодое насмешливое любопытство красивых и некрасивых девушек, могучие души и чудную простоту тружеников. Я ощущал, я понимал их честность, их жестокую нужду, их доброту, их хорошее чувство ко мне. Я был дома, среди своих. Мы вошли в каменную комнату — какая суровая бедность! Как хорошо быть честным и бедным. Стены, потолок, пол были сложены из большого камня. Древней, тысячелетней утвари едва коснулось дыхание железного века; сосуды, хранилища зерна, масла, вина, очаг являли картины века каменного.

Мы снова вышли во двор. Прямо передо мной сияла на солнце снежная вершина большого Арарата. Не только чувства, но и мысли мои необычайно обострились.

Множество ассоциаций, способных возникнуть вокруг главной горы человечества — горы веры,— вдруг прянуло по моему мозгу. Библия удивительно просто связалась с сегодняшним днем, и я видел Арарат глазами людей, живших на склонах гор Армении до рождения Христа. Я видел черные быстрые воды Всемирного потопа, я видел тонущих овец, ишаков, тяжелый тупоносый баркас, грузно плывущий по воде. Я увидел спасенных Ноем животных и кровавые

скотобойни, на которых потомки Ноя убивали потомков этих животных. Но я не только думал о библейской горе. Я наслаждался ее красотой бездумно, она сияла во весь свой рост, ее не прикрывали дома Еревана, дым заводских труб, облака и туман Араратской долины. От каменной подошвы своей до белой головы стояла она, освещенная утренним солнцем. Она соучаствовала в сегодняшней жизни, она соучаствовала в жизни прошедших тысячелетий. Она связывала сегодняшнюю свадьбу с флейтами, звучавшими здесь три тысячи лет назад. Все проходит, ничто не проходит...

Какая сила таится в вине!

Нас торопили: надо было поехать за невестой, до ее деревни было 18 километров. Свадебный поезд состоял из двух грузовиков и нашего стеклянного автобуса. Молодежь, стоя в кузове грузовых машин, плясала, пела, бешено размахивала жареными курами, круглыми пшеничными хлебами, шампурами, на которые был насажен шашлык, у некоторых танцоров в руках поблескивали трофейные немецкие кортики и кинжалы — на острие их были насажены яблоки, а на сверкающих лезвиях были выгравированы слова: «Alles für Deutschland».

Пронзительно звучали флейты, долдонили барабаны, но вокруг некому было восхищаться богатством свадебного поезда, всюду лежал плоский, слепой и глухой камень. Хмурое каменное безлюдье придавало какую-то особую силу веселью — это был вызов. Человеческий род продолжался — свадебные флейты и барабаны смеялись над камнем.

Примерно на полпути между деревней жениха и деревней невесты, в стороне от дороги стояло несколько скучных построек — это были мастерские автобазы.

И вот во второй раз за мое пребывание в Армении меня швырнуло на землю с высот созерцания и с высот мысли.

Но ныне все обернулось куда страшней. Ныне я не был один, я был гостем на свадьбе. Я чувствовал на себе дружеские взгляды людей в стеклянном автобусе, каждое мое движение вызывало интерес. А в деревне, где жила невеста, нас нетерпеливо ждали: мы сильно запаздывали, столы были давно накрыты, и я знал, что едва автобус подойдет к дому невесты, нас окружит несметная толпа ее родственников и друзей, и мы торжественно, под звуки свадебной музыки, войдем в дом.

Я чувствовал, что мне не доехать благополучно до деревни, где жила невеста. Страшная сила бушевала в моем нутре, вырвавшись из-под контроля моей жалкой воли. Тигр железными когтями рвался на свет божий, и некому было противостоять страшным мускулам взбешенного зверя. Да, да, соленые помидоры и огурцы сделали свое дело. Я был бессилен, как бессилен человек, не властный обуздать свои легкие либо биение сердца, либо остановить извержение вулкана. Боже мой, боже мой, меня охватил дикий, животный ужас, меня охватило страшное отчаяние. Я весь с головы до ног облился холодным смертным потом. Мысль работала с бешеной быстротой. Остановить автобус? Предположим, что я, несмотря на сверхнеприличие подобного дела, попрошу остановиться. Дальше, дальше что? Кругом каменистая, плоская, как плаха, пустыня. Автобус весь стеклянный, да и следом ехали грузовики с поющей молодежью.

Мне приходилось на протяжении моей жизни не раз пережить страх, даже ужас, растерянность. Я был на войне, переправлялся под обстрелом через Волгу, попадал под массированные воздушные удары, случалось, что я попадал под шквальный минометный и артиллерийский огонь. Да и не только на войне пришлось мне натерпеться страху.

Но, право же, дико, странно, но никогда я не испытывал подобного ужаса, как в этом свадебном автобусе. Боже, боже, и все это под музыку! Боже, боже, а рядом десятки милых, дружественных почтенных людей, гордящихся тем, что на свадьбу приехал московский друг писателя Мартиросяна. Будь у меня револьвер... Но нет. Я, вероятно, все же не выстрелил бы в себя. Я бы перенес жгучий, невиданный позор, стал бы неприличной легендой, героем скабрезного фольклора и все же не застрелился бы. Через годы, дряхлым, седым стариком, вспоминая ужасные, жалкие, унизительные подробности этого дня, я бы кричал от стыда, вновь бы ночью обливался холодным потом, вновь бы стонал, хватался бы за голову. И все же я бы не убил себя. Боже, боже, и все это под музыку, под свадебный барабан, под звуки древних свирелей, у подножия библейского Арарата! Мог ли я думать, что на свадьбе суждено мне пережить подобную пытку?

Видимо, люди в автобусе заметили мое напряженное лицо, вероятно, я мертвенно побледнел, вероятно, смертный пот был виден на моем лбу и щеках. Кто-то спросил меня на ломаном русском языке: удобно ли мне, не пересяду ли я на переднее сиденье, не душно ли мне? Я пролепетал что-то костенеющим языком, не помню, что я уж там пролепетал.

И вдруг, повернувшись к пассажирам, заговорил по-армянски шофер Володя. Мне перевели его слова: придется свернуть на минуту с дороги, заехать в мастерскую автобазы — надо долить масла в мотор. Я не помню, как мы доехали до ворот автобазы. Я вышел из автобуса и первое, что я увидел,— был домик, будка из жести,— одноместный сортирчик, клозетик, нужничек, гальюнчик, ваттер, вбыральня, детка, солнышко мое. У меня хватило силы дойти до будочки медленно, величавой походкой.

Конечно, все получилось достаточно неприлично. Никто не вышел из автобуса, кроме меня. Володя, которому приятели с молниеносной быстротой примчали банку масла,— ведь женился свой брат, шофер,— из озорства раза два посигналил. А юноши нет и не будет уж вечно. Не упал ли я в обморок, не умер ли в жестяной каютке,— Мартиросян вышел из автобуса и направился мне навстречу. В тот момент, когда он подошел к одноместному жестяному дворцу спорта, я вышел из него. Оба смущенные, мы не сказали друг другу ни слова, молча, в задумчивости вернулись к автобусу.

Почтенные люди, милый полнотелый старый член партии— пенсионер, председатель колхоза, два руководящих работника из райцентра, их пожилые и умные жены встретили меня сострадательным молчанием. Конечно, когда я скрылся в спортпаласе, они, вероятно, переглядывались, шутили и смеялись. Но бог с ними, ведь все это неприличие было в пределах приличия.

Я не испытывал счастливого чувства, как тогда, в первый день своего приезда в Ереван. Я был в изнеможении после пережитого ужаса. Едва дышащий, все еще мокрый от пота, человек, которого вынесли из операционной. У меня не было ни мыслей, ни чувств, одно лишь смутное сознание того, что я спасен.

И вновь стеклянный автобус побежал по шоссе. Конечно, мне повезло, произошло немыслимо счастливое стечение обстоятельств. Прислушиваясь к негромким разговорам, робко поглядывая на своих спутников, я понимал, что все же избежал позора.

Мне вспомнился один не любивший меня московский литератор; он говорил, что считает неудачников самой жалкой породой людей, а я, по его мнению, был типичным представителем вечных литературных неудачников. Прав ли он, думал я. Ведь поистине счастливое стечение обстоятельств спасло меня от позорной катастрофы. Все это

так, конечно. Но если считать, что человеку отпущено определенное количество удачи и счастья, то не жалким ли образом я истратил их, ведь не на всемирную славу, не на блеск и богатство пошли сегодня мое счастье, моя удача.

И вот мы въезжаем в деревню невесты. Мальчишки, покинув полотна Мурильо, черноокие и чернокудрые, бегут за нашими машинами. У заборов стоят зрители. С двойной силой бушует приехавшая молодежь в кузовах машин. Это обрядовое свадебное веселье, такое же, как обрядовые слезы на похоронах. Минутами лица весельчаков хмуры и озабоченны. Они веселятся, как работают, чрезмерно.

Издали видна толпа, запрудившая улицу: мы подъезжаем к дому невесты. Играет музыка, нет только кинооператоров и фотокоров — наш выход из автобуса напоминает прибытие на Внуково на мощном лайнере правительства дружеской страны. Старики сердечно здороваются с нами, двумя руками пожимают руку. Бьют тамтамы.

И вот мы входим в дом невесты. Это очень бедный дом. Бедность проинвентаризировала в доме стены, окна, все предметы. Эта бедность особая — деревенская, армянская, горная, чистая. И на фоне этой бедности с какой-то необычной праздничностью выглядят столы, змеящиеся вдоль стен, вытянувшиеся поперек и вдоль просторной комнаты. На столах стоят десятки бутылок и графинов, полных мутного белого вина и желтоватой виноградной водки. На столах зелень, рыба, жареная баранина, пряники, орехи.

Но здесь, в доме невесты, я нарушаю обычаи — я не ем и не пью. Соседи по столу, почтеннейшие люди, с грустным удивлением и мягким упреком глядят на меня — ведь пьют за здоровье матери невесты, отца невесты, пьют за молодых, а я не пью. Я не пью — я изведал страх больший, чем страх нарушить обычаи и обряды, я больше не хочу подходить к краю бездны.

Жених и невеста сидят рядом, при каждом тосте они встают. Жених в новом клетчатом пальто и клетчатой кепке. У него красное обветренное лицо, грубоватое, носатое, некрасивое. На рукаве у него красная повязка, как у дружинника, содействующего милиции.

Невеста очень миловидна, длинные ресницы прикрывают ее опущенные к земле глаза. Когда к ней обращаются, она молчит, не подымает глаз. На голове ее венец с белой вуалью. Она, как и жених, одета в пальто. Пальто на ней новое, светло-голубое, в руках она держит светло-голубую сумочку.

После каждого тоста гости небрежно бросали рублевые бумажки в тарелку, стоящую возле музыкантов. Некоторые бросают зеленые, синие бумажки, раз или два на тарелку легли красные десятки. А ведь все это происходит, как говорится, в новом масштабе цен. Это соревнование в щедрости при заказывании музыки дает музыкантам тысячные заработки. Даже в ереванских газетах писалось, что этот музыкальный аукцион на деревенских свадьбах надолго вышибает народ из бюджета. Музыканты стараются не смотреть на бумажки, скользящие в тарелку. Но не смотреть немыслимо, и время от времени флейты и барабан быстро поглядывают на дорогую тарелку, поглядывают удивительно живыми глазами.

Свадебные столы ясно показывают человеческие отношения, расслоение, профессии, родовые и родственные связи.

За столом девяностолетние сельские старики, они по-молодому пьют, смеются — ведь они из деревни Сасун, знаменитой своими плясунами и певцами, они потомки Давида Сасунского. За столом крестьяне в бедных пиджачках, в солдатских гимнастерках, кительках, их жены в темном, старушечьем ситце. За столом два районных начальника, краснолицые и уверенные в себе, в москвошвеевских костюмах, их полногрудые жены, одетые в одинаковые ярко-синие

платья. За столом ереванские щеголи в брюках дудкой и ереванские тоненькие девицы-модницы в нейлонах — они студенты, аспиранты, сотрудники научно-исследовательских институтов. За столом плечистый работник ЦК партии в синем пиджаке и в красном галстуке. За столом знаменитый армянский писатель Мартиросян, его жена. За столом совхозные механики, шоферы, трактористы, каменщики и плотники, по большей части молодые, могучего сложения ребята. Все эти люди прочно связаны родством и землячеством. Связь эта навсегда. Прочность ее проверена тысячелетиями. И хотя всесильный Сталин обрушился на родство и землячество, родство и землячество не отступили перед гневом самого Сталина.

Пир у невесты проходит нервно, каждый раз встает главный шафер жениха — его называют «кум» — и раздраженно, почти грубо требует, чтобы невесту отпустили в деревню жениха — ей давно пора быть там. На кума сердито набрасываются родственники невесты. Спор этот лишь наполовину всамделишный, частично он обрядовый. Но свадьба действительно вышла из графика, и поэтому кум злится очень естественно, без игры.

Кум — это главнокомандующий свадьбы. У него на рукаве, как и у жениха, широкая красная перевязь. На нем такое количество трудных, сложных дел и обязанностей, что лицо его выглядит не по-свадебному озабоченно, нахмуренно, как у директора завода, не выполняющего план. Ему не до шуток. Лишь изредка он спохватывается и торопливо, деланно улыбаясь, выпивает стаканчик, вновь погружается в заботы.

— Надо ехать, надо ехать! — кричит он и показывает на часы. Мне говорили, что кум купил для свадебного стола на свои деньги семьдесят килограммов шоколадных конфет. Его полное смуглое лицо полно решимости. Видно, что он не отступит, пока не доведет дело до конца.

Свадьба так сложна, многолюдна и многоголоса, что о молодых людях в пальто, решивших пожениться, почти начисто забывают. Особенно ясно это почувствовалось, когда в деревне жениха двести человек уселись за столы в сельском клубе.

Однако когда требование кума, его заместителей, единомышленников и сторонников было наконец удовлетворено и невеста стала прощаться с отчим домом, трогательная печаль этих минут захватила всех участников пира. Невеста плакала — это уже не был обряд, это были человеческие слезы.

Действительно, как значительно, как трогательно было все происходящее. Девушка уходила из бедного дома своих родителей, она шла в бедный дом жениха. Я видел ее новый дом — каменная тесная комнатка с низким потолком, с маленьким окошечком, на склоне горы. Это была и судьба, и участь, вся жизнь ее. Камень, камень, и по будням там нет дождя, и по праздникам нет дождя.

А затем человеческая душа, ее волнение и печаль были вновь заслонены обрядом. Невесту не выпускали из дому. Представители и агенты кума подкупали деньгами мальчишек, окруживших девушку в голубом пальто, с голубой сумочкой в руках, в белых атласных туфельках. Пацаны-взяточники, зажимая в кулаки трояки и пятерки — у одного я видел десятку,— расступились, дали дорогу невесте. Как не походил голубой облик невесты, голубая сумочка, туфельки, шагавшие к нашему стеклянному автобусу, на ту трудную, бедную жизнь, что ожидала эту девушку.

Мать дала ей, прощаясь, белую курочку, белую тарелку, красное румяное яблочко...

А в это время под гром барабанов, под пронзительные звуки свирелей началась погрузка приданого на грузовик. Грузовик нароч-

но не подъехал к самому дому: пусть народ получше разглядит предметы.

Первыми шли девяностолетние пьяные старцы, они несли на голове чемоданы невесты, они пели и приплясывали. За ними двигались могучие люди, высоко держа на поднятых руках новый зеркальный шкаф, стол, швейную машину. Женщины и дети несли стулья. Загремел сводный оркестр: дружки несли никелированную кровать с пружинным матрацем. Видимо, шутки колхозников были солеными — зрители, смеясь, покачивали головами, девушки и женщины смотрели на землю.

Когда невеста, окруженная толпой женщин, представлявших жениха, подходила к автобусу, мальчишка лет пятнадцати подбежал к одной из женщин, облапил ее и поцеловал. Разъяренные мужчины набросились на него, через мгновение лицо парня было залито кровью. Я сразу сообразил, что мальчишка напился до безумия, и мне показалась чрезмерно жестокой расправа с ним. Но тут же мне объяснили, что это совершался свадебный обряд — мальчик был братом невесты, он хотел поцеловать одну из женщин, приехавших из деревни жениха, как бы мстя за свою сестричку. Это был обряд, условность, но какой жестокий обряд, какой грубый.

И вдруг я увидел: невеста подняла заплаканные глаза на брата, мальчик с окровавленным лицом и мокрыми от слез глазами посмотрел на сестру. Их заплаканные глаза улыбнулись друг другу — это была улыбка любви. И сразу стало на душе так радостно, так тепло, так грустно.

Мы снова сели в стеклянный автобус. Жених и невеста сидели рядом. Они сидели, как незнакомые, с застывшими лицами, ни разу за всю дорогу не перемолвившись словом, ни разу не поглядев друг на друга.

Над каменными костями гор заходило солнце. Какой-то геологической бездной времен дохнуло от огромного мутного светила, полного тусклого огня. Дымный красный свет стоял над красными камнями. В этот час Арарат и библейский миф о нем казались сегодняшними.

Мы вернулись в деревню жениха в темноте. Звезды стояли над нашей головой, южные, армянские звезды, те, что стояли над Араратом, когда еще не была написана Библия, те, что стояли над высокими снеговыми горами, ныне лежащими бессильной скелетной россыпью, те, что будут стоять, когда Арарат и Арагац лягут мертвыми костьми, рассыплются в прах.

Мне очень запомнилась эта ночь. В темноте мы медленно шли по деревне, посреди улицы белел накрытый стол. Когда мы подошли к нему, ослепительно вспыхнули автомобильные фары на крыше халупы — здесь жил дядя жениха, мы должны были принять его угощение. Его сыновья — шоферы установили прожекторы на крыше. В белом прожекторном свете мы шумно чокались, смеялись, желали счастья молодым. Потом, вновь захлебнувшись в синей тьме, мы шли по деревенской улице к белевшему накрытому столу — это кум приготовил угощение для свадебного кортежа.

И вот, наконец, мы вошли в сельский клуб. Это был бедный клуб в бедной горной деревне, ничем не похожий на блистательные дворцы культуры из розового туфа, воздвигнутые в сельских районах Араратской долины, Севана, Раздана. Каменный барак с темным бревенчатым потолком. Вдоль стен стояли столы, за столами сидели гости — их было двести человек. Здесь не было той городской, райцентровской сельской пестроты, какая была в доме невесты. Здесь были лишь сельские люди — крестьянство.

Мне шепотом называли людей, присутствовавших в клубе,— плотников, пастухов, каменщиков, матерей, родивших десять —двенадцать детей,— так на приеме в посольствах объясняют вполголоса, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит.

Жениха и невесту посадили на стулья, гости сидели на досках, положенных на пустые ящики. Но жениху и невесте сидеть пришлось мало, во время тостов они вставали, тосты же были длинные, не тосты, а речи. Молодые стояли рядом, он в своем клетчатом пальто, в клетчатой кепке, с красной перевязью на рукаве, она в голубом пальто, с голубой сумочкой в руке. Он хмуро смотрел перед собой, она, опустив заплаканные глаза, прикрытые длинными ресницами.

Пили и ели много, табачный дым и горячий пар стояли в воздухе, гул голосов становился все громче. Это было народное крестьянское веселье.

Но каждый раз, когда поднимался седобородый или черноусый человек и начинал произносить речь, в просторном каменном сарае становилось тихо. Удивительно хорошо умели слушать здесь люди. Мартиросян шепотом объяснял мне: «Говорит бригадир птицеводческой фермы... старику девяносто второй год... это бывший заведующий земотделом, старый коммунист, он живет теперь в деревне на покое...»

В речах почти не говорилось о молодоженах, об их будущей счастливой жизни. Люди говорили о добре и зле, о честном и трудном труде, о горькой судьбе народа, об его прошлом, о надеждах на будущее, о плодородных землях Турецкой Армении, которые были залиты невинной кровью, об армянском народе, рассеянном по всем странам света, о вере в то, что труд, доброта сильней любой неправды.

В какой молитвенной тишине слушали люди эти речи — никто не звенел посудой, не жевал, не пил, все, затаив дыхание, слушали.

Старик, сельский коммунист, бывший заведующий земотделом, заговорил о том, что он на покое теперь читает Библию и понимает ее мудрость. Конечно, было странно слышать от старого члена партии такие речи, но все же надо учесть, что старик жил на покое вблизи Арарата. Он, кстати, сам об этом сказал.

Потом заговорил худой седой мужик в старой солдатской гимнастерке. Редко я видел лица суровее этого темного, каменного лица. Мартиросян шепнул мне: «Колхозный плотник, он обращается к вам».

Какая-то чудная тишина стояла в сарае. Десятки глаз смотрели на меня. Я не понимал слов говорившего, но выражение многих глаз, внимательно, мягко глядевших мне в лицо, почему-то сильно взволновало меня. Мартиросян перевел мне речь плотника. Он говорил о евреях. Он говорил, что в немецком плену видел, как жандармы вылавливали евреев-военнопленных. Он рассказал мне, как были убиты его товарищи евреи. Он говорил о своем сочувствии и любви к еврейским женщинам и детям, которые погибали в газовнях Освенцима. Он сказал, что читал мои военные статьи, где я описываю армян, и подумал, что вот об армянах написал человек. чей народ испытал много жестоких страданий. Ему хотелось, чтобы о евреях написал сын многострадального армянского народа. За это он и пьет стакан водки.

Все люди поднялись со своих мест, мужики и бабы, и долгий, тяжкий гром рукоплесканий подтвердил, что армянский крестьянский народ полон сочувствия к еврейскому народу.

Потом выступали, обращаясь ко мне, старики и молодые. Все они говорили о евреях и армянах, о том, что кровь и страдания сблизили евреев и армян.

Я услышал от стариков и молодых слова уважения и восхищения, обращенные к евреям, к их трудолюбию, уму. И старики убежденно называли еврейский народ великим народом...

Не раз приходилось мне слышать от русских простых и интеллигентных людей слова сочувствия к мукам, постигшим евреев во время гитлеровской оккупации.

Но иногда сталкивался я и с черносотенной ненавистью, переживал ее душой и шкурой своей. Случалось мне слышать черные слова, обращенные к истерзанному Гитлером еврейскому народу от пьяных в автобусах, в очередях, столовых. Мне всегда больно, что наши лекторы, пропагандисты, работники идеологического фронта не выступают с речами и книгами против антисемитизма, как выступал Короленко, Горький, как выступал Ленин.

Никогда никому я не кланялся до земли. До земли кланяюсь я армянским крестьянам, что в горной деревушке во время свадебного веселья всенародно заговорили о муках еврейского народа в период фашистского гитлеровского разгула, о лагерях смерти, где немецкие фашисты убивали еврейских женщин и детей, кланяюсь всем, кто торжественно, печально, в молчании слушали эти речи. Их лица, их глаза о многом сказали мне. Кланяюсь за горестное слово о погибших в глиняных рвах, газовнях и земляных ямах, за тех живых, в чьи глаза бросали сегодняшние охотнорядцы слова презрения и ненависти: «Жалко, что Гитлер всех вас не прикончил».

До конца жизни я буду помнить речи крестьян, услышанные мной в сельском клубе.

А свадьба шла своим чередом.

Гостям были розданы тоненькие восковые свечи, и люди, взявшись за руки, повели медленный и торжественный свадебный хоровод. Двести человек — старики, старухи, девушки и парни,— держа в руках зажженные свечи, плавно, торжественно двигались вдоль каменных шершавых стен сарая, сотни огоньков колыхались при их движении. Я смотрел на сплетенные пальцы, на нержавеющую, неразрывную цепь коричневых темных трудовых рук, на светлые огоньки. Великое наслаждение было смотреть на человеческие лица, казалось, не свечи, а глаза людей светились мягким, милым огнем. Сколько в них было доброты, чистоты, веселья, печали. Старики провожали уходившую жизнь. Лукавые глаза старух глядели задорно и весело. Лица молодых женщин были полны застенчивой прелести. Степенно глядели девушки и пареньки.

А цепь, жизнь народа, была неразрывна, в ней соединились и молодость, и зрелые годы, и печаль уходивших. Эта цепь казалась неразрывной и вечной, ее не могли порвать горести, смерть, нашествия, рабство.

Жених и невеста танцевали. Его невеселое большеносое лицо было устремлено вперед, как будто он вел машину, он не оглядывался на молодую. Раз или два она приподнимала ресницы, и я увидел при свете восковых свечей ее глаза. Я видел, что она боялась, как бы воск не капнул на ее голубое пальто. Я понял, что все мудрые речи, которые, казалось, не имели отношения к свадьбе, относились к молодым.

Пусть обратятся в скелеты бессмертные горы, а человек пусть длится вечно. Примите эти строки от переводчика с армянского, не знающего по-армянски.

Наверное, много я сказал нескладно и не так. Все складное и нескладное я сказал любя.

Барев дзёс — добро вам, армяне и не армяне.

1962—1963 гг.

Марат Картмазов

ЛИРИКА

Гонорар прошу перечислить на сооружение памятника жертвам репрессий 20 — 50-х годов.

Автор.



А. А. Циссу

Москвич Москвы уже давно
не видел наяву.
За столько лет немудрено
совсем забыть Москву.
До Маросейки путь далек,
детали не видны.
Забыт на Сретенке ларек,
что с правой стороны.
Забыты липы на Страстной,
реклама на углу
и хитрый дворик проходной
на Земляном валу...
Вы завтра будете в Москве
(и кто б подумать мог!).
Растает в мутной синеве
полярный городок —
тот самый, где мечтали вы
все восемнадцать лет
добраться как-то до Москвы,
куда дороги нет...
Потом вас будут провожать
иные города.
Быстрее будут дни бежать
и канут без следа.
Но будет жив до мелочей
в душе, как страшный бред,
Валёк и Угольный ручей
и Нулевой пикет...

Норильск, 1956

Поэт

Д. Кугультинову

Туда, где товары и гири,
пришел он сегодня чуть свет:
поэт не бряцает на лире —
заведует складом поэт.
Но здесь, где рогожи и бочки,
он чует, что песня жива!
Что делать? Приходовать строчки?
Как мясо, морозить слова?
Трубить в самоварные трубы?
Иль, склад заперев на замок,
жалеть, что когда-то на губы
замка он повесить не смог.

Норильск, 1955

Мы здесь хотим остаться...

Мы здесь хотим остаться — средь степей,
среди лесов, в земле тысячелетней.
Мы здесь — во всей безвестности своей —
мы здесь заметней.

Лишь здесь — среди полыни-лебеды,
среди берез, в земле небереженой,
лишь здесь, в глухом предчувствии беды,
нас любят жены.

Лишь здесь, где на задворках белена,
касатка в небе, караси в запруде,
лишь здесь, где нежность не утолена,
лишь здесь мы люди.

Лишь здесь душе отыщется приют,
лишь здесь тепло в неубранных могилах,
и здесь лишь Богу душу отдают,
кто жить не в силах...

1978

Связь времен

Время будто сматывает кабель,
роковой рубеж переходя.
Обретают вкус сердечных капель
капли ежедневного дождя.

Будто кто-то тянет, тянет жилы
из меня, из неба, из травы...
Боже, как мы мимолетно живы!
Как потом мучительно мертвы!

1974

Все связалось на живую нитку
через нас — в иные времена...
Кто нам дал всего одну попытку?
Почему другая не дана?

Кто, когда придумал эту пытку —
не дал нам возможности иной?
Кто там гнет свое и тянет нитку
жизни однократной и земной?

★

Куда ни кинь, и что ни делай,
и чем ни грейся на лету,
как самолет обледенелый,
душа теряет высоту.

1977

Истошный писк тире и точек,
морзянкой переданный крик.
В пути состарившийся летчик
и речь утративший старик...

★

О чем-нибудь другом... О бывшей коммуналке,
где я теперь живу. Прелестный уголок!
Старуха так добра и зла, и очень жалко
ее — ей трудно жить и рухнул потолок.

О чем-нибудь другом... Вниманье старым вдовам,
соломенной вдове, еще одной вдове
больной... Вокруг зима, и на кольце Садовом
сугробы к Рождеству — все, как в седьмой главе.

Ни слова о любви... О Пушкине, о Польше,
о детях в январе — их сколько ни зови,
так тихо, горько так, что вряд ли можно горше
об этом написать... Ни слова о любви!

1982

В. Москаленко

ПОВИДАТЬСЯ НАДО...

РАССКАЗ

Как все это началось? Было детство, кумир Саша Баринов и его буйная фантазия, которая едва не довела нас до тюрьмы, а Гену Малышева свела в могилу.

Мне одиннадцать лет. Каждое лето я приезжал к деду с бабкой в райцентр и каждое лето попадал в угар Сашиных фантазий. Улица Гоголя ходила за Бариновым толпами. В тот год он предложил ездить в Волгоград на крышах товарняков, и мы, украдкой от родителей, бабушек и тетушек, якобы собираясь на речку, прятали велосипеды в бариновском гараже, а сами отправлялись на поиски приключений. Полтора часа до пригородов Волгограда — и вот мы уже на карьерах, где рыли песок для отстраивающегося города-героя. Мы искали снаряды. Разряжал их на месте какой-то добрый дядя, в прошлом сапер, и не нам одним разряжал за бутылку портвейна или за денежку. Счастливые, мы волокли скользкие тяжеленные чушки в рюкзаках назад, на Медведицу. И уже там, примотав к снаряду гранату РГД-5, Саша Баринов выдергивал чеку и бросал нехитрое устройство в Вишневый затон. Ахал взрыв, с деревьев осыпались зеленые листья, а земля на косогоре подбрасывала нас, как на батуте. Через минуту Вишневый затон от берега до берега серебрился лещами, голавлями, жерехами, а далеко на фарватере выворачивались огромные сомы. Рыбья мелочь, лягушки долго еще гнили вдоль берегов затона.

Ах, какие мы рыбаки! Мы прем рыбу зембелями, сумками, мы связываем штаны и напихиваем в них контуженных щук и подлещиков, похваляемся друг перед дружкой, кто заловил самого большого судака и приволок убитую наповал стерлядь. Мы чувствовали себя героями, и слух о наших рыбацко-уголовных успехах терзал умы «настоящих чуваков» с соседних улиц. Увы, у них не было ни своего Саши Баринова, ни его сметливого ума: где и что можно «урвать, захомутать, а потом толкнуть и иметь навар». Весь этот полуязык начинался сразу за калиткой дедовского дома. Дома я говорил по-русски, а выйдя на улицу, начинал «ботать по фене и мацать фрайеров за вымя».

Ах, этот сладкий искус детства — быть дома пай-мальчиком, чистить на ночь зубы, утром пить кружку парного молочка с булочкой, а вечером лезть на завалинку, подглядывать в окна женской бани.

В один из таких превеселеньких дней мы сели на станции и покатили на крышах товарняка в Волгоград. Только что ты сдавал опостылевшее природоведение, боролся за оценку и победил, и вот оно — сашибариновское природоведение: до горизонта степь, во все небо солнце, ветер жжет позвоночник и рвет надутую пузырем рубашку. Удивительная, новая, свободная жизнь! Мы промахиваем степные речушки, влетаем в железные виадуки мостов, падаем на

животы и гогочем от восторга, а Санек, конечно же, падает на спину, закладывает ногу за ногу, орет блатное: «Сижу на нарах, как король на именинах, курю махорку, как сигары первый сорт...» У Саши угарная тоска по нарам, но он не сядет. Сядут другие, и с улицы Гоголя, и с соседних. Санек — никогда.

Тогда перед Кумылгой пошел дождь, и боковым ветром нас стало стаскивать с мокрой крыши. Санек предложил перепрыгнуть на ребристую крышу гэдээровского пульмана, а когда в ответ раздалось громкое молчание, процедил презрительное: «Слабаки». И легко запрыгал с вагона на вагон. Допрыгал, лениво оглянулся... Мы стали прыгать вслед за ним. У Генки Малышева с детства было что-то с сухожилием на правой ноге. Он, как все здоровые, нормально наступал на левую ногу и перепрыгивал через больную. Что-то не так срослось. Он не уступал нам ни в чем, лучше многих играл в футбол, гонял на велосипеде, крутил «солнышко» и бесчисленное количество раз подтягивался, но в длину прыгать, видимо, не мог. Но кто из нас об этом тогда подумал?

Итак, мои китайские кеды, как крылышки Гермеса, переносят меня с вагона на вагон, к Саньку. Затем прыгают остальные.

Мы оглядываемся. Генка стоит, беспомощно улыбаясь, мокрая одежда в облипочку, одна нога поддернута вверх, руки, как веревки.

— Ну чё ты там, слабак! — кричит Санек.— Давай!

Смерть внезапна. И потому, когда он ухается между вагонов,— все от ужаса падают раком на крышу и кто-то воет истошно и противно, по-бабьи:

— А с Гендосом-то че-о-о, Санек? Все-е-е, да? Санек? Да?

С полчаса нас еще секло дождем и волочило по степи до разъезда. Смутно помню серое лицо обходчика, «иж» с коляской, в люльке милиционера с соседней станции и Санька на заднем сиденье, за обходчиком.

Всех остальных допрашивали в Кумылженской милиции, и мы что-то бессвязно мямлили, а потом привезли перепуганного до смерти Санька, и у него был готовый ответ: «Гендос упал сам. Именно в ту секунду, когда он прыгнул, состав дернуло, и он — между вагонами!»

Все гениальное просто. С нас снимались все подозрения, а с Баринова, что очень важно,— ответственность и муки совести. Нас отпустили и доставили в райцентр, дед побил меня палкой и тут же настрочил родителям письмо, расписывая мой культурный отдых и прибавку в весе.

После похорон Гендоса, на следующий день, на пляже местной речушки Санек уже рассказывал душераздирающую историю, как они с милиционером собирали Малышева в брезент. «А Гендоса, оказывается, так растащило — жуть! Эх, жалко его, но — сам виноват. Мог бы и не прыгать!»

Не мог Гендос не прыгнуть. Он прыгнул. На тот свет. Благодаря местному Наполеону — Саше Баринову.

Да, этот Наполеон моего детства имел невероятное влияние на всех. Проштрафиться перед Сашей Бариновым значило не жить, а влачить существование. Если уличная кодла отвернется от тебя, то не возьмут на речку, вечерами шухарить не возьмут, и уже никогда не поедешь в питомник воровать огурцы, и никто тебе руки не подаст, а от самого Санька никогда больше при встрече не услышишь ободряющее:

— Дай пять!

Каждое лето, приезжая в райцентр, я ждал свидания с ним как манны небесной и, чуть заслышав за воротами призывный свист, выскакивал к нему с подарком, непременно с подарком, без этого никак нельзя! Вежливый городской мальчик отдает дань дружбе и верности, всю зиму он помнил о друге и вот — приготовил пушечку: если тут потянуть за резиночку, а вот сюда вставить горошинку, то она...

— Понял! Лады! — Пушечка исчезает в кармане.— Ну? Здорово, малахольный. Дай пять!

Привозя в райцентр пушечку и неистребимую мысль подчиниться Саше Баринову, его очередному урлацкому плану, я уезжал домой, осчастливленный знанием угона чужих велосипедов, принципов онанизма, курения и основ взаимоотношения полов. Какая там школьная анатомия!

— Сегодня пойдем зырить, как бараются.

— Что?

— Сто. Идешь или нет?

— Куда?

— На кудыкину гору...— и дружный смех ребят. Они уже знали куда, они уже ходили.

Шли, ползли, таились за кустами, давясь от смеха. В кустах пьяный мужик лапал пьяную бабу. Ну, а потом начиналось... Под тихие комментарии Саши Баринова и стыд от ужаса происходящего.

Ему, нашему Наполеону, было уже семнадцать, а кое-кому из нас не было и десяти. Какая уж там анатомия!

В тот год Саньком завладела мысль заиметь много денег. И его фантазия привела нас на железную дорогу. Возле Рогожинского разъезда долгий тягунок, тяжеловозы выдыхаются, скорость падает, и на поезд можно вскочить. А значит, и кой-чего зацепить. Не знаю, почему, но в тот год он выбрал меня. За пушечку ли и поминутное заглядывание ему в рот, но я выслужил его благосклонность быть «настоящим шибздиком» при «настоящем чуваке». И вот на две недели, что нам отпущены, я удостоен лавров оруженосца!

На Рогожинском разъезде поворот, и из кабины тепловоза мы не видны. На полном ходу хватаешься за платформу, на которой трактора ДТ-75, становишься ногой на буксу, подтягиваешься и, перевалившись корпусом вперед, влезаешь. Затем срываешь на дверце трактора пломбу, открываешь ее, свинчиваешь две гайки на полу в правом углу, снимаешь аккумулятор, вытаскиваешь его, тяжеленный, и, подкручивая, бросаешь под уклон, так, чтобы не раскололся.

Санек снимал два аккумулятора, я мучился малахольностью, оттого что едва успевал снять один. Состав, вскарабкавшись на гору, разгонялся незаметно, и можно было, упустив момент, остаться на платформе. Но зато я легче Баринова и мне проще скатываться под уклон, меньше трепало и било о землю. В разбойном угаре Санек множил планов громадье и однажды на ходу вскрыл вагон, что особенно трудно. Надо было бежать вдоль насыпи, на ходу раскручивать стальную проволоку, намотанную на скобах, отодвигать тяжеленную дверь и влезать вовнутрь. Букса товарняка провалена далеко под днищем, влезать тяжело, но, как говорится, мастерство приходит с опытом.

Теперь, спустя двадцать лет, мне не верится, что все это было со мной, все это было возможно, и нас не пристрелила охрана, когда полезли под зеленый брезент военного груза, что Баринову не отрезало ноги, когда на моих глазах (я уже был на платформе) ноги его соскользнули с буксы и сапоги стало затаскивать под колеса. Удивительно, но я не разбился, когда, спрыгивая, в последний миг увидел, что падаю на валун.

Деньги от проданных аккумуляторов Саша Баринов забирал себе,

перепадало и мне — на кино и мороженое. Я был счастлив, что он ни с кем не решился на такое важное и большое дело. Меня выбрал. Спасибо ему!

Уезжая на дедовскую дачу сторожить арбузы, торговали аккумуляторами тут же, оптом и в розницу. Посреди бахчей сбитые пять щитов — дача, где лежат мотыги, лопаты и всякая дребедень. Дачи — это где такие же, как и мы, поголовно пионеры и комсомольцы, воровали друг у друга мопеды, бензин, арбузы, семена и сами дачи, увозя их по ночам прямо в грузовиках в неизвестном направлении.

Идея Санька, как всегда, была проста и гениальна: и сторожим, и воруем, и костры по ночам, и чужих арбузов навалом. Живи — не хочу! Рогожинский разъезд тут же рядом, в километре.

Аккумуляторы подходили к легковым автомобилям, и Санек загонял их осатаневшим частникам, рыскающим в поисках запчастей. Ящик, который он выбросил из вагона, разбился, и из него по откосу рассыпались бутылочки силикатного клея. Мы, отгуливая последние деньки, дарили их с барского плеча девочкам у кинотеатра. В отличие от других мы могли хоть по сто раз смотреть «Фантомаса» и «Этот безумный, безумный, безумный мир...» Стэнли Крамера, где, к слову сказать, группа американских граждан пребывала примерно в таком же угаре.

Вот он, кайфовый мир на экране! Мир-то, оказывается, давным-давно свихнулся, а мы ничего не знали, мир-то падок до денег, состоит из «настоящих чуваков», вроде Саши Баринова, и они сломя голову несутся по дорогам Америки к вожделенному дабл «ю» (w), где, заимев чемодан денег, все наконец будут счастливы!

Санек потрясающе в лицах показывал весь фильм, от корки до корки. С мультипликационной заставки о дурацкой курице, снесшей земной шар, из которого вылезала толпа обезумевших американских граждан, до госпиталя, где все, переломанные и полуживые, ржут над женщиной, поскользнувшейся на корке апельсина.

Однажды мы влезли на платформу, занялись привычным делом и не заметили, как поезд внезапно набрал скорость. Мы метались по платформе, висли на буксах, но спасительный откос был уже позади: прыгать нельзя.

Поезд пролетал разъезды, ему давали зеленый, на вторых путях поджидали пассажирские. Срочным грузом нас доставили на станцию Филоново, загнали состав в тупик, мы пытались удрать, но налево и направо высились горы гравия, нас было видно, как на ладони, гравий плыл под ногами. Поймали, на месте избили от злости, что пришлось побегать за сосунками, привезли на станцию в отделение дорожной милиции, развели по разным комнатам и стали допрашивать.

Не церемонились. Сильное было впечатление: высокий красивый человек в костюме, пошучивая, снял пиджак, аккуратно повесил на спинку стула и, оглядывая меня, чумазого, что-то говорил смешное, а я еще попытался ему ответить. Обрадовался, что попал в руки человеку с юмором. Позубоскалить решил. А он, посмеиваясь, зашел сзади и ударил ногой по почкам. И полетел я в угол вместе с табуреткой, на которой сидел.

Молодой-красивый пошучивал, вежливо расспрашивал подробности, я задыхался от обиды и унижения, опять садился на табуретку, он опять сбивал неожиданно коротким тычком в спину, в живот. Он отпустил галстук, чтобы не стягивало набрякшую, еще юную шею, он трудился, как на личном огороде. Он был слегка под хмельком. Видимо, сорвали с какой-то вечеринки, и в моем лице он мстил судьбе. Наверно, работать следователем на заштатной станции Филоново было ему несладко. Да и я не кололся, нес чепуху, прикидывался ничего не понимающим пай-мальчиком. И все время смотрел на себя глазами Саши Баринова, каким я окажусь героем. И тогда молодой-красивый в галстуке разошелся не на шутку.

— Руки на табурет, сука! — взвизгнул он и засадил каблуком по моим пальцам, вцепившимся в край табуретки. Запомнилось на всю жизнь — они отнялись и на глазах стали набухать кровью. С тупым удивлением я подумал: «Вот теперь с чистой совестью брошу ненавистную музыкальную школу, виолончель продадим, и на всю оставшуюся жизнь останусь калекой».

Время было еще не позднее, где-то поблизости играла музыка. Дорожная милиция находилась рядом с танцплощадкой, и оттуда в минуты передышки долетало: «А сейчас по просьбе (называли фамилию) прозвучит песня Джона Леннона «Естудэй». И звучало на русском: «Я вчера огорчений и тревог не знал, я вчера не понимал...» И дальше филоновский поклонник Битлз пересказывал, чего он не понимал и не знал, а тут же, в застенках филоновского гестапо, умирал молодой герой, тракторный взломщик. Ему не давали пить, не пускали в туалет и пугали совсем уж чепухой: мол, отца твоего выгонят с работы. Причем здесь отец, если меня склоняли предать друга — Сашу Баринова!

А потом привели Санька и выяснилось, что он уже рассказал «все как было».

И поел, и попил, ему дали умыться, даже с мылом и теплой водой. В голове стоял грохот филоновского джаза, перед глазами мельтешило умытое сашибариновское личико и губы его, выталкивающие слова:

— Ну, а чё ты в несознанку-то полез? Слышь, малахольный? Попухли так попухли! Я так им и сказал, что у тебя на даче все лежит, и продавал ты, я вааще в это все не лез, я точчно грю, гражданин следователь, а он грит, слышь, давай... И на моей даче спрячем! И толкнем! Слышь, шибздик, дай ключ!

Аккумуляторы лежали на моей даче, ключ лежал у меня в кармане. Я хлопал глазами, он уверенно развивал:

— Я вааще всю зиму ни гу-гу, а он каждое лето приезжает, грит: чё ты, в натуре, давай — дело плевое.

Безумный мир летел в тартарары. Санек не только предал. Он меня топил. Тот, который допрашивал Санька, что-то писал, молодой в галстуке похаживал за моей спиной, лыбился, предвкушая скорое возвращение к столу. Потом нам протянули бумажку. Санек внимательно, как завзятый урканан, читал. А я, конечно же, как настоящий герой, подписал, не глядя. И нас развели в отдельные камеры. До утра.

Утром два милиционера почетным эскортом повезли нас обратно в райцентр. В вагоне запомнились глаза какой-то девушки, с полотенцем и зубной щеткой возле туалета, как она шарахнулась к окну, когда нас ввели в наручниках и затолкали в купе проводницы. О, это ощущение гибельности! Стыд, раскаяние? Ничего подобного.

Меня пытали, но я никого не выдал! И вот теперь сам Саша Баринов лебезил передо мной, заискивал и горячечно шептал в темном углу купе:

— На себя бери, все на себя! Мало лет тебе, малахольный, ничо не будет, а меня посадят, чуешь? Па-са-адят!

В райцентре стрижка под нуль, изолятор, вывезли на бахчи, заставили меня при понятых ключиком открыть дачу и вытащить

оставшиеся аккумуляторы. И опять мечущиеся глазки Саши Баринова, вранье, слова, слова.

Ощущение тупости, невозможность смотреть на него, дышать вместе с ним.

И только отец, который приехал за полторы тысячи километров, при медалях и в военной форме, поколебал мою уверенность. Слова: «Всю правду, сыночка, расскажи, всю, ты понимаешь, что я говорю? Следователь Сергеев сказал, что только чистосердечное признание... Вам хотят приписать не ваше. Следователь Сергеев, сыночка, хочет вам помочь...»

И вдруг отец заплакал. И я, сам себя не узнавая, заплакал тоже. От страха, что отец ревмя ревет, чего я никогда не видел! И тут пришло отрезвление.

Ощущение позора, стыда, отвращения при встречах с Саньком. А потом — освобождение.

Низкий поклон следователю Сергееву, который «благодаря чистосердечному признанию и раскаянию» освободил нас на поруки. Повторяю — низкий поклон. Дорожная милиция решила повесить на нас какой-то разграбленный вагон с аппаратурой, дело было темное, происходило это в тех же местах, и не доказать бы нам с Саньком нашу невиновность, если б не тот следователь Сергеев.

Дело положили в стол, сумму разбоя выплатили наши родители, и вот мы с Саньком стоим на вокзале.

Я стриженый, он стриженый, я похудевший, он похудевший. Совсем недавно мы были под колесами пульмана, название которому «Правосудие», а теперь вот живы, здоровы, на свободе, правда, перепуганные фундаментально.

Мы стояли на райцентровском вокзале, и не хотелось ни о чем говорить. Хорошо, что теплый воздух, хорошо, что бабье лето и голуби что-то клюют на перроне. И он шутит, мол, будешь ехать через Рогожинский — не прыгай под уклон, не надо. Я смотрел по сторонам, и он поглядывал. Молчали.

И опять где-то, как и тогда на станции Филоново, запели «Естудэй». Где-то рядом, на танцплощадке. Но говорить с Саньком было не о чем.

Перед тем как отпустить, следователь Сергеев дал мне прочитать протокол первого допроса Саши Баринова. Вчера я читал все это, где мой кумир, идеал «настоящего чувака», сживал меня со свету и вешал таких собак, до которых далеко всей железнодорожной милиции. Со многим я уже был знаком: и вагон с силикатным клеем открывал, и аккумуляторы воровать предложил, и хранил у себя на даче... В конце концов все это теперь не имело никакого значения, по делу мы шли вдвоем, и никто не поверил бы, что двенадцатилетний пацан мог заставить воровать семнадцатилетнего верзилу... Но один пункт потряс меня до основания. Оказывается, я был повинен в смерти Генки Малышева: предложил ему прыгать, бежал сразу же за ним и даже чуть ли не столкнул его под колеса, между вагонами...

Следователь Сергеев сказал мне на прощание:

— Выбирай друзей! Учишься хорошо, характеристики хорошие... Выбирай друзей. Не водись ты, парень, со всей этой вшивотой! — и как-то брезгливо поморщился.

Подкатил пассажирский, Санек втащил мой чемодан, и опять стояли на перроне, смолили «Нашу марку», как взрослые. Отец к тому времени уехал, старики в лежку валялись от случившегося.

Санек наставительно что-то говорил о том, как мне надо будет себя вести в Москве, все-таки пересадка с вокзала на вокзал. Говорил что-то вразумительное и дельное. Я молчал. Сейчас я уеду. Вот уже и проводница пригласила подниматься в вагон. Уеду и забуду все это, как кошмарный сон. И тут вдруг Санька прорвало.

— Ну ты, кончай дуться! А че мне было делать? Че ты как этот? У меня за год три привода в детскую, да еще Гендос этот на мне висит! Мать каждую неделю ходит! Как будто я виноват! И вся улица косяка на меня давит! А у тебя вон и характеристики из музыкалки, и олимпиады всякие! Ну и подставил, да, подставил! Но я все рассчитал, понял? Тебя так и так вытащили бы! А кто меня вытащит?! У меня бати такого с орденами нема, никого, кроме бабки неграмотной, нема. Меня завтра — о-па, и в спецшколу! Я сам за себя, понял?

— Саш, зачем же ты Генку на меня свалил? — с трудом выдавил я из себя.

— Ну и свалил, ну и чё? Свалил!

— Зачем, Саш?

— Вот вечно ты испортишь все... Ну, все было путем... Ну, че ты?.. Не понимаешь?

Я замотал стриженым своим кочаном. Не понимал.

Поезд медленно покатил, Санек пошел рядом, глядя на меня, поплевывая на перрон. И вдруг что-то выхватил из-за пазухи, швырнул под ноги в тамбур.

— На! Не надо мне твоих подачек! Маменькин сынок! Это понял? Подавись ты своей пушечкой! Понял? И не приезжай сюда больше! Никогда не приезжай! Ненавижу тебя, шибздик малахольный!

Я простоял в тамбуре с пушечкой в руках до Рогожинского разъезда, а когда пассажирский легко одолел подъем и мелькнул наш откос, с которого, теперь уже когда-то и непонятно зачем, мы сбрасывали аккумуляторы, я пошел по устланному ковриком коридору. Возле окон маялись от безделья красивые мужчины. Они с любопытством глазели на мою стриженую голову и выпускали струйками дымок в сторону красивой степи на закате, где красиво ползали, запахивая стерню, трактора ДТ-75.

Лет десять спустя я учился в Москве в ГИТИСе. И вот в один из прекрасных зимних деньков, Саша Баринов ввалился в комнату на пятом этаже знаменитого театрального общежития на Трифоновской. Стоял на дворе год семьдесят шестой...

На Саньке был овчинный тулуп и кроличья шапка, и весь он был похож на денисдавыдовского партизана, выскочившего из чащи против французского эскадрона с вилами наперевес.

— Дай пять, шибздик! — кричал Санек. Он был широк в кости и басил, он разделся и кинулся со мной бороться, мы сцепились, покатились по полу, и Санек с удивлением выяснил, что я уступил ему из приличия, как гостю.

Мы вглядывались друг в друга, хлопали по плечам и цокали языками, как это полагается при встречах «корешей». Я не понравился ему, он возвестил, что я «задрочен» и «закис», он кричал после первой рюмки, что надо еще выяснить, чем мы тут занимаемся, чему нас учат и не издеваются ли «в этой Москве» над станичниками.

— Гуляй, рванина! — возвестил Санек после второй бутылки и зубами сорвал пробку с третьей.

Немыслимое количество энергии, цунами обаяния! Он, именно он должен был учиться на актерском! Саша Баринов изменился: хватка из волчьей превратилась в медвежью. Тут же он сварганил картошечку на чужой сковородке. В комнате слева занял с десяток

картофелин, в комнате справа, где зимой снега не допросишься, ухватил маслица, хлебца и лучку.

Не церемонился. Входил и брал, шарил по сусекам, успевал излить восторги от убранства комнаты и чуть ли не в обморок падал от красоты хозяйки.

— Оу! Ну, почему я не талант и не учусь вместе с вами, а вы не моя жена! — говорил он худой и некрасивой характерной актрисе, и та, словно парализованная, с ужасом смотрела, как все ее продукты уплывают на кухню. Через полчаса был накрыт стол, которого ни до, ни после я не видал в своей комнате, и водка полилась рекой в немытые стаканы...

— Ласковый теленок двух маток сосет, арцысты, а постылый ни одной не видит. Кто за? Кто против? Единогласно! За вас, самородки! — и выпил один, не чокаясь.

Выяснилось, что он в этом году окончил институт в Ростове и теперь отрабатывает практику в «фирме, которая веников не вяжет», в фирме, «которая ждала, не могла дождаться его прихода, и теперь он там закрутит...»

И мне показалось, что этот действительно «закрутит» и за пояс любого заткнет.

Женат, дочка осенью пойдет в школу, жене столько же, сколько и ему, а ему — двадцать семь. Тут же перед будущими «арцыстами» он заверещал: «сижу на нарах, как король на именинах», но гитару отобрали и спели позабористее. Тогда он понес последним ростовским анекдотом, но последний московский оказался похлестче, и опять он умылся. Тогда он ударил тяжелой историей из детства, но и по этой части среди «арцыстов» тут же нашелся студент с не менее трагическим детством. И лаврами «много пережившего паренька из низов, сироты и лишенца» пришлось поделиться. Но Санек не был бы Саньком, если б умел с кем-нибудь делиться.

Он вдруг затравил историю про рыбалку. Да про какую! Там были и многокилограммовые бомбы, которые рвались в Вишневом затоне, и глушение осетров, самоловы, засолка ведер икры, и уже непонятно, когда все это было — в детстве или предыдущей весной.

Степь, река Медведица, конкурирующая банда, оружие... Студенты так и ахнули от кошмарных методов борьбы провинциальных мафий. Борьба за «тепленькое местечко» у Вишневого затона переросла в перестрелку, да еще и ночную.

Я не верил своим ушам! Мы десять лет назад, оказывается, с т р е л я л и. У нас был крупнокалиберный пулемет и два «шмайсера», правда, без магазинов, но мы стреляли одиночными.

Санек вешал изумительную лапшу, забивал каждого, кто пытался его перебрехать, он додумал свое серое детство, он сделал его полноценным, перещеголял всех. И сам поверил в то, что говорил, и уже сам пугался, показывая ранение в живот, очень похожее на аппендицит.

Рядом в комнате отдыха на пределе громкости камлал телевизор очередной старческой шамкающей торжественной речью. А потом начался хоккей. Студенты взвыли, болея за своих, ор перекрывал голос Санька, но он вдохновенно продолжал.

Чуть ли не рыдая, Санек рассказал, как его друг, единственный друг, с которым они делили и краюху хлеба, и щепотку соли,— погиб. Он бежал по крышам вагонов, а у него вот т у т с правой ногой было... что-то с сухожилием... Так вот он прыгнул с вагона на вагон, а состав в это время дернуло, ну, он и ухнулся туда...

Я поглядывал на Санькà, а он живописал, как собирали Генку Малышева. Как они с обходчиком и милиционером брели вдоль дороги, пошел дождь, ударила молния. А они шли и шли вдоль той дороги. И вот он первым увидел голову Генки. Голова лежала с открытыми глазами. Целехонькая.

— Молния как ударит, раз, другой! А мент, падла, как заорет: «На брезент! Иди, падла, клади голову на брезент!» Ну, и пошел, а что делать! Взял вот так за волосы... Помню, что зубы были выбиты. А так ничего — только бледный Гендос был, крови-то в коже не было...

Это был его конек. Он уже много раз прокручивал эту историю. Студенты задохнулись от ужаса, а меня вдруг прорвало кощунственным смехом. Все уставились на меня, словно я в анатомическом театре запел романс о неразделенной любви.

— А вот этот товарищ,— Санек сделал жест в мою сторону,— бежал за ним вслед. Ему повезло. Состав дернуло, когда он оказался на вагоне. Поэтому и остался жить.

— Не поэтому,— сказал я.

Все молчали, потрясенные рассказом.

— Почему же? — спросил Санек.

— Ты знаешь, почему, Санек. Ты многое путаешь в той истории. Многое забыл.

— Что забыл?

— То, что на вагонах было одно, в Кумылге другое, а в Филоново — третье.

— А-а,— разочарованно махнул рукой Санек.— Вечно ты все испортишь...

Угнетенные рассказом, все встали и пошли смотреть хоккей, и весь вечер болели за наших, а наши почем зря громили чехов, ну просто размазывали их по льду...

И потянуло на подвиги. Один мой сокурсник, москвич, которому так не хватало угарного прошлого, который млел от Санька́ и его баек, сказал, что есть какая-то дача и девочки есть на ней. А одна из них — его невеста. И невесте обязательно надо познакомиться с Сашей.

— К девочкам! Немедленно! К невесте! — закричал Санек, и стадо рванулось за ним вслед. Водка еще оставалась, и мы, помню, очень спешили, ловили такси, летели как на крыльях в Серебряный бор на чью-то фешенебельную дачу.

Нас было трое, и девочек оказалось трое. Они жаждали общения, и мы были не против. Но вот беда, едва мы выпили и невеста-хозяйка завела модную песню на модном магнитофоне — тут его Санек и выключил.

Он решил взять реванш за песенное поражение в общаге. Он схватил гитару и спел несколько урлацких песен из своего репертуара, подражая хрипотой «Высоте», он терзал гитару и ревел о том, чего никогда не переживал, он тряс головой и вскоре стал плакать над историями из уголовной жизни. И мне показалось тогда, что ему было трудно на этой даче, с этими культурными девочками, со студентами... Его ломало, выворачивало от культурности.

— Гуляй, рванина! — воззвал он к девочкам, но те переглядывались, не понимали. И тогда, как только кончилась водка, Санек предложил «рвануть» на три вокзала за «ханкой», тем более что у него там на Казанском в камере хранения посылка. А в ней — что бы ты думал? Он хитро посмотрел на меня — чехонь! Сам ловил, сам вялил, во такая!

И мы «рванули». На вокзалах он сунул мне листок бумаги, где был номер секции, шифр, и сказал, что таксиста не отпустит, водку будет искать. А я чтобы одна нога тут — другая там!

Я взял посылку и вернулся к стоянке. Санька́ не было. И такси не было. С этой посылкой я носился в два часа ночи вдоль вокзала, не имея денег на дорогу обратно. Далеко возле эстакады, по которой с Курского ходили электрички, стояла перекрашенная «Победа». Я пошел к ней. Почему? Не знаю. Просто больше не было машин. Стал торговаться с шофером, он отказался и закрыл окошко. И тут я увидел на заднем сиденье Санька́. Нет, я не сошел с ума! Он сидел и смотрел на меня.

— Саня, ты что? Я как этот... бегаю тут... Ты что? — гневно вскричал я и в ту секунду был готов убить его.— А ты там сидишь... Что за дела? Ты хоть водку-то купил?

Задняя дверца приоткрылась, и Санек сказал в щелочку:

— Пошшел вон!

— Я?

— Пошшел вон, коззел! Быстро, сказал!

— Так я вот...— меня бил озноб от идиотизма и оскорбительности ситуации.— Вот посылка твоя... На...

Он молча смотрел на меня.

— Ты хоть водку купил? — опять талдычил я, теряя смысл происходящего...

— Купил! Иди к «Ленинграду»!

— К какому Ленинграду?

Все. Воля моя была парализована. Я как кролик смотрел на удава. Санек ну просто заходился от ненависти ко мне.

— Иди к гостинице «Ленинград»... Бысстро!

— Ну, так и будем стоять на проезжей части? — сказал позади меня веселый голос. Я оглянулся. Милиционер осматривал меня с головы до ног.— Ваши документы.

И я понес какую-то чепуху... Как я оказался здесь, как ловил такси, как вот подошел к машине с просьбой подбросить меня, а они отказались. Я уводил милиционера, потому что там был Санек, который доставал водку, который рисковал... И увел. Мы пошли с милиционером в отделение на вокзал. Он звонил в общагу, и там подтвердили мое проживание. Я был отпущен, а выйдя из отделения, по законам настоящей конспирации отвернул от эстакады и пошел к «Ленинграду», где и стоял, как дурак, около часа. И поплелся в общагу. Эх и тяжела была чехонька! Как хотелось раскрыть посылочку, попробовать. Только усталость, должно быть, помешала. Прошагал я метров пятьсот, вышел к «Перекопу», повернул за него, а там в темной улочке «Победа» стоит, и оттуда Санек вылезает.

— Ты куда запропастился, малахольный?!

— Я запропастился?

— Ну, ты даешь... Вечно с тобой проблемы. Ищем тебя, ищем, с ног сбились... Ты в ментовке, что ли, был?

Я сел в «Победу». Он расспрашивал — я рассказывал. Все как было. А потом уж говорил Санек, тараторил, не переставая, раскрыл впереди посылку (я сидел сзади), угостил рыбкой водителя. Мы ехали на дачу, закусывали роскошной, истекающей жиром чехонью и ехали, ехали... Хорошо было!

Только водитель угрюмо поглядывал на меня в зеркальце. А когда я от усталости разомлел,— возле дачи в Серебряном бору, когда «Победа» уехала и Санек забыл у водителя посылку, на что я обиделся — пожалел рыбку, потому что столько натерпелся в милиции, а он забыл ее на самом пороге дачи,— вдруг Санек стал требовать ту бумажечку с номером секции и шифром. Он почти раздел меня, тщательно обыскивая, пока не нашел бумажечку, и мы ввалились в дверь. С водкой но без рыбки.

Я тут же рухнул на диван и проснулся, когда он пересказывал «Этот безумный, безумный, безумный мир...» Стэнли Крамера.

Санек вдруг припарился к хозяйке. Жених запротестовал, но хозяйка возмутилась.

— Дай мне хоть раз поговорить с интересным человеком! — поправила она очки.

— Это он интересный? — неожиданно сказал жених.

— Зачем же ты его привез? — спросила хозяйка.

— Затем что дурак,— ответил жених.— А он обыкновенное периферийное быдло!

— Девочки, не ссорьтесь,— проворковал Санек и глянул на жениха долгим, ласковым взглядом. И пошел на хозяйку.

— Стоять, Зорька,— приговаривал он, как бы загоняя лошадь в угол конюшни.— Стоять!

И вдруг схватил невесту за ноги, за икры, поднял над головой и стал кричать что-то невразумительное, орать и бегать по даче. Девочки были в брезгливом восторге от Санька́, от его непредсказуемости! Жених — в полной растерянности. Но сделать с Саньком ничего не мог. Его московская рафинированность против разнузданной ростовской простоты Санька выглядела смешной...

Потом, уже утром, опять включили телевизор и опять он, старческим голосом шамкая, вещал... И очень веселились, пририсовывая на экране усы и бороду губной помадой. А потом через глаз пририсовали черную повязку, и говорящий стал похож на старого пирата, не произносящего тридцать три буквы. Я опять заснул.

Проснулся от женского крика. Санек держал жениха за лацканы пиджака и, поддергивая вверх, бил по ногам.

— Чё ты... Обыкновенная подсечка! Я ж самбо в институте занимался! Захват, подсечка. Главное — резкость и внезапность... Ну, и техника. О-па!

И жених хозяйки, мой любопытный однокурсник, взлетал и падал тюфяком на пол. А девочки верещали.

— Ну, болевой давай...

— Болевого не надо...— сказал жених.

— Ну, давай, давай... Клёвый прием. Вот тут берешь, вот на эту руку накладываешь, потом вот так разворачиваешься, усёк?

— Больно.

— Так болевой. О-па!

— Больно! — заорал жених.

— Ну, а чё плачешь, здоров был! Чё ты! Зато теперь знаешь!

— Может, вы извинитесь? — крикнула, поправляя очки, невеста.

— Чё? — обернулся Санек. Он был совершенно пьяным.— Ты кто?

— Хозяйка.

— А эт ты... Попрыгай.

— Не поняла.

— Стоять, Зорька!

— Какая я вам Зорька?

— Попрыгай. Мелочь есть?

— Вы что — с ума сошли?

— Не пугайся. Я из Ростова. У нас так говорят: попрыгай. А потом, о-па!

И жених опять оказался на полу. Санек поднял его, поставил перед собой. Продолжал держать на болевом приеме.

— Отпустите сейчас же! — закричала хозяйка.— Я милицию позову!

— О чем вы? О какой милиции? — сказал Санек.— Не понимаю.

— Ложись спать, мразь! — сказал я громко, и Санек тут же отпустил жениха. Обернулся. Развел руками. Мол, испортил весь кураж...

— Вот это по-нашему...— уставился он на меня.— Эт я люблю.

— Закрой пасть! В койку! — рявкнул я. Санек изобразил слабость. Мол, ноги подкашиваются.

— Где? — засуетился он, хитро поглядывая на остальных, но завалился на ковер и скоро действительно захрапел. Как в сказке. Один из всех я знал волшебное слово. И, почувствовав себя Алладином, опять заснул. Проснулся от шороха. Было часов около одиннадцати—двенадцати утра.

Кто-то открывал и закрывал ящики серванта. Это был Санек. Я присмотрелся и не поверил своим глазам. Он воровал! Засовывал в карманы все, что попадало ему в руки, упрятывал серебряные ложечки, какие-то фарфоровые статуэтки, чашечки, снимал со стен старинную эмаль!

Я что-то прошептал. Он обернулся, заулыбался и приложил палец к губам. И продолжал дальше. Он был уверен, что я вместе с ним. Он даже мысли не допустил, что я буду против!

Я ему предложил все положить на место и немедленно, а он ответил, чтобы я не был козлом — он всех отправил за пивом в ближайшее кафе.

— Да за эту пару эмалек можно взять столько... А пропажи здесь никто не заметит, потому что гля, сколько здесь всего. Облом!

Мы сцепились. Я пытался вывернуть его карманы, он отпихивал меня. Мы боролись, потом стали драться. И ему не помогали его подсечки с захватами, потому что я уже не был малахольным, как десять лет назад. Ему пришлось все вывалить назад кучей на сервант. Тут и вернулись девочки с пивом, которое тащил жених. Мы, поустав от борьбы, присели на диванчик, похлебали пивка и засобирались домой. Тут хозяйка случайно взглянула на сервант.

— Ой, что это?

Все посмотрели, куда она ткнула пальчиком.

— Ой, девочки...

— Что? — спросили девочки.

— Ой, мальчики, как противно. Не уходите.— Хозяйка испуганно смотрела на нас.— Кто-то в шкатулке, в маминой, рылся. Вот кольцо мамино валяется... Меня же убьют. Ой, ребята, верните что взяли...

— Да все там! — сказал я бодрым голосом и сделал шаг к серванту.— Все тут, на месте. Просто в шкатулку сложить не успели!

И все посмотрели на меня круглыми глазами. Санек тоже смотрел. Глаза у него были круглее всех. Можно даже сказать квадратные. Тогда я опять бодро шагнул к Саньку и гневным криком огласил своды двухэтажной дачи:

— Ты-то что молчишь?

— Я? — отшатнулся от меня Санек и закачал головой. Он ходил вокруг меня и оглядывал, как будто впервые увидел.— У-у-у, малахольный? Не ожидал, не ожидал! Да как тебе не а-я-яй!

— Мне? — в свою очередь, сказал я и почувствовал, что мы оба похожи на клоунов, причем очень хороших, таких, что не поймешь, смеяться или плакать. Мы уставились друг на друга.

— Ты что это делаешь, студент! — вдруг взвыл Санек.— Ты что падла, на меня все свернуть хочешь?! Сам тут по ящичкам шурудил, а теперь на друга бочку катишь?! Да у нас в Ростове, знаешь, что за такие вещи делают?!

— Ой, какой кошмар! Какой ужас! — закричали девочки хозяйке.— Зови соседей!

Хозяйка метнулась к телефону, а жених стал на дороге, заслонив путь к отступлению. Но мы и не собирались убегать. Мы с Саньком смотрели друг на друга, а он вдруг украдкой мне подмигнул. И опять я потерял смысл происходящего. Может, мне показалось? Но он еще раз подмигнул, а потом еще и показал язык.

Тут, словно во сне, когда от ужаса отнимаются ноги и нет сил проснуться, на дачу ворвались двое соседей в домашних тапочках. Один из них, старший, был с поленом в руках.

— Ой, не убивайте, ребятушки! Это он, это все он! — Санек поскакал, перепрыгивая через ступеньки, на второй этаж, соседи метнулись за ним, но он вдруг схватился за сердце, закатил глаза и чуть слышно произнес: — Прихватило. Тихо. У меня ничего нет. Не трогайте меня. Это все он, падла. А-а-а...

И опять все стояли, глазели на него. А Санек поглядывал на меня, как бы показывая взглядом: ну что — съел? Ты еще не понял, с кем имеешь дело?

Потом двое соседей увели нас в комнату рядом и обыскали. Я стал возмущаться, и младший, по-видимому, сын, с оттопыренными ушами и кулаками с мою голову, немного потрепал меня за холку. Как щенка. А когда они ничего не нашли, то взяли и просто вытолкали в три шеи. Как скотов.

И многие годы потом при встречах я объяснял моему сокурснику, нынешнему хозяину той дачи, что я не брал, что это не... До сих пор объясняю. Кивает головой. Говорит, что верит.

Мы с Саньком сели на двадцатый троллейбус и покатили в центр. Я бегал от него по салону, чтобы не сидеть вместе, молчал, отворачивался к окну, но он шутейно преследовал меня, и девушка-водитель подозрительно поглядывала на нас в зеркало. Санек по-детски надувал губы: мол, ну, кончай на меня дуться, я больше не буду. Или начинал меня ругать, какой же я дурак, что не согласился свистнуть хотя бы часть из того, что можно было... Ближе к Белорусскому он стал оправдываться и просить прощения.

—Ладно тебе, малахольный... Не дуйся. Черт попутал. Мне, понимаешь, там одна зажигалочка понравилась... Ну, я и сломался. А потом пошло-поехало... Ты ж помнишь, какое детство было у меня...

Он замолк и уставился в окно. Так мы ехали долго. Я не выдержал и глянул на него. Он плакал, поглядывая то на одну сторону улицы Горького, то на другую. Слезы текли у него из глаз. Скупые мужские слезы.

— Кончай! — крикнул я.— Противно. И от себя, и от этой ночи. И от тебя. От всего тошно.

— Жалостливый ты...— Санек улыбался сквозь слезы.— Эт кайф, эт спасибо...— Дай пять, малахольный. А зажигалочку я тебе дарю. Класс. С пьезоэлементом...

Протянул мне зажигалочку и вышел. Я так и не успел толком ничего сообразить. Оглянулся и увидел, что Санек перешел на другую сторону улицы и сел в «Победу», в ту самую «Победу», в которой мы ехали с посылочкой.

Лет пять-шесть спустя театр, где я работал, был на гастролях в Ереване. Не успели въехать в гостиницу — сообщение: умер Брежнев, объявили четырехдневный траур. Мы сидели в гостинице, спектакли не игрались, и друзья возили нас в Гарни, Гегард, Эчмиадзин. У дороги в деревушках продавали молодое вино, цветы, стоял теплый восточный декабрь... Ничто не напоминало о всенародном горе.

Ни природа, ни лица. После одной из таких поездок мы зашли поужинать в ресторан гостиницы. Прямо на меня шел Санек. Он распахнул объятия, прижал мое лицо к своей широкой груди. Шибануло роскошным одеколоном и коньяком. Санек приглашал театральную братию соединить наши столы. Наконец все расселись, и Санек поднял тост.

— Мир его праху,— сказал Санек.— Хороший был мужик. Хорошо при нем жилось. Не чокаемся.

Мы подняли бокалы великолепного вина и выпили.

— Главное, чтоб теперь такого же назначили,— сказал, многозначительно поднимая палец, Санек.— А может быть, и лучше. Но лучше, чем этот был, найти трудно. Долго искать будут.

Я смотрел на Санька — шутит или говорит всерьез? Манера была, мастерство: что говорил — неважно, главное — говорил убежденно. Но и не покидало ощущение, что издевался. Над всеми. И над собой в том числе.

Санек был в командировке. Он какой-то чиновник в Ростове, да и от него за версту несло чиновным степенством. Беседовать нам было не о чем. Санек обрюзг, располнел и, выпив чуток, опять завел монолог.

И все время хотел что-нибудь для меня сделать, облагодетельствовать. Его просто раздирало от желания мне помочь. Зашел, не помню с чего, разговор об обуви фабрики «Масис». Санек возвестил, что через пятнадцать, нет, тридцать, минут вот тут будет стоять машина с обувью знаменитой фабрики. И вообще — с любой обувью... Санек распинался, что обует весь театр, всю Москву, он был пьян... Но наутро наших женщин повели в фирменный магазин, и там они отоварились на все деньги, которые были с собой. Легенда о всемогуществе Саши Баринова пронеслась по всем цехам театра, женщин охватила паника: обувь действительно была великолепна и сравнительно дешева. Санек махнул волшебной палочкой, отменил дефицит и улетел в Ростов. Лично мне мужские туфли в фирменной коробке принес в номер донельзя шустрый человек.

— Степан! — протянул мне руку шустряк с узкими монголоидными глазами.— Я сам с Кавказа, но живу в Алма-Ате.

— А в Ереване что делаешь?

— Денги.— Степан весело смотрел мне в глаза.— Хароший денги делаю.

Степан просил отвезти подарок в Москву. Женские туфли фирмы «Масис» сестре Манане. Услуга за услугу. Там, в Москве, и отдам ей «денги».

Степан оказался незаменимым человеком. Он возил наших женщин в магазин и обратно на инмарке, помогал паковать в кофры реквизит и бутафорию, и чуть ли не сам отправлял контейнеры, помогая монтировщикам в погрузке. У некоторых наших женщин не хватило денег, и тем некоторым он тоже дал взаймы.

— Ай, чито эти денги, главное, читобы чиловек бил хароший!

— Ну и рожа,— сказал после знакомства в ресторане с «волшебниками» сосед по номеру.— Ну и хайло.

— У кого? У кавказца этого? — спросил я.

— У Баринова твоего, дружка.

— Рожа?

— Такой отправит на тот свет и не вспомнит...

И я задумался... Почему я не вижу в Саньке «рожу»? — Друг ушедшего детства, обыкновенный чиновник из Ростова, ну, любит прихвастнуть — всегда любил ... Ну, любит деньги — всегда любил. Но — «рожа»?

Господи, надоумь дурака! Ведь дважды попадал с ним в отвратительные истории. Неужели в третий?

Туфли те я купил и коробку для сестры забрал тоже. И валялась она у меня в общежитии с января по июнь. Перед летними гастролями позвонила сестра, Манана. Просила о встрече, просила привезти туфли и вернуть долг. Она ждала меня в «Метелице» на Арбате. И я поехал. Но предварительно, словно кто-то толкнул меня... распечатал коробку и осмотрел, обнюхал великолепные выходные туфли. И коробку осмотрел. Запаковал и поперся. В фойе встречала меня роскошная Манана. Она была невероятно красива. Но почему-то с русыми волосами... Тут же раскрыла коробку, переобулась, бросила в коробку прежние туфельки, я ей вернул долг, и мы вошли в зал. За столом нас ждал Санек.

Откуда? Почему не позвонил сам? Почему в «Метелице»?

— Прахады, дарагой! Прахады — пачиму блэдный такой! — гремел за спиной знакомый голос. Я обернулся.

Улыбаясь, распахивал объятия шустрый Степан, кавказец из Алма-Аты. Он подцепил меня под руку и потащил к столику, за которым восседал Санек. Что-то шепнув ему на ухо, Степан расхохотался. Санек кисловато поморщился. На меня смотрел. Степан пожал мне руку, пожалел, что не может остаться с нами... «Дела, дела... Время — денги». Срочно улетает...

И улетел.

А я остался. Стоял на ватных ногах у столика. Дар речи потерял. Только злоба закипала. Безотчетная злоба на Санька, на этого Степана транзитом из Алма-Аты, на себя...

Не хотел садиться, да и о чем говорить?

Сел.

Любопытства ли ради, слишком ли была хороша Манана?.. Да и как такой женщине отказать, когда усаживает, ласково заглядывает в глаза, кладет холеную ручку, поглаживая мою: — Что будете пить?

— Все! — я уставился на Санька.

«Нет, я узнаю о тебе все, Санек. Кто ты? Что тебе от меня нужно?»

— Ой-ой-ой, малахольный... Только вот так сразу не надо...

— Чего ж не звонишь, не заходишь? Адрес-то ведь записал. И телефон.

— Дела, заботы... Да и редко в столицу заскакиваю.

— И все-таки... Что за конспирация?

— Брось. Просто... Кто я такой? Обыкновенный главный инженер обыкновенного ростовского СМУ. А ты вон — неизвестный артист известного театра...— льстиво улыбался, головой качал.— В журналах печатаешься... Талант.

— Не то, не то говоришь, Санек. Неправду говоришь.

— А ты правду хошь?

— А как же... Все ж таки друзья детства.

— Правду все хотят. Так, Манана? Да есть ли она?

— Есть! — сказал я твердо. Громко и уверенно сказал.

— За это и выпьем. За правду.

Санек закинул рюмашку в рот. И я закинул. Манана не пила. Но руку с моей убрала. Разговор не клеился. Больше молчали, глазели на танцующих, по сторонам... Манана поглядывала на меня и царственно поводила плечами. Ей, «восточной женщине» с русыми волосами и рязанским профилем, прохладно было в «Метелице». Не по себе. То ли кого-то ждали, то ли собирались уходить, вроде бы и говорили о чем-то, вроде бы и отсиживали положенное время. Показа-

лось на мгновение, что позвали меня так — ради развлечения, от тоски.

Часам к десяти народу в ресторане набилось под завязочку. Ворвалась компания наглых юнцов лет по двадцать. Они громко разговаривали, ругались матом и вообще вели себя похабно. В придачу еще и пялились на Манану.

Санек разговорился. Алкоголь подействовал. К тому времени мы уже выпили бутылку «Камю», и он заказал следующую. И пил и ел Санек по-барски. Степенно, позволяя каждому куску и очередной рюмашке быть переваренными в его чреве. Вдруг показалось, что он ревнует меня к Манане.

Ни с того ни с сего он предложил пойти и немедленно побороться. Ну, если не побороться, то поставить сейчас же локти на стол и выяснить, кто кого положит «на руку». Поставили, покряхтели, и он был повержен. Надо было видеть, как это его потрясло!

И вот он опять заговорил нескончаемым монологом. Он должен был победить меня, втоптать, размазать! Он не мог допустить мысли, что эта женщина, которая рядом, решит, что он, Санек, в чем-то слабее меня.

Утверждал, что в Москве давно, по делам, ему грозит какое-то высокое назначение. То ли завтра, то ли послезавтра он должен быть у министра... Санек многозначительно смотрел на Манану. Сообщил, что недавно ходил в театр, не помнит в какой, и что показывали, «не врубался», но почему-то хотел, чтобы на сцену вышел я, а он меня обязательно обсвистел.

— Нет, я бы свистнул, клянусь честью! Знай наших, мы из Ростова!

Он вдруг засвистел соловьем-разбойником, тут же возле нас оказался метрдотель. Саньку не стоило больших трудов уговорить его не выгонять нас из зала. Когда метрдотель ушел, укладывая «задаток» в кошелек, Санек спросил меня, навалясь на край стола.

— Туго с бабками?

И положил на стол сотню. Я уставился на деньги, ничего не понимая.

— Мало? — спросил он.

И положил еще сотню.

— Завязывай,— сказала Манана.

— Стоять, Зорька! — сказал Санек.— Я все помню, понял?

— Что? — спросил я.

— И Рогожинский разъезд помню... И три вокзала. За мной должок.

— Какой должок? Убери сейчас же деньги!

— Возьми бабки. Я тебе должен!

— Убери, а то сейчас уйду! — зашелся я в крике.

— Девочки, не ссорьтесь...— вставила Манана.

— Стоять, Зорька! — сказал тихо Санек, не глядя на нее. На меня смотрел. Не отрываясь.

Что это за чертовщина, что за гипноз, к чему этот дешевый маскарад?! Почему я опять как истукан сижу и слушаю его разнузданные речи?!

Санек говорил. О том, что мой вид — он теребил мою рубашку за воротник — потрясает его своей нищетой, моя зарплата вселяет в него чувство гнева. Он ругал на чем свет стоит министра культуры, директора театра и грозил главному режиссеру скорой расправой.

— Они у нас все бледный вид иметь будут! — шипел с ненавистью Санек.

— Потише,— трогала его за руку Манана.

— Стоять! — отвечал ей Санек, «страшно» вращая глазами куда-то в сторону моих обидчиков.— Сволочи! Что они делают с интеллигенцией?! Да как им не ай-я-яй! А мы возьмем и накажем их, как у нас у Ростове наказывают. Не боись, малахольный. Я тебе помогу стать человеком. Если захочешь. Врубаешься?

— Не врубаюсь, Санек.

— Жаль, малахольный. Нет в тебе чего-то... Главного нет.

— А в тебе есть?

— Как видишь.

— Дай потрогаю...— сказал я ему.— Не верю, что это ты, Санек.

— Это я,— качал он головой.

— Не верю, спаситель мой... Где ж ты раньше был?

— Я вернулся,— сказал он,— я всегда был с тобой. Просто ты этого не замечал.

Говорил гневно, негромко стучал кулаками, вскидывал лысеющую голову. И опять, как тогда, в Ереване, я не верил ни единому его слову. Но игра была... По высшему классу. Перевоплощение по Станиславскому, по Чехову Михаилу... Он был великий артист, Санек, трибун, он был — все. Я — ничто. Какой монолог закатил! Поглядывал на себя со стороны и получал несказанное удовольствие от того, что «впаривал мне мозги». Ухмыляясь, подзывал официанта. Шиковал. Я совался тут же со своей десяткой, а он, не глядя на мою протянутую с деньгой руку, пытал официанта:

— Знаешь, как о нас Высотá сказал?

— Не знаю,— отвечал официант.

— «Я слышу, ростовчане вылетают». Вот мы и прилетели. Транзитом через Ереван.— Санек мне подмигнул.— Спасибо. Неси, все неси. Я друга встретил.

Я д р у г а в с т р е т и л... Какое слово говорил — д р у г!

Всколыхнулось, заголосило во мне памятью то чувство, с каким я выносил ему пушечку, чувство истинной доброты и преданности, и еще чего-то...

— Как мы прожили эти годы, Санек? — спросил я у него.— Зачем?

— У-у-у, малахольный.— Санек соскочил с монолога.— Глубоко. Я так глубоко не копаю.

— Нет, ну зачем? — вопрошал я у Мананы.

Та улыбалась, польщенная, что на нее наконец обратили внимание.

— Мог бы и не жить,— ответила Манана, и Санек заржал.

— Понял, понял, как тебя женщина?.. Сразу в точку. «Мог бы и не жить!»

— Как Генка Малышев...— сказал я тихо.

— Вот именно,— сказал Санек и потянулся губами к Манане.— Дай я тебя поцелую.— Целовал.

— Попробуй,— совал ей красную рыбу.— Приезжай, Мананочка, ко мне в Ростов. Я делаю балык — пальчики оближешь. У меня дача в лиманах.

Тут и загуляла за соседним столом разухабистая компания молодых людей. Крепкие, ладные, хваткие ребята... Они дурновато похохатывали и давили косяка на Манану. Вскоре, накачавшись, один из них пригласил ее на танец, и она, не спрашивая, даже не глядя на Санька, пошла. Потом с нею танцевал другой, третий. Все перетанцевали. А Санек не обращал внимания. Он впился в меня. Расспрашивал о театре. Он был очень любопытен, он хотел выяснить, как делается спектакль и кто несет финансовую ответственность, как про-

исходит перетарификация и кто больше всех получает. Его очень волновали гонорары в кино, на радио, телевидении. Он сравнивал свою «систему» с нашей «системой», пришел к мысли, что везде маразм и бардак, и остается только воровать, чтобы уважать себя. Воровать надо у государства, и помногу.

Потом вдруг вспомнил, как учился заочно и как тяжело досталось ему высшее образование: с ребенком на руках, с женой, в общаге, и «на фига» теперь ему эта корочка, и сколько он «отбашлял» за контрольные работы преподавателям и аспирантам,— одному богу известно. Он достал какую-то записную книжку и потрясал ею перед моим носом, объясняя, что «у него здесь все, все записано — сколько, когда и кому он давал».

«А ты не изменился, Санек. Ты такой же...— подумалось.— Так же ненавидишь их, как и меня тогда за мою пушечку. Ненавидишь за то, что не мог учиться, как все, силенок не хватало, и пришлось «башлять» и быть тебе, Санек, всю жизнь горбатым».

— Слышь, друг детства Санек, стоимость этого стола — пополам. Я расплачусь.

— Я угощаю, понял? — сказал Санек.

— Отдам, половину отдам...

— Не выступай!

— А то ведь запишешь расходы на меня вон туда, в книжечку.

— Запишу, я все записываю. Это мой стиль.

— Что?

— Стиль. Отдашь, натурой отдашь.

— Это как?

— А ты уже отдал. Многократно. Помнишь посылочку? У-у-у! Ереван, «Масис»...— он сделал страшные глаза.— Так что я твой должник...— он засмеялся.— А помнишь, «Безумный мир» смотрели?

Я молчал, он стал пересказывать содержание.

— Помнишь, когда негр с обрыва, и у него фикусы вылетали, и в конце он с рулем в руках, и толстой негритянке: «Я же говорил, что не надо ехать в Калифорнию!» А те — муж и жена на допотопном самолете... А под ними машины по шоссе — фью-у, фью-у... Обгоняли. Жена заорала: «тараканы» или «клопы», муж ка-ак даст по обшивке и провалился сквозь пол!..

Санек хохотал, поглядывая на меня глазками-буравчиками. Молодые крепкие ребята танцевали с Мананой, подводили к нашему столу, вежливо отодвигали стул, помогая сесть, и затем за их столом раздавалось здоровое конское ржание. Санек наклонился и что-то шепнул ей на ухо. Она «замерзла» лицом и, когда в следующий раз жеребец подскочил с предложением проплясать очередной галоп,— отказала. Атмосфера накалилась, молодые-крепкие замолкли, о чем-то шушукаясь. Санек повис над столом, уставился в меня мутными пьяными глазами.

— Генку Малышева вспомнил?

— Я его не забывал.

— И я тоже... Старое-то кладбище снесли. Теперь на горе хоронят, на новом. И мать Генкина умерла. Все. Нет Гендоса. И память о нем тю-тю.

— Я помню...— сказал я.

— Что?

— Всё.

— А-а-а, мучишься, небось, что его...

— Кто — его?

— Ты.

— Да нет, не я... А ты — е г о.

Подошел один от того стола. Наклонился к Саньку, не дал нам продолжить. Что-то спросил, Санек промолчал, уставился в грязные тарелки. Опять его спросили, и опять он ничего не ответил.

И тогда я ответил. Не было ни наглости, ни металла в голосе, так, между делом.

Но им показалось.

Посол многозначительно посмотрел в мою сторону и отошел. Затихли, затаились.

— Тут я твои стишки прочитал. Кропаешь? — сказал Санек.

— Кропаю.

— Нацеди обо мне.

— Не нацедю. Чернил жалко.

— Да что ты... Сколько?..— Санек достал бумажник.— В какой цене тут у вас «Паркер», Манана? На вот... На сто «Паркеров»...

Молчали. Я с ненавистью смотрел на него. Он спокойно — на меня. Хозяин. Босс. Улыбался. Тихо улыбался. Блестело золото в зубах.

— Нет, я серьезно. Напиши обо мне.

— Не напишу, Санек...

— Не напишешь, потому что у меня вот тут...— Санек постучал себя в костюм-тройку,— столько наворочено... Не разгрести.

— Не преувеличивай. У тебя наворочено не больше, чем у них,— я кивнул на соседний столик.

— Что у них наворочено, тебе не понять, художник. Никогда!

— Да что ты?

— Это я тебе обещаю... Ты упрощаешь людей, малахольный, люди умнее и хуже.

— А я всегда надеюсь, что лучше.

— Ошибка.— Кивнул: — Возьмут тепленьким.— Санек ткнул в меня пальцем.— Никому не верь и ничего не бойся... Так напишешь, малахольный? Слышь, залуди обо мне роман, а? Я тебе такого матерьяла подкину — заторчат писсатели! И название надыбаем убойное... Ну вот...— Санек поднял голову и поводил ею, глядя в потолок.— Ну вот, хотя бы... «Гуляй, рванина!» А?

Санек навалился на стол...

— Нет, я серьезно... Забуримся на дачу мою, в лиманы... И в два смычка! На авторство не претендую...

— О Генке Малышеве можно...— смотрел я на него. Он на меня. Ни один мускул не дрогнул.

— Ну? — он впился протрезвевшими глазами.— Можно и о Гендосе...

— Неувязка, Санек. Как до его смерти дойду, что писать — не знаю. Помнишь... он ковыляет по крыше товарняка, прыгает...

— Состав дергается...

— Это ты уже потом придумал. Про состав. В Кумылге.

— Не слабо придумал.

— Не кисло... Но это — художественный вымысел. Туфта.

— Напиши, что ты толкнул его в спину. Бежал за ним — и толкнул. Случайно.

— И это неправда. Вымысел. Даже нехудожественный... Так, подтасовка.

— Напиши, что хочешь.

— Бежал, бежал и просто упал.

— И все? Нет навара — тоска.

— Поэтому и не будем о Гендосе... Тоска. Ведь он не мог перепрыгнуть... никогда. Нога у него была, как ты говоришь — тю-тю...

Подошел официант. Принес бутылку шампанского от соседей. Мы оглянулись.

— Мир! — громко прокричал один из них, стриженый, и сомкнул волосатые короткие руки над головой.

— Пошел ты! — сказала Манана.— Убери это! — она швырнула бутылку официанту. Он чудом подхватил, отнес назад. И остановился, поглядывая на наш столик.

— Ну вы, прекратите или нет? Жлобьё? — выкрикнул я гневно. А главное громко.

— Заглохни! — сказал мне Санек.— Коззел. И ты заглохни! — Дыхнул он на ухо Манане.

Но дело было уже сделано.

Гнев соседей упал на меня. Отозвали в сторонку, предложили «не выступать», а то...

— А что?

Ну, и пошло-поехало. Не был я Гераклом, совершающим очередной подвиг. Что-то там лопотал, опустив глазки, однообразное и настырное лопотал, пытаясь поговорить по-человечески. Немедленно был приглашен в туалет на рыцарский турнир, куда и пошел на подкашивающихся злых ногах. Где и получил «по сусалам». Метрдотель вызвал наряд. Словно из-под земли тут же выросла опергруппа, и меня, окровавленного, под белы рученьки, утираемого платочком Мананы, вместе с Сашей Бариновым и молодыми негодяями доставили в за решеченном газике в отделение милиции. Там выяснилось, что те четверо — слушатели каких-то высших курсов, то ли КГБ, то ли МВД. Эти три высокие буквы возымели действие на капитана и, предъявив алые удостоверения с гербом, они были отпущены, а мы с Сашей Бариновым и Мананой остались. Санек проходил, конечно же, как свидетель пьяного недоразумения. Он что-то писал, а я камлал о том, что «милиция, на которую у народа вся надежда, отпустила этих скотов, тем более что они слушатели, да еще и высших курсов». Опергруппа уехала, капитан милиции не слушал меня, Манана скромно сидела, глядя в пол. Саша Баринов надел роговые очки, внимательно перечитал написанное, подписал и вскорости исчез. А я остался. Как сейчас вижу протянутую его крепкую мужскую руку.

— Дай пять! — говорит он мне уважительно и старательно трясет. И я подаю, п о д а ю ему свою.

— Жаль романа,— говорит Санек, не отпуская моей руки.— Но я надежды не теряю. Сядем как-нибудь. Пузырь раздавим. Обмусолим сюжетец...

Санек ушел, пообещав «врубить все свои связи», чтобы вызволить меня из неволи.

Отоспавшись на жесткой скамеечке, протрезвев, утром я просил того же капитана разрешить мне позвонить своему другу.

— Какому другу?

— С которым мы вчера залетели...

— Куда залетели? — спросил капитан, но телефон протянул.— Залетел ты один. Друга я что-то не припомню...

Я взял телефон и... И понял, что нет у меня никакой информации о Саньке. Заметался, стал звонить в справочную гостиниц Москвы, но нигде фамилия Баринов не значилась... Может быть, в ведомственных гостиницах? Но в каких? Где искать Сашу Баринова, друга детства?

Сидел я перед капитаном, опустив буйную головушку, смотрел на заляпанную кровью белую рубашку, чмокал разбитыми губами, пригорюнился. Пришел сменщик принимать дежурство, капитаны о чем-то говорили, и до меня долетела фраза: — Ну что, может, отпустим этого?..

— А что на нем?

— Ознакомься...— и ночной капитан толкнул по столу лист протокола. Сменщик прочитал и оттолкнул назад. И листок запорхал на место.

— Вот через таких и сидим тут,— сказал ночной капитан.

— Через каких? — спросил я.

— Что вчера было, помнишь хоть?

— Помню.

— Помнишь?

— А что? — хлопал я глазами, не понимая, к чему он клонит.

— Нельзя же так нажираться! Да еще с временной пропиской. Сейчас сделаем бумагу в паспортный стол, и запляшешь! Ишь ты, артист погорелого театра! Ознакомься

Читал я протокол долго, по складам. Впитывал каждое слово. По второму, по третьему разу. Там было написано, что Санек меня знать не знает, случайно познакомились в ресторане, разговорились, потом «у товарища, то есть у меня, возникли трения с соседями, и он меня предупреждал. А потом случилась драка, которой он не видел, и кто кого бил первым — не знает... И был приложен счет из ресторана. На всю сумму счет. А половина уплачена. Толковый протокол. И подписан размашисто. С нужным отступлением в уголке. А рядом — моя подпись.

— Я не читал протокола...

— Это что? — ткнул пальцем в протокол капитан.

— Где?

— Чья это подпись?

— Моя. Но я этого не читал! Понимаете... Все было не так! На самом деле этот человек... Который все это написал... Очень плохой человек... Я его двадцать лет знаю... Вернее, я его не знаю и знать не хочу! Понимаете...

— Понимаю...— смотрел на меня капитан.— Вот через такую шушеру, как ты, мы и сидим тут, понял?

— Понял,— сказал я. Смотрел на капитана и что-то тужился вспомнить. Морщил лобик, память напрягал. Где-то я уже это слышал. Кто-то мне уже говорил про шушеру... Ах да, следователь Сергеев двадцать лет назад, но тогда он говорил о Саньке, а теперь...

— Проваливай,— сказал презрительно капитан, порвал протокол и бросил в корзину.

— Не надо рвать! Он мне нужен! Протокол! — кричал я, вскидывая руки и сжимая кулаки.

— Зачем?

— Как вещественное доказательство, понимаете! Двадцать лет назад... Нет, это долго рассказывать, понимаете...

— Иди домой! Приводи себя в порядок, артист! Вечером спектакль играть.

— А откуда вы знаете?

— Мы все знаем, понял?

— Понял. Спасибо. Большое вам спасибо...— пятился я задком к двери, обогащенный опытом жизни

Вышел на улицу, вдыхал глубоко, выдыхал коротко. Свобода была. Солнышко светило, птички пели, пошел, не разбирая дороги. Очнулся возле киноафиши, поймал себя на том, что говорил вслух. И так хорошо было оттого, что вслух. Отпускало.

Угар улетучился.

— Не дай бог мне встретиться с тобой, Санек, не дай бог! Я тебе все скажу, Санек, понимаешь, я тебе все вспомню, оборотень! И пушечку вспомню, и дачу вспомню, и тот протокол вспомню, и этот. И тот филоновский изолятор вспомню, и этот московский, и «Безумный мир», и Гену Малышева, и...

Он позвонил через полгода, в январе, в общежитие, ночью.
— Ну как ты там?
— Что — как?
— Ну... Тогда?
— Что тогда?
— Все понял. Разговора не получится.
Я молчал.
—Ай-я-яй! Какие мы...— И кому-то рядом, по-видимому, жене: — Эт тот, что я рассказывал. Он на меня обиделся. Я ему тут посылочку собираю, я его простил, а он, видите ли, забыть не может.
Я бросил трубку. Тут же опять раздался звонок.
— Ты что, не понял ничего? У меня шесть штук в кармане было! А ты думал, я в ментовку через тебя, дурака, полезу! Тоже мне — лыцары! — И кому-то рядом: — Нет, серьезно, он — обиделся. Полез с переодетыми ментами в драку и гоношится! Ну и говори с ним сама.
— Здравствуйте...— появился в трубке голос жены.— Мы вам собрали посылку. Рыбки. Поезд «Ростов-Дон». Пятнадцатый вагон. От хвоста нумерация. Первым придет...
— Послушайте... Как вас там зовут?!
— Раиса.
— Раечка! Дайте-ка трубочку вашему мужу.
Санек взял трубку, зло и властно сказал: — Слушаю!
Я замолчал. Хотел бросить трубку, но удерживало какое-то любопытство... Пусть выговорится, может, что-то и скажет, чего я не понимаю. Может, он открыл какой-то закон взаимоотношений, которого я не знал. Пусть поделится...
— Чо молчишь?
Он затих. Почувствовал. Надо отдать ему должное — мгновенно «просек» перемену настроения, за тысячу километров. Тут бы мне и положить трубку, и отключить телефон, но... Меня прорвало. Захлебываясь словами, я стал что-то кричать о морали, совести, о том, что всю жизнь он высасывал из меня пользу и отбрасывал, как...
И чем больше я говорил, тем яснее понимал, как я неубедителен, злопамятен, мелок. И как его молчание многозначительно просто. Оно возвышалось над моим суесловием с немым укором. Я замолк, разглядывал свои голые ноги у засаленной общажной стены, на которой висел допотопный телефон. И вновь в который раз постигал мудрость молчания.
— Ну? — спросил Санек с того конца. Вкрадчиво, осторожно спросил, едва касаясь моего слуха.— Продолжай, чего замолк... Слушаю...
И меня разобрал смех.
— Ладно, выкладывай — зачем я тебе?
— Да, понимаешь, дочка в Москву собралась с классом. Поводи ее там по вашим театрам.
— Что еще?
— Все.
— Все?!
— Сейчас дам жену.
— Не надо мне твоей жены! — взвыл я в трубку.— Тебе, тебе что от меня надо?!
— Мне лично ничего. Просто тут посылку тебе собрали, как ты просил...
— Опять посылку?! Я тебя просил?
— Просил. В «Метелице».
— Не могло этого быть... Не надо никакой посылки, ты понял?

И всей этой твоей уголовной шоблы мне достаточно, ты понял или нет?!
— Понял!
— И не звони сюда! Никогда не звони!
— Что с тобой, малахольный? У-у-у!
— Со мной все в порядке. С тобой — что?
— Я тебе с дочкой передам элениум, ну нельзя же так...
— Да я твою дочку — в милицию сдам. Вместе с посылкой! Тут же! Обещаю!
— Все-все-все,— сказал Санек.— Не рыпайся.
И он стал давать указания. Голос его ласкал слух пониманием, уважением к моей нервной работе, он опять извинялся за поздний звонок, тактично выдерживал паузы.
Я слушал. Страдал.
Что это? Я опять выбит из колеи! За пять минут телефонного разговора! Почему я слушаю его, почему позволил ему? Кто он мне, а я ему?
— А чтобы она не таскала посылку по Москве,— закончил нежно Санек,— встречай ее послезавтра, «Ростов-Дон», 15 вагон. От хвоста нумерация. Запомнил?
Я не знал, что говорить. Какое-то злобное отупение.
— А в «Метелице» ты вел себя глупо. Тем более — в милиции. Ты что, не понял — меня «пасли». А ты их позором клеймить! Кого? Их? Глупо, понимаешь? Но я был уверен, что они тебя выпустят.
И опять я не выдержал, заранее зная, что проиграю.
— Почему?
— Что?
— Почему ты был уверен, что они выпустят меня?
— Потому, что я их замазал. Я им четвертак сунул!
— Когда?
— Уходил. И сунул... взятку, а что оставалось?
— Так почему же они не выпустили меня?
— Как не выпустили?
— Нет, они выпустили, но утром.
— Правильно... Ты ж дебоширил вечером. Орал. За правду сражался.
Убедительная, убийственная логика! И концов нет!
Мысли мои суетятся, пытаюсь вспомнить тех двух милиционеров... Неужели он дал им взятку?
— Видишь ли... Теперь уже никогда не выяснить — давал ты им, или не давал...
— Ты что, мне не веришь?
— Верю, Санек, но я протокол видал.
— Что — протокол?
— Читал, что написано там.
— А ты веришь написанному — писсатель?
— В некоторой степени. Если там стоит твоя подпись.
— У-у-у! Малахольный! Я начинаю заводиться! Тебя выпустили?
— Выпустили!
— Из театра звонили?
— Звонили.
— Хлопотали?
— По-видимому.
— «По-видимому»! Это я звонил от имени директора. Так, дальше идем. Протокол порвали?
— На моих глазах...
— Что тебе еще надо?

Молчим. Трещит в трубке, за окном снег летит в свете фонаря. Темнотища за тем фонарем... Ни зги. И, чтобы уж как-то закончить этот ночной разговор, говорю ему:

— Не звони сюда больше. И никогда... ничего... не передавай. У меня все есть. Договорились?

— Встреть девочку... И поводи по театрам,— отвечает мне Санек после недолгого раздумья.— А там посмотрим... Все, гуляй, пока...— и добавляет со смешком: —...рванина.

Дочка приехала через двое суток. Ни на какой вокзал я, естественно, не пошел. Утром раздался звонок в дверь. На пороге общаги стояла девица лет пятнадцати-шестнадцати, явно в мамином зимнем пальто, сапогах и дорогой шапке. На полу у ее ног лежала коробка. Проворно оглядывая прихожую общаги, девица говорила что-то вроде «фазер вот вам передал, и адрес ваш сказал»... «фазер просил, он надеется, что вы поможете мне...»

Она ногами проворно впихнула коробку через порог в прихожую. Не церемонилась. Объяснила, что я должен был сделать для нее, какую культурную программу за эту посылку.

На улице было тридцать градусов мороза, девица была еще заспанная и какая-то отчаянно-наглая, как говорят — больно прыткая... Должно быть, от страха быть вытолканной в три шеи.

— Если у вас я не смогу остановиться, фазер просил вас помочь мне устроиться в любую гостиницу.

— А он не может?

— Может, но я не хочу. Допускаете?

Я промолчал.

— Прекрасно. Деньги есть. Сделайте, пожалуйста, кофе.

— У меня нет кофе.

— Нет?

— Да, у меня нет кофе. И чая хорошего нет. Я вас не ждал и не приготовился... Не взыщите.

— Ну так давайте я схожу за кофе... Где у вас тут магазин?

— Подождите... Господи, боже мой... Подождите вселяться... Он же сказал, что вы едете с классом и ..

— Кто едет с классом?

— Вы... Как вас зовут?

— Мила.

— Мила... Ваш отец по телефону...

— Послушайте, при чем тут мой фазер, если я перед вами стою. Она отставила ножку и, как в дешевом ревю, потрясла ручкой: — О-па! Я вам нравлюсь? Нет? Я одна, потому что тоска с классом. Понимаете? Он сказал, что к вам подъехать надо. Говорит, вы зануда, но честняк, и если вас взять за жабры — разобьетесь, но сделаете...

— Что?

— Ну там... Культурную программу, театр какой-нибудь, концерт. (Она гнусаво сказала в нос «куо-онцыэ-эрт» и сама себе рассмеялась.) Мечтаю увидеть Валеру Леонтьева живьем! А что это на стене?

— Картина.

— Ух ты... У вас тут художники живут?

— Сосед балуется... Не кричите, все спят...

— А как его зовут?

— Кого?

— Соседа.

— Петр...

— Петя?! Просыпайтесь!

— Прекратите, все спят...

— У-у-у, тут у вас богема! (бугэ-эма). Ну, ничего — всех накормим! Тут у меня,— Мила постукала по посылке,— шесть кэгэ балыка и два литра икры. Где туалет?

Она осталась. Звонили администратору театра и просили помочь с гостиницей, звонили в гостиницы, знакомым звонили, незнакомым... Но, как обычно, в Москве проходила какая-то сессия, мест не было, да и Мила Бари́нова вошла в общагу, как нож в масло. Через десять минут она порхала по кухне и прихожей с совком и веником в руках, тактично и никого не раздражая, подшучивала над жизнью неженатых холостяков.

В общаге жили одни молодые артисты. Необычное это было общежитие.

Набирая молодежь в наш театр, о ней, как правило, тут же забывали, впрочем, так было и в других театрах, и не только в театрах.

Предоставленные самим себе, молодые люди занимались чем угодно, кто во что горазд. Вместо того чтобы работать по профессии, инженеры ушли в дворники, поэты стали лифтерами, лифтеры — артистами.

Съехались в столицу со всех сторон великой страны, получили образование и решительно не понимали, что с ним делать, как и куда убить время. Один артист купил токарный станок, вытачивал из дерева какие-то кружки, раздаривал знакомым, чтобы те ставили на них сковородки, другие играли в карты, третьи занимались развратом. У нас была особая общага, у нас — писали.

Один писал пьесы, мечтал их все до единой поставить и, конечно же, в них играть. Другой, Петька, когда был трезв, писал маслом, таскал свои работы на Малую Грузинскую и единожды выставил свой похмельный бред, что дало ему возможность просиживать штаны с художниками-авангардистами в знаменитом кафе при Горкоме графиков.

В третьей комнате день и ночь терзали гитару, там сочиняли «свою» программу.

Все изумительно занимались не своим делом.

Я тоже писал стихи, носил их по редакциям и к тому времени вот-вот должен был быть напечатанным в ежегоднике молодых дарований. «Вот-вот» длилось уже который год, но убежденность, что живем «не хлебом единым» объединяла нас всех четверых по вечерам на кухне. А по утрам мы вставали в семь и до десяти, что-то успев вложить в копилку вечного искусства, выезжали на репетицию, где с одиннадцати до двух, подпрыгивая от избытка энергии, стояли «солдатами», или «римскими легионерами», или «бастующими рабочими» в глубине сцены, прокручивая в разгоряченных мозгах замыслы пьес, холстов и «своих» программ. А после очередной массовки возвращались домой, где теперь нас ждала Мила.

В то утро, когда она появилась в общаге и подняла всех ни свет ни заря, она объявила, что отныне станет нам нареченной сестрой, будет убирать, мыть, готовить. И ничего не попросит взамен. Только — спектакли! Она их будет смотреть день и ночь, потому что давно мечтает о сцене! Она вывалила на стол содержимое посылки, и полуголодные «художники сцены», не церемонясь, набросились на еду, осоловели от сытных ростовских харчей, а Мила отпаивала всех чаем, заливая дорогое мамино платье и не обращая на это внимания.

Мила рассказывала, как ловят осетра, как делают «малосол», какие приспособления у тех, кто ловит осетра, и у тех, которые ловят браконьеров. Она увлеченно пересказывала папины байки. Через

час с общего согласия ей была выделена раскладушка, и она ее с грохотом бросила на три дюралевые ноги в моей комнате за отодвинутым шкафом. Через пару часов она притащила из магазина рублей на сорок продуктов. Брала, видно было, все подряд и подороже. На мой вопрос, к чему все эти барские замашки, она недоуменно, явно не понимая, о чем я говорю, целомудренно уставилась в пол.

— У тебя что, много денег?

— Вот столько,— сложила она указательный и большой пальцы, оставив между ними сантиметров пять. В этом она перещеголяла папу.

В тот вечер, усадив ее в зале, я пошел к администратору обзванивать гостиницы, а в середине первого акта заглянул в щелочку декорации. Любопытное это зрелище — зал со сцены. Зрители по-разному себя ведут, когда у них на глазах — пусть и на сцене,— убивают другого человека... Или лгут, или насилуют.

Не помню, какой был спектакль. Увидев Милу, я был ошеломлен. Она рыдала. Тихо, беззвучно, совершенно не в том месте, где полагалось... Кто-то рядом томился от скуки и поглядывал украдкой на часы, кто-то не мог оторваться от фасона платья на актрисе, сноб и ценитель, зная спектакль наизусть, в очередной раз был разочарован, а Мила плакала. В том месте, где даже на премьере не плакала жена режиссера, обожавшая творчество мужа. Мила и во втором акте рыдала. Ну просто до смешного жалкий человечек, разряженный в дорогие шмотки... Больше к администратору я не ходил и никуда не звонил. После спектакля мы отправились пешком домой, молчали, а придя в общежитие, слушали Сен-Санса, Малера, Шостаковича. Я ставил ей любимые свои пластинки, а она слушала, молчала. Сжалась в комочек на кресле, теребила нервно дорогую мамину шаль. А потом нагрянул из кабака артист Петька, блестяще травил анекдоты, тарахтел без умолку. Наконец снял Сен-Санса и врубил танцевальное.

Недели за две Мила Баринова пересмотрела весь наш репертуар, она мгновенно усвоила театральную иерархию и, шныряя за кулисами, заучила всех по имени и отчеству, особенно дирекцию и администрацию.

Теперь она частенько стала исчезать куда-то с Петькой. Петька был в театре неполный год, взяли его до армии, он отслужил и, придя после двух лет службы, вдруг оказался мелким проходимцем, не вылезающим из ресторана ВТО. Он бесконечно попадал в какие-то скользкие истории. То книжки пропали там, где он был в гостях, то кассеты от видео, где смотрел порнофильмы. Однажды к директору пришли две девочки и рассказали, что с ними в ресторане познакомился киноартист, приехал к одной из них в дом и, пока накрывали на стол, утащил весь мамин, папин и дочкин парфюм. Пришлось вернуть парфюм, который был выставлен в ванной комнате общежития. Вот такой был артист Петька. Он умел и любил за чужой счет устроить пьянку, любил общение, и особенно, напившись, обожал потаскать гостей вдоль своих «холстов». В Москве у него был какой-то влиятельный дядя, который и впихнул его в театр. Петька бывал у дяди, и когда тот уезжал, бардак перекочевывал к дяде. Петька вовсю прогуливал репетиции, спектакли и к тому времени порядком всем опостылел.

Он и налетел на балычок. А заодно и на денежки Милы, которых было «вот столько». Однажды, вернувшись со спектакля, я не обнаружил ее в моей комнате за шкафом. Постучал к Петьке — они были, конечно же, там. В постели.

Я поехал на вокзал и вернулся обратно с билетом. Мила должна

была уехать в Ростов через два часа. Петька смылся, чтобы не присутствовать на проводах, предварительно прихватив у нее пятьдесят рублей. В долг. Я ожидал, что Петькино бегство вызовет в ней сожаление, растерянность, но увидел всего лишь блудливое похохатывание и смачное потягивание.

Разговор у нас получился примерно такой:

— Все равно приеду к нему.

— Ты вещи собрала? Поезд через два часа.

— Я, кстати, могу и не уехать сейчас! Все равно вы меня не отправите!.. Я не нанималась вам...

— Давай, дорогая, не хами, а собирайся! И не доводи меня... А то еще и домой позвоню.

— Ну и звоните... Напугали...

— Позвонить?

— Да бога ради!

Я схватил телефон и грозно прокричал: — Сейчас наберу номер и все, все расскажу отцу!

— Что? Я, между прочим, уже звякнула маме и сказала, что познакомилась с мальчиком.

— Вот я расскажу, как ты познакомилась... С мальчиком. Ну, позвонить?

— Валяйте... И я позвоню.

— Куда?

— В милицию. И тоже все расскажу.

— Что?

— Мне, между прочим, семнадцать еще не скоро исполнится...

— И что?

— А то, что сейчас звякну... и сообщу им кое-что.

— Не понял...

— Все ты понял...— перешла она на «ты».— Я, между прочим, несовершеннолетняя. Ясно?

Она смотрела на меня очень знакомым взглядом. Папиным взглядом. Исподлобья. В упор. Усмехалась, потягивалась в халатике.

— Чем ты, к примеру, докажешь, что я с тобой не жила?

После этой незатейливой фразы она глуповато и зло засмеялась, глядя мне в глаза.— Нет, ну чем?

— Так, пошла вон отсюда.

— Ую-ю-юй! Не надо, не надо, а то вляпаешься, понял? И мне ничего не будет, понял?

— Тебя привлекут за клевету.

— Я не-со-вер-шен-но-летняя, дядя! — Мила это сказала по складам, кокетливо, как если бы заявила в классе: «Сейчас все пойду и расскажу! И тебе снизят оценку по поведению. Съел?»

Она встала, запахнула халатик. Спортивная, современная девочка.

— А я, между прочим, у тебя в комнате ночевала. И все это тут з н а ю т. И подтвердят.

— Ты на раскладушке жила...

Она расхохоталась. Искренне, до слез.

— А кто видел? Сейчас с этим очень строго, понял? Все. Закрой варежку, как мой фазер говорит. Я пошла одеваться. Домой еду. Надоела ваша Москва.

Она собрала вещи и вышла в коридор.

— Дайте ручку и бумагу,— опять на «вы» сказала Мила.— Напишу ему записку.

Я молчал, смотрел, уставившись ей в ноги. Вдруг смертельно захотелось курить. Пошел искать бычки по общаге. За плинтусами,

в столах, в пепельницах. Мила открыла сумочку и бросила на стол пачку папирос.

— Курите.

Я жадно затянулся раз, другой... Вдруг так шибануло в голову, что я чуть не слетел со стула... Мила села против меня, сцепила пальчики в маминых колечках и положила на них головку. Смотрела на меня как-то грустно-грустно, как на муравья, на которого сейчас наступят.

— Кайф? — спросила Мила.

— Я ж не курю...— сказал я.— Первая. Да еще папироса.

— Мг,— промычала Мила, встала, налила стакан воды и поставила против меня.— Поругай меня. Очень хочется, чтобы кто-то поругал,— грустно сказала она.

— Скажи, милая Мила... Как же тебе в голову такая мысль пришла?

— Стукнуть на вас? Элементарно!

— Что — элементарно!

— Мысль! О-па! — она шлепнула ладошкой себя по лбу.

— Но это же... нет слов, как плохо. Как же ты жить-то дальше собираешься?

— Постепенно! — она смотрела на меня очень серьезно. Разглядывала, изучала.— Правильно фазер про вас сказал: «Малахольный». Неужели вы не знаете про себя, что вы неполноценный? Вы на себя в зеркало гляньте. Вы такой правильный, такой честный, вы, наверное, уступаете старушкам место, да? Не любите, когда животных мучают? Да? Ах, какой вы хороший! Вы самый лучший из всех малахольных на свете! И весь ваш театр забит такими же малахольными! И общага! Да вас же за деньги надо показывать, понимаете?

Она вдруг засмеялась, тыча в меня пальцем: — Так вас же показывают, уже показывают за деньги, как же я раньше-то не подумала!

В голову теперь так шибануло, что я встал и вытаращил глаза. Ноги вдруг налились свинцом, захотелось лечь. Лег на пол. На кухне. Мила вдруг повисла в воздухе, перебирая отвратительными малюсенькими ручонками, на которых я отчетливо видел маникюр. И голос ее отчетливо доносился, но словно из другой комнаты. Она здесь, а голос там. Мила тыкала в меня маникюром, будто хотела запустить коготки.

— Неужели тебе непонятно, что ты обкуренный! Ты что — и этого не видишь? А что ты видишь, коззел! А? И то, что тут две недели Петя план сосет не видишь? И что фазер мой планом торгует — не знаешь? А что ты вообще знаешь, идиот? А знаешь, сколько с твоей помощью вывезли тогда из Алма-Аты... Транзитом через Ереван? Нет? Так куда же ты со своими стишками суешься, куда ты со своими «прынцыпыми» лезешь? Он же тебя за человека не считает, а ты с ним в благородство поигрываешь! Да ты должен бежать и бежать от этой сволоты! Они же тебя заложат и перезаложат! Фазер сейчас, между прочим, в Москве! И никуда не уезжал. И я сегодня с ним встречалась... Это уж мое дело — зачем. Я ему тут порассказала — он ржал, не разгибаясь! Арцыст ты... Стихоплет. Кропай стишки, кропай... А мы будем почитывать, с понтом, знаем писсателя одного, знакомы с ним. Только когда ты там под кайфом ямб с хореем спаривать начнешь — не забудь, что вчера Петюня затащил меня на хату, обкурились там все до осатанения... Налетели на дрянь, как мухи на навоз... Так вот, потом свет погасили. Нас там много было, да... Групповуха называется. Не знаешь, что это такое? Это когда кто с кем хочет и сколько хочет. И когда все равно с кем. Сначала.

Она опять попыталась засмеяться, но не получилось.

— Дай сюда! — она выхватила у меня папиросу и выбросила в окно.— Пошел сушняк?

— Какой сушняк? — спросил я.

— Соси, коззел.— Она толкнула маникюром по столу коробку папирос.— Соси! У папы клиентом больше. Когда затягиваешься — задерживай дыхалку. Так больше кайфа.

— Значит... я тупо уставился в коробку, которая вырастала на моих глазах в дом.— Наркотики, да?

При слове «наркотики» Мила так и зашлась в истерическом смехе.

— Значит, и ты?..— Язык мой не поворачивался.

— Что я?

— Сосешь?

— Не-е, малахольный. Я что — дура? Мне папенька не велит.

Потолок опускался на меня, холодильник почему-то оказался, наоборот, под потолком, предметы на кухне парили в воздухе, я не мог пошевелить ни ногой, ни рукой, но голова работала ясно. Настолько ясно, что стало очевидно — жить нет никакого смысла. Нет смысла: не знать, не понимать, делать вид, что живешь.

— Пить очень хочется,— сказал я.

— Во-о-о! Ура! Сушняк пошел,— сказала Мила и протянула стакан.— Пей. Потом жор начнется. Съешь весь холодильник.

Она молчала, уставившись в меня. Заговорила медленно, внятно, чуть ли не по складам.

— А теперь... Может, сексом побалуемся, а? Головка-то тю-тю...

И мы оба, не сговариваясь, засмеялись. Мы ржали, не разгибаясь, до боли в животе, показывая друг на друга пальцами. А когда отсмеялись, я встал и открыл дверь:

— Вон!

Мила вдруг разрыдалась. Тушь потекла... Ребенок ребенком... Говорила, не переставая, одевалась и говорила.

— Мы там сейчас в школе «образ лишнего человека» проходим, и этого, артиллериста из народа, Платона Каратаева. Много разных образов... Вы тоже небось свой образ создаете, и на сцене, и в стишках! А в жизни-то что, а? Что, миленький мой, в жизни? Вы вот Сен-Санса слушаете на вертушке, умные речи говорите... А что вот тут, вокруг меня?

— Не знаю,— выдавил я наконец.

— А где же мне узнать? У кого? Если вы не знаете? Ведь фазер мой вообще в потемках живет: бабки, треп, рыбалка и больше ничего. И мать затоптал... У кого узнать? Вот вы-то, вы,— Мила ткнула в меня пальцем.— Вы больше всех и врете.

Встала, процедила через плечо — как плюнула.

— Не надо провожать. Без вас дорогу найду.

Года через два-три опять дребезжал телефон. Звонила Мила.

— Привет писателю от читателя! — громко кричал ее голос. Повзрослевший, с прокуренной хрипотой. Столичный стандарт женского голоса.

Сразу пошла в нападение.

— На свадьбу придете?

— Нет.

— Ну и черт с вами. Я тут в институте одном учусь — название забыла. Не пугайтесь, что вы так трясетесь, прямо вижу, как вас колотит. Просто так позвонила. Тут о вас в газете статейку прочли. Мол, такой-то и такой неплохо справился с ролью... Не завалил, короче. Да еще и накропал каких-то там стишков в придачу. Чо молчи-

те? Злитесь? Не страдайте — мы вас по-прежнему считаем хорошим. А сами становимся все хуже и хуже! Да! Вы там свой положительный образ создаете — вам положено! А мы про тот образ читать будем и исправляться начнем. И исправимся в конце концов. В другой жизни. В этой-то мы уже, наверное, не успеем. Мужа я тут подцепила. Такого же плохого, как и я. Семнадцатого в «Национале», в банкетном. Придете?

— Нет.

— Ну и черт с вами. Жалко. Нам как раз арцыста не хватает, а то все хапуги да ворье, мафиёзи — ити иху мать. А давайте я вам по три концертные ставки кину. И Петюню прихватите. Он пойдет...

— Выгнали Петюню.

— Да знаю...

— Зачем же спрашиваешь?

— На вшивость проверяю. А вдруг соврете хоть раз. Для интереса.

— Все. Кладу трубку.

— Ой, не пугайте, а то вон вся дрожу! А вы такой же. Ходите ровно. Смотрите прямо. Стерильный. В общаге живете. С понтом — обходитесь малым. Знаем мы вас, знаем... Безобидных. Такие же, как вы, по тюрьмам да по ссылкам сидели, а потом власть захапали да как рванули в десятикомнатные квартиры, до сих пор выгнать не могут... Ладно, вертушку там слушаете? Сен-Санс, ля-ля-ля? А остальные живут или что получили?

— Мила, к сожалению, я убегаю...

— Куда? От себя не убежишь, милашка... Ну, так завалитесь семнадцатого?

— Я же сказал — не приду!

Замолкла. И через некоторое время:

— Эх, малахольный, скучно с тобой. Пока.— И вдруг засопела в трубку.— Знаешь, мне так хреново, мне так... И между прочим сегодня девятнадцать лет стукнуло.

— Врешь?

— Вру. Просто очень хочется, чтобы вы приехали. Увидеть хочу... Я и сюда, и обратно тачку оплачу. Приедете?

Я молчал.

— Понятно. Гусь свинье не товарищ. Ну, я полетела.— И опять на «ты».— Черт с тобой, малахольный. Ха-ха-ха! Сен-Санс! Ля-ля-ля!

И бросила трубку.

Опять зазвонил телефон... Голос Санька́ в трубке. Спокойный, деловой, не предвещающий ничего хорошего.

— Ну, как ты там без меня — соскучился? Повидаться надо. Сюжетец провернуть...

Кайсын Кулиев

ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ

★

Как я жизни жаждал,
Чтоб любить тебя,
Жить как можно дольше
На земле мечтал.

Ах, на полдороге
Рухнувший скакун,
Как теперь ты часто
Скачешь в снах моих!..

★

Молния в окна влететь норовит,
Небо гремит, как зверье разъяренное.
Рано еще мне гореть, как горит
Дерево, молнией воспламененное.

Молния, молния, угомонись!
Остановись! Дай забыть тебя, молния!
Скройся за горы, пока моя жизнь
Всех моих дел и надежд не исполнила.

★

Как страшен,
Как правдив мой сон:
В далеком облике звезды
Я своего увидел друга,

Который на войне погиб.
И вдруг сгорела та звезда, —
И друга нет. Каким тяжелым,
Каким правдивым был мой сон.

★

Видеть ласточку, сулящую весну,
И полетом ее легким восхититься,
Беспечально встретить утра новизну,
Надышаться чистым воздухом, как птица, —

Это лучшая из всех земных услад!
Мокнет пашня под дождем, и мокнет сад...
Ты из детства, дождь, перевалив за склоны,
Вновь ко мне пришел, тепло-зеленый.

☆

В пропасть черного озера много я бросил камней,
Много горестных слов я высказывал в жизни своей,
А теперь для людей я ищу только светлое слово
На земле, где так много печали и много дурного.
А теперь я хочу наклониться к живому ключу,
Утолить свою жажду я светлой водою хочу
И проститься бесслезно, бесскорбно с возлюбленным миром,
Чтоб никто не грустил, не остался несчастным и сирым.
Радость, имя твое на прохладных губах у меня,
Разожги свой огонь, не жалей мне сегодня огня,
Стань сиделкой моею! Чем смерть моя неотвратимей,
Тем тепло и присутствие радости необходимей.

☆

Ах, мама, покуда еще я живой,
Не чувствую, мама, разлуки с тобой,
Пока еще кровь не остыла во мне,
С тобой я встречаюсь хотя бы во сне,
Но если в могилу придется мне лечь,
То вечный наш сон не подарит нам встреч,
И если на кладбище рядышком будем,
В земле все равно мы друг друга забудем.

★

Смотреть, как ласточка летает, и опять
Твое светящееся имя повторять —
Так хорошо, так хорошо, что нету слов,
Как будто снова я и молод и здоров.
Поняв любви твоей наиредчайший дар,
Бродить с тобой вдоль зеленеющих чинар
Так хорошо, так хорошо в апрельский день!
Ты — счастья жизни наивысшая ступень.
Когда, любимая, дышать мне тяжело,
Твое мне имя — словно ласточки крыло.

★

Как врачам сдается, так ли,
Так ли скоро я уйду,
Чтобы никогда не видеть
И тебя и дворик наш,
Дворик, с детства мной любимый,
Двери в дом, калитку в сад...
Чтоб так скоро я не умер,
Неустанно день и ночь
Ты моли источник жизни,
О любимая, моли!..

Помнишь ли?

Помнишь ли наши прогулки по зимней дороге?
Ждали нас Рыжик, Жубу и Колан на пороге,
Наши собаки, как правило, с нами гуляли, —

То забегали вперед, то, резвясь, отставали.
В блестком вязанье мороза стояли растенья,
Звезды мерцали, мерцали и окна селенья.
Помнишь, как я восхищался дорогой хрустящей
И любовался твоею походкой летящей.
Так были рады мы звездам и окнам округи,
Будто бы нет и не может быть вечной разлуки.
Я, разлученный с Чегемом, в разлуке с тобою,
Вспомнил, что снег не хрустел под твоею стопою.
Веки смежил, — надоела больничная проза, —
Вижу лицо твое розовое от мороза.
Помнишь ли ты вечера в ту чегемскую зиму,
Чьей белизной восхищались невообразимой.
Был еще жив наш Колан той зимой невозвратной,
Левою лапой умылся наш кот аккуратно,
Помнишь, коту целый день не давал я проходу:
Левою лапой умыться — испортить погоду! —
Это у нас существует такое поверье.
Зря я сердился, спокойно белели деревья
Все отведенное на зиму снежное время.
Помнишь ли ты вечера и январь тот в Чегеме?

★

То, что к тебе я издалёка снова
Вернулся, — стало радостью души.
О, дни мои да будут хороши, —
Остаток их лелеять ты готова!

Рассказывая, как я до предела
И от лекарств, и от хвороб устал,
Себя я прерываю то и дело
Словами: «По тебе я тосковал».

И хоть закатный день мой догорает,
Я все же вижу неба синеву.
Ку-ку! Всегда кукушка повторяет,
О, я тебя, тебя всегда зову!

Я не спеша тебя целую в очи,
В саду цветут деревья не спеша.
Когда с тобой проходят дни и ночи,
Светлеет бедная моя душа.

★

Любовь моя, тобой утешенный,
С тобой расстанусь и с орешиной,
Что веткою в окно уперлась,
И с небом, что над ней простерлось,
И со звездою навсегда.
Да, к сожаленью, да!..

★

— Как пламенеет куст шиповника!
— И я так жить хочу!
— И я, и я...
— Как на дворе цветет боярышник!
Как белоснежны горы мудрые,
Как зелена трава беспечная!
— И я так жить хочу!
— И я, и я...

Перевела с балкарского Инна Лиснянская.
Публикация Элисат Кулиевой.

Алесь Адамович

КЛУБ

РАССКАЗ

Да, строился клуб этот не для таких, как я. Вернее, для таких, каким и я когда-то был.

Крыльцо клуба — это «фюзеляж» взлетающего аэроплана, выдвинутый вперед, ну а дальше, как положено, — «крылья», «хвост». Строился клуб-аэроплан в начале 30-х годов, тогда такими вещами увлекались, жили.

Хлопотное это занятие — считать вверх двенадцать ступенек, когда вся левая половина твоего туловища словно и не твоя. И противное. Особенно, когда на веранде люди.

Выходной сегодня у поселко́вцев: стучат костяшками домино, где-то оркестранты разучивают ноты, тянет каждый свое на своем инструменте, люди на веранде курят, разговаривают, прислонившись к перилам, дожидаясь вечера, кинофильма.

А у нас, у кого выходной до самого до смертного часа, — спевка сегодня. На Кавказе, говорят, хор столетних есть. Нам все-таки поменьше. Мне-то и вовсе — чуть за пятьдесят. И даже день рождения сегодня.

На клубной веранде есть уже фигуры наших, пенсионеров. Их я сразу выделяю, как другие — красивых женщин.

— Через две прыгай, Михаил Денисович, не ленись!

Это мой бывший воспитанник Слава сверху подает совет. Он на протезах. Под Курском обезножел. А я, его бывший директор, — всего лишь напоминание об «ошибках» культа личности. Противно быть лишь напоминанием об ошибках. Когда заговорили о том, чтобы установить в клубе мемориальную доску погибшим в Отечественную войну жителям нашего рабочего поселка Глуша, у пенсионеров появилась новая забота — подсчитывать. Сколько и откуда не вернулось. Насчитали: 103 и 83. Мы с моим детдомовцем Славой — вернувшиеся, но тоже у каждого свой список: он — из числа воевавших, я — сидевших.

Разные на этот счет существуют среди пенсионеров мнения. Например, такое: 83 — тоже вклад в победу. Вон другие страны не очистились от пятой колонны — что получилось? Ну, а дров без щепок не нарубишь!

Чувствуешь себя лучше, когда у людей глаза незнающие и неузнающие — вот как у этих семнадцати-восемнадцатилетних. До чего же они все похожи. Даже не то что похожи, а как бы что-то одно, нерасчлененное. Для меня, во всяком случае. Нет, не потому, что костюмы у многих одинаково черные и одинаковые белые рубашки. И даже не потому, что они такие спортивные и спокойно-уверенные.

Жизнь пометила их пока одним — молодостью. Стоят и ждут. Девушек, наверное. Жизнь свою поджидают, как когда-то мы...

Еще пять ступенек — и можно будет тоже приткнуться к перилам, и, отдыхая, смотреть вниз. Особенно устаешь, когда ты у всех перед глазами. Не стоило все-таки возвращаться в поселок. Казалось, что, вернувшись, что-то верну. Да и куда такому, как я, здесь все-таки квартира у сестры, да и все здесь, вся моя прежняя жизнь.

— Там еще никого, — сообщает Слава, — одни крикуны. Строят свой нужник.

Это значит, что из хористов явились пока лишь Клим Сергиенок и Окулов и, по обыкновению, играют в шашки. Голоса у этих двоих

такие, что режут наш несильный хор, как пила, за это они и «крикуны». Но для меня в слове этом и еще что-то. Сколько помню крепенького, сухонького, всегда бегущего, всегда орущего Клима Сергиенка, голос у него был все таким — режущим, полосующим. И в тридцатом, и в тридцать седьмом. Крик, печатка сельсовета — этого хватило на пятнадцать довоенных лет. Другие старались учиться, работая — учиться, а этот тем временем командовал. И когда, казалось, жизнь далеко обогнала его, — наступил тридцать седьмой. Словно для того, чтобы все подровнять по нему, по его неумному и бестолковому крику.

Когда Сергиенок и Окулов вместе, они — «крикуны». Когда врозь, у толстяка Окулова другая кличка — «принципиальный». Любят в поселке перекрестить человека. «Принципиальным» Окулов стал сразу, как только переехал жить сюда. На грядках, которые перешли к нему вместе с купленным домом, он обнаружил непорядок: тыква закатилась в пограничную борозду. И хотя корень был на его, Окулова, грядке, он взял нож и разрезал тыкву по меже: 2/3 соседу и только 1/3 себе. Любит этот пенсионер созывать в поселок комиссии. Это страсть «принципиального». То столовую проверяют, то детский сад. Именно те учреждения, куда, как утверждают его недоброжелатели, Окулов пытался пристроить двух своих дочерей: не идти же им на завод, на «гуту», бутылки сортировать!

— Закурим, Михаил Денисович, — предлагает мне Слава-инвалид.

От Славы-детдомовца, моего воспитанника, — только волосы светлые, как солома. Остальное удивительно чужое: и эта нездоровая грузность, от которой скрипят протезы, и краснота в глазах. Ох, какие они у него жесткие и несмутимые — глаза! Даже я мысленно называю его, как все в поселке, «Слава-инвалид» и очень редко — Слава. И смущаюсь перед ним, как перед старшим. А он вроде опекает меня.

Очень уж стараются эти доминошники, мешают слушать, как наперебой кричат дети, плескаясь возле колонки. Уютный стал сквер. Помню, как сажали эти клены. Такие пышные, крепкие стоят, хотя тоже на одной ноге.

Лучше бы там, внизу, посидел. Люблю слушать бесконечные разговоры женщин. В жизни куда больше непрерывности и смысла, если посмотреть женскими глазами: хлеб, дети, чье-то несчастье или счастье, вчерашнее, сегодняшнее, завтрашнее... Но мы, пенсионеры, невысокого мнения об этих женских разговорах. Нижняя палата поселкового парламента.

Против сидящих в сквере женщин стоит старуха с дорожной сумкой, высокая и седая. Даже странно, какая она высокая. Молодая она такой же высокой была? Ну, я, кажется, чудить начинаю...

Пойду-ка в библиотеку, там посижу. Когда я только приехал, незнакомые книги сразу меня обступили. Я пробовал читать все подряд: было интересно все, что жило на воле. Потом я ощутил, что и среди книг есть «крикуны». И у книги глаза бывают холодные, смотрящие поверх твоей головы, будто тебя не было и нет. И твоего не было ничего.

Закрыта библиотека. Придется, значит, идти в нашу комнату, а там «крикуны». Все, поди, жалуются на плохие времена. И что так нехорошо обошлись с «Отцом и Учителем». Они даже мне жалуются.

В прохладном вестибюле — зеркало. Возле него толпятся, как старушки возле печки, девчата. А зеркало большое, и я там где-то среди них, возбужденно-счастливых, над ними. Не буду вам, красавицы, портить фотографию.

Вторая створка двери никогда не открывается. А хорошо бы — специально для таких суковатых, как я.

О, тут не одни «крикуны». Слава богу. У окна с газетой на коленях сидит ветеринар. Бывший, как все мы. Удивительно тихий и весь прозрачный, как одуванчик. Блестит очками навстречу, улыбается ласково. Счастливый человек: всю жизнь прожил дома, работая. И умрет дома. Как на фронте, рассказывают, казалось, что воюют все без исключения, так и мне *там* казалось, что таких, как этот ветеринар, счастливчиков, просто не бывает. Тем более при его профессии. Лошадей сапом заражал? Скот колхозный морил-травил?.. Если уж начиналось, если попадали в число «врагов», то целой отраслью: сегодня учителя, завтра ветеринары, послезавтра военные, партработники. И даже стеклодувы, как

в нашем поселке. Колонна, так колонна! Да помедли Гитлер со своим блиц-кригом еще пару лет, некому было бы и отражать его нападение.

Торжествующий голос Сергиенка:

— Фук!

Снимает, будто откленвает, шашку. Даже покачался на задних ножках стула от удовольствия.

— А читали,— говорит Окулов,— в «Неделе» сообщалось. Один деятель дружка кирпичиком по голове. И в снег. Двадцать дней труп пролежал. Хотели вскрывать, а он — нате! — живенький! Во дошли! А?

— Вот бы тебя так. А? — дружелюбно спрашивает сидящего в сторонке тихого аптекаря Клим Сергиенок.

Распахнулась дверь. Слава-инвалид.

— Ну, как тут мои крикуны? Всё нужники строите? Вот это дело по вас.

Тяжело сел на стул, отрегулировав защелки под «коленями».

— И порядок! А ты так не умеешь,— отметил он, имея в виду прямую ногу.— Техника, брат.— Потом: — Не помнишь, директор, как я с мячом бегал? В детдомовской команде.

— Помню, Слава.— Я почему-то смутился. Впрочем, как всегда, разговаривая с ним.

Глаза инвалида отметили это и стали жесткими, не вообще, а ко мне жесткими:

— Все помнишь? И как не разрешали «вражеским подкидышам» в спортсоревновании участвовать? «Ты представь, что за тобою полоса пограничная...»

Наверное, совсем скисла моя невеселая физиономия, Слава-инвалид, смягчаясь, даже подбросил мне алиби:

— Это все твой заместитель, твой Сидоров.

Да, теперь моднее быть жертвой культа, а не другим чем-то. Каждому приятнее иметь заместителя в таких делах.

— И принципиальный здесь! — вроде только теперь увидел Слава Окулова.

Но Окулов, явно опасаясь связываться со Славой, делает вид, что не слышит. Даже одышку свою поунял, отчего, кажется, сразу раздался, еще больше округлился на своем стуле. А глаза Славы-инвалида, лицо налились краской. Ну, вот, опять скандал! Не люблю я, когда он такой: трезвый, а как пьяный. Жалко мне прежнего, застенчивого Славки.

Не поборов что-то в себе, Слава тихо, словно лишь теперь дошло, проговорил:

— Что-то я не пойму, слышь, принципиальный. Выходит, я воевал с фашистом, а ты тем временем стерег в лагере моего батю. Хорошо стерег, ни слуху, ни духу!

Молчание.

— Вы что-нибудь поняли? — взрывается Слава-инвалид.— Ни черта! Все говорят, а понимать не хотят. Культ! Личность! А что и почему? И почем стоит?

«Крикуны» только поскрипели стульями. Понимают. Но свое. Ох, не могу я их не замечать, хоть это только пни. На что они рассчитывают? Пересидеть, переждать правду о культе? Не верят, что это долго протянется? Или действительно в самом человеке, в натуре человеческой то, на что такие уповают?

В вестибюле уже голоса, шум, наш шум и стук: палки, шарканье, громкие выкрики. Хористов подвалило. И уже спорят. Сегодня мы — международники, завтра — литературные критики. На какое-то время и я стал авторитетом — это когда появилась т а повесть. Даже бессменный секретарь сельского, а затем поселкового Совета Клим Сергиенок все допытывался: так ли т а м было? Как всякий начинающий грамотей, он уважает то, что написано в книжке. Но на людей, которые не из книжки, его добрые чувства не распространяются. Особенно на знакомых.

— И ты б написал,— сказал он мне. И захохотал. Как кипятком меня окатил. Да что это я, откуда ему знать про мои бумажки?

В комнате уже тесно от пенсионеров. Гудят — и песен не надо. Особенно стараются двое — братья-близнецы Кравцевичи.

— Как здоровьице, все мои запчасти целы, не стер? — громко спрашивает Николай у своего брата.

Видя их, голубоглазых, белоусых, Николая и Василия Кравцевичей, все еще красивых, всегда думаешь: вот с какой точностью природа творит человека! А потом жизнь швыряет его, как грубую болванку. И вся точность ни к чему.

Глядя на веселоглазых братьев, слушая их, смешливых, человек незнающий никогда не догадается, что Василь, побывавший в немецком концлагере, живет только потому, что Николай отдал ему одну почку, а у самого Николая и сейчас полоса на шее. Его вешали полицаи, веревка оборвалась, его пристрелили и бросили в лесу, а он выжил.

А хорошо, когда соберутся люди. Говорят, всей жизни человеку мало, чтобы привыкнуть к мысли о смерти. Но это, когда он один и слишком много думает о таком. Когда с людьми,— не думаешь. И говорят-то вроде о пустяках, но за этим — радость: рядом люди, и о «крикунах» забываешь.

— Мы, как татаре какие,— кричит пожарник, самый молодой из хористов,— хоть бы один женский голос!

А ему сразу про то, что он «вдовья радость», не зря и фамилия у него — Котов, что отоспался за свою пожарницкую жизнь.

Интересно, что в этом Котове могло нравиться женщинам? Наверное, улыбка. Чуть лживая, но добрая. Вот мое личико не утешило бы. Всегда оно было такое. Не случайно я и в двадцать пять лет все еще ждал свою первую любовь.

А ведь у меня о н о начиналось.

Работала она в деревне — это пять километров отсюда — директором семилетки. Директриса, как ее все называли, кажется, не была красавицей. Во всяком случае, при первой встрече меня поразил лишь мужской рост ее. Такие женщины бывают нарочито грубоваты, но чаще — очень стеснительны, беспомощны. А у этой еще и овал лица был совсем детский. Одна пожилая учительница, неисправимая сваха, увидев нас в очереди за морсом, сразу сказала мне:

— С ее ростом только вы для нее пара. Судьба. Вот только плохо, что и она историчка. Часов не хватит, если из своего детдома вернетесь в школу.

Мы вместе ездили на совещания в город. Автобусов на сельских линиях тогда не было. Стеклозаводские трехтонки да полуторки. Они еле ползли, груженные доверху бутылками. Когда бутылок штабеля, и когда они только что из ванной печи, сладко пахнут ушедшим жаром. Я это хорошо помню: с детства знакомый запах паленого стекла. Сидели на скользких поллитровках, покрытых рогожей, и они дружно позванивали под нами. Директриса всю дорогу краснела от неловкости, все куда-то соскальзывала, приходилось ее придерживать. Разговаривали мы мало:

— Ну, как с ремонтом?

— А у вас?

Но я всегда очень ждал этих совещаний, этих поездок на звенящих и знакомо пахнущих стеклянных штабелях. А она все напряженнее и все беспомощнее становилась. Однажды губы накрасила. Но так закраснелась, что губ ее и не видно было.

Потом была наша с нею последняя поездка. Директриса опоздала, машина уже отходила. Я издали увидел ее, бегущую: белый воротничок, белые матерчатые туфли. Попросили шофера обождать.

— И дядю взяли! — проговорила она, не успев сесть на место, которое, расползаясь, скользя по бутылкам, уступили ей пассажиры.

Сказала мне, но громко. Так, видимо, должен был сказать честный прокаженный.

Я знал, что она жила у дяди. Родители умерли в тридцать третьем. Она, совсем как школьница, гордилась орденом своего дяди, партизана гражданской войны.

— Враг народа, вот! — тихо проговорила она, обращаясь ко мне.— Как же мне, Михаил Денисович, к детям идти, учить, если я не верю?

На машине были женщины, ехавшие по каким-то делам в Бобруйск, дремали, улегшись на бутылках, грузчики.

Но рядом сидел еще один человек. И все слышал. Сидоров — мой заместитель по детдому. Помню, я даже подумал: хорошо, что он, а не кто-либо другой. Очень преданный мне был человек. (Почему «был», он есть и сегодня, даже поет в нашем хоре.) И очень обидчивый. О нем, бывало, говорили:

— Где наш Иванов-Петров-Сидоров?

— Красавицу свою стерегут.

У полненького и лысоватенького в свои тридцать лет Сидорова жена была настоящая красавица. Видно, умел добиваться того, на что нацеливался. Теперь-то я знаю: умел! Я сел, а он директорствовал в детдоме до самых немцев. А потом и при немцах — в школе. Понравилось стоять впереди Иванова и Петрова. А потом снова юркнул на прежнее место.

Да вот и он, здесь! Не заметил, как он вошел. Смотрит, как играют в шашки, тихий, все еще румяненький.

Я должен был ненавидеть его. И он какое-то время опасался меня. Улыбался мне, ослепнуть можно было! Нет, не в сорок шестом, когда меня только выпустили, тогда не столько он, сколько я боялся. И не зря боялся: в сорок девятом всех выпущенных снова увезли согласно решению за подписью Молотова и Берии «О трудоустройстве ранее репрессированных». Меня не «трудоустроили» лишь благодаря (благодаря!) параличу руки и ноги: какой из меня работник! А вот в пятьдесят шестом бояться начал он. Но похоже, что теперь — уже успокоился. Он ведь тоже жертва «культа»: после войны несколько лет держали в черном теле.

Сидоров слишком ничтожен, чтобы его ненавидеть. Но он достаточно ничтожен, чтобы его опасаться. Тысячелетия минули, а они все такие же, Сидоровы, стоящие в затылок Иванову и Петрову, все такие же удобные, безотказные, когда наступает время предавать. Во времена римских цезарей существовала узаконенная публичная профессия доносчиков. Освоивший науку красноречия римлянин гневно клеймил на форуме какого-нибудь патриция, который, облачаясь утром в одежды, по рассеянности показал мраморному императору недостаточно уважаемую часть тела. Уличенный вскрывал вены, а муж доносящий получал четвертую часть его имущества. После смерти очередного «божественного» мужи доносящие замирали в темных углах, как летучие мыши. Им становилось плохо — на какое-то время. И лишь однажды их настигло настоящее возмездие. Всех их посадили на суда без руля и без ветрил и отдали гневному океану. И хотя без руля, но очень точно выплыли они в следующие века. Вот и в наш век.

Один оказался на моем, на нашем пути. Вот этот румяненький пенсионер, который ничего из римского периода своей биографии, конечно, не помнит...

А ты, ты сам все помнишь? Из своей биографии. Возле сажи да не измараться! Ну, вот нашел и объяснение. Это мы умеем, кто не умеет этого — находить себе оправдание? Для других — прокурор, для себя само-го — адвокат. Да нет, не сотрешь: внутри это, глубоко, не дотянешься, руку с тряпочкой туда не засунешь. «Так говорила она или не говорила? Не виляй, директор, с нами шутки не шутят!» — «Не помню, не слышал». — «Другие слышали, а ему уши заложило! Зато у нас уши хорошие. И кстати уж: как насчет перманентной революции Троцкого?..» — «Это у нас семинар был: проработка книги товарища Сталина «Вопросы ленинизма». — «Знаем, кого вы прорабатывали. Ну, так еще раз спрашиваем. Сказано было: «Забрали дядю, всех хватают без разбора»?» — «Нет, она не обобщала». — «Значит, все-таки говорила?» — «Не обобщала она». — «Но говорила, сказала?» — «Сказала, что взяли дядю, а больше ничего»...

Что это Сергиенок фамилию мою выкрикивает? Запевать предлагает. С этого всегда начинаем, а иногда и кончаем на этом. Поговорят, похохочут и расходимся.

— Идем-ка лучше на веранду, Михаил Денисович, курнем, — говорит мне Слава и уходит вперед, тяжело и грузно.

На веранде людей больше стало. И высокая белая женщина с дорожной сумкой, которую я внизу видел, сюда поднялась. Откинув седую голову, рассматривает фотографии, наклеенные на фанерную «Доску почета».

— Эй, Сидоров, — слышен юношеский голос, — гони баши на билет.

Ну, что тут такого, почему я должен сразу вздрагивать? Разве фамилия что-нибудь означает? У сидоровых фамилии самые разные. И если они и здесь, на веранде, уже имеются, пусть они сами никогда не узнают, кто они есть... Жизнь всегда расчленяет. Но должна же она когда-то забыть членение на человека и его палача!

Высокая старуха разбирает фамилии под фотокарточками.

— Лица знакомые, фамилии — тоже, а не помню, — говорит она, ни к кому не обращаясь. Отвела глаза и посмотрела на человека, опирающегося на палку и прижимающего к животу скрюченные пальцы левой руки, — посмотрела на меня. — Это вы?

Сказала очень просто. И назвала мою фамилию, словно тоже прочитала.

Глаза наши выше, чем у других, — над всеми. Да, это я, а это она. Как раз сегодня, когда думал об этом. Но когда же я не думаю об этом?

— Давно вернулись?

— А вы?

(«Как с ремонтом?» — «А у вас?»)

— Это вы, — еще раз говорит женщина, дотрагиваясь до моей здоровой руки.

Я заспешил, прислонил палку к скрюченным пальцам и взял ее руку в свою здоровую. Сухие, тонкие пальцы несильно сжали мою руку и тотчас отпустили: мы оба подхватили падающую палку.

— К родным в деревню приезжала. Все такое знакомое, и ничего не узнаю. Автобуса тут дожидаюсь. Вы такой же... высокий, Михаил Денисович. Надо уезжать. Телеграмма — внучка заболела. Городской автобус долго стоит тут? Пройдем к шоссе. Нет, что я, вам тяжело!

Идем к ступенькам, а я думаю про то, что вот сейчас только спустимся, и я скажу, как предал ее. Все должно быть сказано. Себе, другим. До конца, и каждым.

— Давайте я вам помогу.

Берет меня под локоть, но сама видит, что неудобно.

— Да, вот и жизнь, — говорит женщина, задерживаясь на «моей» ступеньке и дожидаясь, пока я проделаю сложные манипуляции рукой, ногой, плечом, необходимые, чтобы человек сделал шаг. Отсюда, с высокого крыльца клуба-аэроплана, хорошо видна автобусная остановка, и нам можно не спешить, но я спешу, мне надо сказать.

— Сын у меня там родился, поэтому я до срока вышла. — Женщина стоит, повернувшись спиной к шоссе, показывая, что она меня не торопит. Но тут же:

— Ой, автобус!

Сделала два шага вперед, потом вернулась ко мне:

— Ну вот, опять расставаться.

— Я должен вам...

Суетливость оставила женщину, она внимательно посмотрела мне в лицо:

— Я вам напишу... Улицы здесь, как и прежде, не указываются? А остальное помню.

Целует меня в висок. Это ей легко — мой рост.

Женщина уходит меж фанерных стендов наглядной агитации, плотно сжимающих дорожку, и чем дальше уходит, тем легче делается ее походка. Будто молодеет. У нее белые туфли, и воротничок тоже белый. Теперь только рассмотрел. Издали.

Мне еще шесть ступенек. Недавно читал рассказ. Фантастический. Человек отправился путешествовать в прошлое, в далекое прошлое планеты. Там, охотясь на огромное зубастое чудовище, случайно соступил с искусственной дорожки и раздавил что-то живое, раздавил и не заметил. И этим нарушил, изменил всю цепь жизни на Земле. Вернулся в свою эпоху, а тут все по-другому. Даже орфография другая, и люди гораздо свирепее. Человека запросто убили.

Такая зависимость всего от всего в мире биологическом. А в нравственном разве не такая же? Я убежден, что такая же. Оттого, что я, имен-

но я, поступил так, а не иначе двадцать пять лет назад, жизнь хотя бы чуточку, но отклонилась в ту или в другую сторону...

Две последних ступеньки и — земля. Звучит, как у космонавтов. До чего же во всем человек видит прежде всего свое! Не знаю, заметили ли другие и так ли это было на самом деле, но когда Первый космонавт, еще в шлеме, еще не в мундире, спустился по лесенке с самолета или вертолета (я даже сохранил снимок), в ноге, во взгляде вниз была неожиданная и такая понятная мне неуверенность, нетвердость. Так ставят ногу на порог родного дома, возвращаясь издалека много-много лет спустя...

* * *

Мария, сестра Михаила Денисовича, бывшего директора детдома, окликнула, остановила меня, когда я, сойдя с автобуса, направлялся к аптеке, где тогда еще работала моя мать.

— Вы знаете, что Миша умер? — сообщила с какой-то неприятной торжественностью.

— Да, мне мама написала.

— Бедный, перед концом все повторял: «Хорошо!» Знаете, вот так: «Хорошо-о-о!». — И заплакала.

Когда-то она была очень заметной в нашем поселке — красивая и полная, с застенчивыми по-девичьи и в то же время озорными черными очами заведующая поселковским детсадом. Судьба брата больно ударила и по ней, тем более, что она пыталась все куда-то ездить, писала «на самый верх», возила передачи. Возвращаясь из Бобруйска, приходила к нам (с мамой они очень дружили), сидела какое-то время молча, как бы сбрасывая с себя оцепенение огромных очередей, в которых полсуток выстояла, потом начинала рассказывать: все больше слухи, легенды из тех очередей о счастливчиках, которых уже и не ждали, а их выпустили, они вернулись...

Потом ездить перестала: ликвидировали всякие там окошечки, передачи, справки. Очередь, как демонстрация, на три квартала, как это понимать? Что еще за агитация? И против кого?..

К нам Мария по-прежнему приходила и всегда по вечерам, из-за этих посещений назревали неприятности и у моих родителей...

Потом война все отодвинула, но, когда кончилась, снова сгущаться стала атмосфера: из четверых вернувшихся в поселок в сорок шестом, в сорок девятом трое опять исчезли, остался лишь Михаил Денисович, полупарализованный брат Марии.

Теперь мы стояли на обочине шоссе, женщина рассказывала про последние минуты брата, в словах и слезах ее была горечь личной вины — какой, это я знал. В моем присутствии и разыгралась та сцена.

Я как раз был в своей Глуше, когда стало известно, что произошло в Москве на XX съезде. Первый порыв — бежать к Михаилу Денисовичу, с ним на-пару осмыслить, обсудить, пережить. Он ведь мне кое-что рассказывал, по тем временам — даже многое. А однажды я возил его в Минск — к преподавательнице пединститута, в котором заочно Михаил Денисович когда-то учился. Для пенсии нужно было подтверждение, документы у него не сохранились. Нелегко нам было добираться — с такой его ногой, рукой. Нужный нам дом стоял недалеко от вокзала, лифта в нем не было, как-то взобрались по лестнице, дверь открыла приятная на вид женщина, которую Михаил Денисович узнал сразу, а потом и она его признала — с каким-то жадным испугом. «Заходите, заходите!» Разобралась, какая к ней просьба: «Нет, нет, нет! Вы меня должны понять!» Таких перепуганных глаз я и в войну не видал. Михаил Денисович принял происшедшее как должное. На обратном пути ни словом не откликнулся на возмущенную, гневную мою ругань в адрес женщины. (А я, не очень памятливый на имена-фамилии, и сегодня ее фамилию помню, тогдашним мстительным чувством закрепленную.)

Михаил Денисович по ночам писал свою жизнь. Читать мне ничего не давал, но что он пишет, я знал. Он мне это сообщил неожиданно, вырвалось в разговоре. Сказал и замолчал. Посмотрел мне внимательно в глаза.

— Будем надеяться, что кому-нибудь наш опыт поможет. Лет через пятьдесят, когда об этом заговорят открыто. Вы только не проговоритесь Марии Денисовне, что знаете.

И снова внимательно вглядеелся в меня, куда-то внутрь, куда сам я, быть может, еще и не заглядывал. (Хотя, конечно же, уверен был, что себя знаю, войной испытан!)

И вот я прибежал сообщить ему о докладе Хрущева. Был он в хате один, еще не бритый, по-больничному неопрятный, может быть, уснул только что, а я его разбудил. Пока поднялся, спустил на пол ногу, вцепившись здоровой рукой в край круглого стола, придвинутого к его кровати, я успел все главное рассказать. Стукнула дощатая наружная дверь, потом тяжелая дверь в кухню, грохнули дрова у печки, и тогда он закричал, будто на помощь зовя:

— Мария! Мария!

А когда она вбежала, испуганная, закричал еще громче:

— Неси! Неси их сюда! Бумажки мои!

Женщина не двигалась с места, не понимая, что происходит. Я стал объяснять, тоже почти криком, а Михаил Денисович меня перебивал:

— Где они там у тебя? В дровах? Неси их сюда!

— Прости, Миша. — Тихий ее голос оборвал наш крик. Ушла на кухню и тотчас вернулась, протянула брату несколько листочков.

— Миша, это все. Вчерашние. Неужели ты мог подумать, что я их буду прятать.

Она заплакала.

— Мало тебе досталось? Нам всем. Как я могла даже подумать, чтобы их хранить?

— А где они? — все еще с надеждой выкрикивал человек.

— Я ими растапливала печь каждое утро. Вот и эти приготовила. Прости меня, если можешь!

Теперь мы с нею стоим под запыленным тополем на обочине нашей «варшавки», по которой еще на моей памяти евреи-балаголы возили бутылки в город на лошадях; по ней, уже заасфальтированной, пролязгали на восток немецкие танки, потом возвращались наши, по ней такси столько раз привозило меня из Бобруйска — на асфальтовую эту стрелу столько всего нанизано. Женщина все повторяет те, последние слова брата: «Хорошо-о-о! Хорошо-о-о!», голос, глаза ее, очень похожие на братовы, ищут, добиваются от меня какого-то подтверждения. Может быть, у всего был какой-то смысл? Нам неведомый. А то ведь и совсем уж обидно.

1964 — декабрь 1986 гг.

Юрий Кублановский

ИЗ КНИГИ «С ПОСЛЕДНИМ СОЛНЦЕМ»

Бумеранг

Я вернусь к тебе словом, молвой,
теснотою возков на дороге,
залепившей глаза синевой,
теплой пылью, ласкающей ноги.

Эти беженцы — дети земли
и бегут своего окаянства.
Разлилась за полями вдали
темнота мирового пространства.

Обернусь стрекозой, мотыльком,
колоском остроусой пшеницы
и с холодным ночным ветерком
положу тебе в грудь небылицы.

6.4.76

Полдень

Плющ прижался вплотную к окошку.
В нашей комнате сумрак теперь.
Кресло, книги, молочная плошка.
И влетает июльская мошка
в ослепительно яркую дверь.

Одичала клубника у дома,
скрип калитки уводит в лесок,
где любая иголка знакома,
паутины любой волосок...

Всё я вижу колодцы лесные,
всё я слышу еще голоса,
наши кровные, но — молодые,
у которых всё только впервые,
заселившие эти леса.

...Или летнего полдня отвесы
над прудом, отражающим их.
Или — ив серебристые срезы,
как прообраз телесной аскезы
и душевных трудов дорогих.

1972

Суханово

И. П.

I

Подмосковного лета прищур.
Налетающий свист электрички,
чьи скамейки желты чересчур,
словно желуди или лисички.

Дело за полдень, что за беда —
смуглой шее не надо косынки.
Облаков голубая гряда
да крапивная тина пруда
с нераскрытым тюльпаном кувшинки.

II

В разъятой памяти подольше поищи
и вдруг найдешь в ее законе:
змееобразные подводные хвощи
и барский дом вверху на склоне.

Когда подобные горящим головням
лучи насквозь дупло пронзили,
ты помнишь — здесь виденье было нам...

А может, мы виденьем были?

III

Наш смех послышался гобою и фаготу
небесной синевы,
бочкообразному лесному повороту
с мгновенным шелестом проснувшейся листвы...

Так, может, в темноте зарницы зажигая,
нас вспомнит грозовая хлябь,
сурепка яркая лимонно-золотая
и колокольчиков голубизна речная —
бегущая к опушке рябь.

IV

Не то что нас, которые спивались,
невзвидя белый свет,
а тех, которые молились, волновались —
и их-то нет!

Лишь только тянется во мраке спозаранку
извилиной ума
дорога дымная куда-то на изнанку
зеленого холма.

1975

★

Комарика в мае
прихватит за жало мороз
и весело спросит:
куда ты спешишь, кровосос?
На яблоню ловко
набросит стеклянную сеть
и станет зазывно
в обильных соцветьях звенеть.
Покойника в храме
оставила на ночь родня.

А рядом в хибаре
сегодня за сторожа я.
В ночи под крестами
нам было б не страшно одним,
но сердце местами
невольно меняется с ним.

1981

Утром, вечером, ночью...

I

От хвойных игл с золотой пыльцой
глаза устали.
Как изменилось твое лицо,
пока мы спали!
Как будто ты разучилась жить,
сроднясь со снами.
И вот не знаешь, о чем просить
Того, Кто с нами.

II

Лесной игольчатый окоём
под лепкой снега.
Под поцелуем моим — твое
трепещет веко,
еще прощаясь с последним сном.
...Как было ярко
от малым машущего крылом
свечи огарка!

III

...И снится в инее блестком храм,
верней, руина,
чьи бреши смертно открыты нам.
Горька, что хина,
слеза, бежавшая по щеке
сегодня ночью
и прикипающая к строке
уже воочью.

IV

Покрылось инеем, как плющом,
окно берлоги.
Я твердо верую, что еще
в земном прилоге,
когда падем за свои грехи,
то станем зрячей
на Божьи праздники
и стихи —
предтечи плачей.

25.1.79

Посвящается Лермонтову

...мира и забвенья
Не надо мне!
Л.

В альпийском леднике седеющем подснежник
разбуженный угас.
Мир сердцу твоему, хромающий мятежник!
И прежде и сейчас
от выщербленных плит кавказской цитадели
не близок путь.
Печальные глаза с овальной акварели
закрой когда-нибудь.
В испарине скакун, армейская рубаха,
омытый солью стих.
Но твой жестокий смех сжимал сердца от страха
на водах у больных.
Ты зримо презирал актерские повадки
державного паши.

Но молния сожгла походную палатку
твоей души.
...Не голубой мундир своею черной кровью
смывает желчный грим с усталого лица,
А Демон, наконец, спустился к изголовью
взглянуть на своего творца.

1977

★

На холмах, покрытых снегом,
колосится воздух-рожь.
Наст глаза слепит при этом.
Ветер соткан из рогож.

Самолетик весь бескровный,
уподобясь миражу,
оставляет в тверди темной
снега рыхлую межу.

Так лети, лети, служивый,
санным следом сумрак рань,
в жадных поисках наживы
все пространство прикармань:

драгоценную пушнину
зимних гаснущих небес,
ночи звездчатую льдину,
вставшую наперерез...

Но, сорвавшись с выси страшной,
ты, серебряный комар,
не разбей земной, пустяшный
елочный стеклянный шар.

29.2.77

Пироскаф

Будет мне в ватнике сальном трудиться,
вольнонаемным на нары валиться,
будто я тоже ничей.
Пить — но не эту же дрянь дрожжевую,
знать — но не эту вражду ножевую
гадко заросших бичей.

Пусть вытирают ботфортой ботфорту,
гнутся в поклонах зеленому черту,
вспомни — кто ты, кто они.
Сердце еще не оставило Бога.
Речь не лишилась последнего слога.
Не обесплодели дни.

Взгляду мятежному в тусклом окошке
мало бывает гриба да морошки.
И повторяется сон:
входят разбойники к старцу в домушку
и выпускают его за полушку
душу — на Новый Афон.

...От комарья в заболоченном лесе
я поднимаюсь на новые веси,
к новым спешу миражам.
Валко встает за бортом пироскафа
белая колониальная Кафа
с пестрой толпой горожан.

Кто я — подскажут прозрачные горы,
волн шелестящие солью повторы,
шелковый смоквы жирок..

Шея для зноя готовно открыта.
И уживается с веком семита
серый заволжский зрачок.

1981



У волжского домика старая ива стоит.
Кудлатая туча затмение солнцу сулит.

И падают капли на дранку, на ветви, в траву,
и ветер, играя, опять приоткрыл синеву.

Когда пацаном я в сенях полутемных робел,
на солнце валялся, вокруг себя слепо глядел,

к нам бакенщик старый пришел, громыхая ведром,
где белая стерлядь дышала боками и ртом.

...Теперь я не тот. И вокруг себя зорко гляжу,
все вижу, все знаю, искусные речи вяжу.

Знать, скоро на веки положат тяжелый медяк.
И бакенщик старый введет меня в ивовый мрак.

1976

Посвящается Волге

Прибрежные долы в сангине заката,
в смуглеющей зыби река...
Послушай, как просится сердце куда-то
во плавкое — под облака!

Схватил бы я в цепкие руки гитару,
напенил цимлянским бадью
и гнал бы всю ночь из Симбирска в Самару
под парусом крепким ладью.

Так много призыва в заутреннем звоне,
что хочется прямо сейчас,
прощаясь, прижать к задубелой ладони
холодный персидский атлас

и видеть песок, засиненный зарею,
где чаек разносится крик
и пахнет смолистой лиловой корою
медвежьих углов патерик.

О Волга — всегда твоему благолепью
сродни атаманская стать.
Убей меня, Волга, мазутною цепью
и выброси на берег спать.

1978

Кукушка

Махровых столбиков, куриной слепоты,
лесного клевера опушки.
Болотным сапогом не раздави травы,
загадывая по кукушке.
Как изваяние, замри на полшагу.
Июня радужная дужка,
медок лесничества на солнечном снегу...
Еще, еще, моя кукушка!
Голубка, ласточка, чего же ты молчишь?
Или тебе меня не жалко?
В скупом пророчестве, должно быть, твой барыш,
бесцеремонная гадалка.

13.6.76



Россия, ты моя!
И дождь сродни потопу,
и ветер в октябре сжигающий листы...
В завшивленный барак, в распутную Европу
мы унесем мечту о том, какая ты.

Чужим не понята. Оболгана своими
в чреде глухих годин.
Как солнце плавкое в закатном смуглом дыме
бурьяна и руин,

вот-вот погаснешь ты.
И кто тогда поверит
слезам твоих кликуш?
Слепые, как кроты, на ощупь выйдут в двери
останки наших душ.

...Россия, это ты
на папертях кричала,
когда из алтарей сынов везли в Кресты.
В края, куда звезда лучом не доставала,
они ушли с мечтой о том, какая ты.

1978

А. М. Ларина

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Эпизоды моей жизни, связанные с Николаем Ивановичем, даже такие, какие навсегда остаются в памяти каждого человека светлыми: первый поцелуй, рождение ребенка, волнующие мгновения юности — никогда не были олицетворением чистой, легкой радости, а неизменно отягощались незримыми путами сложной общественной атмосферы тех лет: политическими дискуссиями, спорами, распрями, наконец, террором.

Я росла в среде профессиональных революционеров, после свершения революции ставших во главе страны. Поэтому внутрипартийная жизнь начала интересовать меня очень рано; отец безусловно этому способствовал. Интерес к политике был особенно обострен близостью к Н. И. Казалось, судьба неотвратимо притягивала меня к нему в самые тяжкие его дни.

Я имела возможность видеть Николая Ивановича в Крыму в 1930 году во время XVI съезда партии. Бухарин на съезде отсутствовал. Были и по сей день имеются различные суждения по этому поводу: одни считали, что Бухарин гордо бойкотировал съезд, другие — доброжелатели в кавычках — решили, что он смалодушничал и, не желая подвергать себя тяжким испытаниям, не явился на съезд. Мне бы хотелось прояснить действительные обстоятельства. Начать с того, что Бухарин не был избран делегатом съезда — беспрецедентный случай для члена ЦК. К тому же незадолго до открытия съезда Н. И. серьезно заболел двусторонним воспалением легких, очень ослаб и был отправлен в Крым.

Предиамеренности в его отъезде из Москвы не было. Если в феврале 1929 года Рыков, Бухарин, Томский — так называемая «правая» оппозиция — упорно не признавали ошибочность своих взглядов и, не желая разделять ответственность за политику Сталина, требовали отставки, то уже 25 ноября в связи с тем, что взгляды «правой» оппозиции были объявлены несовместимыми с пребыванием в партии, они вынуждены были в заявлении в Политбюро и в Президиум ЦКК признать свою неправоту. Раскол партии противоречил ленинским заветам и мог, с их точки зрения, только ослабить диктатуру пролетариата.

Предыдущая оппозиция — «объединенная» троцкистская — на отречение от своих взглядов пошла не сразу, а отстаивала их и на XV съезде партии в 1927 году. Для «правых» этот процесс был более скорым. Но правомерно ли теперь, в пору раздумий о прошлом, судить, кто же выглядит привлекательней в истории. В конечном итоге сдались и те и другие. Имелось «волшебное слово», которое действовало отрезвляюще: угроза исключения из партии. Как только верхушка «объединенной оппозиции» почувствовала, что в воздухе пахнет грозой и что им предстоит решить, быть или не быть в партии, все (121 человек) исключенные из партии на XV съезде ВКП(б), в том числе и Троцкий, тотчас же, без промедления, объявили о роспуске своей фракции, о полном подчинении решениям съезда. Да, коллективное заявление «объединенной оппозиции» было не столь унизительным, как заявление «правых», без отречения от собственных взглядов, а лишь с обещанием вести борьбу за них в рамках устава, но я бы сказала, что это объясняется, если можно так выразиться, не качеством лиц, поставивших свои подписи под заявлением, а качеством времени. Колесо истории ускоренным темпом работало на Сталина. После того, как коллективное заявление не привело к желаемым результатам, в самое ближайшее время члены «объединенной оппозиции» подали заявления уже в индивидуальном порядке с осуждением своих взглядов и своего поведения и были восстановлены в партии. Это дало право С. Орджоникидзе, председателю ЦКК, заявить на XVI съезде ВКП(б), что троцкистская оппозиция более не существует. Кроме высланного Троцкого и двух-трех упорствующих, в ней никого не осталось. И те, и другие, и «троцкисты», и «правые» стремились в партию не к Сталину, а вопреки ему, любой ценой, терпя унижения, ущемляя свое достоинство, лишь бы не порвать с ВКП(б). Между тем партия теряла свое прежнее лицо. Она становилась партией Сталина. Продолжая оставаться в его партии, бывшие оппозиционеры, люди творческой мысли во имя сохранения единства партии подчинились его диктату. В этом, как мне кажется, кроется одна из существенных причин, объясняющих дальнейшую трагическую судьбу старых большевиков.

Продолжение. Начало см. «Знамя» № 10 за 1988 год.

Но вернусь в Крым лета 1930 года.

Я оказалась в Крыму одновременно с Николаем Ивановичем случайно; приехала с больным отцом и жила с ним в Мухалатке, доме отдыха для членов Политбюро и других руководителей. Н. И. умышленно избрал другое место и жил уединенно на даче в Гурзуфе. Вскоре после приезда в Мухалатку мы навестили его. Н. И. производил удручающее впечатление: осунувшийся, исхудавший, ослабленный, грустный. Не могло быть и речи, чтобы в таком состоянии присутствовать на съезде. Через несколько дней мы вновь его увидели, он был несколько крепче физически, но в таком же, если не в более подавленном состоянии. В обоих случаях мы заставали его в постели.

XVI съезд был единственным в своем роде. Если на предыдущих съездах шла речь об идейных разногласиях и было сражение оппонентов, то на этот раз ополчились на «войско», уже капитулировавшее. И началось «избиение младенцев». Требовались покаяния и саморазоблачения, саморазоблачения и покаяния. Томский заявил, что после всего этого ему остается только надеть власяницу и идти каяться в пустыню Гоби, питаясь там диким медом и акридами, и что «покаяние» — это религиозный, а не большевистский термин.

От Рыкова тоже требовали отречения, но он заявил, что несолидно было бы отказываться от взглядов Бухарина, которые он разделял и которые они вместе признали ошибочными. Рыкова упрекали в том, что на предсъездовской конференции на Урале он осмелился заявить, что они, «правые», хотели добиться тех же результатов, но с меньшими жертвами. (Время, когда они вынуждены были лгать, будто им грезилась реставрация капитализма, еще не наступило.)

Такова была атмосфера на съезде. Оставалось три-четыре дня до его окончания, когда Н. И. настолько окреп, что, хотя и с большим напряжением сил, он, возможно, смог бы явиться на этот съезд. Но ситуация сложилась так, что мчаться из Крыма в Москву уже не было смысла.

Н. И. не послал никакого письменного заявления на съезд, в чем его тоже упрекали. И это молчание его было гордым молчанием. Однако не могу не вспомнить и то, как он искренне радовался, что фортуна ему улыбнулась и, расплатившись воспалением легких, он избавился от присутствия на этом съезде; сказать, что Н. И. легко переносил удары судьбы, никак не приходится.

Крымские встречи с Н. И. предстали передо мной в камере с удивительной яркостью, казалось, я вдыхала южные ароматы, а не затхлый запах камеры. Мне вспомнилось, как сильно меня тянуло в Гурзуф. Я знала, что Н. И. тоже ждет меня, я обещала его навестить. В Крым я приехала вдвоем с больным отцом, без матери — она к этому времени не получила отпуска. Часто ездить в Гурзуф ему не позволяло здоровье, да и не могу сказать, что мне хотелось ездить вместе. Но оставлять отца одного на длительное время было более чем

жестоко: даже одеться и раздеться самостоятельно он практически не мог. Тем не менее отец охотно отпускал меня к Н. И., стремясь, чтобы его беспомощность никак не отражалась на моей жизни. Уезжая, я никогда не была вполне спокойна, и это несколько омрачало мои такие желанные встречи с Н. И.

Никакой регулярный транспорт, ни морской, ни сухопутный, из Мухалатки в Гурзуф в то время не ходил. С отцом я имела возможность ездить на легковой машине дома отдыха, а без него добиралась на грузовой, ездившей в Гурзуфские ремонтные мастерские.

Впервые одна я отправилась из Мухалатки еще на рассвете и ранним утром была в Гурзуфе.

Н. И. был обрадован моим приездом. «Я предчувствовал, что сегодня ты обязательно приедешь!» — воскликнул он.

Мы наскоро позавтракали и спустились по крутой дорожке к морю. Н. И. захватил с собой книгу, завернутую в газету. Было тихое утро. Небольшая ласковая волна, чуть пенясь, плескалась у берега и, шевеля морские камешки, издавала шуршащий успокаивающий звук, похожий на вздох.

Мы уселись меж скал, одна из них нависала над нашими головами и давала приятную тень. На мне было голубое ситцевое платье с широкой каймой из белых ромашек, черные косы свисали почти до самой каймы. Теперь об этом можно вспоминать, не нарушая скромности,— так давно это было, и так не похожа я на ту прежнюю, будто пишешь не о себе, а совсем о другом человеке. В детстве в шутку кто-то сказал мне, что у меня один глаз, как море, а другой — как небо, и я повторяла: «Один, как морье, другой, как небо». «Морье» — забавляло взрослых, в том числе и Н. И., и вдруг он вспомнил об этом.

— Ты как-то незаметно выросла,— сказал Н. И.,— стала взрослой, и глаза твои уже не разные, а оба, как «морье».

Давний эпизод рассмешил нас, но я смутилась. Разговор как-то не клеился, Н. И. заметно волновался. Говорить о том, что нас тревожило, то есть о съезде, не хотелось. А наше чувство друг к другу было загнано внутрь, и никто не решался первым его проявить, хотя к этому времени обоим было уже ясно: оно претерпело метаморфозу, превратившись у меня из детской привязанности к Н. И., а у него — из привязанности к ребенку в чувство влюбленности.

Он раскрыл газету, в которую завернута была книга. В газете публиковались выступления делегатов съезда. По поводу речи Ярославского Н. И. раздраженно заметил: «Ярославский считает, что троцкистов более не существует, а вот мы, как они все нас называют, «правые», в настоящее время представляем главную опасность. Чушь какая-то, ерундистика. (Н. И. любил, как я их называла, словесные выкрутасы, и часто вместо слова «ерунда» говорил «ерундистика».) Такой оппозиции, какой была троцкистская, у нас вообще не было». Н. И. в этом случае имел в виду не столько идейную позицию троцкистов (не сделаю открытия, если скажу, что он был яростным противником ее, Бухарин и Троцкий антиподы), сколько их методы борьбы за свои взгляды в нарушение партийной дисциплины. Справедливо ли мнение, что Сталин руками Бухарина, Рыкова, Томского подавил оппозиции: «новую» в 1925 году, «объединенную» в 1927 году? С этим нельзя не согласиться. Но для них борьба за свои взгляды против троцкистской оппозиции не была борьбой за власть. Для Сталина же это была блестяще сыгранная шахматная партия, в которой он победил, достигнув единовластия. Так, разжигая разногласия и натравливая большевиков друг на друга, он сумел убрать с политической арены все крупные фигуры, игравшие заметную роль при Ленине. К сожалению, это свойство Сталина (разжигать разногласия) большевики понимали не одновременно, а поочередно, а иные же понимали, но пытались использовать его в своих политических играх. Но теперь, оглядываясь назад, можно сказать: за этими боями они проглядели палача!

Отбросив газету с речами, Н. И. взялся за книгу. Это была «Виктория» Кнута Гамсуна.

— Мало кому,— сказал он,— удалось написать такое тонкое произведение о любви. «Виктория» — это гимн любви!

Как я предполагаю, книгу эту Н. И. захватил с собой не случайно. Он стал читать вслух — не подряд, а выборочно:

«Что такое любовь? Это шелест ветра в розовых кустах. Нет, это пламя, рдеющее в крови. Любовь — это адская музыка, и под звуки ее пускаются в пляс даже сердца стариков. Она точно маргаритка распускается с наступлением ночи, и точно анемон от легкого дуновения свертывает свои лепестки и умирает, если к ней прикоснешься.

Вот что такое любовь...»

Прервав чтение, он задумчиво посмотрел куда-то вдаль. Потом перевел взгляд на меня и снова в море. О чем он думал тогда?..

Затем он продолжил:

«Любовь — это первое слово создателя, первая, осиявшая его мысль. Когда он сказал: «Да будет свет!» — родилась любовь. Все, что он сотворил, было прекрасно. Ни одно свое творение он не хотел бы вернуть в небытие. И любовь стала источником всего земного и владычицей всего земного, но на всем ее пути — цветы и кровь, цветы и кровь!»

— Почему же кровь? — спросила я.

— Ты хотела, чтобы были одни цветы? Так в жизни не бывает, она не проходит без испытаний, любовь должна преодолевать, побеждать их. А если любовь не преодолевает испытаний жизни, не побеждает их, следовательно, ее и не было — той настоящей любви, о которой пишет Кнут Гамсун.

Дальше Н. И. прочел, как старый монах Венд рассказывал о вечной любви, любви до смерти, о том, как болезнь приковала мужа к постели и обезобразила его, но его любимая жена, подвергнутая тяжкому испытанию, чтобы быть похожей на своего мужа, у которого выпали все волосы от болезни, обрезала свои локоны. Затем жену разбил паралич, она не могла ходить, ее приходилось возить в кресле, и это делал муж, который любил свою жену все больше и больше. Чтобы уравнять положение, он плеснул себе в лицо серной кислоты, обезобразив себя ожогами.

— Ну, а как ты относишься к такой любви? — спросил Н. И.

— Сказки рассказывает твой Кнут Гамсун! Зачем себя специально уродовать, делать себя прокаженным, обливать лицо серной кислотой? Неужто нельзя без этого любить? Чушь какая-то!

Мой ответ рассмешил Н. И., и он пояснил мне, что «его» Кнут Гамсун такими средствами выразил силу любви, ее непременную жертвенность. И вдруг, глядя на меня грустно и взволнованно, спросил:

— А ты смогла бы полюбить прокаженного?

Я растерялась, ответила не сразу, почувствовав в его вопросе тайный смысл.

— Что же ты молчишь, не отвечаешь? — снова спросил Н. И.

Смущенно и по-детски наивно я произнесла:

— Кого любить — тебя?

— Меня, конечно, меня,— уверенно произнес он, радостный, улыбающийся, тронутый тем, с какой еще детской непосредственностью я выдала свои чувства.

И только я собралась ответить, что его я смогла бы любить (хотя и незачем было употреблять будущее время, когда все уже было в настоящем), он попросил меня: «Не надо, не надо, не отвечай! Я боюсь ответа!»

В то время он не хотел еще ставить точки над «i». При огромной разнице лет между нами он опасался дать ход нашим отношениям. Но так или иначе Кнут Гамсун помог нам приоткрыть наши чувства, которые мы оба старались утаить.

Не раз за долгие годы своих мучений вспоминала я роковой вопрос Н. И.: «А ты смогла бы полюбить прокаженного?»

Я пробыла в Гурзуфе лишь несколько часов. Шофер Егоров, добродушный

альбинос с длинными белыми ресницами, растущими пучками, торопил меня. Ах, как не хотелось расставаться с Н. И.! Но надо было возвращаться к отцу в Мухалатку.

Другая моя поездка в Гурзуф принесла много волнений и радости.

Как только я появилась на даче, где жил Н. И., мне сообщили, что он с утра уплыл в море и исчез. Я в волнении побежала на берег. Там собралась толпа, море просматривали в бинокль. На берегу лежали вещи Н. И.— холщовые светлые брюки, синяя, выгоревшая от солнца старая сатиновая косоворотка и, несмотря на жару, сапоги: все его «богатство». На вещи был положен тяжелый камень — позаботился, чтобы ветер не унес. Время было уже послеобеденное, даже я, знавшая, как далеко Н. И. мог заплывать в море, начала серьезно волноваться. Наконец было решено послать на поиски моторную лодку. Лодка завершила долгие поиски у пограничного судна, где был обнаружен задержанный Н. И. Он заплыл в запретную зону, и его заставили подняться на судно для выяснения личности, а когда Н. И. объяснил, кто он, отказались верить, что он Бухарин. Кто-то из команды судна попросил предъявить документы. Такое требование в данной ситуации было более чем смешным. Нашелся какой-то «бдительный», крикнувший: «Не выдумывайте, что вы Бухарин, зачем бы ему в такую даль плыть. Лучше правду скажите, кто вы есть и с какой целью вы здесь оказались». (Знай об этом эпизоде Вышинский, на процессе цель была бы определена сразу же.)

Наконец капитан судна разумно решил, что если задержанный — действительно Бухарин, то его в конце концов должны начать разыскивать. Так оно и случилось, и вечером Н. И. благополучно был доставлен на берег. Толпа, ожидавшая результатов поисков, стала к тому времени еще больше, из соседнего дома отдыха Суук-су пришли партийные работники, делегаты, приехавшие после окончания съезда.

Кто-то крикнул из толпы:

— Николай Иванович, когда вы перестанете озорничать?

Окрыленный своим новым спортивным рекордом и возбужденный «первым арестом» при Советской власти, он не сдержался и крикнул в ответ так, чтобы все слышали: «Тогда, когда вы перестанете называть меня правым оппортунистом!» Кое-кто решился даже рассмеяться. После окончания съезда можно было посмеяться и пошутить и даже искренне порадоваться, что Н. И. нашелся и что он цел и невредим; но одновременно усилилось подозрение, не была ли его болезнь дипломатической, раз он смог проделать такое...

Мы поднялись в гору, к даче, в комнате на столе лежал конверт, на котором почерком Рыкова было написано: «Николаю Ивановичу» — письмо было послано с оказией. Н. И. с волнением вскрыл конверт, в него была вложена открытка. Последняя фраза этой открытки мне запомнилась почти дословно: «Приезжай здоровый, мы (имелся в виду и Томский) вели себя на съезде по отношению к тебе достойно. Знай, что я люблю тебя так, как не смогла бы любить даже влюбленная в тебя женщина. Твой Алексей».

Алексей Иванович писал о том, что считает большой удачей для всех троих отсутствие Н. И. на съезде. Это бы только осложнило их положение. Вряд ли б, писал он, Н. И. смог сохранить хотя бы внешне необходимое спокойствие в тяжелой обстановке съезда, которое Рыкову и Томскому давалось не без огромного напряжения. Хорошо, что его не было и по другой, как писал Рыков, ему понятной причине.

Рыков имел в виду ситуацию, сложившуюся из-за разговора Бухарина с Каменевым в июле 1928 года, к тому времени события двухлетней давности. Этот эпизод не был забыт Сталиным. Именно тогда, в 1928 году, Сталиным был заложен фундамент мифического право-троцкистского блока, зловещее здание которого, созданное «кропотливым строителем», возвышалось на бухаринском процессе десять лет спустя. Так и поименовали судилище: «дело антисоветского право-троцкистского блока».

В изложении Н. И. обстоятельства его встречи с Каменевым выглядели

так. Бухарин возвращался с заседания июльского Пленума ЦК домой вместе с Сокольниковым[1] (оба тогда жили в Кремле). По дороге встретили Каменева. Остановились и разговорились. Н. И., взволнованный не только выявившимися разногласиями, но и грубым, коварным поведением генсека во время дискуссии на заседаниях Политбюро и на Пленуме, вел о Сталине разговор в тоне крайнего раздражения и разочарования, осуждая не только его политическую линию, но и нравственные качества. Из того, что мне запомнилось из рассказа Бухарина, могу передать следующее: Н. И. признал перед Каменевым, что они — Каменев и Сокольников — в одном были абсолютно правы, когда еще в 1925 году на XIV съезде ВКП(б) советовали не переизбирать Сталина на пост генсека; Сталин — беспринципный интриган, который в погоне за властью меняет свою политику в зависимости от того, от кого он хочет в данный момент избавиться; Сталин сознательно разжигает разногласия, а не сплачивает руководство партии; политика Сталина ведет к гражданской войне и голоду. Н. И. так же нелестно отозвался и о Молотове: Сталин окружает себя безликими, во всем ему подчиняющимися людьми, вроде тупого Молотова, этой «каменной задницы», и он еще учит его марксизму (о Молотове Н. И. выразился еще грубее, так, как я не считаю возможным повторить; по натуре он был вспыльчив и в выражениях не стеснялся).

Иных подробностей своей беседы с Каменевым, как мне кажется теперь, Н. И. мне не рассказывал, а возможно, они выпали из памяти. Однако я твердо помню со слов Н. И., что даже намека на организацию блока между Бухариным и другими членами оппозиции, с одной стороны, Каменевым, Зиновьевым и троцкистами — с другой, при разговоре с Каменевым не высказывалось. Да такие переговоры уже и не могли бы иметь успеха, поскольку власть к этому времени была упущена. Сталин уже был полновластным хозяином в партии, его так и называли — «Хозяин».

Разговор с Каменевым носил чисто эмоциональный характер, искреннее и непосредственное излияние того, что угнетало душу Н. И., встревоженного бурными дебатами на заседаниях Политбюро и на июльском Пленуме, с которого он возвращался.

Что же заставило Бухарина разоткровенничаться с Каменевым, несмотря на то, что они стояли на диаметрально противоположных позициях по вопросу о нэпе? Еще в 1925 году на XIV съезде партии во время оппозиции Каменева Сталину — Бухарину Каменев заявил, что Сталин не является той фигурой, которая может сплотить руководство партии. Испытав на себе характер Сталина, Бухарин в 1928 году пришел к тому же выводу. Это обстоятельство в сочетании с сильным душевным волнением дало толчок откровенности Бухарина перед Каменевым. Психологически иначе это объяснить невозможно. Ведь это о них, Зиновьеве и Каменеве, Бухарин заявил на XIV съезде, что против него ведется «неслыханная травля»; это с легкой руки Зиновьева и Сталин впоследствии стал называть бухаринскую школу уничижительно — «школка». Ведь именно Бухарин был главной мишенью для нападок Каменева и Зиновьева в 1925 году, причем за те же идеи, которые преследовались Сталиным в 1928 году.

Примечательны высказывания Сталина на XIV съезде. Они дают возможность понять, почему Бухарин разделял в то время политику Сталина. Отнюдь не из властолюбивых побуждений, как это некоторые расценивают,— его

---

[1] Сокольников Григорий Яковлевич, друг Бухарина с гимназических лет, человек блестящих способностей. С VI съезда — член ЦК РСДРП(б), нарком финансов, посол в Англии, зам. наркома иностранных дел. Примыкал к «новой» оппозиции. Во время дискуссии 1925 года заявил: «Я думаю, что мы напрасно делаем из вопроса о том, кто должен быть генеральным секретарем нашей партии и нужен ли вообще пост генерального секретаря, вопрос, который мог бы нас раскалывать... Да, у нас был тов. Ленин. Ленин не был ни председателем Политбюро, ни генеральным секретарем, и тов. Ленин, тем не менее, имел у нас в партии решающее политическое слово. И если мы против него спорили, то спорили, трижды подумав. Вот я и говорю: если тов. Сталин хочет завоевать такое доверие, как т. Ленин, пусть он и завоюет это доверие».

В 1936 году Сокольников был арестован, осужден в январе 1937 года по процессу вместе с Радеком, Пятаковым и другими.

последующая оппозиция Сталину это доказала вполне. «Странное дело,— говорил Сталин,— люди вводили нэп, зная, что нэп есть оживление капитализма, оживление кулака, что кулак обязательно подымет голову. И вот стоило показаться кулаку, как стали кричать «караул», потеряли голову. И растерянность дошла до того, что забыли о середняке»; «Если задать вопрос коммунистам, к чему больше готова партия — к тому, чтобы раздеть кулака, или к тому, чтобы этого не делать, но идти к союзу с середняком, я думаю, что из 100 коммунистов 99 скажут, что партия всего больше подготовлена к лозунгу: «бей кулака»... А вот что касается того, чтобы не раскулачивать, а вести более сложную политику изоляции кулака через союз с середняком, то это дело не так легко переваривается».

Волею судьбы еще девочкой я стала свидетелем эпизода, который доказывает неосведомленность Рыкова и Томского о беседе Бухарина с Каменевым и тем самым исключает разговор о блоке. Уже тогда я часто бывала у Н. И. Однажды я застала его лежащим на диване в маленькой комнате рядом с кабинетом, осунувшимся, похудевшим и взволнованным.

— Как хорошо, что ты пришла, Ларочка (образовав имя от моей фамилии, так называл он меня в детстве; позже — Анюткой), мне совсем не радостно, на душе у меня кошки скребут и не дают покоя! Ты понимаешь меня? — И тут же сам ответил: — Нет, ты меня еще не понимаешь, ты мала, как хорошо, что ты не можешь всего постигнуть.

— И не так уж я мала,— возразила я с обидой,— я многое понимаю.

К этому времени я уже прочла стенограммы июльского Пленума, стащив их украдкой из ящика письменного стола отца. Стенограммы пленумов издавались всегда в мягкой розовой обложке, на ней было написано «Строго секретно», что особенно располагало заглянуть в них. Вообще в те дни, насколько это было доступно пониманию в моем возрасте, я была в курсе происходящих событий.

Я всматривалась в лицо Н. И., совсем не такое, каким я привыкла его видеть — радостным, с лучезарной голубизной глаз; в эту минуту оно показалось мне серым, с померкшим взглядом. И тогда уже я поняла, что черные тучи нависли над его головой; одного я не понимала: какой гром грянет.

Не выдержав нервного напряжения, я расплакалась и, пытаясь объяснить свое состояние, проговорила:

— Мне жалко тебя очень, но я же ничем не могу помочь!

(Впоследствии Н. И. не раз вспоминал этот тяжелый момент и как я на него реагировала.)

Наступила короткая и грустная пауза, и вдруг Н. И. сказал:

— Не меня надо жалеть, Ларочка, а крестьян-мужиков.

Эти слова он произнес очень тихо, как будто сомневаясь, стоит ли вести такой разговор пусть и с близким, но очень юным человеком.

Не знаю, в каком направлении развивалась бы дальше беседа между сорокалетним Бухариным, относившимся ко мне с особой нежностью, и девочкой на пятнадцатом году жизни, тянувшейся к нему, как растение к солнцу. Я еще не успела осмыслить последнюю фразу, как в комнату вбежал чрезвычайно взволнованный Рыков. Он сообщил, что от Сталина ему стало известно, будто Бухарин вел переговоры с Каменевым о заключении блока против Сталина, предварительно согласовав эти переговоры с ним, Рыковым, а также с Томским. Рыков заявил Сталину, что такого быть не могло и что это явная провокация. Тогда Сталин рассказал подробности беседы Н. И. с Каменевым: резкие выпады против Сталина и характеристику, данную Молотову.

Н. И. побледнел, руки и губы его дрожали.

— Значит, Каменев донес, подлец и предатель! — воскликнул потрясенный Бухарин.— Другим путем это не могло бы стать известно, встреча была случайной, под открытым небом, в Кремле, когда мы возвращались с пленума вместе с Сокольниковым, подслушивание разговора исключено.

Бухарин подтвердил свой разговор с Каменевым и во многом признал его содержание. Рыков был до такой степени разгневан, что спокойно говорить не мог. Он кричал, заикаясь больше, чем обычно [1].

— Б-баба ты, а не политик! П-перед кем ты разоткровенничался? Нашел перед кем душу изливать! Мало они тебя терзали?! М-мальчик-бухарчик!

Рыков высказал предположение, что донос первоначально мог исходить и от Сокольникова и даже через него могла быть устроена эта «случайная» встреча, что Н. И. тогда категорически отвергал. Рыков же в сложившейся ситуации не доверял ни Каменеву, ни Сокольникову в равной степени.

— Я посмотрю,— сказал он,— как ты будешь выглядеть в Политбюро, как скажешь Молотову, что он тупица и «каменная задница».

Н. И. был в полной растерянности.

Мое свидетельство, исключающее осведомленность Рыкова и Томского о разговоре Бухарина с Каменевым, подтверждается и документально, что для меня крайне важно, потому что это событие относится к годам моего детства и может не внушать полного доверия.

На XVI съезде партии в 1930 году, во время речи Рыкова, в ответ на реплики о фракционности и о «переговорах» Бухарина с Каменевым Рыков заявил: «Вы прекрасно знаете, что когда обсуждался разговор Бухарина с Каменевым (заметьте, р а з г о в о р, а не переговоры.— **А. Л.**), я относился к этому делу, к разговору,— подчеркивает Рыков,— с величайшим порицанием и заявил об этом немедленно».

Томский в своей речи на том же съезде отмечает, что разговор между Бухариным и Каменевым хотя был и политический, с резкими личными характеристиками и нападками, но частный.

Наконец, Рыков в своем последнем слове на процессе, вынужденный выражаться языком, продиктованным следствием, сказал: «С самого начала организации блока Бухарину принадлежит вся активность, и в некоторых случаях он ставил меня перед совершившимся фактом». Этот «совершившийся факт» и есть разговор Бухарина с Каменевым.

Важно выяснить, когда произошел эпизод, свидетелем которого я невольно оказалась. Точной даты, естественно, я не помню. Но зато ясно помню, что погода была еще теплая, Рыков вбежал в кабинет Н. И. в габардиновом пальто и кепке. Следовательно, не позже начала осени Сталину уже было известно о разговоре и его содержании.

20 января 1929 года в троцкистском бюллетене, издававшемся за границей, была опубликована так называемая «Запись разговора Бухарина с Каменевым». Уже после возвращения из ссылки в Москву мне представился случай ознакомиться с этой «Записью». Я обнаружила в ней все то, что мне рассказывал Н. И., и еще множество мелочей, подробностей, в которые я не была посвящена. Я не считаю себя достаточно компетентной, чтобы судить обо всем. Но несомненно, что «Запись» правильно отражает и политические взгляды Бухарина, и его отношение к Сталину в то время, и тогдашнюю атмосферу в Политбюро.

В этом документе я узнала эпизод, осевший еще в моих детских воспоминаниях и часто потом упоминавшийся в разговорах Бухарина и Ларина. Этот случай они называли «история с Гималаями». Он убедительно доказывает грубость и вероломство Сталина. Из-за разногласий перед июльским пленумом 1928 года по вопросам внутренней политики и предстоящей выработкой декларации ЦК для VI конгресса Коминтерна, декларации, заявившей об отсутствии таких разногласий, в Политбюро создалось напряженное положение. Сталин, в тот момент еще не совсем уверенный в своей победе, пытался задобрить Бу-

[1] В спокойном состоянии Рыков незначительно заикался. После устранения Рыкова с поста Председателя Совнаркома его заменил Молотов. Он стал подписывать постановления Совнаркома: Молотов (Скрябин). Замена Рыкова Молотовым казалась и Бухарину, и Ларину неравноценной. Как-то Ларин, разговаривая с Н. И., шутя заметил: «Мы ошибаемся, Николай Иванович, кандидатура выбрана самая подходящая: Молотов подписывается двумя фамилиями, как Ленин, и заикается еще больше, чем Рыков. Остальное приложится».

харина и, вызвав его к себе, сказал: «Мы с тобой, Николай, Гималаи, остальные (члены Политбюро.— **А. Л.**) — ничтожества». На очередном заседании Политбюро при продолжающихся дебатах Н. И., обозлившись на Сталина, решил показать его лицемерие и передал эти слова. Возмущенный Сталин стал кричать на Бухарина. «Лжешь, лжешь, лжешь! — орал он.— Хочешь настроить против меня членов Политбюро».

— Ну а кому они (члены Политбюро) поверили? — заметил Ларин, когда Н. И. рассказал ему эту историю,— конечно же, Сталину, кому же хочется быть ничтожеством?

— Думаю, они поверили мне, но сделали вид, что поверили Сталину,— ответил Н. И.

«Гималаи» вспоминались довольно часто; за этим словом закрепилось особое значение: не делать политических просчетов и глупостей.

— Не делайте больше Гималаев,— предупреждал Ларин Н. И.

— Только без Гималаев,— напутствовал Н. И. Ларина перед его очередной речью.

«Запись» не фиксирует предложение Бухарина о блоке, Н. И. просит о другом: «Вы сами, конечно, определите свою линию, но я просил бы, чтобы вы одобрением Сталина не помогали ему душить нас». Как ярко в этих словах узнается бухаринская натура, прямо-таки детская непосредственность, политическая наивность, от которой он нередко страдал, но которая в то же время притягивала к нему искренних и любящих его друзей!

Еще многое представляется мне вполне реальным в «Записи», например: «Что делать, когда дело имеешь с таким противником — Чингисханом — низкая культура ЦК» и т. д.

Наряду с этим в «Записи» фиксируются явно сфальсифицированные моменты. Как выглядит, к примеру, в свете того, что мной уже рассказано, следующее «сообщение» Бухарина Каменеву: «О том, что я говорил с тобой (кстати, на «ты» Н. И. и Каменев друг к другу не обращались.— **А. Л.**), знают только Рыков и Томский...»? Заведомо лживы и сфальсифицированы обстоятельства встречи — на квартире у Каменева. Сама «Запись» косвенно опровергает ложь. «Не нужно,— говорит Бухарин,— чтобы кто-нибудь знал о нашей встрече. Не говори со мной по телефону, ибо мой телефон подслушивают. За мной ходит ГПУ, и у тебя стоит ГПУ». Если Н. И. не без основания полагал, что у Каменева «стоит ГПУ» и за ним оно «ходит» и что телефоны их прослушиваются, то, предостерегая Каменева, надо думать, был осторожен и сам и даже при страстном желании заключить блок с Каменевым нашел бы другое место для свидания.

Н. И. действительно знал о подслушивании разговоров на квартирах руководящих работников партии. Сталин, который обычно был очень сдержан, не говорил ни слова лишнего, в нетрезвом состоянии делался болтливым; в таком состоянии, кажется, в 1927 году, точно не помню, он показал Н. И. запись разговора Зиновьева с женой. Политические темы перемежались с сугубо личными, даже интимными. Последние очень развлекли «Хозяина». По-видимому, это было не подслушивание по телефону, а подслушивание при помощи телефона. Не могу сказать, как это осуществлялось, но все, что говорилось в квартире Зиновьева, было записано. Н. И. никогда не смог отделаться от ужасающего впечатления, вызванного этим рассказом Сталина.

Интриги, сфальсифицированные документы, обман — основной метод, использованный Сталиным в целях натравливания большевиков друг на друга[1]. Чтобы желанный для Сталина документ достиг цели, в запись разговора между Бухариным и Каменевым вводится третье действующее лицо, Сокольников. Сокольников — чрезвычайно удобная личность для такого рода инсинуаций: он, с одной стороны, человек каменевской ориентации в политике, с другой — связан с Бухариным еще с гимназических лет. Они дружили еще мальчишками — Коля Бухарин и Гриша Бриллиант (Сокольников) — еще тогда, когда жили со своими родителями, что всегда оставляет особый след в душе и придает отношениям между товарищами наибольшую доверительность. Сокольников не только сопровождает Бухарина, но и ведет предварительные переговоры о блоке, организует встречу Бухарина и Каменева на квартире у Каменева. Так инсинуация выглядит правдоподобней, внушительней, документ создает необходимую иллюзию, подтверждает стремление Бухарина к организации блока.

[1] Так, например, летом 1935 года Пленуму ЦК была представлена толстая папка, содержавшая материалы, компрометирующие А. С. Енукидзе. На пленуме он был исключен из партии за бытовое разложение, государственные растраты, засорение аппарата ЦИКа и т. д. Иные обвинения против Енукидзе были впереди. С пленума Н. И. вернулся подавленный, он поверил в эти документы и сказал мне: «Разлагается бюрократия!» Бухарин знал Енукидзе, старого революционера и человека доброй души, тяжело переживал случившееся. Енукидзе был близок Сталину, политики он не делал, и фальсификация тогда казалась бессмысленной.

Согласно «Записи», увертюрой к «переговорам» между Бухариным и Каменевым было письмо Сокольникова Каменеву и короткий разговор между ними. Письмо, в котором Сокольников торопит Каменева с приездом в Москву, он отправляет в Калугу — место ссылки Каменева и Зиновьева, где оба проводят и без того последние дни перед возвращением в Москву после своего восстановления в партии. На первый взгляд ничто не вызывает сомнений в том, что автор письма — Сокольников, оно написано в стиле, присущем интеллигенту: «Будете ли Вы здесь вскорости, нужно бы с Вами поговорить и посоветоваться, нет ли у Вас возможности побывать на этих днях, это было бы крайне важно». Внушает лишь подозрение опрометчивый шаг Сокольникова, старого революционера и опытного конспиратора, решившегося пригласить Каменева в Москву по столь серьезному поводу письмом в ссылку почтой, которая наверняка контролировалась у такого адресата, или через доверенное лицо,— знаем мы этих доверенных... Письмо Сокольникова датировано 9.7.28, то есть якобы написано во время пленума, а уже 11.7.28 в девять утра Сокольников беседует с Каменевым. Он освещает положение на пленуме и делает неправдоподобные, весьма подозрительные выводы: «...линия Сталина будет бита. Бухарин в трагическом положении (почему в этом случае в трагическом? — **А. Л.**). Не хвалите Сталина. Положительная программа напишется вместе с вами. Блок для снятия Сталина — почему ничего не сделали? (А что калужские ссыльные Каменев и Зиновьев могли сделать? — **А. Л.**) Вы для него X, Y, Z. Сталин пускает слухи, что имеет вас в кармане». Похоже, что письмо от имени Сокольникова — не что иное, как провокация и против него. Последующие годы вполне доказали, на что был способен Сталин.

Совершенно очевидно также, что присутствовавший на июльском пленуме Сокольников не хуже Бухарина понимал, что блок между теряющим свое положение в партии Бухариным и уже низвергнутым Каменевым, к 1928 году разделявшим скорее политику Сталина, нежели Бухарина, есть фантом.

Все же не берусь категорически утверждать, что встреча между Каменевым и Сокольниковым не состоялась. Что скрывалось за кулисами этой трагической для Бухарина истории, покрыто мраком неизвестности. Трудно сказать, какое из моих предположений точно. Безусловно для меня лишь то, что Бухарин не поручал Сокольникову вести предварительные переговоры с Каменевым, что он не стал бы кривить душой перед Рыковым и что не было смысла почти спустя десятилетие точно то же рассказывать о давно прошедших событиях мне.

В результате тщательного изучения «Записи» у меня сложилось впечатление, что этот документ не есть собственная «Запись Каменева». В документ намеренно внесена фраза, заставляющая несведущих думать, что «Запись» — не что иное, как перехваченное письмо, по-видимому, Зиновьеву, которого Каменев просит повременить с приездом в Москву. Поражает сумбурность, бессвязная манера изложения, никак не свойственная Каменеву, чьи литературные способности были хорошо известны.

Но самое примечательное заключается в том, что вызванный в ЦКК Каменев признал правильность «Записи» «с оговорками» (какие оговорки могут быть в собственной записи!), Бухарин признал «Запись» «в основном».

Кто же записал разговор между Бухариным и Каменевым? Сегодня остается только предполагать. Несомненно, встреча и, вероятно, бурный разговор Ка-

менева, Сокольникова и Бухарина в дни июльского пленума 1928 года в Кремле не осталась незамеченной ГПУ. У стен, как известно, есть уши. Да и любой из участников разговора вполне мог обмолвиться «в узком кругу». Так что реконструировать разговор для людей опытных было делом техники.

Не исключено, что Каменев был вызван, возможно, к самому Сталину, с пристрастием допрошен и стенограмма его показаний стала основой «Записи». Но все это лежит в области догадок.

30 января 1929 года Бухарин направил в ЦК заявление в объяснение своих резких высказываний о Сталине. В нем политика Сталина расценивалась как военно-феодальная эксплуатация крестьянства, разложение Коминтерна и насаждение бюрократизма в партии. Заявление стало известно как платформа Бухарина.

Объединенным заседанием Политбюро и Президиума ЦКК была создана специальная комиссия для рассмотрения вопроса о Бухарине в связи с его беседой с Каменевым и написанным им заявлением от 30 января. Председателем комиссии был Орджоникидзе. Он делал все возможное, чтобы сохранить Бухарина, Рыкова и Томского в Политбюро, но при условии, что Бухарин признает политической ошибкой переговоры с Каменевым и заявит, что о военно-феодальной эксплуатации крестьянства сказал сгоряча, в пылу полемики. Другим путем Орджоникидзе никак не мог в тот момент спасти положение. Он предложил такое решение:

«Комиссия... предлагает объединенному заседанию Политбюро и Президиума ЦКК изъять из употребления все имеющиеся документы (стенограмму речей и т. д.) ...Обеспечить т. Бухарину все те условия, которые необходимы для его нормальной работы на постах ответственного редактора «Правды» и секретаря ИККИ».

Впрочем, еще перед июльским пленумом 1928 года создалась невыносимая обстановка для работы Бухарина и Томского: в редакцию «Правды» Бухарину был прислан, как он выражался, «политкомиссар», бывший редактор «Экономической жизни» Г. И. Крумин; к Томскому в ВЦСПС был приставлен Каганович. В ноябре 1928 года Бухарин и Томский впервые подали в отставку.

Условия, предложенные комиссией, Бухарин, Рыков и Томский отклонили, заявив, что они не могут изменить свои взгляды, которые считают правильными, борьбу прекращают, но уйдут в отставку.

Наконец 9 февраля 1929 года объединенное заседание Политбюро ЦК и Президиума ЦКК выносит резолюцию, первый раздел которой носит название «Закулисные попытки Бухарина к организации фракционного блока против ЦК»:

«1. т. Бухарин в сопровождении т. Сокольникова во время июльского пленума ЦК в 1928 г. вел без ведома и против воли ЦК и ЦКК закулисные фракционные переговоры с т. Каменевым по вопросам об изменении политики ЦК и состава Политбюро ЦК;

2. т. Бухарин вел эти переговоры с ведома, если не с согласия тт. Рыкова и Томского, причем эти товарищи, зная об этих переговорах и понимая их недопустимость, скрыли от ЦК и ЦКК об этом факте».

Как видно из рассказанного, резолюция никак не отражает действительного положения вещей. Разговоров об изменении политики ЦК, о блоке, об изменении состава Политбюро Бухарин не вел и не потому, что не хотел в то время этих изменений, а потому, что с Каменевым, только-только восстановленным в партии и направленным (как и Зиновьев) на работу в Центросоюз, не членами Политбюро и ЦК, скорее разделявшими политику Сталина, никакого смысла разговаривать на эту тему не было. Об изменении курса Политбюро и устранении Сталина с поста генсека было целесообразно разговаривать только с теми членами реально существующего Политбюро, в ком Н. И. чувствовал в то время хотя бы потенциальную поддержку,— Калининым, Орджоникидзе, ибо явными сторонниками Бухарина в Политбюро, открыто выступавшими против политики Сталина, были только Рыков и Томский. Для того, чтобы пойти на такой шаг,

у Н. И. должна была быть уверенность, что эти переговоры имели бы желанный результат, а не раскалили бы еще в большей степени атмосферу в Политбюро (я передаю ход мыслей Н. И.) и не ускорили бы поражение оппозиции. Что переговоры велись «с ведома, если не с согласия Рыкова и Томского», приведенные мною факты тоже опровергают.

В связи с уничтожающей резолюцией Политбюро и Президиума ЦКК, требовавшей разглашения всех документов, касающихся Бухарина и других, положение Бухарина, Рыкова и Томского становится все безнадежней, все катастрофичней, несмотря на отклонение той же резолюцией их отставки. Зачем же их отстранять? Сталин не торопит события, он руководствуется своей вероломной тактикой и, как всегда, выжидает. Вопрос об отставке он пока решить не может, даже в «содружестве» с Политбюро. Эту акцию, как записано в февральской резолюции, могут использовать враги, которые скажут: «Мы добились своего».

И вдруг гром грянул! Прямо-таки долгожданный дождик полил взращенный Сталиным политический урожай. 29 марта 1929 года, то есть перед апрельским пленумом, знаменитая «Запись Каменева» была опубликована в эмигрантском меньшевистском «Социалистическом вестнике», издававшемся в Париже,— якобы перепечатана из органа германских троцкистов, как раз в нужный момент. Возможно, что это случайная удача Сталина, но ему всегда «везло». Но можно подозревать и другое, прежде всего потому, что это не копия первоначального документа, а хорошо отредактированный текст, вполне способный сойти за личную запись Каменева. Например, записанные в первом варианте слова «мы голоснули» в «Социалистическом вестнике» исправлены на «мы голосовали». Первый абзац записи, связанный с Сокольниковым, опущен. Казалось бы, именно в этих строках, записанных якобы со слов Сокольникова, ясно видна хотя и вымышленная, но цель «переговоров». Но Сокольников выпадает из игры, он только «сопровождает» Бухарина. Роль Сокольникова мне не известна, предположения свои я уже высказала, поэтому оставляю вопрос открытым.

Итак, бомба гигантской силы взорвалась. «Запись», опубликованная в «Социалистическом вестнике», была размножена и роздана членам ЦК к апрельскому пленуму. Обстановка для снятия Бухарина с занимаемых постов была вполне подготовлена. В апреле позабыли, как заявляли всего два месяца назад, в феврале 1929 года, что враги скажут: «мы добились своего»; своего добились друзья.

«До чего он пал, Бухарин, даже «Социалистический вестник» торжествует победу и печатает его клеветнические измышления о Сталине. «Соц. вестник», «Соц. вестник»! — слышалось с разных сторон на пленуме (все описываю со слов Бухарина). Да, так оно и было, никуда от этого не уйдешь! Отставка Бухарина и Томского была уготована самим созывом апрельского пленума. Рыков, как председатель Совнаркома, продержался несколько дольше.

Как же вели себя потом герои разыгравшейся драмы — Сокольников, Бухарин и Каменев? Сокольников смолк, он не выступал на последовавших партийных съездах, ни на XVI, ни на XVII, хотя продолжал оставаться членом ЦК, был делегирован на эти съезды и, несмотря на то, что по натуре всегда был активен и обладал незаурядными ораторскими способностями, он не каялся, никого не клеймил, никому не кричал «ура». Бухарин в своих статьях и речах никогда этот эпизод не вспоминал. Каменев же, к этому времени окончательно сломленный, первым после разгрома так называемой правой оппозиции поместил статью в «Правде» (возможно, по указанию сверху), осуждавшую свои «переговоры» с Бухариным о блоке. В текст своей речи на XVII съезде он ввел терминологию, годную для процессов: «вторая волна контрреволюции» (первая — троцкизм),— сказал он,— «прошла через брешь, открытую нами,— это волна кулацкой идеологии». И тут же вспомнил вне всякой логической связи «переговоры» о блоке с Бухариным. Впрочем, XVII съезд в целом производит в наши дни удручающее впечатление. Делегаты съезда, «победители» — будущие жертвы Сталина, пели ему восторженные дифирамбы. Именно они, делегаты съезда, рабочий класс, или пролетариат, как тогда говорили, и крестьянство вынесли на своих плечах всю тяжесть индустриализации и коллективиза-

ции. Казалось, лишения позади, светлое будущее впереди. Оно будет свободное, равноправное, изобильное, это общество, с новыми производительными силами, иными производственными отношениями и новым — социалистическим человеком. То, о чем грезилось в снах, мечталось в царских тюрьмах и на каторге, в эмиграции, послереволюционной разрухе, под пулями гражданской войны, казалось им, сбывается. Пафос был искренний, неподдельный, и кто этого не постиг — утратил чувство истории. И Бухарин все по той же причине назвал Сталина «фельдмаршалом пролетарских сил», но главное, на чем он фиксировал внимание в своем выступлении,— на развитии промышленности и на фашизме — его характеристике и опасности, грозящей миру.

Озлобление Николая Ивановича против Каменева, родившееся в 1928 году, не ослабевало. В одно из летних воскресений 1934 года мы поехали в бывшее имение князей Вяземских под Москвой Остафьево — после революции дом отдыха ЦИК. Мы поехали на несколько часов посмотреть старый парк и памятник Пушкину. Нас пригласили к обеду. Столовая была на большой террасе. Только подали обед, к нашему столику подсел отдыхавший там Каменев. Они поздоровались, эти «друзья»: Каменев, я бы сказала, дружелюбно, Н. И.— довольно холодно. Вдруг, оставив обед, он «вспомнил», что у него заседание в редакции, и тотчас же, простившись, уехал. «Я удрал от Каменева,— сказал мне Н. И.,— чтобы не дать ему тему для «записи» и повод для выступления на очередном съезде».

Вообще эпизод 1928 года — веха в биографии Н. И. не только потому, что Сталин использовал его в своих целях, но и потому, что он резко изменил характер Бухарина. Сорокалетний Бухарин вкусил в полной мере, что такое политика, проводимая Сталиным. Н. И. считал, что его предали, и был совершенно деморализован случившимся. С тех пор он стал более замкнутым, менее доверчивым, даже в отношениях с товарищами по партии, во многих своих сотрудниках стал подозревать специально приставленных к нему лиц; сквозь его страстное жизнелюбие, неистовую жизнерадостность проглядывала временами грусть. Он стал легко ранимым, заболевал от нервного напряжения.

Финал этой истории наступил на процессе. Разыгрался заключительный акт сценария. Теперь понятно, что еще задолго до «спектакля» Сталин, как крот, рыл тайные подземные ходы к будущему процессу «антисоветского право-троцкистского блока», оставляя сфальсифицированные следы в документах. Может быть, мысль о грядущих судилищах еще не сформулировалась в 1928 году в воображении вождя четко (хотя и это не исключено), но что на всякий случай все пригодится — этого он никогда не упускал, в этом заключался его стиль.

На процессе Бухарин дважды подчеркнул, что свидание с Каменевым состоялось на квартире последнего — на той самой квартире, где, как пояснял Бухарин Каменеву (по «Записи»), «стояло ГПУ». Он признал то, что ранее категорически отрицал. В наши дни кажется безразличным, где произошла встреча, важно — о чем они беседовали, но в 1928 году, настаивая на истинных обстоятельствах встречи, Бухарин доказывал свое алиби. Свой разговор с Каменевым Бухарин на процессе уже сам расценил как клевету на руководство партии. Мало того, на процессе Бухарин не остановился на одном, действительно имевшем место разговоре. Он подтвердил вымышленные в показаниях против него и другие встречи с Каменевым: свидание в больнице у Пятакова, где присутствовал Каменев, наконец, свидание с Каменевым на даче у Шмидта. Об этом последнем свидании Бухарин узнал впервые еще до своего ареста из присланных ему показаний, кажется, Ефима Цетлина (точно не помню), эти показания читала и я. В то время Н. И. категорически отрицал эту встречу.

Что касается встречи Бухарина в больнице с Пятаковым и Каменевым, то до ареста Бухарина никто о ней не вспоминал. В личных разговорах, на XVI съезде партии всегда фигурировала единственная беседа — «разговор», по выражению Рыкова, а не разговоры.

Я взяла эту версию под сомнение и потому, что Бухарин показал на процессе, что якобы с экономической частью своей программы 1928 года он ознакомил Каменева и Пятакова. Парадоксально, но в лице Каменева и Пятакова Бухарин имел как раз самых ярых противников своей платформы, и Н. И. об этом знал. Эта сомнительная подробность уже сделала подозрительным и самый факт. Окончательно я исключила эту версию, прочитав в «Социалистическом вестнике» за 1929 год, что это свидание датируется декабрем — январем 1928—1929 гг.

Только тот, кто не мог знать, что о действительной беседе Бухарина с Каменевым Сталину стало известно не позднее ранней осени 1928 года, кто не наблюдал, как реагировал Рыков на июльскую встречу Бухарина с Каменевым (а единственным свидетелем этого была я), кто, наконец, не видел и не прочувствовал, в каком состоянии был Н. И., когда узнал о доносе на него Сталину,— только тот мог легко поверить, что Бухарин имел еще какие-то контакты с Каменевым.

На процессе вымышленный «право-троцкистский блок» стал центральной магистралью, тем остовом, на котором, как осиные гнезда, лепились сфальсифицированные преступления. Обвиняемых приковали к «право-троцкистскому блоку» тяжелыми цепями, как каторжников к галере *.

Вот какое длинное отступление понадобилось мне, чтобы объяснить, что стояло за словами открытки Рыкова о том, что отсутствие Бухарина на XVI съезде было удачей «по понятной ему причине».

...Открытка Рыкова принесла Николаю Ивановичу большую радость и облегчение. Если он и переживал свое отсутствие на съезде, то только из опасения, что его товарищи-единомышленники Рыков и Томский, подвергнутые обстрелу или, как Н. И. выражался, глумлению (ибо, повторяю, оппозиция сдалась еще до съезда), будут в обиде за то, что им пришлось принимать удары и за себя, и за него. Н. И. это мучило, несмотря на то, что оба — и Рыков, и Томский навещали его и знали, как тяжко он болел. И в Крыму можно ли было предугадать день, когда он сумеет с большим напряжением собрать силы, пусть даже к окончанию съезда, чтобы присутствовать там, и, как ему казалось, выполнить долг перед товарищами? Интуиция подсказывала ему, что этого делать не следует. После открытки Алексея Ивановича Н. И. был уже твердо убежден, что поступил правильно по отношению к своим друзьям. И прекратились его терзания.

---

* Справка историка. Трактовка контактов Н. И. Бухарина с Л. Б. Каменевым мне представляется несколько суженной. Действительно, к июлю 1928 года обстановка внутри Политбюро была достаточно накалена. Обеспечив хлебозаготовки зимой 1928 года благодаря чрезвычайным мерам, Сталин уверовал в их универсальность и возвел их в ранг нормальной политики. Фактически это было отступлением от ленинской концепции строительства социализма в СССР. Против этого и выступил Бухарин, вначале поддержанный большинством членов Политбюро. Но позднее рядом политических ходов Сталину удалось перетянуть большинство на свою сторону. В частности, он применил и такой прием: посулил Зиновьеву и Каменеву возможность возвращения к активной работе в руководстве партией и государством. Бухарину было об этом известно. Ясно отдавая себе отчет в том, что политика Сталина может привести к самым тяжелым последствиям, Бухарин обратился к Каменеву. Вот в чем ключ к объяснению просьбы Бухарина к последнему: не помогать Сталину. Есть основания полагать, что разговор с Каменевым в Кремле не был единственным, а был продолжен — сперва по телефону, а затем на квартире Каменева. Сталин об этом был достаточно хорошо информирован — и не из троцкистских источников. Скорее наоборот: за границей эти сведения получали из надежных московских источников. Возможно, именно поэтому «Социалистический вестник» решил предать их огласке. А. М. Ларина права, утверждая, что эта публикация носила конспективный характер. Это действительно так. В ней были воспроизведены разговоры Бухарина и Каменева, относящиеся к различным по времени периодам. Запись их сохранилась в архиве П. Н. Милюкова: этот архив стал доступен советским историкам после второй мировой войны. Сопоставление этих документов с другими, находящимися в партийных и советских архивах, позволяет сделать вывод, что Милюков располагал подлинной копией записи разговора 11—12 июля 1928 года. Таким образом, вряд ли можно согласиться с утверждением А. М. Лариной, что факт переговоров Бухарина и Каменева был придуман Сталиным. Сталин весьма расчетливо использовал имевшуюся у него информацию для дискредитации Н. И. Бухарина. К этому времени Каменев и Зиновьев скомпрометировали себя беспринципностью во внутриполитической борьбе, поэтому самый факт контактов Н. И. Бухарина с Каменевым подрывал доверие к Бухарину в определенным образом информированных партийных кругах.

Впоследствии Каменев сыграл роковую роль в судьбе Бухарина, придав переговорам характер оформления своего рода блока. На XVII съезде партии он говорил о том, что «оформлению этого блока помешала бдительность Центрального Комитета партии и т. Сталина». В ходе судебного процесса «право-троцкистского блока» это утверждение сыграло решающую роль в обвинении Н. И. Бухарина.

Кандидат исторических наук Б. А. Старков.

Опасения Рыкова, что присутствие Бухарина на XVI съезде еще больше осложнило бы их положение, объясняются не только особой ситуацией, сложившейся после его разговора с Каменевым во время июльского Пленума 1928 г., но и тем, что Рыков, как мало кто, знал сложный характер Николая Ивановича. Именно поэтому он считал, что Н. И. нелегко было бы сохранить то относительное спокойствие и сдержанность, которые с трудом давались ему и Томскому. С великой болью подчинившись, как тогда считали, «воле партии», не встретив сочувствия к себе, к своим товарищам Рыкову и Томскому со стороны делегатов съезда, Н. И. мог «взорваться». У Н. И. эмоции нередко брали верх над разумом. Вот этого взрыва, уже безрезультатного, опасался Рыков. Алексей Иванович был человеком практического склада ума, у него было больше трезвого благоразумия. Они очень любили друг друга — Рыков и Бухарин, хотя бывало, что Н. И. доставалось от старшего товарища, потому что никогда нельзя было с точностью предсказать, что можно ждать от Н. И., ибо политический расчет в конечном итоге был ему чужд. Он мог сорваться потому, что заявление о признании ошибочности своих взглядов 25 ноября 1929 года было сделано под страхом остаться за пределами партии, из смертельной боязни ее раскола. На необоснованные выпады Бухарин мог ответить резко и зло. Он умел вцепиться в противника мертвой хваткой, с неистовой энергией своего политического темперамента. В то же время его душевная организация была удивительно тонкой, я бы сказала, болезненно истонченной. Даже в будни той бурной эпохи, которая призвала его на первые роли, его натуре — чрезвычайно деятельной и восприимчивой — невероятно тяжко давались эмоциональные перегрузки, ибо «допуск» был крайне мал, и душевные струны обрывались.

Эта черта его характера отзывалась нежелательными для политического деятеля последствиями: несмотря на смелость в открытых дискуссионных боях, он не всегда умел побеждать, даже в тех случаях, когда был прав. Так, Н. И. сдался на февральско-мартовском Пленуме 1937 г., прося по совету Сталина, извинения за голодовку, объявленную в связи с неслыханными обвинениями — в измене Родине. (Хотя этому поступку есть и иное объяснение, о чем я расскажу в дальнейшем.) Он мог капитулировать и по более частным поводам. Он извинился перед поэтами, задетыми его критикой на первом съезде писателей (летом 1934 г.), хотя замечания о повышении поэтического мастерства были сделаны с самыми добрыми намерениями и справедливо.

Эта же черта характера — эмоциональная утонченность и восприимчивость — приводила его нередко в состояние истерии. Он легко плакал. Не могу сказать, что по любому поводу, поводы были всегда серьезные. Когда Бухарин узнал, что Октябрьское восстание в Москве прошло не столь бескровно, как в Петрограде, и что погибло несколько сот человек, он разрыдался. В день смерти Ленина на глазах многих его соратников я видела слезы, но никто так не рыдал, как Бухарин. Во время коллективизации, проезжая Украину, на маленьких полустанках Н. И. видел толпы детей с распухшими от голода животами. Они просили милостыню. Н. И. отдал им все свои деньги. Это было летом 1930 года. По приезде в Москву Н. И. зашел к моему отцу и, рассказывая об этом, с возгласом: «Если более чем через десять лет после революции можно наблюдать такое, так зачем же было ее совершать!» — рухнул на диван и истерически зарыдал. Мать отпаивала его валериановыми каплями.

Сильные переживания приводили Н. И. и к физическому недомоганию. Он болел после июльского пленума 1928 года, болел после 25 ноября 1929 года, расписавшись в своей капитуляции, наконец, тяжело заболел в преддверии XVI съезда. Этот крепкий, удивительно сильный человек, спортсмен с мускулатурой борца при сильном нервном напряжении увядал. Организм как бы терял сопротивляемость.

Не хотелось бы, чтобы на основании рассказанного мною сложилось впечатление, что Николай Иванович был «плаксивой бабой». Это далеко не так. Эмоциональная перенапряженность — лишь одна черта, одна сторона его сложного, многогранного характера. Бухарин был революционером большой страсти

и необузданного темперамента. Его революционный потенциал был огромен и требовал динамики, действия. Н. И. был одержим идеей революционного преобразования общества, его гуманизации. Подлинный гуманный социализм казался ему неосуществимым без изменения человеческой натуры, без повышения культуры низов — тех, кого до революции считали «черной костью», рабочего класса и крестьянства. Это желание его может показаться несколько банальным, оно было присуще многим большевикам. Но у Бухарина эта идея превратилась в страстную, немеркнущую и все более и более захватывающую мечту, стала единственной целью общественно-политической жизни, так ярко воплощенной в его пламенных речах.

«Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног» — эти строки известной и любимой Н. И. революционной песни были девизом его жизни до последнего времени. Я не имею в виду катастрофу 1936—1938 годов, когда его стремления были парализованы.

И. Г. Эренбург справедливо писал: «Бывают мрачнейшие люди с оптимистическими идеями, бывают и веселые пессимисты. Бухарчик был удивительно цельной натурой,— он хотел переделать жизнь, потому что ее любил».

Новый мир, как его представлял Бухарин, должен был быть осуществлен во что бы то ни стало, что вовсе, по его мнению, не означало «чего бы это ни стоило, любой ценой». Бухарина всегда мучили нравственные коллизии, он видел и трагическую сторону самых человечных идей. И если в первые послереволюционные годы, в годы гражданской войны бывало, что при столкновении двух миров Н. И. не находил возможности бороться за свои идеалы исключительно «духовным оружием» и даже оправдывал «слово товарища Маузера», то в дальнейшем он был убежден, что цели возможно достигнуть с наименьшими издержками. К этому были направлены все его помыслы, теоретические искания и политическая деятельность.

Тем временем уже пора было возвращаться в Мухалатку. Н. И. проводил меня до ремонтных мастерских. Там мы узнали, что ремонт машин подходит к концу, и шофер Егоров решил не мотаться взад-вперед, а заночевать в Гурзуфе. Я заволновалась из-за отца, но удалось связаться с ним по телефону и передать, что я приеду на следующий день.

Так, оставшись в Гурзуфе, благодаря весьма прозаическим обстоятельствам я пережила волнующий романтический крымский вечер, отраженный в стихах, сочиненных в том страшном подвале одиночной камеры в Новосибирске.

Вот каким дыханием времени, предгрозовой политической атмосферой, не только южным теплом были окутаны вспомнившиеся мне счастливые — да, несмотря ни на что, счастливые гурзуфские встречи с Н. И.

Неловко говорить о сокровенном чувстве: кто много говорит о нем, обычно им не дорожит. Но, погружаясь в прошлое, в воспоминания о далекой жизни, которую не каждому дано перенести, я убеждена, что бывают в ней и такие моменты (к сожалению, не всегда), когда что-то радостное уравновешивает или, скажем, облегчает мрачные ее стороны. Для Н. И. источником радости в то время стала наша любовь. И на фоне переживаемых им тяжких дней она казалась еще светлей и прекрасней.

На следующий день я получила в Мухалатке нагоняй от Серго Орджоникидзе за то, что оставила больного отца одного. После окончания съезда он приехал в Мухалатку вместе с Молотовым и Кагановичем. И случилось так, что через окно комнаты, в которой мы жили, выходящее на общую длинную террасу, Орджоникидзе увидел, как Ларин, готовясь ко сну, пытался снять с себя верхнюю рубашку. Серго поспешил ему на помощь. От отца он узнал, что я у Н. И. в Гурзуфе. Серго, встретив меня, проявил свой восточный темперамент в полной мере.

— Ты окончательно потеряла совесть,— кричал он,— и не стыдно тебе оставлять больного отца! Бухарчик на съезде не был, а с девчонками развлекается!

Возможно, Орджоникидзе рассержен был больше подозрением, что Н. И. не болел и, как ему показалось, игнорируя съезд, весело проводил время в Крыму. Затем, сменив гнев на милость, он посадил меня на диван, сам сел рядом и стал подробно расспрашивать, как Н. И. себя чувствовал во время съезда. Я была смущена и растеряна, объяснила причину, по которой я задержалась в Гурзуфе. Рассказала, в каком состоянии мы с отцом заставали Н. И., когда навещали его. Рассказала о последнем эпизоде с плаванием.

— Если бы он в Турцию приплыл,— заметил Серго,— я бы тоже не удивился.

Я не поняла, какой смысл вложил Орджоникидзе в свое замечание; быть может, шутя дал понять, что от того съезда можно было и в Турцию удрать? Не исключено, что Серго имел в виду отчаянный и безрассудный характер Н. И. и его физическую силу.

Если сидишь взаперти, наедине с собой, непременно блуждаешь по лабиринтам воспоминаний, если к тому же впереди — зияющая пропасть, а в свои двадцать четыре ты подводишь итог жизни и приходишь к выводу, что произошла катастрофа и ничего не поправить, такое состояние — потребность в воспоминаниях — возрастает чрезмерно.

Неожиданно загремел засов, дверь в камеру растворилась, и надзиратель произнес привычные для заключенного слова: «Собирайтесь на допрос!» После единственного допроса в начале мая и после того, как Сквирский сам пожаловал ко мне в камеру, я его больше не видела. Но и не видя его, я медленно гасла, таяла как свеча, кашляла все больше и больше и так или иначе ждала своего конца.

В том же кабинете я увидела те же ястребиные глаза и услышала те же речи.

— Вы по-прежнему не желаете раскрыть контрреволюционную организацию молодежи и отрицаете, что были связной между Бухариным и этой организацией?

Я ничего нового ответить ему не могла.

— Разве можно поверить в то, что вы любили этого старого лысого черта?

Последнее изречение Сквирского все же несло в себе некоторое «новаторство», и я сосредоточилась на том, чтобы дать должный отпор его грубости. Голова Сквирского была покрыта густыми волнистыми волосами, и он был вполне удовлетворен ими — больше гордиться было нечем. И я придумала, чем его задеть:

— А вас жена любит только за пышную шевелюру? У вас еще все впереди, вы можете полысеть,— произнесла я, переборов волнение,— но что тогда от вас останется? В этом случае жена непременно бросит вас!

Мне показалось, что я ему отомстила в полной мере. Сквирский покраснел и заорал:

— Ух и наглая же ты девчонка! Я тебе припомню, бухаринская тварь! Это возмутительная дерзость!

— Но не более возмутительная, чем ваша! Я вовсе не хочу оставаться у вас в долгу!

— Расстрелять, расстрелять, расстрелять! Нет места вам на советской земле!

Но на меня его угрозы уже не произвели такого впечатления, как впервые. Обозленный, он вновь отправил меня в камеру.

Шел август, июль прошел без дождей, и в камере стало чуть суше; капли с левой стенки падали на пол реже и образовывали лишь тонкие струйки, медленно ползущие к двери. Во время прогулки надзиратель разрешил нарвать растущую у забора полынь, я притащила три большие охапки, расстелила траву на нарах, она убила затхлый запах, стало мягче спать и что главное — полынь избавила меня от блох.

Становилась нестерпима неопределенность моего положения и условия, в которых я находилась. Я понимала, что если я не погибну сама, не сгнию в том подвале, дальнейшая судьба моя от Сквирского не зависела. Я приняла решение напомнить о себе и написать в Москву Ежову, оставив Сталина про запас. Бумагу для заявлений обычно давали беспрепятственно, заявления писали миллионы невинных заключенных, получая стандартный ответ: «Оснований для пересмотра дела нет». Из наших заявлений можно было бы жечь грандиозные костры. Но поскольку мое заявление было по другому поводу, результат мог быть иным. Я постучала в дверь камеры и попросила у дежурного надзирателя бумагу для заявления. Он ответил: «Доложу». Довольно скоро меня вывели из камеры в коридор, в углу на маленьком столике стояла школьная чернильница-непроливашка с грязными полузасохшими лиловыми чернилами, лежали ручка и лист бумаги.

Я помню почти дословно текст своего заявления.

Наркому НКВД СССР Н. И. Ежову
от Лариной А. М. (Бухариной)
гор. Новосибирск, Новосибирский
тюремный изолятор.

Заявление

Четвертый месяц пошел с тех пор, как я нахожусь в условиях одиночной камеры, в сыром подвале изолятора гор. Новосибирска, куда я была переправлена из Томского лагеря. Осуждена на 8 лет заключения в лагерь еще до суда над Бухариным как «член семьи изменника Родины».

В настоящее время мне предъявляют обвинение в том, что я была членом контрреволюционной организации молодежи и связной между Бухариным и этой организацией, и требуют выдачи этой организации.

Поскольку к такой организации я не принадлежала и думаю, что доказывать это мне вам не требуется, выдать такую организацию я не имею возможности. Мне неоднократно грозили расстрелом. В условиях сырого подвала я обречена на медленную смерть. Прошу облегчить мои страдания; легче пережить свою гибель мгновенно, чем погибать постепенно. Расстреляйте меня, я жить не хочу!

Ларина А. М. (Бухарина)
август 1938 г.

Я вошла в камеру с чувством облегчения и непреодолимой тяжести одновременно. Обычно в целях самосохранения я старалась гнать от себя горькие думы о ребенке. Но в тот день, мысленно прощаясь с жизнью, я не могла не вспомнить о сыне и не проститься с ним.

Я снова вспомнила, как часто детским звонким голоском он звал отца: «Папа, папа, Люля ди» (иди к Юре),—и казалось удивительным, что за три с половиной месяца разлуки с отцом после ареста он его еще не забыл. Дедушка, отец Н. И.— Иван Гаврилович, не мог спокойно слышать этого зова, и ребенок, глядя на деда, тоже начинал плакать. Я не выдерживала и убегала в другую комнату, чтобы малыш не видел моих слез.

Я вспоминала и час расставания с сыном; это был июньский день 1937 года, когда сотрудник НКВД пришел, чтобы отправить меня в ссылку в Астрахань. Ему тогда был год и месяц. моему ребенку, он еще не умел ходить, и «добрый дядя» держал его на руках, а Юра забавлялся блестящими побрякушками — значками на его груди. А потом, сидя на руках у моей старой бабушки — ей было уже за восемьдесят, он грустно смотрел на меня, будто чувствовал, что вот-вот потеряет и мать. Как тяжела была минута расставания! Я больше никогда не видела своего сына ребенком.

Надо успеть написать ему письмо, подумала я, заявление может ускорить решение моего «дела». Мне надо было обязательно написать письмо — письмо, которого он никогда не получит. Все равно, надо было — для моего душевного

облегчения, я чувствовала в этом потребность. Ему уже третий год, моему ребенку, что-то он уже понимает? Нет, ничего не понимает! Да и как же написать, бумагу дают только для заявлений. Может, снова стихами, снова рифмовать строчки? Так оно и лучше, время проходит незаметней. О чем же можно было написать ему из этой камеры? Конечно же, решила я, написать об отце; так написать, чтобы ребенок в случае, если бы у меня вдруг возникла возможность прочесть ему мои стихи, все понял. Мне захотелось отразить жизнерадостный характер Н. И., его любовь к природе, не затрагивая никаких политических моментов, недоступных ребенку. Но вот вклинилось же одно четверостишие, которое впоследствии припомнили мне на допросе.

К сожалению, случилось так, что стихотворение, которое я сочинила маленькому сыну об отце, целиком не сохранила моя память, я слишком на нее понадеялась и не записала его даже тогда, когда имела возможность это сделать: забылась большая часть стихотворения, выпало начало, нарушена последовательность четверостиший.

Он любил полей просторы,
Водопады горных рек,
Он любил ходить по тропам
Где не ходит человек!

Кисть послушная бросала
На полотнища картин
Ледяные покрывала
Голубых, седых вершин.

Он был многими любимый,
Но и знал больших врагов,
Потому что он, гонимый,
Мысли не любил оков!

Не так легко сжиться с чувством обреченности, с мыслью, что жизнь ежедневно может оборваться, но никогда я не испытывала сожаления, что вместе с Н. И. прожила короткую жизнь и самые тяжкие его дни.

Меня лишь мучило чувство собственной вины за нелепый случай, приведший к временному разрыву наших отношений!

После возвращения из Крыма Николай Иванович почти ежедневно приезжал к нам на дачу в Серебряный бор. Мать немного посмеивалась над нашим увлечением, не принимая его всерьез; отец молчал и не вмешивался. Они (Н. И. и отец) часто беседовали, больше на политико-экономические темы, а я все вбирала в себя, как губка, и старалась быть в курсе всех нюансов политической атмосферы тех лет.

Осенью и зимой 1930 и в начале 1931 года свободное время мы старались проводить вместе, ходили в театры, на художественные выставки. Я любила бывать в кремлевском кабинете Н. И. Стены были увешаны его картинами. Над диваном — моя любимая небольшая акварель — «Эльбрус в закате». Были там чучела разных птиц — охотничьи трофеи Н. И.— огромные орлы с расправленными крыльями, голубоватый сизоворонок, черно-рыженькая горихвостка, синесизый сокол-кобчик и богатейшие коллекции бабочек. А на большом письменном столе приютилась на сучке, точно живая, изящная желтовато-бурая ласочка с маленькой головкой и светлым брюшком.

Окно с широким подоконником было затянуто сеткой, образуя вольеру: в ней разросся посаженный Н. И. вьющийся плющ и среди зелени резвились и щебетали два небольших пестрых попугайчика-неразлучника.

Н. И. любил читать мне вслух. Помнится, как мы читали «Саламбо» Флобера. Н. И. восхищался страстными и мужественными героями романа. Он был очарован «Кола Брюньоном» Ромена Роллана и удивлен, что именно перу Роллана принадлежит это произведение. Для самого автора, как тот сообщает в своем предисловии к «Брюньону», эта работа явилась неожиданностью: после десятилетней скованности в доспехах «Жан Кристофа» он почувствовал вдруг «неодолимую потребность в вольной галльской веселости, да, вплоть до дерзости». Потому так близок был Н. И. «Брюньон» и потому восхищался он этой работой Роллана, что в нем самом жила потребность в вольной, конечно же, русской веселости, «вплоть до дерзости».

Помню, как заразительно смеялся он, когда мы прочли о том, как весельчак и балагур Брюньон вместе со своим другом нотариусом Пайаром, получавшим «истинное удовольствие отпустить вам со строгим видом чудовищную загогулинку», обучив сидящего в клетке дрозда гугенотскому песнопению, запустил его в сад бревскому кюре.

Н. И. и сам был способен на озорство: однажды, рассказывал он, чтобы соблазнить Ленина поехать вместе с ним на охоту (занятый делами Владимир Ильич все откладывал и откладывал предстоящее удовольствие), Н. И. послал в пакете Ленину, сидящему в президиуме на заседании Совнаркома, подстреленную им накануне перепелку. Проказник сразу же был разгадан. Ленин, не сдержав улыбки, строго погрозил ему пальцем. Однако цель была достигнута.

Казалось бы, ничто не омрачало нашей жизни. По воскресеньям мы старались уезжать за город. Я любила бывать с Н. И. на охоте, наблюдать, как он в азарте, попадая в цель, кричал: «Есть!» — и бежал на поиски добычи (он охотился без собаки) и как был искренне удручен, когда его постигала неудача. Мы часто бродили по лесу, ходили вместе на лыжах. Все было прекрасно, да, действительно прекрасно!

Так продолжалась наша дружба, но судьба не решалась: Н. И. слишком любил меня и берег, и его мучила наша огромная разница в возрасте.

Как-то вечером мы долго гуляли в Сокольниках — в то время Сокольники были окраиной Москвы, мы поехали туда трамваем. Н. И. довольно часто пользовался городским транспортом. Бывало, пассажиры узнавали его и говорили друг другу: «Смотрите, смотрите, Бухарин едет!» Или слышалось: «Здравствуйте, Николай Иванович!» Некоторые подходили и доброжелательно пожимали ему руку. Н. И. приходилось непрерывно раскланиваться, от проявления внимания к нему он смущался.

Не помню теперь, каким образом на обратном пути из Сокольников мы оказались на Тверском бульваре. Сели на скамейку позади памятника Пушкину, стоявшего в то время по другую сторону площади, и Н. И. решился на серьезный разговор со мной. Он сказал, что наши отношения зашли в тупик и ему надо выбирать одно из двух: или соединить со мной жизнь или отойти в сторону и долгое время меня не видеть, дать мне право строить жизнь независимо от него. «Есть еще одна возможность,— заметил он полушутя,— это сойти с ума», но эту третью возможность он сам отвергает, а из первых двух он изберет ту, которая больше привлекает меня. Казалось бы, к чему слова, этот вопрос решился бы сам собой в самое ближайшее время. Но разве мог так поступить Бухарин! Он же теоретик. Ему нужно было «теоретическое обоснование»: он сойдет с ума!.. (Ситуация для Н. И. оказалась, как я понимаю теперь, сложнее обычной еще и потому, что, помимо огромной разницы в годах, сквозь мои 17 лет он видел во мне еще и маленькую девочку — Ларочку — да к тому же дочь своего большого друга.)

Ответа от меня не последовало. Он увидел лишь одни слезы. Мне трудно теперь объяснить свое состояние: должно быть, это были слезы и от радости, и от глубокого потрясения, и от нерешительности, свойственной в те юные годы моей натуре, и от того, что рядом со мной на скамейке Тверского бульвара сидел не какой-нибудь мальчишка-ровесник, а именно Бухарин,— но слезы лились ручьем. Н. И. смотрел на меня в недоумении, такой реакции он не ожидал. Он был убежден, что выбор уже мною сделан, иначе бы и не заговорил. Мы сидели довольно долго молча. Слезы катились по моим холодным щекам. Н. И. безуспешно пытался узнать у меня, чем они вызваны. Я продрогла, Н. И. согревал мои замерзшие руки своими, горячими. Надо было возвращаться домой. Но ему не хотелось, чтобы в таком виде — взволнованная, с красными от

слез глазами, я предстала перед своими родителями, и он предложил мне зайти к Марецкому[1], который жил недалеко от Тверского бульвара на улице Герцена, около Консерватории. И мы пошли туда. Сам Дмитрий Петрович уже был переведен из Москвы на работу в Академию наук, находившуюся в то время в Ленинграде. Нас приветливо встретила его милая жена, в кроватке уютно спал их маленький сын. Мы отогрелись чаем, отдохнули и отправились домой, в гостиницу «Метрополь» — тогда Второй Дом Советов. Я повеселела, почувствовала себя самым счастливым человеком на земле и сказала Н. И., что сама себе не могу объяснить причину своих слез. Увидев, что мое настроение исправилось, Н. И. решился предложить мне пойти с ним вечером следующего дня в Большой театр на «Хованщину» Мусоргского. Я с удовольствием согласилась.

Поздно, уже заполночь, мы явились в «Метрополь». Мать спала. Отец сидел за своим письменным столом, работая над какой-то очередной статьей. Он все-таки заметил мои заплаканные глаза и растерянный вид Н. И. и предложил ему остаться ночевать, что тот и сделал, улегшись на диване в кабинете. Я плохо спала, проснулась поздно, когда Н. И. уже ушел на работу.

Утром отец, который, как я уже упоминала, никогда не вмешивался в наши отношения, неожиданно заговорил со мной:

— Ты должна хорошо подумать,— сказал он,— насколько серьезно твое чувство. Н. И. тебя очень любит, человек он тонкий, эмоциональный, и если твое чувство несерьезно, надо отойти, иначе это может плохо для него кончиться.

Его слова меня насторожили, даже напугали.

— Что это значит — может плохо для него кончиться? Не самоубийством же?!

— Не обязательно самоубийством, но излишние мучения ему тоже не нужны.

Позже от Н. И. я узнала, что утром он рассказал отцу о разговоре на Тверском бульваре.

Вечером Н. И. должен был зайти за мной, чтобы пойти в театр. Сомневаться не приходится, что после «Хованщины» все решилось бы так, как это решилось тремя годами позже. Разговор с отцом сделал меня более решительной и многое дал понять. Суток было достаточно для осознания, что Н. И. необходимо было, чтобы решение исходило именно от меня. Но по моей вине я с Н. И. не встретилась. Кто-то из моих однокурсников-рабфаковцев (я училась на рабфаке, готовившем в планово-экономический институт) позвонил и неожиданно сообщил мне, что вечером я обязана явиться на бригадные занятия для подготовки к экзамену по политэкономии. В то время практиковался бригадный метод занятий, в особенности подготовки к экзаменам. У нас была комсомольская бригада, взявшая обязательство сдать все экзамены на «хорошо» и «отлично». Теперь можно над этим посмеяться, но тогда я относилась к этому вполне серьезно. В бригаде занимался также учившийся со мной на рабфаке, а затем в институте сын Сокольникова Женя, мой ровесник. Он жил тоже в «Метрополе» и довольно часто заходил ко мне. Н. И. видел, что Женя увлечен мною, я же в то время относилась к нему с полным равнодушием. Тем не менее присутствие Жени Н. И. раздражало, и он откровенно говорил мне об этом.

И случилось так, что, как мне ни хотелось пойти с Н. И. в театр, а после театра поговорить с ним, я решила отправиться на занятия, не нарушая комсомольского долга. Предупредить Н. И. по телефону мне не удалось — ни на работе, ни на квартире я его не застала. Родителей моих в тот вечер дома не было. Поэтому я оставила Н. И. записочку, в которой сообщила, что в театр пойти не смогу и объяснила причину. Я просила его зайти через день после экзамена. Записочку засунула в дверную щель и ушла на занятия. Через день Н. И. не пришел, не появился и в последующие дни. Я решила проявить инициативу и позвонила ему сама.

[1] Марецкий Дмитрий Петрович, один из самых способных и любимых учеников Бухарина. Был арестован в 1932 г. в связи с появлением платформы Рютина.

Он разговаривал со мной холодно, сухо, не так, как обычно. Поначалу он не поверил в причину, изменившую мое решение пойти в театр, но в этом мне удалось его как будто переубедить. Тогда последовал резкий вопрос: «Разве ты умеешь думать только коллективными мозгами? К чему эта бригада? Наконец, я позволю себе предположить, что по политэкономии я бы тебя смог подготовить не хуже, чем Женя Сокольников с бригадой».

Только я собралась ответить — объяснить Н. И., что у меня самой были обязанности перед бригадой, как он повесил трубку. В то время Н. И. было 42 года, но он был по-юношески вспыльчив и ревнив.

Я была подавлена случившимся и не могла понять, почему казавшийся мне невинным инцидент вызвал такую острую реакцию Николая Ивановича и привел к разрыву наших отношений. Н. И. упорно не появлялся, я звонила ему на работу, в НИС (так тогда называли научно-исследовательский сектор ВСНХ, затем Наркомтяжпрома, которым ведал Н. И.). Его милая, добрая секретарша А. П. Короткова[1], как называл ее Н. И., «Пеночка», по названию маленькой птички,— Августа Петровна была маленького роста, худенькая,— всегда нежным мягким голоском отвечала: «Н. И. занят». «Н. И. нет на работе», или, наконец: «Н. И. болен». Я позвонила на квартиру — действительно, болел.

Мне захотелось пойти к нему, он просил меня этого не делать и ждать его письма. Вскоре я получила его. Н. И. писал, что после моей записочки, оставленной в двери, он понял, что ему надо отойти в сторону. Он рассыпался в бесконечных комплиментах в мой адрес, так что я могла задрать нос кверху, и написал много красивых слов, несмотря на весьма грустное содержание записки. Фраза: «Мой дорогой, нежный, розовый мрамор, не разбейся»,— заставила меня сквозь слезы рассмеяться. Н. И. писал, как тяжка для него наша разлука — он даже заболел, что он решил уступить дорогу молодости и что ему не хотелось бы оказаться в роли короля Лира, даже при прекрасной Корделии.

Ах, эта «Хованщина»! И эта записочка!.. Что же я натворила! И даже теперь, когда на театральных афишах я вижу, что в Большом — «Хованщина», перед моими глазами предстает эта записочка, аккуратно сложенная вчетверо, засунутая в дверную щель, и вспоминаются ее последствия.

Кстати, Н. И. до последнего времени был убежден, что тогда я совершила бестактность по отношению к нему, в особенности потому, что я отменила нашу встречу на следующий же день после того, как он решился на серьезный разговор со мной.

Позже, вспоминая этот эпизод, Н. И. шутил, как человек, знавший себе цену: «Я тебе не Женька Сокольников и не Ванька Петров (неизвестный Ванька Петров заставлял нас обоих смеяться), чтобы мне такие записочки в двери оставлять!»

Тремя годами позже мы, конечно, сходили и на «Хованщину» — любимую оперу Н. И.

После нашего разрыва Н. И. изредка появлялся у отца, но, предварительно договорясь с ним, приходил в мое отсутствие.

В январе 1932 года отец серьезно заболел. Из моей телеграммы, посланной в Нальчик, где тогда отдыхал Н. И., он узнал, что отец при смерти. Прервав отпуск, Бухарин выехал в Москву, но успел приехать лишь на следующий день после похорон.

После смерти отца Н. И. стал появляться у нас вновь, прежде всего потому, что чувствовал себя обязанным проявить внимание к нам, к моей матери и ко мне, в наши трудные дни. Не могу сказать, что присутствие Н. И. не стало волновать меня снова, но все же в то время это волнение приглушалось моим горем. Я безгранично любила отца и тяжело переживала его смерть. Кроме

[1] Короткова Августа Петровна работала с Н. И. с давних пор, я ее помню со времени работы Н. И. в Коминтерне. Она же была его секретарем в НИСе, затем в «Известиях». Любила Н. И. и была человеком, которому Н. И. вполне доверял. Во время следствия над Н. И., когда он уже в редакцию не ходил, она была единственным сотрудником «Известий», пришедшим на квартиру в Кремль, чтобы проститься с ним, помню, как она плакала. Для того времени это был мужественный шаг. В дальнейшем она была арестована.

того, были и другие причины, заставлявшие нас обоих сдерживаться: затаив в душе чувство обиды на Н. И. и расценивая наши прошлые отношения как светлый, но никогда не повторимый период своей жизни, я искала забвения от глубокой тоски по нему, и тогда — только тогда — у меня действительно начался роман с Сокольниковым-сыном. Чувство ревности, мучившее раньше Н. И., было вызвано его болезненным воображением: в то время для ревности не было причин. Мой роман с Женей Сокольниковым начался после разлуки с Н. И. и начал рушиться после того, как Н. И. стал появляться вновь. Время показало, что любовь к Н. И. прочно жила в моем сердце. Вероятно, так было и с Н. И., хотя дело обстояло сложнее.

Я узнала, что он не один, случайно. В феврале 1932 г., через месяц после смерти отца, Н. И. отправил меня в дом отдыха «Молоденово» под Москвой. Он наезжал и туда; грустные это были встречи. Оба мы были обременены грузом, о котором молчали. Помню, как однажды Н. И. привез с собой трагедии Софокла — «Антигону» и «Царя Эдипа» и читал мне вслух. Я была смущена тем, что ничего не воспринимала, но заметила, что и Н. И. читал, а думал о чем-то другом, своем. Скоро он прекратил чтение. Я все вспоминала и вспоминала отца; как Н. И. ни старался отвлечь меня, он невольно втягивался в разговор и сам.

Как-то раз, проводив Н. И. из Молоденова, я брела в одиночестве по лесной дорожке парка; издали я заметила Яна Эрнестовича Стэна, известного в то время философа, отличавшегося независимым характером; на Сталина он смотрел всегда сверху вниз, с высоты своего интеллекта, за что он расплатился ранее многих. В гордом и величественном облике этого латыша с выразительным умным лицом, сократовским лбом и копной светлых волос было что-то величественное. Ян Эрнестович шел мне навстречу вместе со своей женой Валерией Львовной. Оба молодые, красивые, счастливые, влюбленные, только так их и можно было воспринять. Я позавидовала им, и пронеслась у меня тогда мысль: вот у них-то все так просто, а у меня столько сложностей. Возможно, мне это казалось — у каждого свое... Мы встретились и остановились. Стэн обратил мое внимание на маленькую дачку в глубине леса.

— Узнаете, кто сидит там, возле дачи? — спросил он.

У крыльца сидела в плетеном кресле, обложенная подушками, одетая в шубу и укутанная в плед, как мне показалось, старуха. Я ее не узнала.

— Это Надежда Михайловна Лукина, бывшая жена Бухарина,— сказал Стэн.

Н. И. был женат первым браком еще до революции на своей двоюродной сестре. Надежда Михайловна была немного старше Н. И. Брак их распался в начале 20-х годов. Будучи очень больным человеком — грипп дал серьезное, все прогрессирующее осложнение на позвоночник, Надежда Михайловна в начале заболевания вынуждена была вести полулежачий образ жизни, а в последнее время все больше была прикована к постели. После нашей женитьбы мы жили вместе с ней, и в тяжкие дни отдавала она нашей семье все тепло своей души, трогательно, с любовью относилась к ребенку.

Она всегда оставалась верным другом Н. И. В период следствия, еще до его ареста, она отослала Сталину свой партийный билет, заявив при этом в письме к нему, что, учитывая характер предъявленных Бухарину обвинений, она предпочитает оставаться вне партии. Надежда Михайловна была арестована в конце апреля 1938 года. Ареста она ждала и говорила мне, что когда за ней придут — отравится. Во время ареста она приняла яд, но сразу же была направлена в тюремную больницу, где ее удалось спасти. Непонятно, для чего это было сделано. Она лежала полутрупом в камере и потом, как я слышала, была расстреляна. В памяти моей живет она светлой.

Мне было известно, что со своей второй женой Эсфирью Исаевной Гурвич Н. И. к тому времени давно расстался (в 28-м или 29-м годах, точно не помню), как говорил Н. И., по ее инициативе.

— Свято место пусто не бывает,— заметил Стэн шутя и тотчас же назвал мне имя и фамилию женщины, с которой сейчас был близок Н. И. Стэн был не из тех, кто пользовался дешевыми сплетнями, и мне пришлось ему поверить.

Ян Эрнестович не подозревал, в какое состояние привело меня его сообщение. Не чувствуя ног под собой и не видя белого света, я еле добралась до своей комнаты и разрыдалась. Ведь только-только я проводила Н. И.; я отказывалась что-либо понимать.

Не стоило бы и касаться этой неприятной истории, если бы она не представляла особого интереса.

Вот что в дальнейшем рассказал мне Н. И. Каждый раз, когда он отправлялся в Ленинград на заседания Президиума Академии наук (он был член президиума) или по другим делам, в купе спального вагона поезда «Стрела» садилась «незнакомка». Н. И. мало кому доверял и во многих усматривал специально приставленных к нему лиц, но заподозрить, что к нему могли подослать женщину-осведомителя, он не смог. Его не смутило и то, что эта особа отправлялась якобы в командировку в тот же день, что и Н. И., в том же вагоне и в том же купе. В дальнейшем уже не требовалось командировок в Ленинград, достаточно времени было в Москве. По прошествии полутора лет Н. И. сам услышал от той, кому доверился, объяснение своим командировкам. «Незнакомка», ставшая к тому времени слишком хорошо знакомой, оправдывалась тем, что якобы заявила в НКВД, что, любя Н. И., отказывается от возложенной на нее неблаговидной миссии. Сообщать-то было не о чем, если не лгать. Хотя Сталину могла не понравиться любая высказанная Н. И. мысль или неугодное ему слово. Очевидно, все фиксировалось в то время. Между тем от поручений такого характера не так уж легко было отбояриться. Но, быть может, все-таки, так оно и было. Однако не исключено, что ее откровение было вызвано боязнью, что до Н. И. все это дойдет со стороны. История ужасающая!

Но так или иначе рассказанное Стэном не привело к крушению возродившейся надежды на восстановление наших отношений.

Через несколько дней Н. И. вновь приехал в Молоденово, он появился как раз в тот самый момент, когда я гуляла возле дома отдыха с приехавшим туда Женей Сокольниковым и на этот раз без угрызений совести. Женя, заметив Н. И., растерялся и куда-то скрылся. Когда мы зашли в комнату, Н. И. властным тоном произнес:

— И он здесь?! Хорошо, что эпоха дуэлей отошла в прошлое.

— А тебе разве теперь это не безразлично? — вырвалось у меня.

Он смотрел мне в глаза, пытаясь понять, не узнала ли я то, о чем бы ему не хотелось, чтобы я знала. Довольно долго мы пробыли в моей комнатке. Н. И. посвящал меня в дела НИСа, рассказывал и о своей удачной охоте в окрестностях Ленинграда, куда он ездил вместе с Сергеем Мироновичем Кировым. К вечеру он уехал в Москву.

В течение 1932 г. Н. И. продолжал бывать у нас довольно часто. Я чувствовала, что он ждал разговора, но при создавшихся обстоятельствах я продолжала хранить молчание. В ноябре 1932 г., придя домой из института, я застала там Н. И. Он пришел сразу же после похорон Надежды Сергеевны Аллилуевой — жены Сталина. Я увидела его взволнованного, бледного. Они тепло относились друг к другу, Н. И. и Надежда Сергеевна; тайно она разделяла взгляды Н. И., связанные с коллективизацией, и как-то улучила удобный момент, чтобы сказать ему об этом. Надежда Сергеевна была человеком скромным и добрым, хрупкой душевной организации и привлекательной внешности. Она всегда страдала от деспотичного и грубого характера Сталина. Совсем недавно, 8 ноября, Н. И. видел ее в Кремле на банкете в честь пятнадцатилетия Октябрьской революции. Как рассказывал Н. И., полупьяный Сталин бросал в лицо Надежде Сергеевне окурки и апельсиновые корки. Она, не выдержав такой грубости, поднялась и ушла до окончания банкета. Они сидели друг против друга, Сталин и Надежда Сергеевна, а Н. И. рядом с ней (возможно, через человека, точно не помню). Утром Надежда Сергеевна была обнаружена мертвой. У гроба

Надежды Сергеевны был и Н. И. В такой момент Сталин счел уместным подойти к Н. И. и сказать ему, что после банкета он уехал на дачу, а утром ему позвонили и сказали о случившемся. Это противоречит тому, что сообщает Светлана — дочь Надежды Сергеевны и Сталина — в своих воспоминаниях: ей стало известно от жены Молотова через много лет после гибели матери (в газетах было сообщено, что она умерла от перитонита), что Сталин спал в соседней комнате у себя на квартире в Кремле и не слышал выстрела. Не хотел ли он в разговоре с Н. И. отвести от себя подозрение в ее убийстве? Было ли это убийство, или самоубийство, мне неизвестно. Н. И. убийства не исключал. Как рассказывал Н. И., первым, кто увидел Надежду Сергеевну мертвой, кроме няни, пришедшей разбудить ее, был Енукидзе, которому няня Светланы решилась позвонить, побоявшись сказать об этом первому Сталину. Не это ли послужило причиной того, что А. С. Енукидзе убрали раньше остальных членов ЦК?

Н. И. рассказывал, что перед закрытием гроба Сталин жестом попросил подождать, не закрывать крышку. Он приподнял голову Надежды Сергеевны из гроба и стал целовать.

«Чего стоят эти поцелуи,— с горечью сказал Н. И.— он погубил ее!»

В печальный день похорон Н. И. вспоминал, как однажды он случайно приехал на дачу Сталина в Зубалово в его отсутствие; он гулял с Надеждой Сергеевной возле дачи, о чем-то беседуя. Приехавший Сталин тихо подкрался к ним и, глядя в лицо Н. И., произнес страшное слово «Убью!»

Н. И. принял это за грубую шутку, а Надежда Сергеевна содрогнулась и побледнела.

В декабре 1932 года Н. И. пригласил меня в Колонный зал Дома союзов. Отмечалось пятидесятилетие со дня смерти Дарвина. Луначарский и Бухарин выступали с докладами. Я сидела в первом ряду, рядом с академиками, корифеями естествознания. Их поразила широта знаний ораторов, они делились своими впечатлениями и горячо аплодировали. После окончания докладов Н. И. поманил меня пальцем, и я, подойдя к нему, вместе с ним прошла в комнату позади сцены, там был и Анатолий Васильевич Луначарский. Перед тем я видела его в начале того же года на Красной площади, когда он произносил траурную речь перед урной с прахом Ларина и затем, спустившись с Мавзолея, сочувственно пожимал матери и мне руки.

Когда мы встретились в Доме союзов, невозможно было предположить, что Анатолию Васильевичу оставался всего год жизни и что уже в декабре 1933 года на ту же трибуну Мавзолея подымется Бухарин, произнося последние, прощальные слова.

Мы поздоровались, и Луначарский сказал Н. И.:

— Время бежит, Николай Иванович, мы стареем, а Анна Михайловна цветет и хорошеет. Таков закон природы, никуда не денешься!

Он был первым, кто назвал меня по имени и отчеству, я была польщена и почувствовала себя взрослой. Затем неожиданно он попросил показать ему мою руку — Луначарский увлекался хиромантией. Я протянула руку, он недолго, но сосредоточенно рассматривал линии моей ладони, и я увидела, как он помрачнел и произнес вполголоса, обращаясь к Н. И.:

— Анну Михайловну ждет страшная судьба!

Я все же услышала эти слова, Луначарский заметил это и, чтобы смягчить свой прогноз, сказал:

— Возможно, линии руки меня обманывают, и так бывает!

— Вы ошибаетесь, Анатолий Васильевич,— ответил Луначарскому Н. И., как мне показалось, ничуть не опечаленный его предсказанием,— Анютка обязательно будет счастливой. Мы будем стараться!

— Старайтесь, Николай Иванович,— чуть улыбнувшись, заметил Луначарский.

Не могу сказать, что вполне поверила прогнозу Луначарского, но все же, хотя и ненадолго, опечалилась. (Мать, которой в тот же день я рассказала о предсказании Луначарского, после моего освобождения из лагеря не раз об этом вспоминала.)

Доклады кончились довольно рано, и Н. И., чтобы отвлечь меня от грустных размышлений о моей судьбе, предложил поехать вместе с ним в Горки Ленинские. Он надеялся встретить там Марию Ильиничну Ульянову. Работая одновременно с ней в редакции «Правды», он был очень дружен с Марией Ильиничной и эту дружбу продолжал сохранять.

Мы приехали в Горки под вечер, там было пустынно и грустно, Марию Ильиничну мы не застали. Дорога к дому была заметена снегом. Сторож, работавший еще при Ленине, разгребал снег широкой деревянной лопатой. Он встретил Н. И. как старого знакомого, поздоровался, сняв шапку-ушанку. Сторож угостил нас горячим чаем с печеньем. Мы пробыли там недолго. По пути в Москву Н. И. рассказал мне, что летом 28 или 29 года (возможно, раньше, точно не помню), когда однажды приехал в Горки, он увидел этого же сторожа, а возле него бегающую кошку, ту, что жила там еще при Ленине, и сказал сторожу:

— А кошка-то все еще жива!

— Я-то кошку берегу,— ответил сторож,— а вы и сами себя беречь не умеете. Не стало Ильича, и начались у вас одни только ссоры.

«Этот сторож великий мудрец»,— заметил Н. И.

Шло время — вместе с Н. И. и не вместе с ним, слишком мы были робки. Н. И. приходил изредка навестить в мое отсутствие мать. Но каждый раз, уходя, он оставлял коротенькие записочки в ящике моего письменного стола: «Я был, твой Н. Б.», «Я был, твой Колá», «Я был, я был, я был, твой Николаша».

Ах, как они волновали меня, эти записочки! Но все же я не решалась ни позвонить Н. И. и пригласить его к себе, ни сама побывать у него.

Только к концу года, в декабре 1933-го, печальное обстоятельство — известие о смерти Луначарского — заставило меня обратиться к Н. И. и попросить помочь пройти в Колонный зал. Мы пошли вместе, стояли у гроба великого прорицателя моей страшной судьбы, и тогда никто из нас еще не подозревал, что предсказания Анатолия Васильевича оправдаются.

На следующий день я видела Н. И. во время траурного митинга на Красной площади и после окончания похорон, пробравшись через толпу у Мавзолея, подошла к нему. Он был грустный, уставший после произнесенной речи и, как мне показалось в тот день, постаревший.

Мы спустились вниз с Красной площади мимо Исторического музея к Александровскому саду. Н. И. с грустью сказал мне: «Я никогда не думал о своей смерти, скорее я ощущал свое бессмертие, чем смерть. И только сейчас, во время похорон Луначарского, почувствовал, что меня ждет все то же самое. Я так явственно представил себе свои собственные похороны: Колонный зал Дома союзов, Красную площадь, урну с моим прахом, увитую цветами, и тебя, плачущую над моим гробом и возле моей урны, чью-то речь, не могу себе представить, чью... «Он не раз ошибался,— скажет тот оратор,— но, но... Ленин его любил». Еще что-нибудь скажет...

Он говорил об этом опечаленный и с полным равнодушием ко всем почестям и пышности похорон, говорил, как о чем-то само собой разумеющемся, поэтому четко представляемом.

— Не хочу слушать эти глупости,— ответила я, разволновавшись.

— Но так же обязательно будет, и ты должна будешь это пережить!

Вот как к концу 1933 года представлял Н. И. свою смерть, следовательно, и свою жизнь. Обвинений в предательстве, в измене Родине Бухарин, естественно, предвидеть не мог.

Мы расстались. Он повернул налево, в Александровский сад, к Троицким воротам Кремля. Я — направо, к «Метрополю». Его записочки давали мне право поговорить и на другую тему: о жизни, а не о смерти, но я не сочла удобным сделать это в такой печальный момент.

Мы шли к своей цели, к тому, чтобы соединить наши судьбы, нелегким

путем, преодолевая препятствия, которые сами себе создавали. («От съезда к съезду»,— как однажды шутя сказала я Н. И., тогда, когда можно было уже нам вместе весело смеяться.) От XVI съезда до XVII — последнего съезда, на котором присутствовал Бухарин, последнего для большинства членов ЦК.

Мы встретились случайно 27 января 1934 года в день моего двадцатилетия, примерно через месяц после того, как виделись на похоронах Луначарского, в начале того года, в конце которого раздался роковой выстрел... За это время я обнаружила в ящике своего письменного стола еще одну записочку: «Я был, твой Н. Б.»,— что сделало меня наконец решительной.

Н. И. возвращался из Большого театра после заседания XVII съезда к себе домой, в Кремль. Я — после лекции в университете «Сталин — Ленин сегодня».

Остановились у Дома союзов, у здания, на которое теперь я не могу смотреть спокойно и стараюсь обходить стороной. Но нет-нет да и притягивает мой взор то место, где после столь долгой нерешительности, в одно мгновение мы поняли, что хода назад больше нет и что отступать невозможно.

Мы стояли у той самой двери, через которую десять лет назад, 27 января 1924 года, Бухарин и другие, самые близкие друзья и соратники Ленина, потрясенные горем, выносили его, смолкшего, бездыханного, и медленно, траурной процессией в лютый мороз приближались к Красной площади, неся на своих плечах алый гроб. Одновременно несли они на своих же плечах (большинство из них) и свою собственную гибель — в недалекой перспективе смерть политическую, затем уничтожение физическое...

Итак, обрадованные нашей неожиданной встречей, предчувствуя, к чему она приведет, мы оказались у Дома союзов, в Октябрьском зале которого четыре года спустя, в марте 1938 года, на ужасающем процессе, не уступающем средневековым судилищам, Н. И. пережил последние, мучительные дни своей жизни, и откуда он вышел после смертного приговора, вдохнув в последний раз (вдохнул ли?) земной, нетюремный воздух — глоток жизни!

В январе 1934-го возле этого, кажущегося мне теперь мрачным здания, именно там — таковы хитросплетения судьбы! — наше чувство вырвалось наконец на простор.

Мы были немногословны:

— Долго будешь оставлять мне свои записочки? Ты полагаешь, они меня никак не тревожат?

Н. И. стоял возле меня взволнованный, покрасневший, в своей кожаной куртке и сапогах, пощипывая свою, тогда еще ярко-рыжую, солнечную бородку. Тот миг был решающим.

— Ты хочешь, чтобы я зашел к тебе сейчас же? — спросил он.

— Хочу,— уверенно ответила я.

— Но в таком случае я никогда не уйду от тебя!

— Уходить не придется.

От Дома Союзов до «Метрополя» рукой подать...

Больше мы не расставались до дня ареста Н. И.— 27 февраля 1937 года (опять 27 — роковое число), когда, уходя на последнее, решающее заседание февральско-мартовского пленума ЦК, понимая, что его ждет арест, он пал передо мной на колени и просил не забыть ни единого слова его письма «Будущему поколению руководителей партии», просил прощения за мою загубленную жизнь, просил воспитать сына большевиком. «Обязательно большевиком!» — дважды повторил он.

Так в камере, бросая взгляд из прошлого в мрачное настоящее и беспросветное грядущее, в ту черную безысходность, мне стало мучительно жаль утраченных, не прожитых с Н. И. относительно спокойных лет. Тем не менее, когда мне приходилось делать вывод, что наша совместная жизнь была столь коротка, у меня не было и по сей день нет ощущения полной правды, потому что живет, живет во мне чувство более долгой близости.

Я окинула взором камеру, вглядываясь в зловещий верхний угол. Мне так мучительно захотелось видеть Н. И., что я искала глазами даже того, распятого, бледно-синего, но видение не повторилось. Мрак, тишина, удручающее одиночество...

В середине августа послышалось привычное громыхание дверного засова. Надзиратель отпер дверь, и в камеру ввели женщину. Так рядом со мной оказался живой человек. Моя сокамерница Нина Лебедева была значительно старше меня, ей было уже за сорок. По ее словам, она также была вновь арестована в лагере, где отбывала пятилетний срок заключения по статье КРД (контрреволюционная деятельность), в то время это была распространенная статья. Вторично ее обвиняли во вредительстве в связи с пожаром в лагере. И такое обвинение стало привычным. Первое время Лебедеву часто допрашивал тот же Сквирский, она приходила после допроса и рыдала. Как старшая, она относилась ко мне покровительственно, даже тепло. После длительного одиночества я испытывала потребность в живой человеческой речи и вполне доверилась Лебедевой. А напрасно!

Я открыла ей, кто я, рассказала, в чем меня обвиняют, поделилась своими соображениями о том, каким образом могут создать неизвестную мне контрреволюционную организацию молодежи, назвала фамилии сыновей Свердлова, Осинского, Ганецкого, Сокольникова. Все, кроме Свердлова,— дети репрессированных революционеров-большевиков. Словом, я сама, через эту Лебедеву, подсказала Сквирскому тему для сценария. Я часто повторяла вслух свои стихи, чтобы не забыть: возможно, она их незаметно записывала, а быть может, запоминала — так или иначе, и они оказались в моем деле.

Я много рассуждала о процессе, объясняя признания обвиняемых пытками. Рассказывала с подробностями о поездке Николая Ивановича в Париж в 1936 г. Послали его туда якобы для покупки архива Маркса. В действительности, как показал процесс, с тайной провокационной целью: «связать» Бухарина с меньшевиками-эмигрантами, деятелями II Интернационала.

У меня даже не вызвал подозрения интерес Лебедевой к связям Н. И. с иностранцами: я объяснила его обычным женским любопытством. Я пояснила своей сокамернице, что Бухарин не мог не встречаться с иностранцами и как руководитель Коминтерна, и на дипломатических приемах, и во время заграничных поездок. Имела глупость рассказать ей, как однажды по пути в Ленинград Н. И. оказался в одном купе с первым американским послом в Советском Союзе Буллитом и имел с ним беседу, содержание которой я не запомнила. И это сообщение было использовано против меня. Словом, откровения мои были самоубийственными, и «дело» мое распухло!

Ближе к середине сентября Лебедеву увели из камеры. По-видимому, она заработала лучшие условия содержания. Вскоре и я рассталась с тем страшным подвалом. О предстоящем отъезде из Новосибирска рассказал мне один из надзирателей. Его сменный был моложе, сухой и злой, а этот — покладистей, разговорчивей, добрей: он и спать днем разрешал, и полынь в тюремном дворике нарвать не запретил, и во время прогулки в камеру не торопил, и никогда не слышалось его окрика: «Давай, давай в камеру, время прогулки окончено!»

— Знаешь, девка,— сказал он как-то (девкой он называл меня не оскорбительно, напротив, подчеркивая свое доброжелательное отношение ко мне),— скоро отселя все уедем в другое место, и вы, и мы, весь следственный отдел переезжает.

— Куда же? — заинтересовалась я.

— В Мариинск, ближе к производству,— серьезно ответил надзиратель, сказав, что так объясняли предстоящий переезд из Новосибирска в Мариинск на общем собрании сотрудников следственного отдела Сиблага.

Вокруг Мариинска, городка недалеко от Кемерова, в то время было сконцентрировано большое количество лагерей: Чистюнька, Орлово-Розово,

Юрга, Яя, Антибес, Ново-Ивановский и т. д. В некоторых из них впоследствии и мне пришлось изведать счастья. Так и назывались они: Мариинская система лагерей. Система эта имела свой центр, «столицу», именуемую «Марраспред», откуда заключенных отправляли в тот или иной лагерь в зависимости от потребности в рабочей силе.

В Мариинский распределительный лагерь я попадала не раз. Однажды я угодила в тот же барак и на те же нары, где побывал будущий маршал Рокоссовский. Лагерное начальство приходило посмотреть на меня как на диковинку, музейный экспонат. И при мне вспоминали: «Тут же, на этом месте, Рокоссовский сидел. А теперь вот — жена Бухарина!» С их точки зрения, по-видимому, осквернила я те нары. «У нас невиновных не сажают, вот Рокоссовского посадили по ошибке, но разобрались же и освободили»,— добавил один, сочтя, вероятно, упоминание об этом эпизоде неуместным в моем присутствии. Во мне он усматривал только преступника.

В сентябре 1938 года решение о переводе следственного отдела Сиблага из Новосибирска в Мариинск было вызвано стремлением уменьшить стоимость человеко-дня заключенного. Транспортные расходы в калькуляцию тоже входили, а расходы эти все возрастали и возрастали: недостреленных и отбывающих заключение с «недостаточно большими» сроками, т. е. в пределах десяти лет, становилось все больше и больше, и многих приходилось возить на переследствие. К 1938 году максимальный срок заключения был увеличен уже до 25 лет, что обеспечивало широкое поле деятельности следственному отделу. Так, например, Сарре Лазаревне Якир к имеющимся восьми годам заключения добавили еще десять лет за то, что в лагере она рассказала, что Средиземное море по красоте своей не уступает Черному, а в Италии делают красивые вышитые кофточки. За такие «крамольные» разговоры жену Якира обвинили в восхвалении капиталистического государства (я не утрирую, так оно и было). Следствие вели на месте, в Томском лагере, там же и судили по статье КРА — контрреволюционная агитация. Так сиблаговские «мудрецы» решили, что 18 лет заключения, присужденные жене И. Э. Якира, обошлись государству по «сходной» цене.

Через несколько дней после исчезновения Лебедевой началось «великое переселение народов». На той же машине, с тем же шофером — бывшим шофером Эйхе, я была доставлена на вокзал. На этот раз шофер не рискнул обмолвиться со мной ни единым словом. У вокзала я заметила серую толпу изможденных заключенных. Подвал-изолятор, в котором сидела я, такого количества заключенных, конечно же, вместить не мог, их собрали из других Новосибирских тюрем. Только тогда, когда заключенные, идущие под конвоем в обход вокзала, скрылись из глаз, подошедший к машине конвоир увел и меня к поезду. Для нашего переезда был подан специальный эшелон, в основном состоящий из темно-красных товарных вагонов, предназначенных в другое время для перевозки скота. В начале состава были три-четыре пассажирских вагона для сотрудников аппарата следственного отдела Сиблага во главе со Сквирским. Мой переезд в одном вагоне с заключенными женщинами разрешен не был, выделить купе в пассажирском не сочли возможным — с таким комфортом заключенных не возили. Поэтому решено было подселить меня в «телячий» вагон к конвоирам, ехавшим вместе со своими семьями. Мы подошли к вагону. Сорванные с насиженных мест, суетились озабоченные женщины, шумели взволнованные дети. В суматохе и невероятной толкотне все подымались в вагон, стремясь занять места на наскоро сколоченных нарах, боясь оказаться на грязном холодном полу. Тащили с собой незамысловатый скарб в узлах, баулах, ящиках, корзинах. Завалили вагон хозяйственной утварью: кастрюлями, глиняными горлачами, чугунами и ухватами, сковородками и самоварами. Тащили с собой кошек, собак, комнатные цветы: герани, столетники, фикусы. «Осторожно, осторожно, хвикус сломишь!» — раздался пронзительный женский голос. Грузили в вагон гармошки. Не живет русская деревня без них. А конвоиры — только-только деревню на «лучшее» житье променяли, но с гармонью расстаться не смогли.

Мужчины усердно помогали своим семьям вносить вещи и подыматься в вагон. Лишь «осиротевшая» жена и двое малых детей моего конвоира остались без помощи главы семейства. Он один оказался при исполнении служебных обязанностей. Кто-то из мужчин мимоходом забрасывал в вагон их вещи, но женщину, державшую одного ребенка на руках, другого за руку, все оттесняли и оттесняли, не давая возможности взобраться в вагон. Мы стояли в стороне, в нескольких шагах от места погрузки. Утомленная и взволнованная, потерявшая терпение жена моего конвоира наконец крикнула:

— Егор! Что стоишь как истукан, подсоблять надо, не сбежит она, твоя девчонка!

Но Егор ее был служака редкостный, он и с места не тронулся.

— Помогите вашей жене, мне бежать некуда,— посоветовала я ему.

— Некуда? А то бы сбежала, знаем мы вас!..

После моего доброго совета Егор еще больше насторожился.

— Васька! — закричал он.— Будь другом, подсоби моей бабе, я при исполнении...

Но голос Егора потонул в шумной суетливой толпе. Когда все взобрались в вагон и толкотня прекратилась, мы — я и Егор с женой и детьми — поднялись в вагон последними. Мест на нарах действительно на всех не хватало, многие сидели на полу, на своих мешках с матрацами, подушками, одеялами. Старший по вагону распорядился потесниться, мы оказались на верхних нарах. Я у окна, рядом со своим конвоиром, и тут же, по другую сторону, его семейство. Уставшая от сборов и мучительной посадки в вагон, жена Егора не переставала ворчать:

— Язвие тебя возьми! Какая сатана погнала тебя в энтот Мариинск, остаться, что ль, не мог?! Работы на тебя и в Новосибирске хватило бы — нет же, обязательно прется невесть куда, в дыру!

— Уймись, дамочка столичная, там тебе хуже не будет: огород большой дадут, картошки вволю посадишь, кабанов двух выкормишь, глядишь, и деньжонки будут, а ты их шибко любишь, но тебе ж никогда не угодишь.

Наконец все как-то устроились и чуть притихли. Так неожиданно оказалась я в компании вольной и веселой. «Вольняшками» называли заключенные вольнонаемных сотрудников лагерей. А эти были из тех, кто действительно чувствовал себя на той «воле» свободными. Ничто их не угнетало. Ибо свобода есть осознанная необходимость. Лоснящаяся краснощекость их сытых жен после изможденных, страдальческих и голодных лиц заключенных женщин — жен «врагов народа» — в Томском лагере особенно поразила меня. Конвойный состав в ту еще довоенную пору был молодым. Но затесался среди них один пожилой и мудрый. Сидел он невдалеке, и я слышала, как делился он с молодыми своими мыслями:

— Когда был я мальчишкой, скот в деревне пас, пользу мужикам приносил, а теперь вот — людей пасу, и так много становится людей этих, которых пасти надо, что скоро пастухов на них не хватит, а скотину и вовсе пасти некому будет и хлеб сеять некому. Как подумаешь, жуть берет! Светопреставление, а не жизнь!

Во всем вагоне только его волновало происходящее, остальные же отнеслись к его рассуждениям более чем равнодушно.

Наконец раздался оглушительный свисток, паровоз запыхтел, заскрипели, загромыхали колеса — мы тронулись в путь. Движение в вагоне-клетке усугубило гнетущее чувство несвободы, обострило ощущение бесперспективности выбраться когда-либо за пределы тюрьмы и воспринималось мною как приближение к смерти.

На станциях, мимо которых мы проезжали, красовались портреты Ежова и плакаты с хвалебными гимнами «ежовым рукавицам», беспощадно громящим «осиные гнезда врагов народа».

И вдруг нахлынуло, защемило сердце... К чему было писать Ежову: «Расстреляйте меня, я жить не хочу?» И без моей просьбы обошлось бы. Быть может, не так уж и «не хочу»? Хотелось же мне увидеть когда-нибудь сына. Но и жив ли он, к тому времени я не знала. В этом обращении к Ежову проявились отчая-

ние, безысходность моего положения, ужасающие условия, в которых я находилась, и одновременно вызов: вы уничтожили всех, кто был мне дорог, вы убили горячо любимого мной человека, вы замарали его грязью с ног до головы — убейте теперь и меня!

А вокруг кипела жизнь: жены конвоиров, весело болтая и от души смеясь, готовились к ужину, расстилали на ящиках кто полотенце, кто тряпку, кто газету. Нарезали толстыми ломтями хлеб, сало, выкладывали из кастрюль вареную картошку и яйца. Детям молока, мужчинам водки прихватили. Пили немного, по стопочке-другой, чтобы не опьянеть: поезд в любой момент мог остановиться и начальники нагрянуть. Женщины пытались меня накормить, но мой Егор воспрепятствовал, сказал: «Не положено».

Закусили, чуть выпили и развеселились. Заливались гармошки-трехрядки, пели хором звонко и слаженно «Шумел камыш», грустную, заунывную песню о бродяге: «Идет бродяга с Сахалина, далек, далек бродяги путь, укрой меня, тайга глухая, бродяга хочет отдохнуть»... А затем под гармонь и частушки и плясать пошли. «Эх! В нашем саде, в самом заде вся трава примятая, то не ветер, то не буря, то любовь проклятая!»

И вприсядку, и так и эдак отплясывали. А женщины с удивительной легкостью в движениях, размахивая платочками, казались невесомыми, хотя изяществом фигур вовсе не отличались. И увидела я, что наш мир за решеткой, мир оскорбленных, униженных, расстрелянных,— капля в жизненном море, всего лишь мирок! И что наперекор ужасам, уготованным нам судьбою, жизнь продолжается. Она всесильна — жизнь! Она пробивает себе путь, словно хрупкий шампиньон, ломая прочную толщу асфальта. И, глядя на это веселье, я на некоторое время отвлеклась от тягостных мыслей о будущем.

Пробыв в пути часа три-четыре без остановки поезда и без туалета, я спросила у своего конвоира, что же мне делать. На полу, ближе к стенке вагона, была надломленная доска, отчего образовалась щель, ею пользовались вместо туалета, кто друг друга загораживая, а кто, потеряв стыд, без смущения, у всех на виду. И мне Егор предложил следовать их примеру — а чем другим, кроме этого совета, мог он мне помочь? Но воспользоваться таким советом я отказалась. «Тогда жди, пока не остановют поезд, а если приспичило — в миску»,— это в ту, что для супа выдали. Под вечер поезд остановили, и все — люди и собаки — кинулись в кусты. Кинулась и я со своим непременным спутником, еле уговорила его отвернуться. Но и самому ему по той же надобности отлучиться хотелось, так служака тот ко мне сменного приставил. Тупостью природа наделила его сверх меры, да и приказ о моей изоляции и охране был, видно, строгий.

На следующий день прибыли в Мариинск. Изолятор был расположен невдалеке от города — новый. Только что, как положено, отрапортовали о завершении сверхударной стройки.

В камере, снова одиночной, пахло свежей краской, кирпичной пылью, на полу еще валялись стружки вперемешку с опилками, стояла железная кровать, на ней матрац — черный чехол, набитый соломой. В камере было суше, чем в Новосибирском подвале. Однако изолятор оказался непригодным для содержания заключенных. Как обычно на ударных стройках, оказались мелкие недоделки. Этим «маленьким пустячком» на сей раз оказалась недостроенная кухня для заключенных. Все мы были до такой степени истощены, что не потребовалось бы длительного времени, чтобы следователи могли подписать по каждому из нас 206-ю статью уголовного кодекса (нумерация статьи УК РСФСР тех лет) об окончании следствия, по причине, не требующей объяснения. В коридоре бегал рассвирепевший Сквирский и стоял галдеж. В течение суток мы оставались без питания. Наконец решено было эвакуировать подследственных из новой тюрьмы. Все мы были направлены в штрафные изоляторы близлежащих лагерей. Меня увели в ближайший к Мариинску лагерь с забавным названием «Антибес». Название это вызывало ироническую улыбку заключенных. Казалось, будто назначение того лагеря было изгнание из нас беса — контрреволюционной сущности.

Пришедший за мной конвоир, паренек лет восемнадцати, рыженький, в веснушках, был приветливый, болтливый, на редкость доброжелательный. Я решилась спросить его имя. И он сразу же по-детски ответил: «Зовут Ванек». И как ни странно, ничуть не удивился моему вопросу, будто рядом с ним шла не заключенная, а девушка, с которой было приятно познакомиться. Тем не менее перед началом нашего совместного похода конвоир предупредил меня, в каком случае он обязан применить оружие, как положено было ему по службе. Ванек был полной противоположностью Егору.

Выйдя из подвального бессветия в прозрачную лучезарность осеннего дня, я, казалось, сбросила путы несвободы. Иллюзия та была прекрасна! Я смогла даже подумать о своей внешности: «Какая же я теперь?» Это было загадкой, так как зеркала нам не давали. По-видимому, цветом лица я походила на Катюшу Маслову. И мое лицо, наверное, «было той особенной белизны, которая бывает на лицах людей, проведших долгое время взаперти, и которая напоминает ростки картофеля в подвале». Такой представил себе Толстой Маслову, идущую из тюрьмы на суд. Но в отличие от полногрудой Катюши я была до предела истощена.

Мы прошли мимо добротных деревенских домов окраины Мариинска. Встречные смотрели на нас равнодушно. Их глаз уже привык к покорному шествию заключенных под конвоем... Слышался лай собак, кудахтанье кур, в огородах за невысокими заборами виднелась картофельная ботва, аккуратно собранная в бурты, кое-где высились чуть пожелтевшие, но еще крепкие стебли срезанных подсолнухов. И какая-то женщина невдалеке от нас кричала вслед убегающей девчонке: «Маруська, не ходи далече, заблудишься, Маруська-а, не ходи далече-е!»...

Дорога показалась мне удивительно живописной. Слева — веселые березовые перелески и небольшие островки багровеющего осинника. Расцвеченные яркими красками осени деревья шумели от ветра, роняя листья. Кружась в воздухе, они падали золотисто-багровым дождем на землю, отдающую последнее тепло, накопленное за короткое, но жаркое сибирское лето. Справа расстилались необозримые сибирские дали: скошенные луга, пшеничное поле, еще не все убранное, и слышался шелест поникших, налитых, отяжелевших колосьев. Вдали виднелись огромные пирамиды стогов пшеничной соломы и щеткой торчала пожухлая стерня.

Если бы кто-нибудь мог заглянуть в тот миг в мою душу, я устыдилась бы, что через полгода после гибели Н. И. меня могла привести в восторг чарующая красота природы. Но как же прав оказался Илья Эренбург, написавший: «Утешить человека может мелочь, шум листьев или летом светлый ливень». День тот запечатлелся в моей памяти как особенный, неповторимый за все время заключения. Мое настроение подняла не только природа, показавшаяся мне после кромешной подвальной тьмы сказочно прекрасной, но и юный конвоир, давший мне возможность насладиться ею и понять, что есть еще люди на земле, сохранившие, несмотря на свои весьма несимпатичные обязанности, душевную чуткость.

Вскоре, уже сидя в одиночке антибесского изолятора, я сочинила стихи, которые, как мне кажется, еще в большей степени, чем проза, отражают мое тогдашнее настроение.

Антибесский изолятор находился в зоне лагеря, поэтому был огорожен непрочным плетнем. Камера была больше, светлее, с довольно широким зарешеченным окном. И хотя изолятор был тоже полуподвальным, все же верхние нары были на уровне земли. Из окна хорошо просматривалась часть тюремного двора, а за плетнем, в зоне лагеря, идущие под конвоем на работу заключенные: лагерь был сельскохозяйственный.

Изолятор из штрафного был превращен в следственный. В камере напротив оказались те три биолога, что сидели за стенкой в Новосибирском подвале вместе с расстрелянным сотрудником НКВД. А рядом за стенкой — бандит по кличке Жиган. За месяц до окончания десятилетнего срока заключения в предчувствии приближающейся воли он не выдержал, сбежал из лагеря и был пойман. За сутки своего пребывания рядом со мной он ухитрился проделать в стенке сначала щель, через которую мог меня видеть, затем отверстие такого размера, что голова его

свободно пролезала в мою камеру. И я пришла в ужас, когда увидела лицо с черными горящими глазами. Пришлось сообщить об этом надзирателю, после чего Жигана перевели в другую камеру.

К этому времени я была опытным зеком. Я побывала уже во многих тюрьмах: Астраханской, Саратовской, Свердловской, Томской, Новосибирской. Начала привыкать к существованию в одиночке, без книг, без бумаги и карандаша, где можно было только рифмовать строчки, повторять их, чтобы запомнить, читать наизусть стихи любимых поэтов, обязательно повторять каждое утро письмо-завещание Бухарина. Наконец, вспоминать, вспоминать и вспоминать свое прошлое, на редкость радостное и невероятно мучительное.

После подвальной сырости антибесский изолятор казался терпимым, как ни странно, даже уютным. Вечерами в коридоре топили печь, и приятно потрескивали сухие березовые дрова. Кормили там тоже гораздо лучше, чем в других тюрьмах: овощей было вдоволь, и еще не приморожены были они, а в супе даже куски мяса свиного плавали. Неплохо для того страшного времени.

И Сквирский меня не тревожил. Так, без вызова следователя, сентябрь прошел, октябрь остался позади, наконец ноябрь наступил. Зима прочно сковала сибирскую землю, и за окном виднелись ослепительно белые снежные сугробы. Ожидание становилось уже невмоготу.

В первых числах ноября в изоляторе появился новый надзиратель, к радости моей — Ванек, тот конвоир, что вел меня из Мариинска в Антибес. Однажды во время прогулки я увидела сидящего на снегу, дрожащего от холода котенка, худущего, в пушистой сибирской шубке. Я попросила разрешения забрать котенка в камеру. «А чего же, бери»,— разрешил Ванек. Котенка назвала Антибес. И сразу же еще одна радостная неожиданность: деньги от матери получила, первый и последний раз за пребывание в заключении. Почти целый год они шли до меня. К этому времени мать уже сама оказалась за решеткой.

Купил мне Ванек в ларьке банку сливового варенья, булку белого хлеба, кулек конфет-подушечек, пачку чая, печенье и банку молока. Так, вдвоем с котенком встретила я 21-ю годовщину Октябрьской революции. По случаю праздника расстелила чистую тряпку на нарах, и «стол мой ломился от яств»: печенье, варенье, а рядом котенок лакал, причмокивая, молоко из консервной банки. Я взяла его на руки и громко произнесла:

— Выпьем, Антибесик, за Сталина (молока, разумеется), за нашу «счастливую» жизнь! Ура ему, ура! замерз бы ты в снегу!

И тут-то случилась беда: дверь в камеру открылась, и начальник следственной части антибесского лагеря вошел в камеру со страшным скандалом:

— Это еще что такое! Вы из камеры зоопарк устроили! И наглость себе позволяете за Сталина с кошкой пить! Издеваетесь над вождем?! Кто принес вам котенка?

— Никто не принес, сама подобрала, замерзшего, во время прогулки. Надзиратель не видел,— старалась я оградить от неприятности Ванька.

— Иван, убери кошку! Еще раз подобное повторится — уволю!

И Ванек выбросил котенка на мороз. Я осталась в полном одиночестве. Во второй половине ноября ко мне в камеру снова привели Лебедеву. Сколько радости было, старые знакомые, почти друзья, так приятна была встреча. Объяснение нашей временной разлуке Лебедева легко нашла: дело ее якобы прекратили, отправили в лагерь, но в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, дополнительными показаниями против нее она снова под следствием. Заинтересовалась, продолжаю ли я сочинять стихи, и сразу же я прочла ей стихи про конвоира. В этом стихотворении я вспомнила страшное видение, мучившее меня в Новосибирском изоляторе: распятый на кресте Н. И. и черный ворон, который «сердце, мозг его клевал».

— Какое длинное, целая поэма, удивительно, как запомнила. Про ворона прекрасно,— повторите еще!

И я не раз повторяла.

— Действительно, прекрасно! А ворон — это, конечно же, Сталин?

— Как хотите, так и понимайте.

— Ну ясно, Сталин, а кто же другой!

Я молчала, но вдруг мелькнула мысль: не «наседка» ли она, хотя в тот момент это еще было мимолетное подозрение.

Затем я прочла ей стихи, посвященные Октябрьской революции. Стихи, в которых я выражала горечь, душевную боль, что в годовщину Октября я сижу за решеткой, но тем не менее «я праздную вместе с счастливой родною моею страной». Я не могла изменить идее Революции. Потому так трагична была для меня мысль, что люди, посвятившие революции жизнь, погибли заклейменные как ее враги. Я понимала, что все их признания вымученные, сфальсифицированные, и лютой ненавистью возненавидела Сталина, вдохновителя террора! Большевики сформировали мое мировоззрение. Только потому я смогла сочинить такие строки:

Сегодня я верю в иное,
что в жизнь я снова войду
и вместе с родным комсомолом
по площади Красной пройду!

Да и Бухарин сказал в своем последнем обращении к людям то же самое: «Дело не в личных переживаниях раскаявшегося врага, а в расцвете СССР, в его международном значении».

То же сказал мне Н. И., прощаясь со мной, уходя от меня навсегда: «Смотри не обозлись, Анютка, в истории бывают досадные опечатки».

И наш прославленный командарм И. Э. Якир в момент расстрела (судя по тому, что рассказал Н. С. Хрущев в своей заключительной речи на XXII съезде КПСС) воскликнул: «Да здравствует партия, да здравствует Сталин!».

Моя сокамерница Нина Лебедева оказалась другого поля ягода. Она не раз выслушивала мои стихи, посвященные годовщине Октябрьской революции, я, стараясь запомнить, часто их повторяла. В восторг от них она не приходила, но и протеста не выражала. В Антибесе Лебедева пробыла со мной не более двух недель.

В тот день, когда мы расстались, она была вызвана на допрос. Вернувшись, Лебедева поглядела на меня не так, как прежде, а холодно и неприязненно и неожиданно прошипела: «Я по крайней мере знаю, за что сижу. Мой отец крупный купец (или фабрикант, точно не помню), он был контрреволюционером, а не революционером, и я тоже ненавижу вашу Революцию. Могу только позлорадствовать, что ваш вождь всех видных большевиков перебил. А для меня, что Сталин, что ваш Бухарин — одно и то же. Я вас всех одинаково ненавижу!» Она замахнулась на меня, но ударить не решилась, опустила руку, и тотчас же ее увели из камеры. Это был жуткий момент! Я успела лишь крикнуть, что Сталин и Бухарин — не одно и то же. Впрочем, для нее различия между ними действительно не было.

Потрясенная, я зарыдала. Душа моя и без того была переполнена нестерпимой болью. Спасение было лишь в кратковременном забвении во время сна, а проснешься,— снова, как молотом по голове!

А тут еще эта Лебедева... Тяжело было не только потому, что я наконец поняла: донос на меня обеспечен, но и от обиды за свои откровения перед человеком, не разделявшим моей боли, относившимся враждебно ко всему, что мне было дорого.

И снова начались черные дни одиночества. Тучи сгущались над моей головой. Ванек рассказал, что судили трех биологов, привезенных одновременно со мной из Новосибирского подвала. Приговорили к расстрелу и расстреляли там же, в Антибесе, у оврага.

В первых числах декабря меня увели в Мариинск к Сквирскому. Я сразу же заметила бóльшую уверенность в его тоне.

— Если раньше,— сказал он,— против вас был незначительный материал, то теперь у меня достаточно доказательств, чтобы изобличить вас в принадлежности к контрреволюционной организации молодежи. Кто еще, кроме Свердлова, Осинского, Сокольникова, Ганецкого, принадлежал к ней?

Сразу стало понятно, по чьему доносу были названы именно эти фамилии. Не добившись никаких признаний, Сквирский снова отправил меня в Антибес. Сотрудник следственного отдела повел меня мимо изолятора на дорогу, ведущую к оврагу, и объявил, что ведет на расстрел, добавив, что спасти меня может только разоблачение контрреволюционной организации. То была явная инсценировка — запугивание. Пройдя небольшое расстояние, он повернул назад, и я была возвращена в камеру.

Наконец, через некоторое время, в том же декабре 1938 г., наступил и мой «звездный час». Я была вызвана в следственную часть антибесского лагеря, куда прибыл сотрудник Сиблага из Мариинска. «Ну что ж,— сказал он,— получилось как нельзя лучше. Желание ваше совпало с решением Москвы. Контрреволюционную нечисть надо смести с лица земли!» Он предъявил мне постановление, не знаю, за чьей подписью. У меня потемнело в глазах, кроме двух слов: «высшая мера» — я ничего не смогла прочесть.

Я была много раз судима, всегда заочно и своих судей никогда не видела. Так, после высылки в Астрахань туда было прислано постановление Особого совещания НКВД с решением о ссылке на 5 лет. Тем не менее после трехмесячного моего пребывания там постановление изменили, и я была арестована. Уже в Астраханскую тюрьму пришло постановление из Москвы о заключении меня на 8 лет в лагерь. Отбыла этот срок в лагере, и снова постановление: сообщалось, что по директиве, кажется 185-й (или за другим номером), я оставлена при лагере за зоной (за пределами этой территории я передвигаться не имела права). Следующее постановление: административная ссылка в Новосибирскую область сроком на 5 лет. Отбыла 5 лет, и снова преподнесли постановление — еще 10 лет ссылки в Новосибирскую облвсть. Последние 10 лет отбыть не успела — тиран скончался. Так более 20 лет жизни было отнято этими постановлениями.

Декабрьское постановление 1938 г. не застигло меня врасплох, к нему я была психологически подготовлена, оно не подавило меня неожиданностью. Смерть, она не страшна. Мертвый не мыслит. Страшен предсмертный час, предсмертное мгновение. И, по-видимому, не только трусливым, но и храбрым — тем, о ком принято говорить «Смело смотрит смерти в глаза».

Мне думается, идущему на казнь присуще особое мироощущение — отрешенность от всего земного. Она приходит сама собой — срабатывает инстинкт самосохранения.

Двое с револьверами в кобуре вывели меня на дорогу. Солнце уже на три четверти упало за горизонт. В мглистой дали предвечерних сумерек виднелся зловещий овраг с редко растущими березами. И вдруг наступило мгновение, когда я полностью отрешилась от жизни. То был конец — конец восприятия реальности. Охватившее меня оцепенение парализовало мысль. Будто катилась я вниз, в пропасть, как бесчувственная глыба после горного обвала. Неожиданно я услышала шум, показавшийся мне поначалу раздражающим гудением сирены. Потом я различила в нем человеческий голос, а затем и произносимые слова. Двое с револьверами, и я остановились у самого оврага. Я обернулась: на расстоянии тридцати—сорока метров от нас шел Ванек, а вдали бежал человек в светлом полушубке. Бежавший кричал:

— Ванек, вертай их назад, вертай назад!

— Назад, назад, назад! — кричал Ванек и жестами показывал, что надо возвращаться. Свершилось чудо — мы повернули обратно.

Стоял лютый декабрьский мороз. Я продрогла. Шла в своей изношенной шубке, в высоких фетровых валенках Николая Ивановича с загнутыми голенищами, тоже старых, уже прохудившихся, ноги промокали, а голову согревала теплая пыжиковая ушанка, принадлежавшая когда-то Сталину,— мое случайное наследство. В конце 1929 года, после окончания конференции аграрников-марксистов, отец (а возможно, и Сталин) из двух пыжиковых шапок, висящих на вешалке рядом, по ошибке надел не свою. Ушанки отличались друг от друга лишь

цветом подкладки. По обоюдному согласию шапки обменены вновь не были. В единственной посылке, которую до своего ареста успела прислать мне мать, оказалась и эта шапка. Так, по иронии судьбы, ушанку Сталина я проносила весь срок своего заключения. Позже друзья, узнав от меня о том, что я пережила у оврага в Антибесе, шутя говорили, что шапка Сталина превратила меня в Ахиллеса, но без уязвимой пяты.

Я постепенно выходила из состояния шока. Ноги — точно не свои, свинцовые — сделались послушнее. Я стала воспринимать многообразие доходивших до меня звуков: скрип снега, гудение проводов, отдаленные человеческие голоса, шум деревьев. Вечер был морозный и ветреный, поэтому холод ощущался особенно мучительно. Ресницы мои покрылись инеем, и я с трудом раскрывала глаза. По мере того как оживал мой окаменевший мозг, я начинала мыслить и с напряженным усилием осознавать происшедшее. По пути к оврагу в первые минуты мной владел только страх перед небытием, инстинкт, заложенный в человеке,— жить, коль скоро он родился,— тот самый, что так часто приводит к подлости. Хотя, что было мне терять? Разве что тайную надежду увидеть когда-нибудь сына да любовь к Н. И., уже не существующему, но продолжавшему жить во мне близким и светлым. Это чувство было бы убито вместе со мною, так же как и письмо Н. И. «Будущему поколению руководителей партии».

Мы поравнялись с человеком в светлом сиблаговском полушубке, который предотвратил мой расстрел. Он бежал, чтобы успеть, и теперь стоял в ожидании нас, раскрасневшийся, и рукавицей вытирал пот со лба. «Срочно ведите к «главному»,—сказал он. Проходя мимо антибесского изолятора, я увидела, что надзиратель вынес мой чемодан. Мы свернули на дорогу, ведущую к Мариинску. Лесок, в котором осенью Ванек жег костер, показался мне небольшим и унылым, а поле, укрытое глубоким снегом, с еще не вывезенными, осевшими стогами сена, мертвым.

В Мариинске меня ввели в новый кабинет «главного», то есть Сквирского. Начальник следственного отдела Сиблага на сей раз был не таким, каким я привыкла его видеть, а более уравновешенным, точно укрощенным; исчезла злобная страстность, с которой он некогда взялся за дело. В первый момент он молча, не без любопытства, смотрел на меня — живую. Он слишком поторопился с исполнением и чувствовал облегчение оттого, что ему не придется сообщать, что выполнить очередное указание Москвы невозможно. Все случилось скоропалительно, мне даже не было предложено обжаловать приговор перед Верховным Советом, хотя я в тот момент об этом и не подумала. К чему эта бессмысленная оттяжка? И на какой суд жаловаться? Суда ведь не было. Так что и эта формальность — обжалование приговора — соблюдена тоже не была. Чего только не делали в обход закона!

Наконец Сквирский спокойно, с напускным равнодушием заговорил:

— Вот у нас вы молчали и скрывали контрреволюционную организацию молодежи, ну, а *там* к вам применят такие средства, что заставят заговорить, *там* с вами церемониться не будут.

— Где это «там»? — спросила я.— И что же, разве смертный приговор отменен? Ведь еще мгновение, и меня бы не было в живых!

— Где это «там», вы сами увидите, а приговор от вас никуда не убежит.

Я поинтересовалась, кем он вынесен, я не смогла прочесть это от волнения, но Сквирский не ответил.

— Отведите в камеру,— крикнул он находившемуся за дверью конвойному.

Кухню в Мариинском изоляторе, пока я была в Антибесе, наконец достроили, и я успела там поужинать и позавтракать. На следующий же день меня увели к поезду. Хотелось знать, куда меня отправят. Но, уже наученная горьким опытом, я понимала, что на прямой вопрос конвоир не ответит, и решила прибегнуть к хитрости. Я подозревала, что путь мой лежит в Москву, и, желая убедиться в этом, спросила, разрешат ли мне взять свой чемодан в вагон или его отправят до Москвы багажом. Насколько мне было известно, вещи заключенных никогда багажом не отправляли. Но попавшийся на мою уловку конвоир ответил, что чемодан будет отправлен в Москву вместе со мной.

От волнения зашлось сердце, я понимала, что Москва, то есть московская тюрьма, ничего хорошего мне не сулит. И что, по-видимому, приговор от меня действительно никуда не убежит.

Поезд, к которому меня привели, шел с Дальнего Востока. Вагон для перевозки заключенных — «столыпинский» — был прицеплен ближе к концу состава. Конвоир сдал старшему по вагону меня и пакет с моими документами, а также передал распоряжение не соединять меня с другими заключенными. Это предписание было трудновыполнимым. Я поднялась по ступенькам и была остановлена у начала узкого прохода между трехъярусными купе-камерами, затянутыми сверху донизу прочной сеткой-решеткой и окнами вагона, тоже в решетках, так что заключенные походили на зверей в зоологическом саду. В вагоне стояла невероятная духота и ужасающее зловоние. Затоптанный грязный коридор, всегда мокрый, в лужах от талого снега, стекающего с валенок конвойных, выходивших на станциях; спертый воздух от грязного потного белья заключенных; «аромат» отвратительной соленой рыбы и черного заварного хлеба (паек заключенных); жуткая вонь, проникающая в вагон из никогда не убиравшегося туалета,— все создавало в «столыпинских» особую атмосферу, превращавшую вчерашних людей в каких-то человекоподобных существ. Вагон был переполнен уголовниками: ворами, грабителями, бандитами-рецидивистами, что можно было легко понять по их разговорам и поведению. Ежеминутно слышалась изощренная ругань, причем женщины своей грубой фантазией брали верх над мужчинами. И сквозь это несмолкаемое сквернословие пробивались звуки песни. Тоскливо, сиплым, прокуренным голосом пела женщина: «Не для меня цветет весна, не для меня Дон разольется, а сердце бедное забьется восторгом чувств не для меня»...

Я стояла под охраной дежурного конвоира в начале коридора, возле туалета, ожидая, пока освободят для меня «купе», уплотнив соседнее. Кто-то из заключенных настойчиво просился (в неурочное время) в туалет, но получил отказ. Через несколько минут, когда я вместе с конвоиром шла к своему персональному «купе», обозленный урка наполнил кепку мочой и выплеснул ее на конвоира. Я шла чуть впереди, потому и меня не миновало это «удовольствие». Одежда моя, полуистлевшая в подвале, превратившаяся в лохмотья, пахнувшая сыростью, пропиталась и запахом мочи. Когда же я проходила мимо толпящихся за решеткой женщин с грязными, тупыми лицами и разукрашенными татуировкой полуголыми телами, сидящих «по моей вине» в еще большей тесноте, одна из них крикнула:

— Смотрите, смотрите, Блюхершу ведут!

— Блюхершу ведут! — хором подхватили остальные.— Им и раньше машины подавали, и теперь их с удобствами возят!

Напоминаю, поезд шел с Дальнего Востока, где командующим войсками в течение многих лет был Василий Блюхер, недавно расстрелянный, так что меня, вероятно, приняли за его жену.

Мы медленно продвигались на запад, вагон то отцепляли, то снова прицепляли уже к другому составу. Наконец добрались до Новосибирска. И там, в Новосибирске, произошел невероятный случай, который я не могу не вспомнить.

Неожиданно дверь в мои «хоромы» отперли, и передо мной предстал человек, которого я сразу узнала: то был один из двух охранников, приставленных к Н. И. во время нашей поездки в Сибирь в 1935 году, о которой я уже рассказывала. Трудно сказать, как он проник в вагон. Возможно, ему обеспечила это право форма сотрудника НКВД, а быть может, под каким-либо предлогом он добился и специального разрешения. Я с волнением, в полном недоумении и, надо сказать, достаточно враждебно смотрела на знакомое лицо, абсолютно уверенная в том, что при изменившихся обстоятельствах ждать хорошего от этого человека не приходится. И только хотела я спросить, с какой целью он явился ко мне, какая миссия теперь на него возложена, как он, приложив палец к губам, дал понять, чтобы я молчала. Положив рядом со мной огромный пакет, завернутый в бумагу и перевязанный шпагатом, он мгновенно удалился. Охранника этого звали, кажется, Михаил Иванович, фамилии его я не помню. В ту пору, когда мы путешествовали по Сибири, ему можно было дать около пятидесяти. Когда поезд тронулся, я развернула пакет. В нем оказалась роскошная продуктовая передача, собранная заботливой, словно родной рукой. Там я обнаружила вареное мясо, сливочное масло, колбасу, белый хлеб — всего не помню. Но еще больше я была поражена, когда увидела плитки шоколада, конфеты и апельсины. Все походило на сказку, чудесное волшебство. В тех обстоятельствах принесенное можно было принять за мираж, но продукты были настоящие. Я отодрала кусочек апельсиновой корки, поднесла его к носу и почувствовала забытый приятный аромат, приглушивший отвратительный запах вагона. Жадными глазами поглощала я дары, но от волнения, граничившего с потрясением, смогла притронуться к ним лишь на следующий день. И содержимое передачи, и та, особенная осторожность, которую проявил Михаил Иванович, дали мне понять, что передача была сделана по его собственной инициативе. Москва вызывала меня из Мариинска, конечно, через Новосибирское Управление НКВД. Очевидно, Михаил Иванович, узнав об этом (случайно, а быть может, специально), выяснил, когда поезд прибудет в Новосибирск, и решился на поступок, который в то время можно было расценить как подвиг. Совершить его, как я предполагала, мог только человек, не изменивший прежнего отношения к Н. И. и считавший своим долгом перед его памятью помочь мне. Хочется думать так.

По мере продвижения на запад меня, как ни странно, все больше и больше раздражало «бескрайнее» пространство моей камеры — бескрайнее в сравнении с соседними, где заключенные ночью спали поочередно, полулежа или сидя, а те, кто уступал им места, стояли, прислонившись друг к другу. В моем же «купе» могло поместиться человек девять лежа. Мне было как-то неловко перед остальными заключенными — люди же! Хотя то было дно человеческого общества, несмотря на это пользующееся привилегиями у лагерного начальства. И те, и другие — и уголовники, и лагерная администрация — называли нас презрительно «контрики». Необычная передача, узнай о ней кто-нибудь из заключенных, разожгла бы еще большую ненависть ко мне с их стороны, но изоляцию мою ничто не нарушало. «Купе» мое было крайним, за стенкой помещался конвой. Только дежурный, наблюдавший за заключенными, ходивший взад и вперед, взад и вперед, задерживался возле меня дольше и внимательно в меня всматривался. Его, очевидно, поражало и мое одиночество при такой скученности в вагоне, и небывалая передача — от начальства! А я, глядя на маячившего перед глазами конвойного, вспоминала любимую песню отца, связанную с его тюремным дореволюционным прошлым:

Солнце всходит и заходит,
а в тюрьме моей темно.
Днем и ночью часовые
стерегут мое окно.

Поезд проезжал уже по европейской части Союза. Конец декабря, зимние дни коротки, а мне казались они невероятно длинными. Я с нетерпением ждала тьмы, а все не смеркалось и не смеркалось. Ночью становилось тише, прекращалась омерзительная ругань, звучавшая в течение дня непрерывно, точно пулеметная очередь. Хотелось уйти в себя, сосредоточиться и подумать, как противостоять обвинениям на будущих допросах, теперь, когда доносы Лебедевой легли дополнительным грузом на весы моей судьбы. Но на этом я никак не могла сосредоточиться. Я приближалась к Москве, и мне вспомнилось, как мучительно я покидала ее в июне 1937 года. Покидала, оставляя в тюремных застенках Н. И., еще не осужденного, но приговоренного к смерти не только до суда, но и до своего ареста, покидала, с болью отрывая от себя годовалого ребенка...

Это случилось неожиданно. В отношении себя я, по наивности, должно быть, никаких репрессий не ждала. Больше опасалась за мать. И меня тревожило в основном, что я не смогу устроиться на работу и прокормить ребенка. И вдруг звонок в дверь!.. Мы жили в Доме правительства у Каменного моста, в огромном мрачном здании, серым цветом своим похожем на московский крематорий. К тому времени этот дом, называемый теперь с легкой руки Ю. Трифонова «домом на

набережной», был уже наполовину опустошен арестами. Нас переселили туда из Кремля спустя два месяца после ареста Н. И. в очередную освободившуюся все по той же причине квартиру. Первый присланный счет за квартиру оплатить было нечем. Никаких сбережений Н. И. никогда не имел. Гонорар за свои литературные труды он перечислял в фонд партии, от зарплаты ответственного редактора «Известий» отказался. Получал деньги лишь в Академии наук СССР, действительным членом которой он был. Дом правительства находился в ведении хозяйственного отдела ЦИКа, и я написала маленькую записочку Калинину: «Михаил Иванович! Фашистская разведка не обеспечила материально своего наймита — Николая Ивановича Бухарина, платить за квартиру не имею возможности, посылаю Вам неоплаченный счет». Следующий прислан не был.

Мы жили вместе: первая жена Н. И. Надежда Михайловна, его отец Иван Гаврилович, я и ребенок. Надежда Михайловна лежала почти не поднимаясь, а рядом, в ящике ночного столика, был приготовлен яд на случай ее ареста. Она, как я уже упоминала, отослала Сталину свой партийный билет и написала ему, что не желает быть членом партии в то время, когда Бухарину предъявляют необоснованные, чудовищные обвинения, за это она теперь ждала расплаты.

Старик отец, математик (до революции — преподаватель женской гимназии), потрясенный арестом сына, обессиленный тревогой за его дальнейшую судьбу, в те дни часто повторял одни и те же слова: «Николай — моя гордость! Что же это случилось, не могу понять?! Мой Колька — предатель?! Это же вздор!» Затем, чтобы отвлечься, он решал задачи, часами сидя за столом, заполняя один лист за другим алгебраическими формулами. Будто пытался извлечь «корень зла» и спасти погибающего сына. Но формула истории оставалась за пределами его понимания. Иван Гаврилович намеревался написать Сталину о сыне. Возможно, он это и сделал. И временами были у старика проблески надежды, что вернется Николай,— ведь сам Сталин ценил его так высоко: «Разберутся, не может быть, чтобы не вернулся»,— утешал он себя и старался обнадежить меня.

В тяжкие месяцы после начала следствия с нами жила и няня Паша — Прасковья Ивановна Иванова. Я находилась почти неотлучно возле Н. И., а Прасковья Ивановна ухаживала за ребенком. Она знала меня с детства, вырастила моего двоюродного брата, сына моей тетки, которая в течение 8 лет воспитывала потом моего Юру. Прасковья Ивановна стала для нас родным человеком. Когда случилась беда, она по моей просьбе без колебаний оставила работу и помогала нам безвозмездно — платить было нечем. После моей высылки она вместе с Юрой жила у моей матери до ее ареста, т. е. до января 1938 г., когда сына забрали в детский дом, несмотря на просьбу няни оставить ей ребенка, к которому она была привязана. Прасковья Ивановна участвовала в поисках Юры, стала первой, увидевшей его, полуживого, в детском приемнике. Она же, предъявив письмо Ивана Гавриловича, буквально выцарапала больного мальчика оттуда.

Но это было позже. А в июне 1937 года, то есть через три месяца после ареста Н. И., однажды, когда я сидела у постели Надежды Михайловны, а Иван Гаврилович все решал свои задачи, раздался звонок в дверь. «Это за мной»,— сказала Надежда Михайловна и протянула руку к ящику ночного столика, чтобы взять яд, а я пошла открывать. У нас уже давно никто не бывал, кроме моей старой бабушки, но та предварительно звонила по телефону. Мать поддерживала нас материально, но по обоюдной договоренности мы друг к другу не ходили. Я берегла ее. И вдруг — звонок в дверь. Вошел человек в форме с кожаной сумкой в руке.

— Как бы повидать Анну Михайловну,— произнес он подчеркнуто вежливо,— по-видимому, это вы?

Я подтвердила.

— Предъявите паспорт,— сказал он, пройдя в комнату.

— Зачем же паспорт, разве на слово вы мне не верите? — спросила я, еще ничего не подозревая.

— Почему же, верю, верю, но такова формальность, я должен проверить это документально.

Я заволновалась, почему-то решила, что мне сообщат что-то страшное о Н. И.,— скорее всего, он не выдержал мучений и скончался. У меня тряслись от волнения руки, когда я протянула паспорт. Сотрудник НКВД положил мой документ в сумку (больше я его не видела) и вытащил небольшую бумажку — первое постановление обо мне, подписанное Ежовым.

Мне предложено было выехать в один из пяти городов,— по моему выбору: Актюбинск, Акмолинск, Астрахань, Семипалатинск, Оренбург. Срок оговорен не был (решение о пятилетней ссылке было прислано потом).

— Поезжайте в Астрахань,— посоветовал мне сотрудник НКВД,— там Волга, там рыба, фрукты, арбузы — великолепный город.

— Никуда не поеду,— заявила я уверенным тоном,— ни в Семипалатинск, ни в Астрахань. Дело Бухарина еще не решено, и вы не имеете права применять ко мне репрессивные меры.

Я мотивировала свой отказ еще и тем, что за время следствия над Н. И. я была настолько замучена и ослаблена, что не смогла бы забрать с собой годовалого сына. Пришедший посоветовал оставить мальчика в Москве. Но я вовсе не желала расставаться с ребенком. Да и кто бы взял «прокаженного» ребенка — сына Бухарина!

— Ну это вы напрасно, напрасно так думаете, ребенок ни при чем!..

Однако в действительности и ребенок оказывался всегда виноватым.

Отказываясь ехать в ссылку, я, конечно, великолепно понимала, что борьба моя неравна и бесполезна, но сдаваться без боя не хотелось.

— Постановление подписано Ежовым,— напомнил сотрудник НКВД.

— Мне безразлично, кем оно подписано. Вы меня можете выдворить отсюда только силой.

Мне было предложено расписаться в том, что я ознакомилась с решением о моей ссылке. Я это сделала, а на обороте документа написала, что в ссылку ехать отказываюсь, и изложила причины.

Дня два меня никто не тревожил, но я уже готовилась к отъезду, правда, скорее психологически, ибо вещей у меня было настолько мало, что особого времени на сборы не требовалось. Ценнейшую огромную библиотеку увезти не только в ссылку, но даже из Кремля в Дом правительства я не могла, и не только потому, что она не уместилась бы в той квартире, но и потому, что она была опечатана. Случайной собственностью оказалась обстановка кабинета Н. И. Однажды какая-то мебельная фабрика прислала ему гарнитур. Н. И. был возмущен столь дорогим подарком, поехал на фабрику и оплатил стоимость кабинета. Таким образом, в Доме на набережной, кроме картин Н. И., которые я перевезла из Кремля, ценного ничего не было.

Дня через два, около десяти вечера, за мной была прислана шикарная черная машина, и сотрудник НКВД любезно пригласил меня на Лубянку. «Ненадолго, ненадолго»,— дважды повторил пришедший. Мне и в голову не приходило, что я могла бы не вернуться. В кабинете сидели двое: Матусов (кажется, он был в должности начальника одного из отделов НКВД) и Фриновский — заместитель Ежова.

— Что вы бунтуете, Анна Михайловна, разве вы не понимаете, что с нами шутки плохи,— сказал Матусов.— В ссылке вам будет обеспечена забота, работа и квартира. По отношению к вам эта мера кратковременна, и вы будете скоро возвращены.

— Ну а если вы хотите избежать ссылки,— добавил Фриновский,— надо «сжечь все мосты».

— Что вы этим хотите сказать? — насторожилась я.

— Это означает,— пояснил Фриновский,— отречение от Бухарина как от врага народа, опубликованное в печати.

— Вы сделали мне подлое предложение, вы оскорбили меня,— крикнула я,— лучше Астрахань!

И возмутившее меня предложение Фриновского больше не обсуждалось. Я просила дать мне перед отъездом свидание с Н. И. Я знала, что больше ни-

когда его не увижу, и мне хотелось проститься с ним. Но, ссылаясь на то, что Н. И. подследственный, мои собеседники мне в этом отказали.

— Но раз подследственный,—заметила я,—то никто до окончания следствия и суда не имеет права называть его врагом народа.

Оба промолчали, но пообещали, что после окончания следствия меня вызовут из ссылки для свидания с Н. И. Я, конечно, понимала, что они лгут.

Через несколько дней приехал сотрудник НКВД, чтобы отправить меня в Астрахань. Была прислана не только легковая машина, но и грузовая, как мне объяснили, для перевозки имущества. Мое «имущество» уместилось в чемодане и двух рюкзаках. Но раз уж грузовик был прислан, я решила взять еще что-нибудь. С давних пор в прихожей квартиры Н. И. в «Метрополе», затем в Кремле, стоял большой деревянный сундук, куда он складывал экземпляры газет, главным редактором которых был,— когда-то «Правды», в последнее время «Известий». Я мгновенно выбросила из сундука газеты и стала загружать его зимней одеждой, которую предполагали мне выслать посылкой, вещами, принадлежавшими Н. И. Положила его мольберт, масляные краски и кисти, мою любимую акварель «Эльбрус в закате». Сундук был большой, могли бы уместиться и другие его картины, но я решила, что они принадлежат скорее отцу Н. И., чем мне. И я оставила их в Москве, боясь огорчить Ивана Гавриловича, он любил картины сына. Положила в сундук старый костюм Н. И., забракованный Сталиным перед поездкой в Париж, фетровые валенки, в которых зимой он ходил на охоту, спортивный костюм, старую кожаную куртку, наконец, две пары сильно поношенных сапог. Мне было дорого все, что напоминало о нем. И я тогда надеялась, что будет время, когда я покажу вещи, принадлежащие Н. И., сыну. Сотрудник НКВД наблюдал за мной молча, но старые сапоги переполнили чашу его терпения, и он спросил меня, для чего я это барахло повезу, и посоветовал лучше выбросить его. А я нашлась что ответить:

— Чтобы имущества было больше и чтобы вы видели и запомнили, что имел фашистский наймит Бухарин, «продавшийся за тридцать сребреников».

К этому времени я уже слышала по радио речь (не помню точно чью, поэтому не решаюсь назвать фамилию оратора), в которой было сказано, что Бухарин продался фашистам за тридцать сребренников.

Не знаю, что понял тот сотрудник, возможно, и его жизнь вскоре оборвалась. Но так или иначе огромный сундук погрузили на грузовик и отправили багажом.

Затем — Астрахань. С какой отчетливостью предстала она перед моими глазами! Я попала туда буквально через день после окончания суда над высшим командным составом армии: Тухачевским, Якиром, Уборевичем, Корком и другими.

Астрахань — оживленная и удивленная, потрясенная и безразличная ко всему происходящему; Астрахань — душная, пыльная, вся в цветении белой акации. Мы — местная сенсация, на нас показывали пальцами. Слухи о том, что прибыли семьи Радека, Бухарина и семьи ранее прославленных полководцев, в те дни заклейменных изменниками Родины, шли от самих сотрудников НКВД и их жен, от местных жителей, у которых мы поселились. Главная — горбатая, уходящая вверх улица Ленина с установленными на столбах удлиненными серыми репродукторами-громкоговорителями... Надо было затыкать уши, чтобы не слышать: «Стерты с лица земли шпионы, предатели, изменники, хотевшие...» и т. д. Репродукторы периодически повторяли одно и то же. Около них собирались толпы народа. Газеты расхватывали ранним утром с молниеносной быстротой, их не хватало, ибо круг читателей в те дни стал много шире. Бухарин не был тогда «гвоздем программы», я еще ждала. Склоняли имена военных, осужденных по закрытому процессу. Их жены и дети, подавленные, полубезумные, ходили по центральной улице (там же, на улице Ленина, находилось здание астраханского НКВД), похожие на погорельцев, робко прислушиваясь к тому, что вещал бездушный громкоговоритель, и старались увести детей подальше от людской толчеи. В Астрахани не оказалось ни работы, ни заботы, ни квартиры, обещанных

в Москве. Всех нас свела судьба под одной крышей в «заезжей», где мы жили первые дни ссылки в двух смежных комнатах, густо уставленных койками. Астраханский НКВД предложил нам самим искать жилье на частных квартирах. Это было нелегко сделать не только по материальным соображениям (я могла существовать в Астрахани лишь благодаря материальной помощи матери), но и потому, что из-за наших громких фамилий и положения ссыльных даже те, кто имел возможность уплотниться и нуждался в деньгах, боялись пустить нас. Потребовалось специальное указание НКВД, чтобы в конце концов мы разместились на квартирах местных жителей. Рабочий пароходства, у которого сняла комнату я, рассуждал так: «У них там наверху часто все меняется: сегодня они распорядились пустить вас на квартиру, а завтра они же меня обвинят в том, что у меня на квартире жила жена Бухарина».

В «заезжей» особенно поразила меня ссыльная полуграмотная старуха латышка, домработница Яна Эрнестовича Рудзутака. Рудзутак не был женат, и в течение многих лет эта женщина заботилась о нем. Она была привязана к нему, как к сыну. Глаза ее не высыхали от слез. Не только всем нам, но даже прохожим на улице, рыдая, старушка рассказывала, что Рудзутак происходил из бедной семьи, батрачил на хуторе, что она его помнила мальчиком, ходившим по домам и просившим милостыню. Она рассуждала вполне логично: «Раз он выбрался из нищеты и стал членом правительства благодаря Советской власти, он не мог совершать преступления против этой власти». В полном отчаянии хваталась бедная женщина за голову руками и, сидя на койке в «заезжей», вся в слезах, истерически кричала: «Изверги, изверги! Только изверги могли арестовать Рудзутака (кто они, эти изверги, она не понимала), они его еще и убьют!»

К моменту моего возвращения из Новосибирска в Москву, как я предполагала, и не ошиблась, Я. Э. Рудзутака в живых уже не было. Имя его упоминалось в числе «правых заговорщиков» на бухаринском процессе, по всей вероятности, потому, что Рудзутак был заместителем председателя Совнаркома не только при Молотове (когда был арестован), но и при Алексее Ивановиче Рыкове. Рудзутака расстреляли в июле 1938 года.

Тогда, в Астрахани, мне вдвойне было больно смотреть на рыдающую старуху, потому что она возбуждала во мне воспоминания о том, кого она оплакивала, пусть и мимолетные, малозначительные, главным образом связанные с моим детством.

Ян Эрнестович Рудзутак бывал у нас дома. Мне вспоминалось его милое, добродушное лицо, усталые выразительные глаза, смотревшие сквозь очки. Пробывший десять лет на царской каторге, он еле заметно прихрамывал: нога была повреждена кандалами. Он казался мне слишком деловым и малоразговорчивым. Но однажды после окончания заседания он неожиданно развеселился и с заразительным смехом, как ребенок с ребенком, играл со мной в жмурки, завязав глаза полотенцем, а я визжала в предчувствии, что вот-вот он меня поймает. Ян Эрнестович был большим любителем природы, он увлекался цветной фотографией, которая у нас еще делала первые шаги. Он приносил огромное количество фотографий российских и кавказских пейзажей, сделанных с исключительным мастерством и тонким художественным вкусом. Он любил рассказывать о чудесах американской техники, кажется, был в командировке в Америке. Однажды у себя на даче он показал мне радиолу—радиоприемник, принимающий все страны мира, и одновременно проигрыватель. В то время это было чудо. Он застенчиво улыбался, когда отец, если не называл его по имени-отчеству, то обязательно товарищ Рудзутак, а не Рудзутак. А для меня Ян Эрнестович в детстве был дядя Ян.

Тщетно старалась я успокоить старушку. Она рыдала, всхлипывая, даже по ночам. Утешить ее было нечем, и, когда я глядела на нее, у меня самой катились по щекам слезы.

Жена и четырнадцатилетний сын И. Э. Якира были травмированы вдвойне: мало того, что между арестом и расстрелом Якира прошли лишь считанные дни— срок, за который человеческий разум не в состоянии осмыслить случившееся, у Якиров к этой трагедии добавилась еще и вторая. Незадолго до их приезда в

Астрахань в газете (кажется, в «Правде», точно не помню) было опубликовано отречение жены от И. Э. Якира как от врага народа, к которому, по ее словам, она отношения не имела, и это причиняло и матери, и сыну невыносимую боль. Со мной такой злой шутки не сыграли. Но то, что мне предложено было так поступить по отношению к Н. И., говорит о том, что в органах НКВД такая форма отречения жен от видных и ранее популярных деятелей была продумана. Полагаю, тот же Фриновский, если не по собственной инициативе, то по указанию Сталина, это мог сделать без разрешения жены Якира. Возможно же, отречением она пыталась спасти сына. Но в то время я, видевшая переживания Сарры Лазаревны, ни на минуту не усомнилась, что ее «отречение» было фальшивкой.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мне вспомнился и еще один оскорбительный для Сарры Лазаревны эпизод, после которого она долго не могла прийти в себя. Уже во время войны, зимой 1942 года, нас этапом отправляли из Яйского лагеря в каторжный лагерь Искитим. Лагерь занимался производством извести допотопным способом, вредным для здоровья, так что мужчины в большинстве своем умерли. Один из конвоиров, украинец, подошел к жене Якира и сказал: «Что, Якир, не помогло тебе отречение, все равно сидишь, сука ты, а не жена!»

Возможно, уважение к Ионе Эммануиловичу внушил конвоиру его отец, воевавший под командованием Якира, или тот конвойный сам помнил прежнее отношение к Якиру и не очень верил в причастность его к преступлениям, а быть может, по своим нравственным принципам отречение от мужа в любом случае он счел поступком неблаговидным — разгадать было невозможно.

Я несколько отвлеклась от астраханских воспоминаний; как раз этот эпизод, столь тяжкий для жены Якира, который она так болезненно переживала, не мог вспомниться мне по пути в Москву, он произошел значительно позже. А тогда перед моими глазами был сын Якира — мальчик, которому я очень симпатизировала. Петя вошел в «заезжую» вместе с матерью, они держались за руки,— Сарра Лазаревна еле шла. Лицо мальчика было мертвенно-бледным и казалось еще бледней в обрамлении густых, жгуче-черных волос. За десять страшных дней (приблизительно столько времени прошло с момента ареста его отца) он очень похудел и часто подтягивал свои светлые спадающие брючки. Петя был красивым мальчиком. Его темные, совсем еще детские глаза выражали страдание. Он оглядывался по сторонам, старался найти знакомых ему детей той же судьбы и примерно того же возраста. Он увидел дочерей Уборевича, Гамарника, Тухачевского, затем сел на свободную койку и громко сказал:

— А мой папа ни в чем не виноват, и вообще все это выдумки, ерунда, вздор!

— Петя, перестань, молчи! — испуганно оборвала его мать. Он бросил испытующий взгляд на окружающих, царило безмолвие, только у сидящей рядом со мной Нины Владимировны Уборевич (жены командарма) загорелись глаза, и она произнесла: «Молодец, мальчонка!» Свою дочку Мирочку мать щадила и не говорила, что отец расстрелян. Об этом сообщил ей тот же Петя; от этого мальчика скрыть ничего нельзя было. Петя был единственным ребенком, который громко заявил о непричастности своего отца к преступлениям, и, я думаю, единственным из детей, который это до конца понимал и был убежден в невиновности остальных обвиняемых, и не только военных.

И если действительно верно, что Иона Эммануилович перед расстрелом крикнул «Да здравствует Сталин!», то его четырнадцатилетний сын уже тогда Сталина считал Главным террористом.

В Астрахани я жила довольно уединенно, лишь раза два забегала к Нине Владимировне Уборевич. Она настойчиво приглашала меня к себе, нас связывали воспоминания об Иерониме Петровиче, с которым я была знакома. Благодаря своей неукротимой энергии Нина Владимировна добилась получения казенной квартиры — двух комнат в старом полуразрушенном деревянном доме — и сумела эту квартиру отремонтировать. Нина Владимировна привезла с собой кое-какую обстановку, и у нее было по-домашнему уютно. С остальными ссыльными я встречалась от случая к случаю, раз в десять дней, когда мы приходили отмечать свой документ, выданный взамен паспорта. Ни с кем из ссыльных жен, кроме жены Карла Радека Розы Маврикиевны, знакома я раньше не была. Однажды, когда я бродила по Астрахани в тщетных поисках работы, я встретила Розу Маврикиевну. Она остановилась, чтобы поговорить со мной, но я разговаривать с ней демонстративно отказалась. Она была потрясена моим поведением и крикнула мне вслед, что она имела свидание с Карлом, и мне было бы интересно с ней поговорить, но я даже не обернулась. Разумеется, это было еще до процесса так называемого «право-троцкистского блока», и я, читавшая показания Радека на предварительном следствии и на его процессе, в то время не могла простить ему клеветы на Николая Ивановича. Было еще одно существенное обстоятельство, объясняющее мое поведение, но об этом ниже. Так или иначе, теперь, оглядываясь назад, своего поведения я оправдать не могу.

Ежедневно я ездила на вокзал, чтобы достать газету и быть в курсе событий. У хозяина квартиры радио не было, а в городе газеты раскупались ранним утром. На вокзале у газетного киоска как-то я встретила и Петю Якира.

— Вы, кажется, жена Бухарина? — спросил меня Петя. Хотя ему это наверняка было известно, он хотел моего подтверждения. Убедившись в том, что я жена Н. И., он сразу же перешел на «ты».

— Ты комсомолка?

Я ответила ему, что б ы л а комсомолкой, но он этого оттенка в моем ответе не уловил.

— И меня недавно в комсомол приняли,— с радостью сообщил мальчик,— как ты думаешь, куда нам обратиться, чтобы встать на комсомольский учет? Иначе мы выбудем из комсомола.

Мне пришлось огорчить Петю и объяснить ему, что раз мы ссыльные, то уже автоматически выбыли из комсомола. Он растерянно посмотрел на меня, внезапно осознав положение, больше о комсомоле никогда не вспоминал.

5 сентября — зловещая дата в жизни астраханских ссыльных. О том, что все ссыльные жены арестованы, рассказал мне пришедший с работы хозяин квартиры. Он сразу же предложил мне подыскать другую комнату. Ему не очень-то хотелось, чтобы эти, как он выразился, «энкавэдэшники» вторгались к нему в дом и производили обыск. Я была взволнована его страшным сообщением и тотчас же побежала к Нине Владимировне Уборевич, чтобы проверить, не ложные ли это слухи, ее адрес был единственный, который я знала. Дверь открыл незнакомый молодой человек. Это оказался брат Нины Владимировны Слава, приехавший в Астрахань, чтобы помочь сестре. Слухи подтвердились, жена Уборевича была арестована. И действительно, кроме меня, из ссыльных жен оставалась на свободе только жена Якира. Слава с горечью рассказывал, что дочку Уборевичей, двенадцатилетнюю Мирочку, не оставили ему, несмотря на настоятельную просьбу. Ее, как и остальных детей арестованных, отправили в астраханский детский приемник. В дальнейшем они находились в детском доме, кажется, где-то на Урале. Затем, когда подросли, были арестованы и они.

После 5 сентября я ежедневно бывала у Якиров. Там собралась большая семья. К Сарре Лазаревне из Свердловска приехала родная сестра Миля с двумя мальчиками-подростками. Ее муж, командующий Уральским военным округом Гарькавый, был арестован в начале 1937 года и покончил жизнь самоубийством в тюрьме (он разбил голову о стенку камеры). Жена Гарькавого не была ссыльной, но впоследствии и она оказалась в тюрьме. Из Одессы приехал и их отец — чудесный, добрый, умный скрипач Лазарь Ортенберг, ему тогда было уже за семьдесят. Когда нас отправляли этапом из Астрахани в лагерь, он нашел наш поезд и вагон. Мы увидели его в окно. Старик шел с трудом, опираясь на палку, и смотрел на нас скорбными глазами. Когда поезд тронулся, он бросил палку, сколько мог бежал за поездом (откуда только взялись силы) и, сняв шапку, несмотря на мороз, прощался с нами.

Я сроднилась с этой семьей, вместе было легче переживать наше великое горе. Сестры старались меня обнадежить, обе убеждены были, что Н. И. не расстреляют: «Рука не поднимется!» Только мудрый и трезво мыслящий старик Ортенберг считал, что надо готовиться к худшему.

В те дни я еще ближе узнала Петю Якира. Бесстрашный и неукротимый, прямолинейный и способный — эти черты мальчик унаследовал от отца. Будоражащие душу события на всю жизнь наложили печать на его неугомонную, мятежную натуру. Возбужденный трагическим временем, Петя всю свою энергию стремился воплотить в действия, в добрые дела. Он ухитрился сохранить дорогие ему фотографии отца: забрался на чердак, под крышу дома, где они жили, и надежно спрятал эти фотографии. Постоянно он крутился возле тюрьмы, пытаясь сообщить арестованным матерям о детях. Петю всегда отгоняли от забора тюремного двора, где во время прогулки можно было видеть заключенных через щели в ограде. Он часами простаивал возле тюрьмы, и это было замечено тюремщиками. Наконец ему удалось проникнуть в жилой дом, расположенный напротив тюрьмы, и с разрешения жильцов пройти в одну из квартир. Расчет был точный: расположение камеры, где сидели арестованные матери, Петя узнал заранее. Войдя в квартиру, он долго стоял у открытого окна, или, возможно, на балконе (точно не помню) с прикрепленным к груди листом бумаги, на котором было крупными буквами написано: «Мамы, не волнуйтесь, детям хорошо, они в астраханском детском приемнике»... «Козырек», или, как называли его еще, «намордник»,— деревянный щит на тюремном окне — был не столь высок, и матери, увидевшие Петю, были взволнованы до слез и поражены его находчивостью. Каждый день он бегал в детский приемник, чтобы повидать дочерей Уборевича, Гамарника, Тухачевского и других, старался принести им что-нибудь вкусное. Сарра Лазаревна рассказывала, что он перетаскал туда все варенье, привезенное дедушкой из Одессы. К детям Петю не пускали, и он переговаривался с ними через окно. Его сверстников лишили не только отцов, но и матерей, содержали в детприемнике взаперти, как в тюрьме. Несправедливость мальчик усматривал не только в этой жестокости, но и в том, что сам он оставался жить в семье, со своей матерью и свободно бегал по Астрахани, в то время как остальные дети были и этого лишены. «Ах, как несправедливо, как несправедливо,— сказал мне однажды Петя, когда я вместе с ним подходила к детприемнику.— Я живу с мамой, а у моих товарищей матери отобраны!» Бедняга, тогда он еще не знал, что ждет его в самом ближайшем будущем.

Первого сентября Петя пошел в астраханскую школу и, несмотря на свою страшную для тех дней биографию, быстро завоевал авторитет товарищей. Однажды вместе с мальчишками-школьниками он подошел к детскому приемнику. Кто-то из догадливых школьников, чтобы дать знать детям, что пришел Петя, бросил в окно не то камень, не то комок грязи. Стекло разбилось, мальчики, испугавшись, разбежались, а Петя остался один. Воспитательница детского приемника подошла к нему, чтобы узнать, кто разбил окно. Не желая впутывать в эту историю новых друзей, он принял вину на себя. Как только женщина узнала Петину фамилию, она сразу же сказала:

— Все понятно, раз ты Якир, значит, ты террорист, я стояла возле окна, а ты хотел меня убить.

И Петю отправили в НКВД.

Придя под вечер к Якирам, я застала Сарру Лазаревну в страшном смятении — мальчик до сих пор не вернулся из школы. Дедушка и тетка волновались не меньше, но старались успокоить мать. Мы — я и Слава, которого я застала у Якиров, разыскивали Петю по городу, но наши поиски не увенчались успехом. Мы возвратились в двенадцатом часу ночи, а вслед за нами явился и Петя. Он рассказал, что его задержали в милиции и требовали подписать протокол, где было сказано, что он настроен против Советской власти. «А я ответил им,— рассказывал Петя,— что я вовсе не против Советской власти, но я не согласен с ее некоторыми мероприятиями: например, я против того, чтобы детей отбирали у матерей». Про остальные «мероприятия» мальчик умолчал, а возможно, просто не счел нужным повторять сказанное при матери, чтобы не волновать ее. С мальчишеской гордостью рассказывал он, что подписал протокол допроса. Тогда он еще не понимал, что тем допросом был заложен первый кирпичик в фундамент его бесконечных тюремных мытарств. И всей его последующей драматической и страдальческой жизни. Таким был четырнадцатилетний Петя Якир.

Хозяин все напоминал и напоминал мне, чтобы я от него съехала, но комнату найти никак не удавалось. В конце концов я решила принять предложение Славы и переехать к нему в ту квартиру из двух маленьких комнат, которую получила еще Нина Владимировна и где он теперь оставался один. Я несколько раз отказывалась, потому что казалось мне, что Слава был заинтересован в моем переезде не только из соображений облегчения моей участи, и мне хотелось избежать территориальной близости с ним. Но выхода не было никакого, и я решилась. С работой тоже вроде бы что-то засветило: директор рыбоконсервного завода обещал взять меня на должность секретаря — это было согласовано с астраханским НКВД, и 21 сентября я собиралась приступить к работе. А 20 сентября пришел ко мне Слава, чтобы помочь переехать, лучше сказать — перейти к нему на квартиру. Свой деревянный сундук я решила временно оставить, пока не подыщем транспорт. И как ни печальны были обстоятельства, мы сидели за столом и доедали великолепный сладкий сочный арбуз. Только поднялись, чтобы идти, как раздался стук в дверь... Ордер на обыск и арест был предъявлен. Арбуз помешал нам уйти вовремя, и бедному хозяину квартиры пришлось присутствовать при моем обыске и аресте. Рылись и в его вещах.

Во время обыска мне удалось спрятать в туфлю, под стельку, фотографию Н. И. и пронести ее в тюрьму. Вряд ли я догадалась бы так поступить, если бы Слава не рассказал мне, что при своем аресте Нина Владимировна спрятала таким же образом фотографию Иеронима Петровича. Вторая фотография, привезенная мной в Астрахань (обе случайно сохранились после обыска в кремлевской квартире), где Н. И. был сфотографирован в обнимку с Кировым — оба радостные, смеющиеся,— была отобрана. Обыскивающий был явно удивлен, что Бухарин запечатлен с Кировым в дружеской позе. В его представлении логичнее было бы обнаружить фотографию Бухарина с направленным на Кирова револьвером...

В коридоре астраханской тюрьмы я столкнулась с женой Якира — нас арестовали одновременно. Обе мы попали в камеру, где с 5 сентября 1937 года сидели жены Гамарника, Тухачевского, Уборевича, старуха латышка — домработница Я. Э. Рудзутака, опухшая от слез, и еще две женщины, жены сотрудников НКВД, работавших при Ягоде. Нас встретили со слезами, рассказывали, как они были взволнованы, когда увидели в доме напротив тюрьмы Петю Якира и прочли написанные им слова: «Мамы! Детям хорошо...» Через несколько дней старик Ортенберг подошел к ограде тюремного двора во время нашей прогулки, сообщил дочери, что Петю увели сразу же после ее ареста: сначала в детский приемник (так мальчик достиг «справедливости»), затем, через три-четыре дня,— в тюрьму. Дедушка видел внука сквозь щели тюремного забора. Нам он громко поведал: «Петя возомнил себя большим преступником. Ходит, заложив руки назад, и крутит задом».

Астраханская тюрьма запомнилась мне не столько потому, что была первой на моем адовом пути, сколько потому, что она была единственной в своем роде. Сказать, что эта тюрьма была безрежимная, значит еще ничего не сказать. Надзирательница перед отправкой из астраханской тюрьмы в этап могла пожелать нам всего хорошего, а меня как самую молодую даже поцеловать. Тюремными надзирателями работали исключительно женщины, это была женская тюрьма, и звали их заключенные по имени и отчеству, такова была тамошняя традиция, так повелось...

Надзирательница Ефимия Ивановна — женщина средних лет, худая, сутулая, плоскогрудая и морщинистая, подстриженная по-мужски, носила гимнастерку защитного цвета, присборенную сзади и перетянутую широким кожаным поясом с висящей на нем связкой гремящих ключей от камер. Заядлая курильщица, она часто вытаскивала из черного кисета щепотку махорки, плотно закручивала ее в газетную бумагу, заклеивала языком свою «сигарету» и без конца дымила, отчего и пальцы, и зубы ее пожелтели.

Она сгорала от любопытства: таких заключенных, с фамилиями, известными даже ей, астраханская тюрьма ранее не видела. Ефимия Ивановна часто заходила

к нам в камеру, казалось, зло на нас смотрела, но вдруг неожиданно расплывалась в улыбке и, покачивая головой и иронически улыбаясь, произносила: «Кхи!»

Она сердилась, когда мы долго умывались. В баню нас не водили, и приходилось мыться основательно. К тому же нам доставляло удовольствие, выбравшись из душной и тесной камеры, плескаться в воде. Ефимию Ивановну это раздражало, она нас всегда торопила и покрикивала: «Не мойтесь по прéдметам, по прéдметам не надо, дурная у вас привычка, целый час жди вас!»

Когда отпирали камеру, чтобы накормить нас, она, разливая по мискам баланду, виноватым тоном каждый раз сообщала: «Обратно горох!» или: «Обратно лапша!»

В астраханской тюрьме в основном фигурировала моя девичья фамилия: фамилия мужа то появлялась, то непонятным образом исчезала, иногда упоминались обе фамилии, а бывало, что и одна — Бухарина. Кстати, следователь, который по указанию Москвы вызвал меня всего лишь один раз (впрочем, так же, как и всех остальных арестованных жен), для того чтобы заполнить анкету, не знал, с кем имеет дело. На вопрос: где работал муж, я ответила: «Редакция «Известий». «Должность назовите,— сказал следователь,— в редакции «Известий» мог работать и курьер, и Бухарин». Я уточнила. «Здесь шутки неуместны,— заметил следователь,— я могу вам Бухарина в дело вписать, и лучше вам от этого не будет». Пришлось мне убеждать следователя, что я не шучу. Следующий вызов был лишь для объявления приговора —8 лет исправительно-трудовых лагерей.

А вот Ефимия Ивановна довольно скоро узнала, что я жена Н. И. Однажды под вечер, в свое ночное дежурство она зашла в камеру и повелительным тоном произнесла: «А ну-ка, Бухаркина, подь ко мне в колидор!» Раздались легкие смешки — показалось забавным, что и фамилии Н. И. она как следует не знала, а только приблизительно — Бухаркин. Сейчас мне кажется странным, что мы могли тогда смеяться, но смеялись в камере не так уж и редко. Вероятно, то был смех от полного отчаянья и нервного напряжения: не только уничтожены наши мужья, но и отобраны дети. Кроме того, в той камере мы чувствовали себя равными среди равных — тухачевские и якиры, бухарины и радеки, уборевичи и гамарники: «На миру и смерть красна!» К тому же думалось нам, что при создавшемся положении и детям без нас легче будет выжить, если они будут детдомовские, «государственные»... А эта комичная надзирательница доводила нас до смеха и видом своим несуразным, и неумелой суровостью, и удивительной тупостью.

«Бухаркина! Сказала тебе — подь ко мне в колидор!» — повторила Ефимия Ивановна, потому что я медлила. Я как-то была ошарашена: подумала, почему же она меня одну вызывает. Образовалось уже стадное чувство: всех нас выслали из Москвы, все мы получили приговор о пятилетней ссылке, одновременно отправили в этап и в конце концов расстреляли сидевших со мной жен Гамарника, Тухачевского и Уборевича.

Надзирательница усадила меня за свой маленький «служебный» столик, на котором лежал ее черный кисет, задымила махоркой. «Побеседуем, Бухаркина! — сказала Ефимия Ивановна.— Расскажи-ка ты мне, как ты со своим шпионом жила? Что, скажешь, не знала, что он шпион? А рубаха-то у тебя шелковая (на мне была обычная трикотажная рубаха), на какие деньги он купляя ее? Что, скажешь, не знала? Конечно, знала, потому и сидишь, миленькая. И кто бы мог подумать, что Бухаркин шпион! Сестра моя его шибко уважала»...

Разговор произвел на меня удручающее впечатление, я сочла бессмысленным возражать надзирательнице. От беседы я отказалась, и Ефимия Ивановна вернула меня в камеру.

Вторая надзирательница (имени и отчества ее я не помню), сменная Ефимии Ивановны, та самая, которая перед отправлением из астраханской тюрьмы в этап меня расцеловала, тоже была необычна. В ее обязанность входило пресекать связь между камерами. Но именно она эту связь с увлечением осуществляла. Однажды она принесла мне передачу из соседней камеры от жены Радека Розы Маврикиевны — полбуханки вкусного астраханского белого хлеба. Роза Маврикиевна имела возможность получать передачи от дочери Сони, которая к тому

времени еще не была арестована. В хлеб была воткнута маленькая записочка, и, чтобы я не проглотила ее, надзирательница предупредила меня об этом. В записке было сказано: «Знай, что с Н. И. будет все то же самое,—процесс и лживые признания». Про эту записочку, полученную в октябре 1937 года, я вспомнила во время процесса Бухарина в марте 1938 года. Поведение Радека и Бухарина на процессе безусловно не однозначно, но для того, чтобы обнаружить различия в их поведении, надо было детально изучить процесс Бухарина, что в условиях лагеря я сделать не имела возможности. Но и теперь, перечитывая не раз стенографический отчет, я убеждена, что Роза Маврикиевна, если не во всем, то в главном оказалась права.

Тем временем в последних числах декабря 1938 года поезд подъезжал к Москве. Я встала ближе к решетке, чтобы через окно видеть знакомые места. Промелькнули Быково, Томилино, Люберцы. И вот Москва.

Вагон остановился в тупике на Казанском вокзале. Приехавший за мной тюремщик отвел меня в темную клетушку «черного ворона», откуда Москвы видно не было, а хотелось все же краем глаза на нее взглянуть. Я предположила, что меня везут во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянку, и не ошиблась. После унизительного обыска отправили в душ. Какой просторной и чистой показалась мне душевая, сверкающая белым кафелем, после грязных и тесных тюремных бань с тяжелыми деревянными шайками; и сама та тюрьма, бывшее здание страхового общества — с паркетными полами, кроватями в камерах, подушкой, одеялом, бельем показалась бы мне дворцом после астраханской и этапных тюрем, новосибирского подвала, если бы не воспринималась как *фабрика смерти*. В этой тюрьме провел последний, мучительный год своей жизни Н. И., в этих стенах, думалось, закончу жизнь и я.

Вымывшись, я скинула с себя рваную одежду—лохмотья, пропитанные сыростью, запахом мочи. Выбор был ограничен. В чемодане еще сохранился костюм, привезенный из Парижа, достаточно скромный, но красивый. Юбка спадала с меня, так сильно я похудела, пришлось подвязать ее куском изношенной рубашки, а сверху прикрыть шерстяной кофточкой.

Меня ввели в камеру подвального помещения, снова одиночную. Яркая электрическая лампочка раздражала глаза. Утомленная после длительного, тяжкого пути, я разделась и рухнула в постель, прикрыв лицо одеялом,— надзиратель запретил закрывать лицо, повернулась к стенке — и это запретил. Ослепительный свет и нервное возбуждение мешали уснуть. Я то подымалась с постели и ходила по камере, то снова ложилась. Наконец сумела убедить себя, что в день приезда вряд ли буду вызвана на допрос. В конце концов уснула крепким сном. Проснулась оттого, что надзиратель тормошил меня за плечо.

— Вы на «бы»? — тихо спросил он.

Я не поняла, о чем идет речь. «На бы» я восприняла как одно непонятное мне слово «набы» и попросила объяснения.

— Фамилия ваша начинается на букву «бы» — Бухарина? — шепотом произнес он, будто сама эта фамилия таила в себе нечто взрывоопасное.

Вопрос показался тем более странным, что в камере я была одна. Получив от меня подтверждение, он объявил:

— Собирайтесь к наркому.

Я заволновалась не только потому, что вызов к наркому говорил о предельной серьезности моего положения, но и от отвращения, что должна буду увидеть его. Мгновенно пронеслось в голове наше шапочное знакомство: разговор с Ежовым по телефону перед отъездом в Париж и две случайные встречи в Кремле, когда я шла вместе с Николаем Ивановичем.

Как же сейчас посмотрит в глаза мне его тезка! Страдания воспитали мою волю и в конечном счете избавили от наивности, присущей молодости, но бывало, что наивность еще давала знать себя. Я собиралась нарочито медленно, чтобы максимально мобилизовать силы и подавить охватившее меня волнение. На мгно-

вение почувствовала некоторую неловкость из-за того, что была слишком хорошо одета,— это не вязалось с моими предшествующими скитаниями по тюрьмам. В конце концов решила, что, сбросив с себя грязные лохмотья, я избавилась от чувства приниженности. Натянула на ноги тонкие парижские чулки, надела туфли (валенки окончательно сносились), только французских духов не хватало, и заявила, что готова.

Пройдя через внутренний двор, мы поднялись на верхний этаж и пошли по коридору, покрытому мягкими дорожками. В кабинетах следователей шла активная работа. Многие из заключенных в скором времени оказались со мною в камере и рассказывали об ужасах следствия. Ко мне эти методы не применялись.

В коридоре тюремщики щелкали пальцами или стучали ключом о пряжку пояса, чтобы предотвратить встречу подследственных друг с другом. И как только мой конвойный слышал условный сигнал, он тотчас приказывал мне повернуться к стенке или заводил в бокс — небольшую пристройку к стене коридора. Наконец меня ввели в кабинет, и я увидела тучного, рослого кавказца с карими мутноватыми, какими-то бычьими глазами, а вовсе не маленького светлоглазого Ежова.

Собираясь на допрос, идя по длинному, таинственному, бесшумному коридору, ожидая, что вот-вот я увижу Ежова, я сжилась с его образом и не представляла себе, что могу встретить кого-либо другого. Не того наркома, при активном участии которого репрессии приняли неслыханный размах и был уничтожен Н. И.; не того, кому я написала в своем заявлении слова, которых не могу забыть в продолжение всей жизни: «Расстреляйте меня, я жить не хочу!»

«Ежов не Сквирский»,— думала я, была настроена воинственно и чувствовала потребность встретиться именно с ним, с Ежовым. Не только для того, чтобы отмести выдвинутые против меня обвинения,— это я могла бы сделать и перед следователем. Я считала своим нравственным долгом опровергнуть причастность Бухарина к каким бы то ни было контрреволюционным действиям, гордо заявить, что процесс сфальсифицирован, и привести соответствующие доказательства. Теперь, после гибели Н. И., уже бессмысленно, увы, и до его гибели бесполезно,— зато гордо!

В кабинете вместо Ежова на меня смотрел уставший равнодушный незнакомый человек. Позже по описанию его внешности я узнала, что это был начальник Особого отдела НКВД, заместитель Берии — Кобулов. На мгновение лицо его выразило необъяснимое удивление. Он даже отпрянул. Непонятно, что его во мне поразило: то ли моя парижская одежда, не соответствующая обстоятельствам, то ли мой истощенный, измученный вид — живые мощи, быть может, мой возраст... Но всплеск изумления быстро потух в его глазах, и они приобрели прежнее сонно-равнодушное выражение.

— С кем вы разговаривали в лагере? — задал он мне вопрос.

— Пока я еще не труп, со многими разговаривала, учета не вела. Меня же вызвали к наркому! — вырвалось у меня от нетерпения поскорее увидеть Ежова.

— Вам хочется обязательно поговорить с наркомом, у вас есть что сообщить ему?

— Раз он меня вызвал, очевидно, он заинтересован в разговоре со мной, и у меня есть что сказать ему,— подумав, добавила я.

Кобулов поднял телефонную трубку:

— Она сейчас у меня, можно зайти? — И мы тотчас же пошли к наркому.

В просторной приемной машинистка, по виду грузинка, и двое мужчин, тоже грузины, прервав разговор, устремили взгляды на меня. Кобулов открыл дверь кабинета и пропустил меня вперед.

Кабинет наркома, покрытый ковром, показался мне огромным. У стенки против двери стоял массивный письменный стол, на нем — толстый портфель, тоже удивительно больших размеров, и горой лежали папки, очевидно, с делами подследственных. За столом сидел человек, но не тот, кого я так стремилась увидеть. От волнения и неожиданности у меня двоилось в глазах, точно в фотоаппарате в момент, когда определяешь фокус: глаза Берии набегали на глаза Ежова, пока они наконец прочно не стали на свое место, и я увидела, как они сосредоточенно

смотрят на меня. Приближаясь к столу Берии, потрясенная, я всплеснула руками и воскликнула:

— Лаврентий Павлович! Куда же девался «прославленный нарком»? Сгинул вместе со своими «ежовыми рукавицами»?!

Как откровенна молодость! Я не смогла (да и не считала нужным) скрыть свое изумление и радость от догадки, что Ежов скорее всего арестован.

Судьба прокладывает втайне от нас наши жизненные пути, предопределяет нечаянные встречи. Потому мы нередко повторяем: «Такова судьба!..»

С Берией я была знакома, несмотря на то, что он не принадлежал к близкому мне окружению — к среде старых большевиков. Наше знакомство — чистая случайность, хотя, как, наверное, всякая случайность,— небеспричинная.

Впервые я увидела его в августе 1928 г. Старейший грузинский большевик, председатель ЦИК Закавказья Миха Цхакая, пригласил Ларина, принимавшего участие в работе бюджетной комиссии ЦИКа СССР, в Тифлис для обсуждения бюджета Закавказья или только Грузии, этого не помню. Мы, мать и я, поехали вместе с отцом, чтобы после окончания дел провести свой отпуск в Ликанах, вблизи Боржома. (Кстати, Ликаны эти вспоминались мне впоследствии не раз и потому, что известный в то время в Грузии большевик-литератор Тодрия, сидя однажды на скамейке в ликанском парке рядом с отцом, сказал ему при мне: «Вы, русские, Сталина не знаете так, как мы, грузины. Он всем нам покажет такое, чего вы себе и вообразить не можете!»)

В обсуждении бюджета принял участие и Берия, начальник ГПУ Грузии. Заседание решено было устроить у него на даче, в живописных окрестностях Тифлиса, возле Коджор. Название местности запомнилось, очевидно, потому, что отец по сходному звучанию — Коджоры — Ижоры вспомнил пушкинские строки:

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза...

Грузия, куда я приехала впервые, очаровала меня. Но тогда я, конечно же, не могла себе представить, что нас приветливо принимает человек, имя которого станет символом палачества.

После затянувшегося делового разговора подали обед, приготовленный по-грузински, и душистый грузинский чай. Сидя за столом, Берия сказал отцу:

— Я и не знал, что у вас такая прелестная дочь!

Мне шел в ту пору пятнадцатый год. Я смутилась, покраснела, а отец ответил:

— Я никакой прелести в ней не замечаю.

— Выпьем, Миха,— обратился Берия к Цхакая,— за здоровье этой девочки! Пусть живет она долго и счастливо!

Вторично мне пришлось встретиться с Берией в год смерти Ларина — летом 1932 г. А. И. Рыков, знавший от матери, как болезненно я переживала смерть отца, предложил мне поехать вместе с ним в Крым, где Алексей Иванович собирался провести отпуск. Туда же приехал В. В. Куйбышев со своими родственниками: дочерью, сыном, братом, тоже революционером-большевиком Николаем Владимировичем, и его женой (они были впоследствии расстреляны) и личным секретарем М. Ф. Фельдманом.

В Крыму Валериан Владимирович пробыл недолго. Затем поплыл пароходом в Батум, оттуда поехал в Тифлис и в Ликаны. Чтобы отвлечь меня от переживаний, Куйбышев предложил мне присоединиться к их большой и веселой компании.

Берия встретил Валериана Владимировича в Батуме. А мы-то уже были «старыми знакомыми». «Ой, кого я вижу! Взрослая девушка стала!» — воскликнул Берия, как только заметил меня. Он сопровождал Куйбышева из Батума в Тифлис, мы съездили на дачу к Берии, и в Ликаны он отправился вместе с нами.

Я общалась на этот раз с будущим главой НКВД в течение недели, если не

больше, ежедневно. Он не раз разговаривал со мной, больше о красотах Грузии. Выражал сочувствие в связи со смертью отца.

Если бы в эти дни меня спросили, какое впечатление производил Берия тогда, в 1932 г., то, даже глядя на него сквозь призму совершенных им злодеяний, ничего порочного заметить в нем было невозможно. Он производил впечатление человека неглупого и делового (во время бесед с Куйбышевым, в то время председателем Госплана, уделял большое внимание вопросам экономики Закавказья). Ну и, конечно же, гостеприимного, как все кавказцы. Легко представить себе, как принимал он у себя в Грузии почетного гостя — члена Политбюро. Однако можно порадоваться тому, что не оказался Валериан Владимирович в бериевских «апартаментах» несколькими годами позже, а ушел из жизни иным путем — второй после Кирова из крупных политических фигур. Попадись он к нему в лапы в страшное время террора, разделал бы тот и его «под орех» [1].

Вот вкратце пролог нашей встречи с Берией в застенках НКВД.

Нарком предложил мне сесть против него, по другую сторону письменного стола. Я вновь повторила свой вопрос о Ежове.

— Вас это так интересует? — спросил Берия, но на мой вопрос не ответил. И тут же, чтобы отвлечь мое внимание, бросил фразу, к делу вовсе не относящуюся:

— Почему вы хромаете, Анна Юрьевна?

Вопрос показался странным. Я вовсе не хромала и объяснила, что ему это показалось, возможно, потому, что у меня от неожиданности в связи с заменой столь «прославленного наркома» ноги подкосились...

— Не хромаете? Это хорошо, что не хромаете, хорошо, что мне показалось (будто это была бы самая великая беда в моей жизни).

— Не Анна Юрьевна, а Анна Михайловна,— поправил наркома Кобулов. Берия ткнулся носом в мое «дело», лежавшее на письменном столе. Папка была настолько толста, что трудно вообразить, чем она была заполнена. На обложке было написано: «Бухарина-Ларина Анна Михайловна». (Возможно, Ларина-Бухарина — точно не помню).

— В данном случае все равно,— пояснил Берия Кобулову,— она же и Юрьевна (партийный псевдоним «Юрий» действительно стал вторым именем Ларина). Кобулов в недоумении пожал плечами, ничего не поняв, но промолчал.— Должен сказать вам, Анна Юрьевна, вы удивительно похорошели с тех пор, как я видел вас в последний раз.

Нарком смотрел через пенсне на мое бледное, изможденное лицо и нагло лгал. Очевидно, неискренность вошла у него в привычку. Фальшивый комплимент этот, мало сказать, был мне неприятен, он меня возмутил, и я зло ответила:

— Парадоксально, Лаврентий Павлович,— даже похорошела! В таком случае еще десять лет тюрьмы, и вы будете иметь возможность послать меня в Париж на конкурс красоты.

Берия расплылся в улыбке.

— Что же вы поделывали в лагере, какую работу выполняли?

— Ассенизатором работала,— ответила я, не раздумывая. Могла бы сказать, что в томском лагере, единственном, где я успела побывать до встречи с наркомом, производства не было. Но мне захотелось ответить Берии именно так — работала ассенизатором. Казалось, этим я подчеркну, что ни о какой красоте и речи быть не может и что комплименты сейчас неуместны. Впрочем, мой ответ имел под собой реальную почву: после процесса староста барака обязала меня выдалбливать ломом нечистоты в холодном туалете, чтобы можно было их вывозить. Ей доставило истинное наслаждение поручить эту работу именно мне — жене Бухарина. Но, к ее огорчению, это занятие оказалось мне не по силам, и через 3—4

[1] В. В. Куйбышев скончался скоропостижно 25.I.35 г., менее чем через два месяца после убийства Кирова, с которым был с давних пор близок. Есть предположение, что он был отравлен по заданию Сталина. Быть может, именно потому в этом злодеянии обвиняли на процессе Бухарина и Рыкова.

дня меня пришлось отстранить от «занимаемой должности». Но если учесть, сколько усилий я затратила на то, чтобы обеспечить пользование тем туалетом, то продолжительность моих ассенизаторских занятий можно увеличить во сто крат.

— Ассенизатором?! — удивился Берия.— Что, для вас другой работы не нашли?

— А зачем ее было искать? Для жены обер-шпиона, обер-предателя и работу выбрали самую подходящую... И что же вас так смутило, Лаврентий Павлович, если вся жизнь превращена в большое говно, то в малом не так уж и страшно покопаться!

— Что?! — воскликнул Берия, и я повторила сказанное.

Эпитет, которым я наградила жизнь, настолько груб, что у меня было поползновение опустить этот эпизод, но тогда я была бы нечестна в своих воспоминаниях. Очевидно, после тех непристойных ругательств, которые я слышала в «столыпинском» по пути в Москву, собственная грубость не резала мне ухо, и меня ничуть не тревожило, как Берия отнесется к ней. Не смутило и то, что меня могло ждать обвинение в контрреволюционной клевете на нашу прекрасную действительность. Меня интересовало одно: как новый нарком отнесется к тому, что я иронически назвала Бухарина обер-предателем и обер-шпионом? Но Берия, облокотившись руками о письменный стол, просвечивая меня взглядом, точно рентгеновскими лучами, некоторое время молчал. Затем перебросился по-грузински несколькими фразами с Кобуловым, а тот воскликнул:

— Ай, ай, как вы неприлично выражаетесь, и не стыдно вам?

— Мне теперь уже ничего не стыдно! — ответила я, хотя и не скажу, что вовсе не была смущена.

Из-за длительной изоляции я не понимала, что в тот момент происходило в стране, что собой представляет новый нарком, как он относится к судебным процессам. Долго ждать Берия себя не заставил, хотя действовал осмотрительно и постепенно. После небольшой паузы неожиданно, без всякой связи, он спросил:

— Скажите, Анна Юрьевна, за что вы любили Николая Ивановича?

Вопрос меня озадачил. В самом его миролюбивом тоне и в том, что нарком назвал Бухарина по имени и отчеству, я усмотрела симптом обнадеживающий. Я предположила, что на Берию «хозяин» возложил миссию разоблачителя своего предшественника, а всю вину за массовые репрессии, в том числе и за гибель Н. И., вероломно свалил на Ежова. В этом случае хоть жизнь Бухарина и не могла быть спасена, но ужасающие обвинения с него будут сняты.

От ответа я уклонилась, заявив, что любовь — дело сугубо личное, не обязательно в этом ни перед кем отчитываться.

— Но все же, все же,— настаивал Берия,— нам известно, что вы очень любили Николая Ивановича.

В данном случае он не употребил стереотипа следователей «достоверно известно», но я ответила:

— Как раз это вам д о с т о в е р н о известно.

Берия улыбнулся. Вдруг меня осенила мысль, и я задала наркому встречный вопрос:

— А вы за что любили Н. И.?

На лице Берии появилась гримаса полного недоумения.

— Я его любил?! Что вы этим хотите сказать? Я терпеть его не мог.

Тайного смысла моего каверзного вопроса Берия, как мне показалось, не уловил.

— Но Ленин в своем «Письме к съезду» назвал Бухарина законным любимцем партии. Если вы его не любили, следовательно, вы были незаконным исключением в рядах партии.

— Это что, вам Бухарин об этом рассказывал?

— Нет, не Бухарин. «Письмо к съезду» я читала.

Читала ли я «Письмо к съезду», не помню, но содержание его знала. Берии ответила именно так — читала.

— Ленин писал об этом давно,— заметил Берия,— и напоминание об этом теперь неуместно.

Меня все еще не покидала надежда, что новый нарком хотя бы не назовет Н. И. предателем, тем более что к гибели его отношения он не имел. Но Берия переменил тему, поскольку разговор принял нежелательный для него оборот.

Поинтересовавшись, чем меня в тот день кормили (я ответила, что для меня персонально не готовили), Берия попросил Кобулова распорядиться, чтобы принесли бутерброды и фрукты, после чего вынул из папки документы. По почерку я узнала свое заявление, адресованное Ежову.

— Вы, Анна Юрьевна, и в самом деле жить не хотите? — спросил нарком.— В это трудно поверить, вы так молоды, у вас вся жизнь впереди!..

— Я написала Ежову в состоянии полного отчаяния, когда никаких перспектив, кроме медленного умирания, не видела. Если не осталось ничего, кроме чудовищного кошмара, если живешь, точно в кровавом тумане, если убили Н. И. и всех тех, кого я уважала, отняли ребенка, обрекли на умирание в сыром подвале, да к тому же еще и неоднократно расстреливали (именно так я выразилась, имея в виду, что меня не раз пугали расстрелом и в конце концов повели на расстрел после зачтения смертного приговора), то ничего не оставалось, как просить смерти.

Берия слушал, опустив голову, глядя на меня исподлобья; казалось, на лице его отразилось мимолетное волнение. Может, в его душе на мгновение проснулось что-то человеческое.

— Расстреливать многократно невозможно, расстреливают один раз. Ежов бы вас расстрелял,— сказал новый нарком.

Я еще раз попыталась узнать, что сталось с Ежовым. Но Берия дал понять, что вопросы может задавать только он.

— Но и вы же меня расстреляете?

— Все будет зависеть от вашего дальнейшего поведения.

Сколько раз и скольким заключенным повторяли следователи эту затверженную фразу! Ясно было, что мое поведение не пришлось Берии по вкусу. Наконец он подвинул к себе поближе папку с моим «делом». Видно было, что он ознакомился с ним заранее. Пролистав бегло страницы, Берия произнес:

— Контрреволюционная организация молодежи, связанная через вас с Бухариным,— это чушь; и то, что Буллит после ареста Бухарина хотел вас переправить в Америку,— тоже фантазия. Вы знаете хотя бы, с кем разговаривали в камере? Прежде чем откровенничать, надо знать, кто ваш собеседник! В вашем то положении в особенности...

Казалось, нарком проявил прямо-таки отеческую заботливость. Пришлось признать, что, кем была моя сокамерница, я узнала в последнюю минуту, перед тем, как ее уводили из камеры, и рассказать, как она чуть не наградила меня пощечиной. И вовсе не потому, что она считала меня женой врага народа — контрреволюционера, подчеркнула я, ненависть ко мне проявилась потому, что она видела во мне жену большевика-революционера. По этой причине она так щедро налгала на меня.

— Не все налгала,— заметил Берия,— Свердлова Андрея Яковлевича знали?

Я поняла, что Андрей Свердлов по доносам моей сокамерницы упоминается в «деле» как член контрреволюционной организации молодежи.

— Знала,— поторопилась ответить я,— но из этого вовсе не следует, что Свердлов был в контрреволюционной организации молодежи,— вы же сами сказали, что организация эта — чушь!

— Я высказал свое мнение только по отношению к вам, это вовсе не означает, что у нас вообще не имеется контрреволюционных организаций молодежи. Почему вы так защищаете Свердлова? Он что, влюблен в вас был?

— Защищаю потому, что убеждена, что к контрреволюции отношения он иметь не мог. Что касается любви, если вас так интересует этот вопрос,— спросите у Свердлова. Он мне в любви не объяснялся.

Берия вынул приложенные к «делу» стихи, записанные чужой рукой. Единственный человек, который их слышал, опять-таки была моя сокамерница.

— А вы, оказывается, Анна Юрьевна, стихи сочиняете, и, я бы даже сказал, неплохо, это кто вас научил, Бухарин или Ларин? — И, не дождавшись моего ответа, он процитировал:

Он был многими любимый,
Но и знал больших врагов,
Потому что он, гонимый,
Мысли не любил оков.

И что же вы хотели сказать этими строками?

— То, что вы прочли, никакого тайного смысла в них нет.

— Вредные мысли Бухарина мы всегда пресекали.

«Вредные мысли Бухарина,— подумала я,— это еще не самое страшное». У меня поднялось настроение, это же еще не вредительство, не шпионаж и террор, не связь с фашистской разведкой.

— А ворон, этот ваш ворон,— он кто такой? — повысив голос, спросил нарком и прочел строки из другого моего стихотворения:

Черный ворон, злой, коварный,
Сердце, мозг его клевал;
Кровь сочилась алой каплей,
Ворон жил, на все плевал!
Ворон трупами питался,
Раскормился— все не сыт!
И разнес он по России
Страх и рабство, гнет и стыд!

— Кто же этот ворон? — снова спросил Берия.

— Ворон есть ворон! — крикнула я, решив, что ни в какие объяснения пускаться не буду.— Это кошмарное, все повторяющееся видение, мучившее меня в камере, что можно понять из стихотворения.

— Не только это можно понять,— заметил Берия.

Волнение мое все нарастало. Однако от дальнейших объяснений по поводу приведенных выше строк избавил меня Кобулов. Да и Берия, по-видимому, не так уж и был заинтересован в том, чтобы ставить точки над «i».

Кобулов вошел в кабинет с бутербродами и фруктами, и Берия неожиданно переменил тон. Даже в той обстановке, возможно, взяло верх кавказское гостеприимство или же иные соображения — понять не могу.

— Прервем разговор, Анна Юрьевна.— И он подвинул ко мне бутерброды, чай и вазу с апельсинами и виноградом. От угощения я отказалась.

— Не будете есть? Почему же не будете? А я хотел вместе с вами чай пить. Если вы не желаете есть, я не буду с вами разговаривать...

Последние слова привели меня в неописуемое удивление.

— Следовательно, нет особой нужды в разговоре со мной. Вы, Лаврентий Павлович, великолепно принимали Куйбышева, тогда я сидела с вами за одним столом и мы вместе обедали, а теперь не те обстоятельства...

— Почему только Куйбышева? А разве Ларина я принимал плохо? Вы, очевидно, забыли.

— Я ничего не забыла, хоть это и было десять лет тому назад, помню и тост, произнесенный вами за обеденным столом: «Выпьем за здоровье этой девочки, пусть живет она долго и счастливо!» Хорошие пожелания были, увы, не сбылись они!

— Она еще и дочь Ларина? — с презрением вдруг произнес Кобулов, пораженный моим компрометирующим родством.

— Так это же не тот Ларин [1], это Юрий Ларин, оригинальнейший человек был, одаренный, а какой полет фантазии!.. (После того как Ленин на XI съезде

---

[1] Кобулов, очевидно, имел в виду Виталия Ларина — секретаря Ростовского обкома, осужденного и расстрелянного по приговору закрытого суда вместе с Енукидзе и Караханом в конце 1937 г. Карахан — заместитель наркома иностранных дел при Литвинове.

партии высказал свое мнение о фантазии Ларина, при упоминании его имени обычно вспоминали его, как считал Ленин, непомерную фантазию.) — Я его очень уважал. Мы его почетно на Красной площади похоронили. (Будто к похоронам Ларина Берия имел какое-либо отношение.)

Возможно, такой характеристикой Ларина Берия думал завоевать мое расположение для того, чтобы более убедительным показалось его враждебное отношение к Бухарину.

— Хорошо, что Ларин вовремя умер, если бы этого не случилось, он погиб бы точно так же, как его товарищи, и вы бы не имели возможности тепло его вспоминать.

— Зачем же так плохо думать об отце, товарищ Ларин был на редкость предакным членом партии...

— А другие погибшие большевики и Н. И. разве были менее преданными членами партии, чем Ларин?

И тут-то наступил роковой момент.

— Это теперь, после процесса, вы продолжаете считать, что Бухарин был предан партии? — повысив голос, произнес Берия.— Он враг народа! Он предатель! Главарь правотроцкистского блока! А что собой представлял этот блок, вы знаете. Вы же имели в лагере возможность знакомиться с процессом по газетам.

Вот что скрывалось под маской фальшивой любезности — ложь, лицемерие! Поплыл под ногами пол, потемнело в глазах, вместо лица Берии я увидела перед собой серую аморфную маску. С той минуты я почувствовала такую же ненависть к «новому наркому», какую питала к предыдущему. Берия всматривался в меня, очевидно, оценивая эффект, произведенный его мерзкими словами.

Я отвернулась, чтобы избавиться от этого пристального взгляда. Слева от меня было зашторенное окно. Казалось мне или же на самом деле оттуда доносился городской шум — гудки автомобилей, громыхание трамваев. Мне представилась Театральная площадь, названная площадью Свердлова. И «Метрополь» с врубелевской мозаикой на фасаде, с маленькими башенками-мачтами на крыше; «Метрополь», похожий на огромный корабль, навечно причаливший к этой площади,— дом, в котором я выросла, была счастлива. Оно было совсем рядом, это теперь недосягаемое для меня здание. Только спуститься бы вниз мимо Китайгородской стены и памятника первопечатнику Ивану Федорову, пройти по узкому тротуару, где в начале двадцатых можно было увидеть китайцев с длинными жгуче-черными косами, в синих балахонах, надетых поверх брюк, торгующих самодельными игрушками, бумажными сотообразными шарами, небольшими мячиками, прыгающими на тонкой резиночке. А наискосок от «Метрополя» — то зловещее здание с колоннами, где вершились суды неправедные, позорные!

По ходу допроса (если мой разговор с Берией можно назвать допросом) напряжение мое нарастало. И наступил момент, когда я громко разрыдалась.

— Вы всегда такой плаксой были? — спросил Берия и подвинул еще ближе ко мне стакан с чаем. Я демонстративно отодвинула его.— Замечательный чай, напрасно отказываетесь, Анна Юрьевна, товарищ Ларин немало усилий приложил для организации производства чая у нас на Кавказе. Это тот самый чай...

После страшного заявления Берии о Н. И. я не смогла проронить ни слова. Что же меня так сразило? Казалось бы, предатель, враг народа, изменник Родины и другие подобные эпитеты, так часто повторяемые во всеуслышание по отношению к известным политическим деятелям — борцам за Октябрьскую революцию и не столь громогласно по отношению к миллионам арестованных — безвестных, столь прочно вошли в лексикон нашей страны, что даже восприятие этих слов несколько притупилось. Тем не менее, когда их произнес Берия, меня охватило негодование. Может, оттого, что некоторые высказывания наркома были вполне разумны и даже человечны. Он, например, отмел многие необоснованные обвинения, выдвинутые против меня в Новосибирске. Его замечание: «Прежде чем разговаривать, надо знать, кто твой собеседник», в моем понимании означало: то, о чем я говорила, Берия считал вполне естественной

реакцией на происшедшее, лишь не одобрял, с кем я делилась, ибо это ухудшило мое положение. Наконец, возможно, наше давнее знакомство посеяло во мне зерно надежды, что Берия пощадит меня хотя бы тем, что по крайней мере в моем присутствии не назовет Н. И. предателем.

Все то, что я предполагала сказать Ежову, услышал от меня Берия.

Я заявила, что нельзя от меня требовать, чтобы я поверила в то, во что он сам не верит. Сказала, что мне представляется совершенно невероятным, чтобы подавляющая часть большевиков изменила своим идеалам, преследуя цель реставрации капитализма в Советском Союзе, капитализма, против которого они боролись всю свою сознательную жизнь. Вот главное.

Это я смогла бы заявить и не будучи женой Бухарина. Но, зная обвиняемых, присутствовав при многих событиях, я смогла уловить в показаниях вымыслы и фальсификацию.

— Интересно, интересно, что же такое вам удалось заметить? — спросил нарком.

Я привела несколько примеров, на которые обратила внимание, слушая в лагере газетные отчеты о процессе. На допросе бывший секретарь ЦК Узбекистана Акмаль Икрамов показал, что в 1935 году он встретился с Бухариным в неизвестной мне квартире на Зубовском бульваре для ведения контрреволюционных разговоров. И что вместе с ними, Бухариным и Икрамовым, были там их жены. Между тем я никогда в той квартире не была.

Второй пример еще больше убедил меня, что процесс есть не что иное, как инсценировка: Икрамов показал на процессе, что на VIII съезде Советов, принимавшем так называемую Сталинскую Конституцию, он встретил Бухарина и там, в отсутствие посторонних, на лестнице (для большей убедительности режиссеры-постановщики точное место встречи бедняге Икрамову подсказали), они вели разговоры конспиративного характера, и Бухарин якобы сказал Икрамову, что если в скором времени интервенции не произойдет (разумеется, со стороны фашистской Германии.— А. Л.), то их, вредителей и диверсантов, всех переловят (цитирую по памяти).

В мою задачу не входило доказывать Берии, что ни Икрамов, ни Бухарин подобных разговоров вести не могли — это относится к моему основному доводу. Но дело в том, что Н. И. на VIII съезде Советов вообще не был. Он не счел возможным присутствовать на съезде, несмотря на то, что входил в конституционную комиссию, потому что тогда, в декабре 1936 г., во время съезда Советов, был уже под следствием, человеком отверженным, из квартиры никуда не выходил, и мы вместе, сидя дома, слушали по радио доклад Сталина.

Далее я рассказала Берии о Париже. Он слушал меня с большим вниманием. Объяснила цель командировки Н. И., сообщила, что присутствовала при переговорах между Бухариным, остальными членами комиссии по покупке архива Маркса и меньшевиком-эмигрантом Б. И. Николаевским. Рассказала, какое ужасающее впечатление произвело на меня лживое заявление Бухарина о том, что Николаевский якобы был посвящен в подпольные, заговорщицкие дела право-троцкистского блока и что Н. И., прикрываясь командировкой, вел разговоры о заговоре и даже просил поддержки II Интернационала на случай провала. Между тем я свидетель того, что переговоры с Николаевским носили деловой характер, связанный только с командировкой. Лишь одна беседа имела и политический оттенок, однако Бухарин разговаривал с Николаевским как его идеологический противник.

Бухарин заявил на процессе, будто бы связь между право-троцкистским блоком и меньшевистским центром за границей осуществлялась Рыковым через Николаевского, что вынужденно подтверждал Рыков, о чем упоминал и Ягода. Но, присутствуя при разговоре в Париже, я поняла, что никакой связи между Николаевским и Рыковым не было. Николаевский сам об этом говорил, поэтому он старался хоть что-нибудь узнать от Бухарина о своем брате Владимире Ивановиче, женатом на сестре Рыкова и жившем в Москве.

— Я убеждена, что Николаевский эти лживые заявления Бухарина и Рыко-

ва уже опроверг в печати,— заявила я Берии (как я узнала через много лет после своего освобождения, в этом я не ошиблась).

— Представители II Интернационала могут опровергать это из конспиративных соображений,— заметил Берия.

И я узнала в его словах знакомый сталинский почерк.

— Может быть, хватит? — спросила я нового наркома.

— Нет, нет, продолжайте, интересно, как в вашем уме все это преломляется...

— Я понимаю все так же, как понял бы любой человек на моем месте.

Я сослалась еще на историю с показаниями Яковенко.

Василий Григорьевич Яковенко, сибиряк, из крестьян, руководил партизанским движением против Колчака и этим прославился. Незадолго до своего ареста Бухарин получил показания уже арестованного Яковенко. Во время следствия тот показал, что встретил Бухарина в Серебряном бору, на даче у Ларина, и что Бухарин якобы поручил ему выехать в Сибирь для организации кулацких восстаний с целью отторжения Сибири от Советского Союза. В этих показаниях лишь одно было правдой. Бухарин действительно случайно встретил Яковенко на даче у Ларина в Серебряном бору при следующих обстоятельствах: Н. И., отец и я сидели на скамейке возле забора. Мы заметили, как по дорожке мимо дачи шел Василий Григорьевич Яковенко, осунувшийся и похудевший, непохожий на себя. Отец знал его близко, Н. И.— отдаленно. Раньше это был здоровый, прямо-таки могучий детина. Крепкий, высокий, красивый сибиряк. И вдруг мы увидели его больного, немощного, опирающегося на палку. Оказалось, у него обнаружили язву желудка в запущенном состоянии, и он должен был лечь в больницу. Отец пригласил Яковенко зайти и посидеть с нами. Его мучили боли, и он сидел недолго. Речь шла только о состоянии его здоровья и о видах на урожай.

— Ну и какие же были виды? — иронически спросил Берия, давая понять, что не очень-то верит моему рассказу.

— Не помню, какие были «виды», в данном случае это не представляет интереса.

Меня потрясли не только сами клеветнические показания Яковенко, но и то, что до ареста Н. И. был ими возмущен, читал мне их вслух, спрашивал, припоминаю ли я этот эпизод, а на процессе подтвердил эти показания, указал и место встречи — Серебряный бор, только дачи Ларина не упомянул, очевидно, чтобы не затрагивать его имени.

Я волновалась, понимала, что такими свидетельствами затягиваю петлю на собственной шее, но после того, как Берия назвал Н. И. предателем, остановиться я была не в силах. Все же я сдержалась и умолчала о том, как я была потрясена, когда услышала показание Н. И. на процессе, будто бы он в среде так называемых заговорщиков называл М. Н. Тухачевского потенциальным Наполеончиком. Между тем со слов Н. И. мне известно было с давних пор, что это Сталин в разговоре с Бухариным так называл Тухачевского, а Н. И. пришлось убеждать его, что Тухачевский вовсе не рвется к власти. А ведь по этому эпизоду можно судить, что в составлении сценария процесса Сталин принимал непосредственное участие. Ибо никто другой не смог бы вложить в уста Бухарина принадлежащие Сталину слова.

Я не сказала Берии о том, какое удивление у меня вызвало вынужденное признание Бухарина в том, что он якобы посылал своего бывшего ученика Александра Слепкова на Северный Кавказ для организации там кулацких восстаний. А мне хорошо известно было, что ученики Н. И., в том числе и Слепков, были направлены на периферию по указанию Сталина в целях изоляции Бухарина, чем Н. И. был очень опечален.

Однако еще об одном существенном факте, опровергающем процессы, я рассказала. Я была свидетелем разговора Радека с Бухариным незадолго до ареста Радека. Разговаривали они наедине. Но я находилась в смежной комнате при открытых дверях и слышала, как Радек заверял Бухарина, что к заговору против Сталина и другим преступлениям он не причастен. Однако после своего ареста — на предварительном следствии и на процессе — Радек признавался в ужасающих преступлениях и оклеветал Бухарина.

— Из разговора Радека с Бухариным,— сказала я Берии,— можно заключить лишь следующее: или Радек сам имел отношение к контрреволюционной деятельности и дал клеветнические показания против Бухарина (такой вариант я сама категорически исключала, но для меня важно было логически доказать непричастность Н. И. к преступлениям), или же оба они невиновны. Иного вывода сделать невозможно. Между двумя соучастниками преступлений разговор, свидетелем которого я оказалась, не мог иметь места.

Я предполагала, что сразила Берию, последним рассказанным эпизодом в особенности. Но он равнодушно посмотрел на меня и спокойно произнес:

— Ваша аргументация неубедительна, Анна Юрьевна. Приведенные вами рассуждения, основанные на якобы известных вам фактах, требуют свидетельских подтверждений. С какой стати я должен верить вам, что Радек действительно наедине с Бухариным опровергал свою причастность к преступлениям, когда и они оба, и другие обвиняемые на процессах сами признавались в совершенных ими злодеяниях против советского государства? Где гарантия, что все, о чем вы мне только что рассказали, не есть ваше собственное измышление?

Конечно же, Берия великолепно понимал, что все это отнюдь не плод моей фантазии. Он слушал меня с неослабевающим вниманием. Однако его демагогическое возражение застало меня врасплох. Свидетелей найти было невозможно. Но скоро я собралась с мыслями.

— Я не нуждаюсь в свидетелях,— возразила я наркому.— Вы выразили удивление, даже возмущение, что и после процесса я не верю в причастность Н. И. к преступлениям, я показала, почему в это верить невозможно, и, с моей точки зрения, привела достаточно убедительные доводы. Если же вы не верите моим словам, то нет смысла со мной разговаривать.

— Смысл есть, если я разговариваю,— заметил Берия.— Чем же вы в таком случае объясняете признания обвиняемых, если вы в них не верите? Бухарин, очевидно, внушал вам, что показания достигаются пытками?

— Я имела возможность разговаривать с Н. И. до его ареста, показания против него он расценивал только как клеветнические, следовательно, они были вынужденными, вымученными. Н. И. строил различные предположения о методах, которыми достигаются такие показания, но и пыток не исключал. Какими методами вымогается клевета, вы знаете лучше, чем знал тогда Н. И.

— С врагами поступают, как с врагами — так, как с ними надо поступать!

— Мне думается, и от своих противников имеет смысл узнать правду, а раз методы вашего следствия приводят к клеветническим показаниям, они бессмысленны и по отношению к врагам.

Не могу припомнить, что на это ответил Берия.

Цель, ради которой он вел со мной разговор, была мне неясна. Был порыв спросить его об этом. Но, взглянув на его сумрачное в тот момент выражение лица (оно часто менялось), я воздержалась, предположив, что правды он мне все равно не скажет, а может, и потому, что боялась ответа.

К концу нашего разговора Берия задал мне несколько небезынтересных вопросов. Расскажу о том, что мне запомнилось. Он спрашивал, насколько был близок Максим Максимович Литвинов к Бухарину, бывал ли Литвинов у Бухарина. Я поняла, что ведется подкоп под Литвинова, не исключала, что и он арестован. Ответила, что никакой близости между ними не было, и Литвинов у Бухарина не бывал.

— Что же вы скажете, что они не знали друг друга, не были знакомы? — с усмешкой спросил нарком.

Сказать, что они не были знакомы, при всем желании я не могла.

— Ваш ответ очень неопределенный, расплывчатый. Вы, очевидно, руководствуетесь желанием оградить Литвинова от Бухарина?

— Мой ответ отражает действительное положение вещей: они были знакомы, но не были близки, иного я ничего сказать не могу.

Далее последовал вопрос, чрезвычайно меня удививший:

— Какие характеристики советским политическим деятелям давал Бухарин?

Показалось более чем странным, почему Берия заинтересовался этим через несколько месяцев после гибели Н. И. Мне пришлось ответить, что Н. И. специально на эту тему со мной не разговаривал, а так как он, Берия, сам заметил, что «расстреливают один раз, многократно расстреливать невозможно», то теперь, после гибели Н. И., этот вопрос потерял смысл. Берия не сразу отступил, но иного ответа от меня не дождался.

Затем вопрос, касающийся лично меня. Берия спросил, встречалась ли я с кем-нибудь в Москве перед высылкой в Астрахань. Я не сразу сказала правду — сначала ответила, что ни с кем не встречалась, но, не выдержав лжи, «созналась», изменив ответ.

— Я виделась с одним человеком, но не скажу, с кем, фамилии его не назову.

— Почему же? — заинтересовался Берия.

— Вы начнете его за это преследовать, а он в самые тяжелые для меня дни не оказался жалким трусом, как многие другие, а проявил ко мне максимум внимания и тепла, и я не хочу, чтобы он за это пострадал.

В ответ на мои слова раздался дружный смех Берии и Кобулова.

— Это Созыкин Николай Степанович, это он оказывал вам внимание? — иронически заметил Берия, покачивая головой.— Наивность какая!.. Вы встречались с ним в гостинице «Москва»?

Меня охватило такое сильное волнение, что я услышала биение своего сердца. В одно мгновение мне пришлось изменить отношение к человеку, который казался мне светлым лучом на фоне крушения моей жизни. Вспоминая его, я не раз думала: таких людей, как Коля Созыкин, немного. История с Созыкиным такова. Однажды — это было перед февральско-мартовским пленумом ЦК 1937 г.— позвонил по телефону мой бывший однокурсник, комсорг нашей группы Коля Созыкин. Он был направлен на учебу в Москву из Сталинграда и после окончания института вернулся туда на работу. Он сказал мне, что его перевели в плановый отдел вновь организованного наркомата оборонной промышленности, и пока не подыщут для него квартиру, он живет в гостинице «Москва». Я все приняла за чистую монету, Н. И. взял все под сомнение: «Кому так понадобился в наркомате оборонной промышленности недавний студент, специалист другого профиля, чтобы тащить его из Сталинграда в Москву, да еще преподнести гостиницу «Москва»? Похоже, что твой Созыкин — подставное лицо». Я в это не верила. Однако Н. И. не возражал против нашей встречи, хотя и предупреждал, чтобы я была крайне осторожна, не говорила лишнего. С августа 1936 г. по 27 февраля 1937 г. я неотлучно была возле Н. И.— лишь раз забегала к матери, и ему самому хотелось знать, что говорят по поводу происходящих событий. Мы оба были изолированы от внешнего мира.

До ареста Н. И. я встречалась с Созыкиным лишь раз. Мне казалось естественным, что при свидании со мной он интересовался Николаем Ивановичем, и разве я не могла не сказать ему, что Н. И. решительно отвергает свою виновность. Вот это-то и оказалось тем «лишним», о чем говорить в то время было опасно. После ареста Н. И. я снова встречалась с Созыкиным в гостинице «Москва». Кроме как об ужасающем февральско-мартовском пленуме я не могла ни о чем ни думать, ни говорить. Созыкин старался меня успокоить: разберутся, мол. Он покупал моему ребенку игрушки, конфеты.

— Вы его пожалели, Анна Юрьевна, а он вас не щадил, нет-нет, ничуть не жалел! Он отзывался о вас очень плохо.

— Мне безразлично, как он обо мне отзывался. Для меня важно то, что он не тот Созыкин, каким я его считала, и это мне больно. Плохого обо мне, с моей точки зрения, он ничего сказать не мог, если не налгал. Он знал с моих слов о ходе февральско-мартовского пленума и о поведении Бухарина на нем. Мог сообщать только об этом. Таких показаний обо мне имеется, очевидно, не одно. Одним больше, одним меньше — играет ли это роль? Вы считаете, я поступила

плохо, что рассказала о пленуме Созыкину, я же думаю — хорошо, потому что я рассказала ему правду о Н. И.[1]

— Так-то... всех вы жалеете,— заметил нарком.— Связи Литвинова с Бухариным вы тоже не хотите раскрыть...

— Я о связях Литвинова с Бухариным ничего не знаю. Как я понимаю, вас интересуют контрреволюционные связи, таких вообще между ними не могло быть. Какой смысл мне прикрывать Литвинова, он слишком крупная фигура, чтобы я могла повлиять на его судьбу.

— О Литвинове вы следователю будете рассказывать,— сказал Берия и неожиданно спросил: — Астрова знали? Астров во многом нам помог, и мы за это сохранили ему жизнь[2].

С Астровым я знакома не была, но знала, что он один из учеников Н. И.

— Астров, очевидно, клеветал на Бухарина и на своих товарищей — его учеников, какими средствами он был доведен до этого, мне неизвестно — я не Астров, и я вам не помощница!

— Да, да,— сказал Берия, ничуть не смущаясь,— дочь Ларина мало того что вышла замуж за врага народа, но еще и защищает его.

Я еле сдержалась, чтобы не нагрубить в ответ. Он видел, что упоминание о Ларине приводит меня в крайнее волнение. Возможно, садисту Берии как раз это и доставляло удовлетворение.

— При чем тут Ларин? Не вспоминайте его имени! Если бы я не была дочерью Ларина, я не была бы женой Бухарина. Вы это понимаете не хуже меня! Они были друзьями!

Берия испытующе смотрел на меня, нахмурив брови, и некоторое время молчал — меня трясло от волнения,— казалось, он что-то обдумывал и сам для себя что-то решал, наконец проговорил:

— Кого вы спасаете, Анна Юрьевна, ведь Н. И. уже нет,— он снова назвал Бухарина по имени и отчеству,— *теперь спасайте себя*!

— Спасаю свою чистую совесть, Лаврентий Павлович!

— Забудьте про совесть!— прокричал Берия.— Вы слишком много болтаете! Хотите жить — молчите о Бухарине. Не будете молчать — будет вот что,— и Берия приложил указательный палец правой руки к своему виску.— Так обещаете мне молчать?! — произнес он категорическим, властным тоном, глядя мне прямо в глаза, будто сам за меня уже дал это обещание. Казалось, в тот миг решалась моя жизнь: буду ли я дышать, будет ли биться мое сердце, и я обещала молчать. Кроме того, я поймала себя на мысли, что именно он, Берия, а не его «Хозяин», почему-то захотел сохранить мне жизнь, и это тоже в какой-то степени повлияло на мое решение.

Я вела себя достойно, а под конец не выдержала и сдалась. На душе стало мерзко от унизительного обещания.

Забегая вперед скажу, что свой обет я нарушила уже через день. Я написала Сталину даже не заявление, а маленькую записочку — всего несколько слов. Никак не могла решить, как к нему обратиться: «товарищ Сталин» было для меня непроизносимо, просто «Сталин» показалось грубым (будто он не заслужил этой грубости!), и я назвала его по имени и отчеству: «Иосиф Виссарионович! Через толстые стены этой тюрьмы смотрю вам в глаза прямо. Я не верю в этот чудовищный процесс. Зачем вам понадобилось губить Н. И., понять я не могу». Иных слов я не нашла. Подписалась двумя фамилиями, оставила листок с запиской на столике в боксе, и меня вновь завели в камеру. Не думаю, что моя записка дошла до Сталина, но до Берии она не могла не дойти. Зачем я ее написала? Очевидно, затем, чтобы после своего унизительного обещания наркому прийти в состояние душевного равновесия.

— Ну, пора кончать наш разговор,— сказал Берия.— Я надеюсь, теперь мы

---

[1] После своего освобождения я узнала, что Созыкин этот был не просто информатором, а сотрудником НКВД и, продвигаясь по службе, стал ближайшим помощником Берии. Одно время возглавлял Молдавское НКВД.

[2] В том, что жизнь Астрову была действительно сохранена, есть какая-то тайна. Возможно, что приняли во внимание его особые заслуги перед следственными органами. Несмотря на вынужденные клеветнические показания, другие ученики Н. И. — и не только ученики — были расстреляны.

чай выпьем, и фрукты вы будете есть? Чудесный виноград. Вы же давно не ели винограда.

Но от фруктов и чая я снова отказалась.

— От фруктов вы не отделаетесь,— сказал Берия и в бумажном пакете отправил фрукты с конвойным ко мне в камеру [1].

Как только дверь кабинета наркома за мной закрылась, я вздохнула с великим облегчением. Еще один тяжкий эпизод в круговороте тех драматических лет оказался позади.

Для меня очередной нарком НКВД стал уже не тем Берией, каким я воспринимала его в Грузии, но, пожалуй, еще и не тем извергом, каким он был в действительности, о чем я узнала в дальнейшем из многочисленных рассказов и воспоминаний людей, столкнувшихся с ним на следствии.

Этот безыдейный карьерист служил только Сталину, но Сталину-диктатору. Пошатнись же его власть, Берия всадил бы нож ему в спину. Берия не был сломлен Сталиным, он изначально был преступником. И возмездие пришло!

И вновь одиночество, полная оторванность от внешнего мира. Трудно передать душевное смятение, владевшее мною после разговора-допроса у Берии. Мое независимое поведение было продиктовано не каким-то особым мужеством. Чувство полной безысходности, как ни странно, помогало держаться достойно. Но мучили угрызения совести за обещание молчать о Бухарине. Молчать о том, что терзало душу! Не этим ли обещанием я купила себе жизнь? Впрочем, заставить меня смолкнуть навечно можно было более радикальным способом. И, повторяю, только короткое письмо, адресованное Сталину, избавило меня от презрения к себе.

Враждебные выпады Берии против Бухарина были явно неискренними и точно такой же была игра вокруг имени Ларина, противопоставление честного и преданного партии Ларина «предателю» Бухарину. Это казалось тем более нелепым, что, с точки зрения большевиков, политическая биография Бухарина была безупречней биографии Ларина.

Отец занимал особое место в душе моей, я очень многим ему обязана. Необычайная привязанность к нему известна была не только моим родным, но и его товарищам.

Как-то я прочла у Р. Роллана, что он избрал своим девизом слова Бетховена «Durch Leiden Freude» (через страдание радость). Не могу сказать, что эти слова стали моим девизом, но и меня временами охватывала, помимо моей воли, радость в страдании. Так это было, когда я сражалась со Сквирским и когда после подвального мрака я оказалась на лоне природы, и в особенности тогда, когда я думала об отце. Вспоминая его, я все время пыталась решить вопрос: кто первым был бы арестован — Бухарин или Ларин, если бы смерть не помогла отцу уйти из жизни вовремя, и кто из них первый дал бы клеветнические показания на другого. После того, что я пережила, удивляться таким мыслям не приходится. Оклеветал же Рыков Бухарина, а Бухарин Рыкова во время следствия после ареста и на процессе. Изучая процесс, я обнаружила, что Бухарин первым дал показания против Акмаля Икрамова. Для меня этого было более чем достаточно, чтобы понять, что процесс есть гнусный спектакль и что иное поведение подсудимых лежало за пределами человеческих возможностей. Но когда я думала о том, что отец не испил этой горькой чаши, наступала и моя минута просветления. Повезло же мне хоть в этом, с горькой иронией не раз говорила я себе.

Соратники Ларина, его ближайшие товарищи — те, кто хотел донести до следующих поколений рассказ об этом неординарном человеке, погибли во время террора. Один из них, трагически ушедший из жизни Георгий Ипполитович Ломов-Оппоков, незадолго до своего ареста сообщил мне, что заканчивает книгу «Ларин и ВСНХ». Но книга не увидела света и погибла вместе с ее автором. Бухарин

[1] Непонятным и удивительным показалось и то, что в первый год моего заключения в Москве,— а пробыла я там более двух лет,— мне были дважды переведены деньги внутренним переводом для пользования тюремным ларьком. Без распоряжения Берии вряд ли кто-либо осмелился это сделать.

тоже со временем собирался писать о Ларине. Так вместе с ними убита и память о моем отце.

Между тем Ларин был очень популярен в первые послереволюционные годы среди рабочего класса, студенческой молодежи и интеллигенции. Однажды на первомайской демонстрации я слышала, как пели такую частушку:

Нас учили в книгах
Мудростям Бухарина
И с утра до ночи
Заседать у Ларина.

Михаил Александрович Лурье стал Юрием Михайловичем Лариным в конспиративной переписке из Якутской ссылки. Он образовал отчество от своего имени и позаимствовал фамилию из пушкинского «Онегина», но не пожелал стать отцом Татьяны — Дмитрием, «смиренным грешником и господним рабом», избрал себе имя Юрий. Первая буква имени как бы приросла к его фамилии, и нередко друзья шутя называли его — товарищ Юларин. Он был сыном Александра Лурье — крупного инженера, специалиста по железнодорожному транспорту. Тот жил в Петербурге, вращался в высших сферах и, по слухам, дошедшим до Ларина, как ценный специалист, был близок ко двору Николая II.

Матерью Ларина была сестра создателя и издателя знаменитого энциклопедического словаря — Игнатия Наумовича Граната. Семья распалась при трагических обстоятельствах. Перенесенная во время беременности скарлатина привела к страшному осложнению: прогрессирующей атрофии мышц и к внутриутробному заражению ребенка. Александр Лурье покинул заболевшую жену еще до рождения сына и вскоре оформил развод.

Отец родился и вырос в Крыму, в Симферополе, жил в семье своей многодетной тетки — сестры матери Фридерики Наумовны Гранат, в замужестве Рабинович, под покровительством и при материальной поддержке Игнатия Наумовича Граната, который, кстати, помогал племяннику и во время репрессий со стороны царского правительства, и в эмиграции. После революции дядю и племянника связывала интеллектуальная дружба. Отца Ларин не знал. Видел его лишь однажды. Будучи уже известным революционером, он решился зайти к нему, чтобы познакомиться. Ларин назвался Михаилом Александровичем Лурье и попросил доложить о себе. Он вошел в большой кабинет и увидел сидящего за письменным столом человека, лицо которого исказилось ужасом. Сын с презрением посмотрел на отца и смог произнести лишь несколько слов: «Я ошибся, вы, очевидно, однофамилец того Лурье, которого я хотел повидать»,— и вышел из кабинета. Отец молчал и не пытался вернуть изувеченного болезнью сына.

Уже в 9—10 лет у ребенка стала заметно прогрессировать страшная болезнь. И. Н. Гранат организовал поездку племянника в Берлин для консультации у немецкой профессуры в надежде на излечение. Но и медицинские светила Германии не в силах были предотвратить наступавшую болезнь. Тем не менее М. Лурье с головой ушел в революционное движение, сначала в 1900 г. в Симферополе, затем в Одессе, где руководил студенческой социал-демократической организацией, пока не был выслан обратно в Симферополь под гласный надзор полиции. Там, подвергая себя невероятной опасности, он организовал Крымский Союз РСДРП, за что и был сослан по высочайшему повелению на 8 лет в Якутию. В 1904 г. бежал из ссылки и эмигрировал в Женеву, где примкнул к меньшевикам. В 1905 г. под влиянием событий 9 января возвратился в Петербург и включился в бурную революционную деятельность, но уже в мае 1905 г. Ларина посадили в Петропавловскую крепость. Октябрьская стачка 1905 г. освободила его из тюремной больницы. Находясь на нелегальном положении, он переезжает на Украину, где руководит Спилкой — организацией, объединявшей большевиков и меньшевиков. От Спилки делегируется на IV Стокгольмский (1906 г.), затем Лондонский (1907 г.) съезды РСДРП. На Украине, в Сквире, был дважды арестован, бежал и работал в Баку.

В 1912 г. он вновь эмигрировал, едва уцелев от пули при переходе границы. Там вошел в августовский блок, вместе с группой «впередовцев», группой Троцкого, бундовцами и др. В 1913 г. он возвращается в Россию, и вскоре следует

арест в Тифлисе во время лекции в рабочем клубе; из тифлисской Метехской тюрьмы Ларина переводят в Петербургскую. После годичного пребывания в тюрьме, признанный медицинской комиссией умирающим, он высылается за границу.

Война застает Ларина в Германии, и там он снова подвергается аресту, но как не подлежащего мобилизации в России его освобождают и высылают в Швецию. К 1912 г. усиливаются расхождения Ларина с меньшевистско-ликвидаторской группой, приведшие к открытому разрыву в начале мировой войны. Он занимает интернационалистскую позицию, использует все возможности легальной печати для агитации против войны и за социалистическую революцию.

Возвратясь из эмиграции сразу же после Февральской революции, он издает журнал «Интернационал», а на VI съезде РСДРП(б) в августе 1917 г. оформляет свою принадлежность к большевистской партии. Вместе с ним около тысячи рабочих крупнейшего района Петрограда — Василеостровского, где он вел партийную работу, объявили себя солидарными с Лариным и вступили в РСДРП(б). На VI съезде Ларин произнес речь, прерывавшуюся бурными аплодисментами. Он, в частности, сказал:

«Я пришел сюда по двум мотивам: во-первых, когда вы подвергаетесь травле, долг каждого честного интернационалиста быть с вами; во-вторых, нас отделяет от оборонцев и объединяет с вами не только взгляд на войну, но и то, что оборонцы стоят на почве приспособления к капиталистическому строю, тогда как мы стоим на почве социальной революции (бурные аплодисменты), день и час полного осуществления которой неизвестен».

Он призывает к созданию III Интернационала и заканчивает свою речь под возгласы «Да здравствует III Интернационал!».

Как член Исполкома Петроградского Совета он принимал деятельное участие в Октябрьской революции. Его статьи об экономике Германии, изданные позже книгой «Государственный капитализм в Германии военного времени», дали повод Ленину поручить ему заняться организацией хозяйства в разрушенной послереволюционной России. «Судьба послала мне счастье,— вспоминал Ларин,— стоять у колыбели советской экономики и политики вообще и ВСНХ в частности... 25 октября 1917 г. товарищ Ленин сказал мне: «Вы занимались вопросами организации германского хозяйства, синдикатами, трестами, банками — займитесь этим у нас». И я занялся».

Трудно вообразить себе, как мог человек, физически неполноценный с рождения, столь деятельно, мужественно пройти свой жизненный путь. Легко опознаваемый охранкой из-за болезни, как смог он вынести бесконечные преследования? И даже бежать из тюрем — бежать, если он с большим трудом передвигался. Конечно, помогали товарищи. Отец рассказывал мне, как из якутской ссылки его унесли в большой плетеной корзине, затем спрятали; как мальчишки-подростки в Сквире на Украине за гроши помогли перебраться через забор тюрьмы, а по другую сторону его подхватили друзья и некоторое время по очереди несли на руках. Он вспоминал, что во время поездки на Стокгольмский съезд пароход сел на мель и товарищ, спускаясь по веревочной лестнице в шлюпку, нес его на спине.

Наконец, приходилось удивляться, что Ларин столь плодотворно выступал как литератор (диктовать машинистке или же стенографистке он не любил, писал сам), если руки его были настолько слабы, что поднять телефонную трубку одной правой рукой, не помогая ей левой, он был не в состоянии. Писал, положив всю кисть правой руки на лист бумаги, и своеобразным, дрожащим движением выводил буквы. А ведь написанные Лариным книги, брошюры, газетные и журнальные статьи могли бы составить солидное собрание сочинений. Все было непросто для Ларина и достигалось упорной тренировкой. Возможно, мои слова покажутся некоторым преувеличением, поэтому я хочу воспользоваться свидетельством известного большевика В. В. Осинского, который так написал в статье, посвященной памяти Ю. Ларина:

«Это один из крупнейших, выдающихся и своеобразных наших работников, один из видных деятелей Октябрьского и послеоктябрьского периодов, человек редкой преданности рабочему классу и социалистической революции.

С 1917 по 1931 г. он неизменно вспоминается в одном и том же виде. Высокий человек, у которого странная болезнь поразила половину характерного, оригинального и привлекательного лица; не без труда управлялся он со своими лицевыми мускулами и ртом; а речь его в то же время жива, остроумна, увлекательна, так что почти каждое собрание продлевает ему время. С добродушной хитростью он всегда умел этого добиться, и собрание не было на него за это в претензии.

Он не был в состоянии самостоятельно надеть на себя пальто, совсем не действовала одна из рук — и странным, угловатым, своеобразно ловким движением наворачивал на худую шею шарф, передвигал перед собою бумаги, подносил стакан с водою ко рту. Так же своеобразно он передвигался, выбрасывая геометрическими линиями ноги и помощницу-палку — умный и исключительно живой человек, умевший максимально преодолевать все внешние путы, наложенные на него природой, никак не желавший сдаваться перед ними на капитуляцию.

Каждый год житья на свете был для него победой и завоеванием: бодрый ум и живая революционная воля одолевали физические немощи, словно олицетворяя великую жизненную силу того движения, частью которого он был...

От Юрия Ларина, от Михаила Александровича, осталась только горсть пепла. Но тот, кто сумел прочертить столь ярко свой силуэт — живой и незабываемый — на фоне этой грандиозной эпохи, все равно не умрет в нашей памяти».

Истоки нашей жизни, моей и Ларина, удивительно схожи. В моем детстве, лучше сказать, младенчестве, произошла та же беда. Мать, давшая мне жизнь, скончалась от скоротечной чахотки, когда мне было около года. Отец покинул ее, когда мне не исполнилось трех месяцев. Этой тайны я могла бы вовсе не знать, но, чтобы избавить меня от страха унаследовать страшную болезнь, родные со временем мне об этом рассказали. Ларин был женат на сестре моей матери, и Ларины заменили мне родителей, так я их всегда и называла.

Я родилась в 1914 г. Меня и моих родителей разлучили война и эмиграция. До марта 1918 г. я жила у дедушки, отца матери, в Белоруссии. Дед был адвокатом. Жизнь его сложилась удивительно несчастливо: еще до моего рождения он потерял тридцатипятилетнюю жену (мою бабушку), умершую от туберкулеза легких и оставившую ему шестерых детей, похоронил двадцатидвухлетнюю дочь — мою мать, единственного сына, умершего немногим за двадцать все от той же болезни, и едва не похоронил другую дочь, ставшую мне матерью. Она лежала с кровохарканьем в Италии, в эмиграции. Мои легкие также были тронуты палочкой Коха. Дедушка страдальчески смотрел на меня и посылал гулять в сосновый бор: «Иди, моя детка, в сосенник»...

Мы жили в небольшом городке Горы-Горки, где и в то время находилась известная Горецкая сельскохозяйственная академия. Академия располагалась в большом живописном парке с многовековыми разросшимися липами, березовыми рощами, пестрыми цветочными клумбами в центре и маленькой, журчащей речушкой на краю. А неподалеку, на косогоре, возвышалась церквушка, как мне представляется теперь, всегда сверкающая в солнечных лучах. В детстве парк тот казался мне сказочно прекрасным.

Я помню себя удивительно рано. На четвертом году жизни я стала интересоваться своими родителями: «Где папа, где мама?» — спрашивала я дедушку и бабушку (дед был женат вторично, но с бабушкой мне повезло, это был человек на редкость доброй души и очень меня любивший). Мне хорошо запомнился ответ деда: «Твои родители — социал-демократы, они предпочитают сидеть по тюрьмам, бежать от ареста за границу, а не сидеть возле тебя и варить тебе кашу». Я не поняла, кто такие социал-демократы, но тюрьма была невдалеке от дома, где мы жили, дед называл ее острогом и рассказывал, что там сидят воры и бандиты. Я была подавлена сообщением дедушки и не решалась больше спрашивать о родителях.

Как-то я заметила, что в нашем саду срублены кусты сирени, жасмина и роз. Рядом с домом была расквартирована воинская часть. Стояла зима, дров

не было, и дедушка заподозрил, что солдаты срубили кусты на топливо. И когда я, взволнованная, прибежала к деду спросить, кто поломал цветы, он ответил: «Это твои большевистские социал-демократы поломали цветы». И я пришла в ужас, что мои родители — большевистские социал-демократы. Дед, по-моему, не очень приветствовал революцию и был в обиде на дочь. Когда я стала старше и приехала к нему из Москвы в гости, он произнес слова, сильно задевшие меня: «Лена моталась по тюрьмам и, такая красавица, вышла замуж за калеку». Хорошо, что он не дожил до той поры, когда Лена в течение долгих лет моталась по тюрьмам при Советской власти...

После Февральской революции, когда мать возвратилась вместе с отцом из эмиграции в Петроград, она приехала и ко мне в Горки. Мама мне понравилась, она была красивая, стройная, с большими серыми добрыми глазами, с длинными пушистыми ресницами. И я решила, что социал-демократы вовсе не так уж плохи. Помню, как, расставаясь со мной, она целовала меня и плакала, но забрать с собой в Петроград не решилась. Там было тревожно и голодно. Приехавшие из эмиграции революционеры жили в гостинице «Астория». Возвратясь из Горок в Петроград, с пирогами, испеченными бабушкой, мать застала у Ларина в их номере «Астории» Троцкого. Только она вошла, явилась полиция — арестовали Троцкого. Так его и увели в тюрьму с бабушкиными пирогами.

С отцом я познакомилась сначала заочно. Из Петрограда я получала от него письма-сказки, в стихах и прозой. Он подписывался всегда: твой папа-Мика. Микой называла его в детстве шепелявая няня, и это имя закрепилось за ним. Содержания тех сказок я не могу припомнить. Но одно письмо сохранилось, и я смогла прочесть сказку, когда стала старше. Это была сказка про мышиное общество. Меньшая часть его были мыши-эксплуататоры (так он их и называл, очевидно, чтобы я привыкла к марксистской терминологии) — мыши разжиревшие, ничего не делавшие, лежавшие на боку; большую часть мышиного общества составляли мыши-эксплуатируемые — худые работяги. Они подносили жирным мышам чистую солому для подстилки и еду. Так отец преподнес мне первый урок марксизма. К тому же вдали от меня только так он мог проявлять свое отцовство.

В марте 1918 г., когда столица переехала из Петрограда в Москву, мать приехала за мной, и я познакомилась с отцом. И тут-то произошло ужасное. Я посмотрела на него и испугалась. Увидела, как он ходит, выбрасывая ноги вперед, как работает руками и — в сочетании с рассказом дедушки о том, что большевистские социал-демократы поломали цветы,— большевик-отец показался мне особенно страшным. От ужаса я залезла под диван, зарыдала, закричала: «Хочу к дедушке!» и ни за что не соглашалась вылезать. Мать выгнала меня из-под дивана палкой, и я увидела перед собой покрасневшего, взволнованного отца. К вечеру он меня покорил, и мы стали друзьями. Но, несмотря на то, что свой безобразный поступок я совершила на пятом году жизни, всю жизнь он мучил меня. Мне казалось, я причинила отцу такую боль, что забыть этот эпизод он не смог, несмотря на мою большую любовь и заботу о нем все последующие годы. Я помогала ему всем, чем могла: одевала, раздевала, провожала на заседания. Это была особая привязанность, быть может, сравнимая с любовью матери к своему больному ребенку. Постепенно я привыкла к его внешности, и лицо его стало казаться мне даже красивым. Я ловила себя на мысли, что, возможно, моя любовь к отцу украшает его лицо. Когда Луначарский во время похорон, прощаясь с Лариным, произнес слова: «Эти прекрасные ларинские глаза, казалось, и во тьме светятся»,— я поняла, что лицо его было действительно прекрасно.

Когда я подросла, стала понимать, что отец — человек яркой, оригинальной индивидуальности, смелой мысли и смелых решений, богато одаренный. Партийные дисциплинарные рамки давались ему нелегко [1].

---

[1] Сразу после Октябрьской революции он выступил на заседании ЦИКа с требованием свободы печати, «поскольку она не призывает к погромам и мятежам». В ноябре 1917 г. вместе с Каменевым, Милютиным, Зиновьевым, Рыковым, Ногиным и др. большевиками стоял за образование коалиционного правительства. Был сторонником большей самостоятельности профсоюзов. Подписал «буферную» платформу вместе с Троцким, Бухариным, а также с Дзержинским и будущим членом Политбюро А. А. Андреевым, о чем вспоминать у нас не принято. Все это мне стало известно и по историческим материалам, и по беседам между отцом и его товарищами, которые я слышала позже.

Его особенно интенсивная деятельность в период гражданской войны и военного коммунизма проходила у меня на глазах. В то время мы жили в триста пятом номере гостиницы «Метрополь» — Второго дома Советов. И хотя отец часто выезжал то в ВСНХ, то во ВЦИК, то в Совнарком, его кабинет, стены которого были сплошь уставлены книжными шкафами, был в квартире, а рядом, в соседней комнате, расположился секретариат. Все было сделано для облегчения работы Ларина. Он был членом Президиума ВСНХ и Госплана, ведал отделом законодательных предположений при комиссариате труда, руководил экономическим отделом ВЦИК. Весной 1918 г. был введен в состав делегации, которая составляла дополнительные к мирному договору экономические и правовые соглашения и т. д. Президиум ВСНХ часто заседал у него в домашнем кабинете. Работа шла интенсивная. Вырабатывался план налаживания экономической жизни страны. Верхняя одежда приходивших на заседания не умещалась на вешалке и лежала горой на полу, в прихожей.

Впоследствии Г. И. Ломов вспоминал: «Кабинет Ларина представлял собой комнату, битком набитую народом, делегациями, в большинстве рабочих, пробиравшихся отовсюду. Большую часть вопросов мы решали вместе с ними, причем в решении этих вопросов на первых порах очень часто принимали участие и товарищи, которые ждали решения по своим вопросам».

Я в то время воспринимала только внешнюю обстановку, в которой жила. Уже позже по рассказам отца я узнала, что в его кабинете заседал Комитет хозяйственной политики, председателем, затем заместителем председателя которого он был, комиссия, занимавшаяся планированием и распределением материальных ресурсов, Совет по перевозкам, в обязанность которого входила, в частности, организация транспорта для подвоза войск к фронтам, комиссия по установлению численности армии для снабжения ее оружием и боеприпасами. В работе последних двух комиссий принимал участие Тухачевский. Работали без передышки. Михаил Николаевич оставался у нас ночевать. Страна была настолько нищая, что, по словам отца, они вместе с Тухачевским подсчитывали возможное поступление лаптей из деревни, чтобы обуть армию, сапог не хватало [1].

В кабинете Ларина, кроме многочисленных рабочих делегаций из провинции, бывали одновременно или поочередно все члены Президиума ВСНХ и другие экономисты. Чаще всего можно было видеть А. И. Рыкова, В. П. Милютина, В. В. Осинского, Е. А. Преображенского, В. М. Смирнова, П. Г. Смидовича, Л. Н. Крицмана, Г. М. Кржижановского, Н. И. Бухарина, В. Я. Чубаря, А. В. Шотмана, Я. Э. Рудзутака, Г. И. Ломова — экономистов-организаторов и экономистов-теоретиков, цвет экономической мысли страны того времени.

Приезжал Ленин. Для меня в ту пору он был равным среди равных. Я смутно помню его. Не стану описывать, как он картавил, прищуривал глаз, говорил «архиважно» и т. д., как это делают многие в своих воспоминаниях. Расскажу лишь один забавный эпизод. Как-то я заглянула в кабинет отца, только-только ушел Бухарин. Заговорили о нем. Я не смогла понять, что Ленин сказал о Бухарине, но уловила одну фразу: «Бухарин — золотое дитя революции». Это высказывание Ленина о Бухарине стало хорошо известно в партийных кругах, повторя-

---

[1] Они симпатизировали друг другу, Ларин и Тухачевский. Этим я объясняю, что в своей речи на XV съезде ВКП(б) Ларин огласил воспоминания непримиримого противника Советской России, маршала Пилсудского, о походе армии Тухачевского на Варшаву в 1920 г. И то, что было известно узкому кругу, стало достоянием гласности. Чем бы ни закончился поход на Варшаву и как бы его ни расценивали, свидетельство Пилсудского позволяет еще ярче подчеркнуть, какую утрату понесла наша армия накануне войны с фашизмом: «Особенно же нельзя отнести к числу средних величин и посредственностей главнокомандующего, который имеет достаточно сил и энергии, воли и умения, чтобы проводить подобную военную работу. С таким маршем его будет поздравлять каждый истории, каждый исследователь... На военных такой марш производил впечатление какого-то ужасного калейдоскопа, где каждый день складывается какая-то новая обстановка, с новым названием географических пунктов, перемешанных с номерами полков и дивизий, с новым распределением времени, с новым расчетом пространства.

Под впечатлением этой надвигающейся грозной тучи шаталось государство, колебались характеры, мякли сердца солдат... Государство трещало, усилия войск раздроблялись в попытках контратак, а работа командования с каждым днем становилась морально труднее и тяжелее. Этот процесс разложения сил, этот процесс ломки нашей воли был, по моему мнению, самым большим триумфом, который я могу приписать г-ну Тухачевскому».

лось не раз в беседах с товарищами и, естественно, воспринималось ими как образное выражение. Я же пришла от сказанного Лениным в полное замешательство, так как поняла все буквально. «Неправда,— сказала я,— Бухарин не из золота сделан, он же живой!» «Конечно, живой,— ответил Ленин.— Я так выразился потому, что он рыжий».

Трудно перечислить всех тех, кто побывал у Ларина. Мне вспоминаются и Д. Б. Рязанов, и Я. Э. Стэн, и на редкость скромный и почему-то всегда угрюмый Д. Е. Сулимов — Председатель Совнаркома РСФСР, который жаловался, что не может попасть к Сталину на прием, и Х. Г. Раковский, и Д. Бедный, и Вс. Мейерхольд. Всеволод Эмильевич как-то сказал Ларину: «Я люблю вас, Михаил Александрович, потому что вы в политике проявляете тот же характер, что я в искусстве». В середине, возможно, к концу двадцатых годов, когда в Узбекистане проводилась земельно-водная реформа, часто бывал у Ларина Акмаль Икрамов — авторитетный и любимый руководитель республики, еще чаще бывала его милая умная жена Женя Зелькина — зам. наркомзема Узбекистана, так как в комиссию, разрабатывавшую земельно-водную реформу, был включен Ларин. Н. Н. Суханова и народовольца А. Н. Морозова я уже вспоминала. Завсегдатаем в кабинете Ларина была Елена Феликсовна Усиевич [1], дочь известного революционера Феликса Коно. Она вместе со своим мужем Г. А. Усиевичем [2] возвратилась одновременно с Лениным из эмиграции, знала Ленина довольно близко. Удивительно энергичным, жизнерадостным, остроумным и талантливым человеком была Елена Феликсовна. Вспоминается, как однажды вскоре после смерти Ленина она смотрела какой-то спектакль, где Ленин был показан в немой сцене. Потеря была еще настолько близка, что появление актера в роли Ленина произвело на нее удручающее впечатление. Из театра она пришла к нам и воскликнула: «Подождите, подождите, Михаил Александрович, скоро оперу поставят, и Ленин будет петь «Промедление смерти подобно!», а потом он затанцует в балете» — и она затанцевала, высоко подымая ноги и выбрасывая правую руку со сжатым кулаком то вправо, то влево.

Итак, вокруг Ларина концентрировалось огромное количество людей ярких, талантливых, потому что сам он был человеком удивительно общительным, интересным собеседником.

Противоречие между потенциальной энергией, заложенное в его одаренной, жизнерадостной натуре, и энергией кинетической, кинетической в буквальном смысле слова,—ограниченной возможности двигаться, сформировало характер Ларина. Ущербность физическая привела к «перепроизводству» (если так можно выразиться) энергии творческой. Закон сохранения энергии на примере Ларина продемонстрирован вполне наглядно.

По своему умственному складу, как справедливо заметил Осинский, Ларин— экономист-изобретатель, что, как он полагал, особенно сложно, ибо эта область затрагивает отношения между людьми. Поэтому в огромном потоке его предложений, проектов бывали и неосуществимые, не оправдавшие себя. Он был мечтателем, прожектером в лучшем смысле слова. Высказывание Ленина о ларинской фантазии, хотя и носит гиперболический характер, но, несомненно, не лишено оснований. «Ларин... человек очень способный и обладает большой фантазией... Фантазия есть качество величайшей ценности, но у тов. Ларина ее маленький избыток. Например, я бы сказал так, что, если бы весь запас фантазии Ларина разделить поровну на все число членов РКП, тогда бы получилось очень хорошо» [3]. И хотя Ленин в пылу полемики, учитывая характер Ларина, рекомендовал не привлекать его к государственной деятельности, а использовать как лектора и журналиста, именно Ленин использовал, по его словам, «громадные знания» Ларина на работе государственного характера. Однако после выступления Ленина (о ларинской фантазии) штамп фантазера к нему пристал. Между тем бароном

[1] Усиевич Е. Ф., член РСДРП с 1915 г., после Октябрьской революции находилась на подпольной работе в гетмановской Украине. С 1922 г. в Москве, в ВЧК, затем в ВСНХ. Позднее на литературно-издательской работе. Известный литературный критик.

[2] Усиевич Григорий Александрович — революционер-большевик, убит белогвардейцами в 1918 г.

[3] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., том 45, стр. 125.

Мюнхгаузеном он не был, многие ларинские «фантазии» оплодотворяли экономическую жизнь страны.

В первые годы Советской власти Ларин написал бесчисленное количество декретов. По рассказам отца, им совместно с В. П. Милютиным был написан первый проект Декрета о земле [1]. Написан и подписан Лариным декрет о восьмичасовом рабочем дне. Его интеллектуальная продуктивность была необычна даже для здорового человека и поражала всех, кто с ним работал. Товарищи называли его часто «маэстро» или «наш уникум». Ларин оперировал многозначными числами в уме (кстати, после его смерти Институт мозга взял мозг Ларина для изучения). Забегая к отцу в кабинет, я не раз слышала выражение Ломова: «Маэстро, закиньте глазки!» Это означало, что Ларину предлагалось произвести экономический расчет в уме, при этом он действительно закидывал глаза вверх, недолго сосредоточенно думал, и ответ был готов. Человек вулканического творческого темперамента, он хотя и говорил о себе: «Бодливой корове бог рог не дает», однако «бодался» достаточно энергично. Работать с Лариным было нелегко, но тонко и умело работал с ним Председатель ВСНХ А. И. Рыков, отношения с которым до самой кончины Ларина оставались теплыми. Особый склад умственного характера Ларина, то, что я называю творческим «перепроизводством», зачастую приводил к конфликтам с Лениным, чем Ларин был опечален. Возможно, объяснялось это, кроме свойств его характера, также и тем, что слишком тяжкие путы наложила на него природа, как бы побуждая возмещать свою немощь свободным течением мысли. Он смело выступал против Ленина, если в чем-то был с ним не согласен. Однако «ссора» обычно кончалась тем, что Ленин вскоре звонил по телефону для примирения, вероятно, для того, чтобы не подорвать в Ларине творческую инициативу: вводил его в очередную комиссию, поручал написание статей, брошюр, прочтение докладов в рабочих и студенческих аудиториях.

Значимость Ларина в первые годы после революции значительно превышала занимаемые им посты. Он не был членом ЦК, лишь членом ВЦИКа и ЦИКа, не был наркомом. Но он знал себе цену и, я бы сказала, был честолюбив, чему тоже способствовала болезнь. Примечательно, как он подписался под одной из своих статей, в подражание стихотворению Пушкина — «Моя родословная»:

Я не нарком и не чекист —
Я просто Ларин коммунист.

Кажется, так он подписал шуточную новогоднюю статью, на этот раз действительно фантастическую, опубликованную в «Правде» или в «Известиях». Из этой статьи мне запомнилось место, касающееся Бухарина. Ларин писал, что вскоре наука дойдет до такой степени развития, когда каждый человек по своему желанию сможет превращаться из мужчины в женщину, и наоборот. Эксперимент решил провести над собой Бухарин и стал Ниной Бухариной — девушкой с длинной русой косой. И, насколько мне помнится, Нина не смогла вновь стать Николаем [2].

Неугомонность его натуры проявлялась во всем. Когда была объявлена всесоюзная викторина, принял участие в ней и получил первый приз. Он всегда тянулся к новаторам. Мало кому известный в то время доктор Казаков (впоследст-

[1] О проекте Декрета о Земле, написанном Лариным вместе с В. П. Милютиным, я слышала от отца. В дальнейшем нашла этому подтверждение в воспоминаниях Милютина, впервые опубликованных еще при жизни Ленина в седьмом номере журнала «Сельскохозяйственная жизнь» за 1922 год: «В знаменитую ночь переворота, с 24 на 25 октября, когда в первом этаже Смольного, в небольшой комнатке, составлялся список первого Совета Народных Комиссаров, в эту же ночь вырабатывался и первый основной Декрет о земле. Я вошел в первый Совет Народных Комиссаров в качестве Народного Комиссара Земледелия. Первый проект Декрета о земле был набросан мной и т. Лариным, но окончательная формулировка и написание проекта Декрета о земле принадлежат т. Ленину. Мы были лишены возможности долгого обсуждения».

[2] О фантастической Нине Бухариной упоминал Н. И. в своей речи на десятом съезде РКП(б) (1921 г.). Выступая по поводу статьи А. М. Коллонтай «Крест материнства», опубликованной в журнале «Коммунистка» № 8—9 за январь—февраль 1921 г., касающейся любви и нравственности, статьи, в которой она заявляла, что ее взгляды разделяют в большей степени женщины, чем мужчины, Н. И., возражая ей, сказал: «...если бы даже осуществилась мечта т. Ларина и я был бы превращен в Нину Бухарину, я не пришел бы в восхищение от этой статьи».

Самое забавное заключается в том, что в именном указателе X съезда РКП(б) ошибочно указывается, что фантастическая Нина Бухарина — это первая жена Н. И. Надежда Михайловна Бухарина-Лукина.

вии он обвинялся по одному процессу с Бухариным и был расстрелян), которого считали шарлатаном в медицине, чтобы убедить в эффективности применяемого им метода лечения, приводил в кабинет Ларина своих пациентов, еле державшихся на ногах, а потом показывал их здоровыми. После этого Ларин стал помогать Казакову в организации института экспериментальной медицины. Доктор-ветеринар Тоболкин добился через Ларина организации Сухумского обезьяньего питомника, опять-таки в целях экспериментальной медицины. Специалист по сое Брагин увлек Ларина разведением соевых бобов и т. д.

Его трогали даже мелочи, к примеру, название деревни Кобылья Лужа. Однажды, проезжая мимо этой деревни, Ларин решил зайти в сельсовет и поговорить с председателем о ее переименовании. Председатель оказался на месте. «Уж слишком некрасивое название досталось вашей деревне от дореволюционного прошлого, надо придумать новое»,— сказал Ларин. Председатель легко согласился. Вскоре, когда отец вместе со мной опять оказался около этой деревни, он издали увидел новую вывеску на избе сельсовета: «Деревня Советская лужа — советско-лужинский сельский Совет». Трудно передать выражение лица изумленного и потрясенного Ларина. Он был настолько взволнован, что слезть с машины и дойти до сельсовета не смог.

В первые годы после революции была еще безработица, существовала биржа труда. Многие обращались к Ларину за помощью в устройстве на работу. Помощь эта приняла такой широкий размах, что кабинет Ларина шутя называли «Ларинская биржа труда».

Он помогал несправедливо обвиненным в бюрократизме, несправедливо исключенным из партии и, когда это было возможно, незаконно репрессированным.

Еще об одном случае, ярко характеризующем личность отца, мне хочется рассказать. Однажды в его кабинет вошла незнакомая женщина, сказала, что муж ее погиб на фронте, осталось трое малых детей и что они голодают,— просила помочь. В тот момент деньгами отец существенно помочь не мог, хотя небольшую сумму дал. Но выход мгновенно нашел: вытащил из чемодана матери песцовый воротник, купленный ею себе на пальто, и отдал женщине. Та ушла вполне удовлетворенная. Мать была рассержена: «А ты уверен, что эта особа не аферистка?» «Неужели!» — воскликнул отец, в тот момент и сам заподозрив это. Женщина была довольно хорошо одета.

Однако Ларин помогал людям лишь тогда, когда это не противоречило его нравственным принципам, в противном случае ни о какой помощи и речи не могло быть. Мне вспоминается, как однажды позвонили из Наркоминдела и сообщили, что из Берлина по дипломатическим каналам для Ларина прибыла посылка. Обычно таким путем отцу посылали книги экономического характера. На этот раз вместо книг на его имя пришла большая вещевая посылка с женским бельем, кофточками, детскими вещами, игрушками и т. д. Отец недоумевал, пока на следующий день не позвонила незнакомая женщина и вежливо попросила передать ей вещи, присланные родственниками из Берлина через посольство на имя Ларина, дабы избежать уплаты пошлины за посылку.

— Вы ничего не получите,— ответил рассерженный Ларин,— я не разрешаю использовать мое имя в таких целях.

— Что же, вы присвоите себе чужие вещи? — заволновалась женщина.

— Обязательно присвою,— ответил разгневанный Ларин и положил трубку.

Все было роздано уборщицам из «Метрополя» с разъяснением, откуда взялись эти вещи.

Быть может, рассказанные эпизоды покажутся мелочью, ненужными деталями, на которых не стоило бы останавливаться, но, как я думаю, как раз эти мелочи дополняют, а возможно, даже определяют собой крупное в сложном портрете моего отца.

Окончание следует

Первым серьезным испытанием молодой Советской республики после победы Великой Октябрьской социалистической революции, семьдесят первую годовщину которой мы отмечаем, стал выбор между продолжением мучительной империалистической войны и заключением мира на кабальных условиях, выдвинутых германскими милитаристами. О полных драматизма дебатах — принимать или не принимать унизительные условия договора — написано немало. Перед нами свидетельство особого рода. Автор публикуемого очерка Иван Яковлевич Врачев — единственный, наверное, из оставшихся в живых участников исторического заседания ВЦИК, предопределившего судьбу Брестского мира. Человек сложной, нелегкой судьбы, И. Я. Врачев передал свои воспоминания в Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства г. Москвы, предоставивший нам рукопись.

Иван Врачев

НОЧЬ В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ

3 марта 1918 года советская делегация, которую возглавлял Г. Я. Сокольников, подписала в Брест-Литовске мирный договор с Германией и ее союзниками, демонстративно отказавшись от обсуждения грабительских условий договора. К нашему счастью, историей был предопределен недолгий срок действия этого договора, подписание которого, как и предвидел В. И. Ленин, спасло молодую республику Советов, дало стране долгожданную передышку от войны.

Я был очевидцем событий, предшествовавших подписанию мирного договора с Германией, участвовал в дебатах в Таврическом дворце, где решался вопрос — продолжать войну или, приняв грабительские условия, навязанные нам германскими империалистами, пойти с ними на мир. Дебаты начались 23 февраля 1918 года, а за десять дней до этого Германия, прервав мирные переговоры в Брест-Литовске, перешла в наступление по всему фронту, грубо нарушив договор о перемирии от 15 декабря 1917 года. Деморализованная старая русская армия, бросая материальную часть и неся огромные людские потери, стремительно откатывалась в глубь страны. В опасности оказался Петроград, настали тревожные, грозные дни для нашей революции.

На совместном заседании Центральных Комитетов большевиков и левых эсеров В. И. Ленину и Я. М. Свердлову, хотя и далеко не единодушно, удалось все же получить согласие на посылку в Берлин радиограммы, в которой выражался решительный протест по поводу германского наступления и заявлялось о согласии Советского правительства подписать мир на условиях, выдвинутых в Бресте делегациями Четверного союза[1]. Радиограмма была отправлена в Берлин в 8 часов утра 19 февраля, и в тот же день Народным комиссариатом по военным делам был издан приказ о создании Чрезвычайного штаба Петроградского военного округа, которому вменялось в обязанность перевести Петроград на осадное положение и беспощадно подавлять всякие выступления контрреволюционных сил.

21 февраля в Смольном состоялось экстренное пленарное заседание Петроградского Совета. На заседание, помимо членов Совета, прибыли представители фабрично-заводских комитетов, некоторые члены ВЦИК, в том числе и автор этих строк. На заседании было оглашено воззвание Совета Народных Комиссаров, в котором говорилось: «Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности... Священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита республики Советов против полчищ буржуазно-империалист-

[1] Союз Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и Турции.

ской Германии». После этого было заслушано сообщение Верховного Главнокомандующего Н. В. Крыленко о чрезвычайно грозном положении на фронте. В принятой резолюции Петроградский Совет призвал рабочих и солдат столицы немедленно встать в ряды Красной Армии, принял решение об образовании Комитета революционной обороны Петрограда.

Германские империалисты предложили нам заключить мир на невероятно тяжелых, аннексионистских, унизительных условиях. «Левые» коммунисты «принципиально» были против «сделок с империализмом», они призывали повести революционную войну. Предложенный Германией и ее союзниками мир они называли «похабным», «позорным» миром и решительно его отвергали. Были и колебавшиеся, находившиеся, правда, под влиянием «левых коммунистов»,— лучше погибнем в борьбе, умрем как честные революционеры, но не смиримся, не пойдем с повинной к своему злейшему врагу — германскому империализму.

Помню, колебались В. В. Володарский, Е. Д. Стасова, воздержавшаяся в одно из решающих голосований в ЦК партии по вопросу о мире. «Мучительный момент пришлось мне пережить в связи с вопросом о мире»,— признавала потом Елена Дмитриевна в книге «Страницы жизни и борьбы». Не сразу согласились с Лениным Ф. Э. Дзержинский, В. В. Куйбышев, М. В. Фрунзе, С. В. Косиор. Не только молодые, но и старые члены партии не понимали тогда всей опасности для революции политики Троцкого и «левых коммунистов». «Опьяненные победой, гордые своей ролью застрельщика и зажигателя мировой революции, окруженные атмосферой восторгов международного пролетариата, из самого унизительного рабства вознесшиеся почти мгновенно на высоту «вершителей судеб капиталистического мира», могли ли мы склонить свое знамя под пыльный сапог германского шуцмана? — писала позже участница обсуждений депутат Петроградского Совета Л. Ступоченко.— Мы видели вспыхнувшее над всем миром зарево революции и верили, что шатающиеся троны не нынче-завтра падут под натиском пролетариата, и под обломками капитализма будет погребена и эта кровавая война. Зачем же тогда такое унижение и позор? Не лучше ли с оружием в руках умереть за торжество столь близкой мировой революции? Все было так просто, так достижимо».

В ожидании открытия собрания мы горячо спорили — идти на мир на тяжелых условиях или вести войну с немцами. Пришел усталый, но собранный Я. М. Свердлов в своем неизменном кожаном костюме. Трудно приходилось ему в дни страстной дискуссии о Брестском мире. Яков Михайлович руководил бурным собранием, и было у него много забот: как обеспечить надежное, прочное большинство в Центральном Комитете партии, кого из колеблющихся цекистов можно привлечь на сторону Ленина, как обеспечить большинство во фракции ВЦИК, как повлиять на фракцию левых эсеров и как лучше использовать тех из них, кто являлся сторонником заключения мира. На заседание большевистской фракции ВЦИК 23 февраля по предложению Якова Михайловича были приглашены делегаты проходившей тогда в Петрограде партийной конференции. Мне кажется, что Свердлов сделал это неспроста, ведь Петроградский комитет большевиков тогда не только колебался, но в самые критические дни высказался за революционную войну. В составе делегатов конференции, участвовавших вместе с нами в заседании 23 февраля, было много противников мирного договора с Германией. Очевидно, Свердлов рассчитывал на то, что в ходе горячих обсуждений на фракции удастся воздействовать на колеблющихся, чтобы перетянуть их на сторону большинства Центрального Комитета.

Открыв заседание, Свердлов сперва добился разрешения участвовать в качестве гостей на заседании фракции делегатам Петроградской городской партийной конференции. После этого он внес предложение о переходе в другой, меньший зал с организацией строгого контроля у дверей. Эта предосторожность была необходима. В петроградских буржуазных газетах помещалась тенденциозная, искаженная, а порой и клеветническая информация о заседаниях фракций ВЦИК.

— Поскольку будет обсуждаться вопрос исключительной важности,— говорил Яков Михайлович.— никто из посторонних лиц не должен проникнуть на заседание нашей фракции.

Небольшой зал (комната № 40 на втором этаже Таврического дворца) до отказа заполняется членами ВЦИК — большевиками. Задние ряды отведены для гостей — делегатов петроградской конференции. В президиуме члены бюро фракции, председательствует Я. М. Свердлов. В. И. Ленина в зале нет. С докладом выступил Свердлов, сообщив, что 22 февраля советскому курьеру был вручен ответ германского правительства и этот ответ носит характер ультиматума, срок которого — 48 часов. Получен он был 23 февраля в 10 часов 30 минут, и таким образом оставались считанные часы до истечения срока. Если мы согласимся подписать мир на предложенных германскими империалистами условиях, говорил Свердлов, то наши полномочные представители должны немедленно выехать в Брест-Литовск, чтобы в течение трех дней подписать мирный договор и в двухнедельный срок его ратифицировать. По предложенным условиям мы теряли Лифляндию, Эстляндию и часть Белоруссии. К Турции должны были перейти города Карс, Батум и Ардаган с соответствующими округами. Мы должны были заключить мир с Центральной радой, вывести войска из Украины и Финляндии, произвести полную демобилизацию армии, включая и формирования, созданные Советским правительством, разоружить корабли военного флота. Не менее тяжелыми были условия и в экономической части.

Когда Свердлов сообщил нам, что большинством голосов Центральным Комитетом партии принято постановление о немедленном принятии германских предложений, его прервал Ломов: «Каким количеством голосов было принято постановление ЦК?» «Да, да, каким?» — закричали «левые коммунисты».

— Прошу успокоиться,— твердым голосом заявил Свердлов.— За предложение Ленина о немедленном принятии германских предложений о мире голосовало семь членов ЦК, против — четыре и воздержалось четыре. Хотя предложение Ленина и не получило абсолютного большинства голосов, оно все же считается решением Центрального Комитета, тем более, что четыре члена ЦК, не желая принять ответственности за подписание мира на германских условиях, воздержавшись, способствовали принятию этого решения. Против голосовали только те члены ЦК, которые именуют себя «левыми коммунистами»,— Бухарин, Бубнов, Ломов, Урицкий.

Яков Михайлович заговорил об опасности раскола партии, сообщил, что и у левых эсеров нет единства по вопросу о мире и что решение Центрального Комитета левых эсеров против мира и за революционную войну принято большинством всего в один голос. Против мира пятеро членов ЦК, а четверо — Спиридонова, Колегаев, Биценко и Малкин — поддерживают предложение Ленина о мире.

Потом началось обсуждение. Прения носили резкий, страстный характер. Обе спорившие стороны указывали на исключительную тревожность момента, на ответственность перед историей. «Бьет двенадцатый час революции!» — эти слова часто произносились ораторами.

— Товарищи! Вспомним храбрых парижских коммунаров — они не капитулировали, а умирали,— страстно и несомненно искренне призывали отдельные сторонники «левых коммунистов».— Умрем и мы на баррикадах революции!

— Спасение революции в немедленном заключении мира! Нам воевать нечем — армия развалилась,— заявляли сторонники политики Ленина.— Лучше пойти на тяжелый мир, но сохранить Советскую республику.

Были и колеблющиеся, во время перерывов между заседаниями шла борьба за привлечение их на ту или иную сторону.

Заседание фракции затягивалось. Лидеры «левых коммунистов» — Бухарин, Бубнов, Урицкий, Ломов — напомнили о своем заявлении в Центральный Комитет партии, где они сообщали об уходе со всех ответственных постов. Их отговаривали от опрометчивого шага, старались пристыдить, ведь большинство выступавших проявляло заботу о единстве партии. Отдельные ораторы выступали очень резко, но превзошел всех темпераментный Д. Б. Рязанов, обрушившийся с критикой германских условий мира. В его речи рефреном звучали презрительные слова о том, что «Россия — страна мужицкая, солдатская, ...дурацкая», что Ле-

нин-де пошел на поводу у этой России и что им попраны интересы мировой пролетарской революции только для того, чтобы «сохранить келью под елью — Советскую республику».

Разумеется, большинство фракции бурно реагировало на эту речь, но всякий раз Якову Михайловичу удавалось восстанавливать порядок, и Рязанов продолжал свое выступление, пока кто-то не крикнул громко и злобно: «Лишите слова этого Пуришкевича!» После чего поднялся в зале шум. Яков Михайлович прервал Рязанова и сделал залу внушительное заявление о недопустимости таких оскорбительных реплик по адресу товарища по партии, видного ее деятеля.

— Пуришкевич — вождь черносотенцев,— сказал он,— а товарищ Рязанов — старый пролетарский революционер. Хотя он сегодня и расходится с большинством из нас, но он остается нашим всеми уважаемым товарищем. Я решительно призываю того, кто допустил этот выкрик, к порядку.

Раздались аплодисменты и голоса: «правильно, правильно». Рязанову была предоставлена возможность закончить свое выступление.

Фракция долго заседала без участия В. И. Ленина. Мир или война — вопрос этот обсуждался в накаленной, полной драматизма обстановке. В разгар бурных прений в переполненный до отказа зал из боковой двери вошел Владимир Ильич. Свердлов, извинившись, прервал оратора и пригласил Ленина в президиум, но в зале было настолько тесно, что пройти к столу президиума было трудно. Владимир Ильич отрицательно замахал руками и стал у стены, вблизи той группы членов ВЦИК, средн которых находился и я. Потеснившись, насколько было возможно, мы пригласили Владимира Ильича на свою скамью. Он сел рядом со мной и спросил у меня шепотом, что происходит на собрании, кто и как выступал. Я также тихо стал рассказывать ему, как шло собрание, кто выступал за мир и кто против. Я заметил, что вид у В. И. Ленина был усталый, лицо сосредоточенно-серьезное, глаза от бессонных ночей воспалены и что он заметно похудел. Не так давно я видел его вблизи на собрании членов Крестьянской секции ВЦИК, и с тех пор он сильно изменился. Рассказал я Владимиру Ильичу и о том, что Рязанов в своем выступлении обвинял его в стремлении «построить келью под елью», во что бы то ни стало сохранить Советскую республику и что из этого, по словам Рязанова, вряд ли что выйдет потому, что Россия страна мужицкая, солдатская, дурацкая.

— Так и сказал? — спросил Владимир Ильич с грустной усмешкой.— Это похоже на то, что вчера написали меньшевистские литераторы в передовой статье своей газеты.

В. И. Ленин имел в виду передовую статью меньшевистской газеты «Новый луч» в номере от 22 февраля 1918 года. В связи с наступлением германских войск в передовой центрального органа меньшевиков торжествующе вещалось: «Сумерки богов» наступили. Политическое банкротство мужицко-солдатско-анархистского правительства Ленина не подлежит сомнению».

Оглянувшись назад, где вели себя особенно шумно, Владимир Ильич спросил:

— А что это за люди в конце зала, там, где стоят девушки? Они не члены фракции?

— Это делегаты петроградской городской конференции, приглашенные на заседание фракции по предложению товарища Свердлова,— ответил я.

Владимир Ильич одобрительно кивнул головой и спросил:

— А эти девушки, наверно, против мира?

— Да, они горячо аплодируют сторонникам «революционной войны» и не дают говорить тем, кто выступает за мир.

— Понятно-с,— протяжно сказал Владимир Ильич и спросил у меня: — Ну, а вы за мир или войну?

— Я за мир, Владимир Ильич.

— Это хорошо. Без мира, каким бы тяжким он ни был, нам не обойтись. Вы в эти дни были на каких-нибудь собраниях? Что говорят о войне и мире в народе?

Я рассказал ему о митингах в частях петроградского гарнизона, о нежелании солдат воевать, о том, что они единодушно требуют немедленного мира.

— Вам следовало бы рассказать об этом и на заседании фракции,— сказал Ленин. Потом он спросил у меня, по какой курии я избран во ВЦИК, кого представляю, но в этот момент закончилось выступление очередного оратора и Яков Михайлович повторно и уже настоятельно пригласил Ленина в президиум. Делегаты, сидевшие у прохода, потеснились, и Владимир Ильич, хотя и с трудом, но добрался до стола президиума.

Выступило еще несколько ораторов. Ленин внимательно их слушал. Поступили записки с вопросами: «Почему не выступает Ленин?», «Когда выступит Владимир Ильич?» и с просьбой предоставить ему слово вне очереди. Свердлов, напомнив об ограниченности времени, спросил у собрания: «А не лучше ли выступить Владимиру Ильичу на совместном заседании с фракцией левых эсеров, тем более они нас уже ждут?» Собрание согласилось с этим, но тогда «левые коммунисты» стали настаивать на том, чтобы В. И. Ленин дал ответы на ряд вопросов, относящихся к германским условиям мира. Вопросы задавали главным образом «левые коммунисты» — Радек, Ломов и другие. Мотивируя свои вопросы, оппозиционеры обвиняли В. И. Ленина в отказе от разбора конкретных условий мира, предложенного Германией. Они пытались спровоцировать Ильича на «защиту» договора, чтобы после этого обвинить вождя партии и революции в «оппортунизме», а также завести его в юридические дебри.

— Договор — архитяжкий, грабительский договор,— Владимир Ильич отвечал лаконично и сурово.— Да, это продиктовано нам разбойниками германского империализма.

— Как с Украиной? — спрашивали у него.

— Она от нас отторгается, и мы обязаны признать договор Украинской рады с Германией.

— Как с армией?

— Мы обязаны провести полную демобилизацию армии,— отвечал Ильич.

— А как с флотом?

— Мы обязаны его разоружить.

— Подпадет ли под действие договора Красная гвардия, сможем ли мы сохранить красногвардейские отряды?

На это Владимир Ильич ответил: «Я не изучал договора юридически, для этого нет ни времени, ни смысла. По-моему, по букве договора, мы не можем иметь никаких вооруженных сил, в том числе и отрядов Красной гвардии. Все будет зависеть от того, какая у нас сложится практика после подписания договора. Мы постараемся, конечно, сохранить Красную гвардию».

— А не могут германские империалисты после того, как мы дадим согласие на их условия мира, предложить нам еще худшие условия? — спрашивали у Ленина.

— Могут, могут, конечно, предъявить нам и худшие условия,— ответил Владимир Ильич.— Германские империалисты были бы рады-радехоньки захватить Петроград, Москву и ликвидировать нас, задушить пролетарскую революцию, если бы их не связывала война против других империалистических хищников, против Франции и Англии.

Со скамей «левых» посыпались вопросы с подковыркой: не берем ли мы на себя обязательства не вести агитации против правительства Вильгельма? Не откажемся ли мы от помощи украинским и прибалтийским пролетарским революционерам? На эти вопросы Владимир Ильич дал спокойный, краткий и вразумительный ответ, разъяснив, что наша партия и после договора с Германией останется такой же, какой она является, что она выполнит свой революционный и интернациональный долг и что сейчас самое главное — не дать повода правительству Германии обвинить нас в открытом невыполнении договора...

До истечения срока германского ультиматума оставалось все меньше времени. Свердлов внес мотивированное предложение: ввиду того, что утром следующего дня истекает срок немецкого ультиматума, а также потому, что в нашей

фракции есть и сторонники, и противники мира и что фракция левых эсеров по вопросу о мире не едина и в ней также, кроме противников мира, есть и сторонники мира, заседание прервать и устроить совместное заседание двух фракций — большевиков и левых эсеров, а уже после собраться вновь отдельно для принятия решений. По предложению Свердлова, условились на объединенном заседании двух фракций выставить четырех ораторов, причем двое из них будут большевиками, а двое — левыми эсерами. Один из большевиков должен быть сторонником заключения мира, другой — противником. Из эсеровских ораторов также одному будет предоставлено слово в пользу заключения мира, а другому — против. Кроме того, слово будет предоставлено В. И. Ленину как председателю Совета Народных Комиссаров. Фракционным ораторам решили предоставить слово по 10 минут, а товарищу Ленину — 15. Эти организационные предложения были приняты; Я. М. Свердлов заявил, что он постарается согласовать их с фракцией левых эсеров. Перед закрытием собрания Яков Михайлович тщательно подсчитал число присутствовавших членов ВЦИК большевиков. Их оказалось 96, тогда как во ВЦИКе состояло 160 человек. Это встревожило Свердлова. Он сообщил, что у левых эсеров участвует на заседании фракции примерно такое же количество членов ВЦИК, и что вместе с голосами оппозиции они смогут получить большинство, и что мы, таким образом, не сможем провести своего решения. Необходимо поэтому немедленно вызвать в Таврический дворец всех наших товарищей — членов ВЦИК, занятых оборонной работой. Так и было сделано: в момент решающего голосования на ночном заседании ВЦИК в зале находилось 127 большевиков.

Заседание фракции левых эсеров затянулось. И у них не было единства мнений, поэтому у нас оказалось свободное время. Хотя все мы и проголодались, но в буфете задерживаться не приходилось: там можно было получить только стакан слабенького чая с тоненьким ломтиком суррогатного хлеба. Поэтому среди большевиков продолжались горячие споры и кулуары походили на взбудораженный улей.

Вспоминаю, как шли по фойе три женщины — члены ВЦИК Инесса Арманд, Роза Сломницкая и сотрудница секретариата ВЦИК Цырлина. Сломницкая, обхватив двумя руками голову, вопрошала: «Что делать? Что делать?»

— Товарищ,— обратилась она ко мне,— вы против мира?

— Нет, я за мир.

— Почему?

Объясняю. Между нами завязался спор, и такие споры шли по всему большому фойе, все были ими захвачены. Свердлову, например, не удалось даже стакана чая выпить — его все время окружали плотным кольцом члены ВЦИК. Яков Михайлович, казалось, не знал усталости, он и в перерывах боролся за победу ленинской политики. Но вот, вырвавшись из окружения, он быстро направился к залу, в котором шли заседания фракции левых эсеров. Вызвав Камкова и Прошьяна, он, поглядывая на часы, стал доказывать им необходимость скорейшего окончания собрания, и вышло так, что объединенное заседание фракций большевиков и левых эсеров началось аж в первом часу ночи в большом зале Таврического дворца. Заседание с самого начала проходило очень бурно. Когда, например, Свердлов предложил предоставить краткое слово для сообщения о положении на фронте Главковерху Крыленко, а также представителю Балтийского флота Раскольникову, слово к порядку голосования взял Рязанов, который резко выступил против предоставления им слова, заявляя, что членов фракции ВЦИК хотят «околпачить и напугать», однако большинством голосов было принято решение предоставить слово Крыленко и Раскольникову, выступления которых носили поистине трагический характер. Крыленко, например, нарисовал жуткую картину развала фронта и разрухи железнодорожного транспорта. Воинские части, говорил он, деморализованы. Солдаты огромными массами бегут с фронта, бросают вооружение, самовольно захватывают поезда, парализуют работу железнодорожного транспорта и расхищают вагоны с продовольствием. В заключение Крыленко сказал, что немцы продвигаются с исключительной быстротой, что ожидается падение Пскова и что Петроград находится под непосредственной угрозой. Из его слов было ясно, что создать фронт для отпора врагу в несколько дней невозможно и что единственный выход при создавшихся крайне грозных и опасных для нас условиях — немедленное заключение мира.

Деморализация захватила и флот, говорил Раскольников. Большинство матросов воевать не желает, с ряда военных кораблей матросы, перекинув через плечо сундучки с вещами, самовольно идут по льду на берег.

После этого Рязанов, выступив с места, в категоричной форме потребовал предоставить ему слово. Яков Михайлович спокойно спросил его:

— По какому поводу вы хотите получить слово?

— По поводу предоставления мне слова! — резко, произнося слова раздельно, отвечает Рязанов.

С тонкой, едва заметной улыбкой Яков Михайлович разъясняет, что по такому необоснованному поводу он слово предоставить не может. Рязанов пытается продолжить свое выступление, но Яков Михайлович его умело одергивает. В трагическом часто бывает смешное, и этот эпизод был достаточно комичен. Рязанов не унимался, он настаивал на своем и пытался высказаться, не ожидая разрешения председателя. Яков Михайлович обрывал его энергично, а потом убедительно сказал: «Успокойтесь, товарищ Рязанов, мы сейчас этот вопрос разрешим».

— Товарищи,— обратился он к собранию,— вы слышали, что товарищ Рязанов просит предоставить ему слово...— Яков Михайлович улыбнулся и после паузы иронически произнес: — По поводу предоставления ему слова.

В зале раздался смех, а Рязанов с места резко выкрикнул: «Да, да! По поводу предоставления мне слова».

— Итак, вы слышали,— сказал Свердлов.— Голосуем. Кто за то, чтобы предоставить товарищу Рязанову слово... по поводу предоставления ему слова.

В зале снова звучит смех. Большинством голосов слово Рязанову предоставляется, и он, использовав его для резкого и демагогического обвинения ЦК и руководства большевистской фракции, заявляет, что если ему будет предоставлено слово для выступления, он огласит чуть ли не сенсационные тайны. Пришлось ставить на голосование и вопрос о предоставлении внеочередного слова Рязанову. Еще раз большинством голосов принимается решение предоставить слово Рязанову, и он выступает с такой же враждебной демагогической речью, как и на заседании большевистской фракции ВЦИК. Говорит он громко, зычно, его седеющая лопатообразная борода трясется.

Краткая беседа с Владимиром Ильичем вдохновила меня на смелое решение. Еще в тот момент, когда за столом президиума появился Свердлов, я послал ему записку с просьбой предоставить мне слово от большевиков. Послал и волнуюсь: а вдруг получу слово? Когда сходил с трибуны Рязанов, председательствовавший Я. М. Свердлов объявил: «Слово предоставляется товарищу Врачеву для выступления от фракции большевиков». С глубочайшим волнением я поднялся на трибуну и свое выступление начал с заявления, что уставшие от войны солдаты воевать больше не хотят.

— Солдатская масса,— говорил я,— так дружно поддержала нас в октябре прошлого года потому, что была уверена, что большевики добьются мира. Солдаты и теперь надеются на мир, о войне они и слушать не хотят. Вести революционную войну с войсками германского империализма с надеждой на победу мы не можем. Ради спасения революции, сохранения Советской власти хотя бы и на ограниченной территории нашей великой страны, необходимо выйти из войны даже ценою очень тяжелых условий диктуемого нам мирного договора.

Полемизируя с левыми эсерами и «левыми коммунистами», я заявил, что их политика находит сочувствие у империалистов Антанты, о чем, в частности, свидетельствует интервью французского посла в России, откуда я процитировал соответствующее место. Вслед за мною от «левых коммунистов» выступал Карл Радек. Он предлагал объявить Германии революционную войну, потому что, по его словам, заключение сепаратного мира явится тяжелым ударом для нашей ре-

волюции и для революции, назревающей в Западной Европе. Радек, который в то время еще плохо говорил по-русски, взволнованно заявлял:

— О̀тдадим Пѐтроград, о̀тдадим Мо̀скву, о̀тступим за Урал, але мира не подпишем.

Коснувшись моего выступления, Радек назвал меня... представителем мелкобуржуазной солдатской стихии, сказав, что моя ссылка на заявление французского посла Нуланса о том, что если большевики отклонят германский ультиматум и поведут войну с немцами, то страны Согласия окажут помощь большевикам, не имеет никакого отношения к обсуждаемому вопросу.

От левых эсеров со страстной речью против мира выступил И. З. Штейнберг. Он бил на чувства, энергично требовал не соглашаться на «позорный мир», призвать народ к восстанию против врагов революционной России. «Мы поведем перманентную повстанческую войну,— провозглашал Штейнберг,— в огне которой враг будет побежден».

После выступления Штейнберга Свердлов предложил дать слово представителю фракции левых эсеров — стороннику мира, но никто не воспользовался правом на такое выступление. Со скамей левых эсеров раздались выкрики, что среди них нет сторонников мира.

— Они и у вас есть,— заявил Свердлов,— и мы договорились с бюро вашей фракции о выступлении двух ваших ораторов — против мира и за мир. Выходит, что, желая скрыть имеющиеся у вас разногласия, вы нарушаете достигнутое между нами соглашение.

От левых эсеров за заключение мира с Германией никто не выступил, очевидно, в силу запрета большинства левоэсеровской фракции, но нам было известно, что во фракции левых эсеров за мир выступали М. А. Спиридонова и В. Ф. Малкин.

После этого на трибуну вышел В. И. Ленин. Он призвал смотреть в глаза действительности, какой бы суровой она ни была. Говорить надо только правду, хотя она и очень горька. Мы поставлены в очень трудное и крайне опасное положение,— говорил Владимир Ильич.— Выход из него может быть только один — подписать предъявленные нам разбойниками германского империализма архитяжкие условия мира. Другого выхода у нас нет, войны вести мы не можем. Армия разваливается, воевать она не хочет, и никто не сможет заставить ее воевать,— она измучена трехлетней войной. Это факт непреложный.

Владимир Ильич высмеял Штейнберга, который призывал вести перманентную повстанческую войну, сказав, что в его речи не было и подобия анализа обстановки, учета сложившейся ситуации.

— Это сплошное фразерство,— заявил он,— шедевр фразерства.

На другой день 25 февраля в опубликованной в «Правде» статье «Тяжелый, но необходимый урок» Владимир Ильич напишет о безудержном разгуле «революционной» революционной фразы эсера Штейнберга в субботнем заседании ЦИК[1].

— Никто не сможет нас обвинить в том,— говорил на заседании Владимир Ильич,— что, заключая архитяжкий мир, мы задерживаем революцию в Германии. Она там пока только назревает, а у нас уже произошла, поэтому сохранение созданной нашей революцией Советской республики — не только в наших интересах, но и в интересах революции в Германии и в других странах. Существование Советской власти в России — это революционный фактор огромного значения. Нам важно выиграть время. Нам во что бы то ни стало нужно получить передышку. Мы должны использовать ее для организации новой революционной армии, для успешной борьбы с голодом, для подавления саботажа буржуазии, для преодоления разрухи железнодорожного транспорта. Передышку мы используем для социалистических преобразований, которые так трудно проводить в крестьянской стране.

Доказывая несостоятельность ссылки на то, что мы будто бы можем организовать в ближайшее время новую революционную армию, Ленин пояснял:

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 394.

— Если мы соберем небольшую горсточку отважных борцов, которых бросим в пасть империализма, то этим самым мы оторвем от себя энергичнейших и идейных борцов, которые добыли нам свободу.

Полемизируя с К. Радеком, Владимир Ильич сказал, что напрасно он, имея в виду мое выступление, назвал меня представителем мелкобуржуазной стихии.

— И нас обвиняли в том, что, настаивая на заключении сепаратного мира, мы поддаемся давлению мелкобуржуазных масс. Если уж серьезно говорить о влиянии мелкой буржуазии на наши споры, то надо признать, что под несомненным таким влиянием находятся сторонники революционной войны у левых эсеров и в нашей партии... Товарищ, против которого выступал Радек,— продолжал Ленин,— правильно поступил, рассказав о настроении солдатских масс. Мы должны считаться с фактом неимоверной усталости армии, ее нежеланием воевать... Напрасно также ополчился Карл Радек на товарища за цитирование им заявления Нуланса, опубликованного в сегодняшнем вечернем выпуске «Биржевых ведомостей». Я только после выступления товарища прочел заявление Нуланса и считаю, что хорошо сделал товарищ, напомнив нам об этом интервью. Антанта рада была бы, если бы мы не заключили мира. Для англо-французских империалистов очень важно, чтобы наш народ продолжал проливать свою кровь. Это ослабило бы нажим на них немцев на Западном фронте. У империалистов Антанты есть несомненно и скрытая цель: при продолжении войны легче будем вести борьбу за свержение Советской власти. Поэтому французский посол и пытается заигрывать с противниками мирного договора с Германией.

— Мимо таких вещей проходить нельзя,— говорил с трибуны Ленин.— Мы хотим прекращения войны любой ценой, а Антанта — продолжения войны. Союзники хотели бы втянуть нас в продолжение империалистической бойни. И ради этого они готовы оказать помощь даже нашим самым «левым»,— нашим сторонникам «революционной войны», чтобы поймать их в расставленную ловушку. Наши «левые» должны знать, что ведение войны теперь, хотя бы и революционной, объективно значило бы поддаваться на провокацию не только русской буржуазии, но и империалистов Антанты.

Я слушал Владимира Ильича с затаенным дыханием, и когда Ильич коснулся моего выступления, я подумал: «Хорошо, что я не оробел и выступил».

После выступления Ленина председательствовавший Я. М. Свердлов объявил об окончании совместного заседания двух фракций и о предстоящем раздельном собрании фракций для принятия решений.

Сразу же возобновилось заседание большевистской фракции ВЦИК. Наступил напряженный момент голосования. Поступило две резолюции: одна предложенная Лениным и Свердловым о признании необходимости немедленного заключения мира с Германией, другая от имени «левых коммунистов» — против «позорного» мира и за ведение революционной войны. Ход бурного обсуждения спорного вопроса был таким, что трудно было заранее определить, какая из двух резолюций получит большинство голосов. Перед голосованием с очень важным заявлением выступил Яков Михайлович. Он напомнил о том, что если большинство фракции выскажется против немедленного заключения мирного договора, В. И. Ленин, как он уже заявил об этом в вечернем выпуске «Правды», сложит с себя полномочия, откажется от поста председателя Совета Народных Комиссаров и выйдет из состава Центрального Комитета партии[1], а он, Свердлов, также откажется от поста председателя ВЦИК и подаст заявление о выходе из ЦК партии. В этот момент Якова Михайловича прервали, в зале поднялся невообразимый шум, раздались протестующие голоса: «Давление оказываете!», «Недостойный прием!», «Запугиваете!», «Позорный метод!». Посыпались заявления с требованием слова «к порядку голосования», «к порядку ведения собрания». Яков Михайлович проявил максимальную выдержку, хотя и с трудом, но добился водворения тишины и твердым голосом сказал, что сперва необходимо выслушать его

[1] В статье «Мир или война?», помещенной в вечернем выпуске «Правды» № 34 от 23 февраля, В. И. Ленин писал: «Только безудержная фраза может толкать Россию, при таких условиях, в данный момент на войну, и я лично, разумеется, ни секунды не остался бы ни в правительстве ни в ЦК нашей партии, если бы политика фразы взяла верх». (См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 367).

до конца и лишь после этого он предоставит слово и к порядку голосования и к порядку ведения собрания. «То, что сказано мною,— заявил Свердлов,— это не запугивание и не попытка оказывать давление на фракцию. Называть так мое заявление могут только демагоги. Мы решаем вопрос о судьбах революции и в такой ответственный исторический момент вполне естественно, что если отвергается предложение большинства ЦК партии, то те, кто противится заключению мирного договора, должны взять на себя ответственность за судьбу революции и стать во главе нашего Советского государства. Я вас не запугиваю, а только предупреждаю, что перед своим ответственным голосованием должны учесть это важное обстоятельство».

Свердлов говорил о том, что если фракция большевиков своим голосованием выскажется против мира, то придется избрать другого председателя Совета Народных Комиссаров, и что он, Свердлов, уполномочен товарищем Лениным предупредить нас об этом. Он также предупредил нас, что в этом случае пришлось бы избрать и предложить ВЦИК вместо него другого председателя. Мы, по его словам, должны были бы выдвинуть на эти два поста кого-либо из числа тех, кто является противником заключения мирного договора с Германией.

— Поймите,— говорил Свердлов,— иначе быть не может. Момент слишком серьезен — быть или не быть революции,— так стоит вопрос. Товарищ Ленин убежден, что отказ от заключения мира приведет к гибели Советской власти, к крушению пролетарской революции. Я с ним полностью солидарен в этом отношении. Мы не ведем игры в парламентские отставки, а пытаемся спасти революцию. Я еще раз, от имени товарища Ленина и своего, прошу учесть все это и проникнуться исключительной серьезностью момента.

(В. И. Ленина в этот момент в зале не было, он был приглашен на заседание фракции левых эсеров для ответа на вопросы, относящиеся к предложенным Германией условиям мира.)

Начались выступления по поводу заявления Я. М. Свердлова. «Левые коммунисты» метали громы и молнии. Особенно резко выступил Г. И. Ломов (Оппоков), заявивший, что «если будет нужно, мы заменим не только Свердлова, но и Ленина». Ломова прервали, раздались негодующие протесты, поддержанные подавляющим большинством участников заседания фракции. Выступал и Д. Б. Рязанов также с резкими и демагогическими заявлениями. «Вас хотят околпачить! — кричал он,— вас запугивают, не будьте баранами...» И его слушать не стали, и его сильный голос не мог преодолеть шума.

В такой вот обстановке и произошло голосование. Вначале ставился на голосование общий вопрос — заключать мир или отвергнуть германский ультиматум. Фракция своим большинством сперва высказалась за немедленное заключение мира, а затем приняла резолюцию Ленина — Свердлова для внесения ее на заседание ВЦИК. Против резолюции голосовали «левые коммунисты», а также А. В. Луначарский и Ю. М. Стеклов [1]. В. В. Володарский, до тех пор выступающий против заключения мирного договора, воздержался.

После этого Ю. М. Стеклов поставил вопрос о допущении для членов фракции свободы голосования. Свое предложение он мотивировал исключительной важностью вопроса. Тем, что решается судьба революции. «Левые коммунисты» энергично поддержали предложение Стеклова. С возражением выступил Свердлов. «Да,— сказал он,— поистине пробил двенадцатый час революции, но именно поэтому фракция должна провести через ВЦИК решение своего большинства, являющегося и решением большинства Центрального Комитета. В этот момент особо важно соблюдать партийную дисциплину».

Подавляющим большинством голосов было принято предложение Свердлова о безусловном соблюдении всеми членами фракции партийной дисциплины, о голосовании на заседании ВЦИК за постановление большинства фракции — за мир.

Группа латышских товарищей (К. А. Петерсон, Я. Ф. Фабрициус и др.) попросила у фракции разрешения воздержаться от голосования ввиду трагического

[1] Соотношения голосов не помню, мои записи об этом заседании не сохранились, в исторических трудах данных о голосовании на указанном заседании фракции не нашел, замечу только, что в тот момент «левые коммунисты» представляли в большевистской фракции ВЦИКа значительное меньшинство. (Автор).

положения Латвии, полностью оккупированной немцами, и ввиду отсутствия связи с партийными организациями. При поддержке Ленина и Свердлова фракция удовлетворила эту просьбу.

Заседание ВЦИК открылось в 3 часа ночи. Срок германского ультиматума подходил к концу. Было решено поэтому предоставить слово В. И. Ленину в регламенте 15 минут, а фракционным ораторам по 10 минут. Председательствует Я. М. Свердлов. Вначале он предоставил краткое слово Н. В. Крыленко. Его выступление носило характер фактической справки о создавшемся крайне грозном положении на фронте. После Крыленко с кратким докладом выступил В. И. Ленин.

— Товарищи,— начал он свою речь,— условия, которые предложили нам представители германского империализма, неслыханно тяжелы, безмерно угнетательские, условия хищнические. Германские империалисты, пользуясь слабостью России, наступают нам коленом на грудь. И при таком положении мне приходится, чтобы не скрывать от вас горькой правды, которая является моим глубоким убеждением, сказать вам, что иного выхода, как подписать эти условия, у нас нет [1].

Ленин говорил о том, что нельзя поддаваться на провокацию буржуазии и ее прислужников, не оставляющих надежды столкнуть нашу страну с германским империализмом и его руками задушить Советскую власть.

— ...Если вы пойдете к настоящему трудящемуся классу,— говорил Владимир Ильич,— к рабочим и крестьянам, то вы услышите один ответ, что мы не можем вести войну ни в коем случае, нет физических сил, мы захлебнулись в крови, как говорил один из солдат. Эти массы поймут нас и оправдают, когда мы подпишем этот вынужденный и неслыханно тягостный мир... [2].

После доклада В. И. Ленина происходили выступления фракционных ораторов — по одному от каждой фракции. Только представитель фракции большевиков Г. Е. Зиновьев поддержал предложение Ленина. Все остальные были против подписания мирного договора с Германией. Лидер меньшевиков Л. Мартов выступал в тот раз очень взволнованно и даже революционно. Истины ради должен заметить, что его речь произвела на всех глубокое впечатление. Он был плохим оратором, слушать его всегда было скучно, но в тот раз он выступал с пафосом и революционно, а самое главное, как всем нам казалось, искренне. Он был очень взволнован, видно, напрягал все свои силы, но слабый голос его хрипел. И все же слова его призыва нельзя было слушать равнодушно: «Товарищи! Вспомним парижских коммунаров. Им угрожали те же прусские империалисты. Немцы наступали на Париж, а коммунары не капитулировали... Товарищи! Умрем и мы на баррикадах революции, но не пойдем на капитуляцию перед германским империализмом!..»

Ленин внимательно слушал Мартова, но когда тот, снова заговорив о сопротивлении немцам, стал призывать к объединению всей демократии, к единству всех перед лицом опасности и заявил, что его фракция не будет нести никакой ответственности за заключение позорного мира, Владимир Ильич нахмурился, а со скамей большевиков, на смену недавнего внимания к оратору, послышались иронические и негодующие реплики. Мартов оказался Мартовым.

Вслед за ним резко и демагогично выступал от правых эсеров М. А. Лихач. От левых эсеров «за святую партизанскую войну» ратовал Б. Д. Камков. Его поддержал эсер-максималист Рывкин, да, по существу, и анархист-коммунист А. Ю. Ге, заявивший, что лучше умереть за революцию, чем заключить позорный мир с Германией.

Настал важный момент принятия решения. Вначале произошло обычное открытое голосование, давшее такие результаты: за резолюцию большевистской фракции о подписании мира — 112 членов ВЦИК, против — 86, воздержавшихся — 22.

Как только были оглашены результаты голосования, представитель фракции левых эсеров потребовал поименного голосования. Это была сознательная помеха делу, ведь дорога была каждая минута. Левые эсеры, кроме того, видимо, рас-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 376.
[2] Там же, стр. 379.

считывали на возможность голосования вместе с ними и «левых коммунистов». С мест большевиков раздались голоса протеста против предложения левых эсеров о новом голосовании.

— Товарищи, спокойствие,— заявил Свердлов.— Согласно регламенту, группа не менее 20 членов ВЦИК может потребовать поименного голосования, а в данном случае предложение о поименном голосовании внесено одной из крупных фракций ВЦИК. Предложение это не подлежит баллотировке. Раз фракция левых эсеров потребовала — будем голосовать второй раз — поименно.

Стрелки циферблата больших часов дворца показывали 4 часа 35 минут утра, когда началось поименное голосование. Оно происходило в следующем порядке. Свердлов вызывал по списку каждого члена ВЦИК на трибуну, и каждый из них, повернувшись лицом к залу, должен был сказать «да» или «нет», за что он голосует — за мир или против. Большевики поднимались на трибуну и твердым голосом заявляли: «да, за мир». Подчиняясь партийной дисциплине, за мир проголосовали и те, кто на партийных собраниях энергично выступал против мира,— В. В. Володарский, А. В. Луначарский, Ю. М. Стеклов.

На трибуне — Бухарин. Зал притих — как-то будет голосовать лидер «левых коммунистов». «Нет! Против мира!» — заявил он под аплодисменты левых эсеров, меньшевиков и правых эсеров. Вызывается Рязанов. Он не пошел на трибуну, как делали это все, а поднявшись со своего места, во всю силу своего мощного голоса крикнул: «Против грабительского и позорного мира!» Противники мира аплодировали Рязанову еще сильнее, чем Бухарину. «Браво, Рязанов!» — крикнул меньшевик Суханов. И снова аплодировали на правом секторе — и Рязанову, и Суханову. Еще два члена большевистской фракции повторили поступок Рязанова, только не в такой театральной форме,— это Ветошкин и Закс. Трое «левых коммунистов» перед голосованием вышли из зала, а четверо воздержались от голосования: Даль, Пендерин, Петерсон, Фабрициус. Всеми ими, кроме латышей, была грубо нарушена партийная дисциплина.

В результате поименного голосования ВЦИК принял большинством 116 голосов против 85, при 26 воздержавшихся, резолюцию, предложенную большевистской фракцией о принятии германских условий мира. Когда Свердлов объявил об этом, противники мира устроили обструкцию. «Позор! Предательство!» — истошно кричали они.

— Это вы ведете себя позорно в момент, когда решаются судьбы революции,— заявил им Яков Михайлович.— Большинством ВЦИК принято решение большой исторической важности. Советское правительство примет все зависящие от него меры для заключения столь необходимого нам мира.

Заседание ВЦИК было объявлено закрытым в 5 часов 25 минут 24 февраля.

В 7 часов правительствам Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии было передано по радиотелеграфу сообщение Совета Народных Комиссаров с выражением согласия подписать мирный договор на предложенных Германией условиях и о посылке в Брест-Литовск делегации, уполномоченной на подписание договора. Смертельная опасность, нависшая над молодой Советской республикой, была предотвращена. Германским империалистам не удалось удушить социалистическую революцию. Она продолжала свое победное шествие.

Гуго Вормсбехер

НЕМЦЫ В СССР

Двадцать восьмого августа тысяча девятьсот сорок первого года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Поскольку текст Указа, подписанный тогдашними Председателем Верховного Совета СССР М. Калининым и секретарем Президиума А. Горкиным, почти не известен широкому кругу читателей, а к теме данной статьи имеет самое непосредственное отношение, приведу его полностью:

«По достоверным данным, полученным военными властями,— сообщалось в Указе,— среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, населенных немцами Поволжья.

О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев Поволжья никто из немцев, проживающих в районах Поволжья, советским властям не сообщал,— следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов Советского Народа и Советской Власти.

В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке из Германии немецкими диверсантами и шпионами в Республике немцев Поволжья или в прилегающих районах и случится кровопролитие, Советское Правительство по законам военного времени будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения Поволжья.

Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьезных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить все немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы переселяемые были наделены землей и чтобы им была оказана государственная помощь по устройству в новых районах.

Для расселения выделены изобилующие пахотной землей районы Новосибирской и Омской областей, Алтайского края, Казахстана и другие соседние местности.

В связи с этим Государственному Комитету Обороны предписано срочно произвести переселение всех немцев Поволжья и наделить переселяемых немцев Поволжья землей и угодьями в новых районах».

Читатель, я уверен, отметил в тексте Указа поразительные, нелепые несоответствия — «наделить... землей и угодьями», оказать «государственную помощь» — кому? Диверсантам, шпионам, их укрывателям? Конечно, стиль этого документа можно понять; он продиктован тяжелейшим положением на фронте, стремлением избежать в условиях войны любого риска. Однако, зная хоть немного действительное положение дел в автономии, алогичность Указа предстает просто кричащей. В республике тогда проживало 380 тысяч немцев. Большинство населения составляли дети, женщины и старики. Кроме немцев, тут жили русские, казахи, калмыки — всего 200 тысяч человек. И выходило, что все взрослое мужское население из немцев были шпионами и диверсантами и не кто-нибудь, а они должны были, выражаясь языком Указа, «взорвать»

себя, своих детей и близких, причем не где-нибудь, а на пшеничных полях, ведь промышленности, достойной «внимания» шпионов, в автономной республике не было. Впрочем, может быть, шпионов и диверсантов немцы Поволжья «скрывали в своей среде», как утверждалось в Указе? Но ведь никого из представителей других национальностей не обвинили и не наказали за пособничество врагу?.. Абсурдно предполагать, что «десятки тысяч шпионов и диверсантов» могли безнаказанно проникнуть в маленькую автономию из Германии: в немецких селах, где все знали друг друга из поколения в поколение, незнакомые люди не могли бы остаться незамеченными, как не остались незамеченными чекисты, заброшенные сюда в форме немецких парашютистов для проверки «лояльности» здешнего населения. По рассказам очевидцев, участникам этого провокационного маскарада был дан достойный отпор. Да и могло ли быть иначе? К началу войны на действительной службе в Красной Армии находились десятки тысяч красноармейцев и командиров из числа советских немцев. Были они и среди героических защитников Брестской крепости, принявших на себя первый удар германского фашизма; об этом в своей книге пишет С. С. Смирнов. За четыре дня до публикации Указа о переселении поволжских немцев газета «Комсомольская правда» опубликовала заметку о трагической судьбе красноармейца немецкой национальности Гофмана: тяжело раненный, он попал в плен к гитлеровцам, подвергся страшным издевательствам и пыткам, но никаких сведений враг от него не добился. Когда части Красной Армии отбили оставленные позиции, они нашли разрубленное тело красноармейца. Из обрубков палачи выложили звезду, а комсомольский билет Гофмана прикололи штыком к его сердцу.

Много лет замалчивался факт насильственного переселения немцев Поволжья. Более того, в сознание советских людей долгие годы внедрялась мысль, что августовский Указ 1941 года был жизненно необходим. Аргументов на сей счет было высказано предостаточно, но все они не выдерживают никакой критики. Драматизм судьбы поволжских немцев, как и всех советских немцев, заключен в том, что их судьбы неправомерно, но последовательно связывались с отношениями между нашей страной и нацистской Германией.

...Политика фашизма, направленная на объединение всех немцев, независимо от страны проживания, в составе единого тысячелетнего рейха, вызвала настороженное отношение и к советским немцам. На фоне массовых репрессий против «врагов народа» вполне убедительно выглядели и ярлыки «пособников германского фашизма», «проповедников расовой теории», которые навешивались на партработников, ученых, писателей и деятелей культуры немецкой национальности, и к началу войны репрессии унесли большую их часть. Расчет Гитлера на эффективную помощь немцев, проживавших в Польше, Чехословакии, Югославии и Франции, по мнению западных историков, себя оправдал, но значило ли это, что Гитлер, строя свои экспансионистские планы, с таким же успехом мог опереться на немцев, проживавших в СССР? Давайте порассуждаем. Да, «объединительная» пропаганда нацистов эффективно воздействовала на немцев, проживавших в странах Европы, но причиной тому были различные переделы континента прошлых лет, когда, скажем, после первой мировой войны Германия лишилась территорий, которыми владела веками.

Другая ситуация была с немцами, проживающими на территории СССР. Надо сказать, что Гитлер, вступая в войну с Россией, строил расчеты на «пятую колонну» из советских немцев, и тому есть документальное подтверждение. В 1958 году вышла книга Луи де Йонга «Немецкая пятая колонна во второй мировой войне», из которой стало известно, что через три недели после начала войны Гитлер приказал службе связи с немецкими национальными меньшинствами «принять срочные меры в целях учета лиц немецкой национальности в оккупированной части Советского Союза для последующего выдвижения надежных из них на руководящую работу в местные органы немецкого государственного аппарата». «Однако,— продолжает автор,— на практике из данного мероприятия ничего не получилось». Почему? «В Советском Союзе,— пишет Луи де Йонг,— немецкие органы разведки не смогли опереться на помощь немецкого национального меньшинства, так как оно проживало в таких глубинных районах России, что наладить с ним связи оказалось невозможным...» Но только ли этот аргумент оказался решающим, спутавшим расчеты Гитлера? Чтобы дать на этот вопрос объективный ответ, надо вспомнить историю немцев Поволжья, российских немцев. Жизнь их вот уже более двух веков теснейшим образом связана с историей России. В прошлом они играли заметную роль в государственной, военной и экономической жизни, в науке, литературе и искусстве. Были немцы и среди декабристов, революционеров, позднее среди активных участников первой русской революции и Октября.

Привлечение иностранцев в Россию началось задолго до царствования Екатерины II, но массовым оно стало во время ее правления. Вызвано это было нуждами государства Российского, необходимостью заселять, осваивать и закреплять за царской короной окраинные земли России в Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе и в Южной России. Были изданы царские манифесты 1762, 1763 и 1764 годов, которыми иностранцы из разных европейских государств приглашались в Россию. В 1764 году возникли первые поселения на Нижней Волге, где были размещены переселенцы из различных земель тогда еще раздробленной на многочисленные княжества Германии. Позже к ним присоединились переселенцы других национальностей — шведы, французы, швейцарцы, голландцы, но так как их было немного, то они, как французы и итальянцы наполеоновской армии из числа пленных, со временем онемечились и вместе с переселенцами из Германии стали именоваться немцами Поволжья. Будущим колонистам обещаны были «молочные реки и кисельные берега», но после многомесячного трудного пути через Балтийское море, затем на телегах до Волги и баржами вниз по великой реке они оказались в голой заволжской степи, где вместо домов для себя увидели необихоженную землю.

Несмотря на ряд привилегий (нераспространение на переселенцев крепостного права, освобождение от воинской повинности на сто лет), немецкие колонисты, а это были в основном крестьяне и ремесленники, надеявшиеся уйти от нищеты и страданий, испытанных на бывшей своей родине, разоренной бесконечными войнами, попали, что называется, из огня да в полымя: обман со стороны царских чиновников, эксплуатация директорами колоний, трудные условия ведения хозяйства обрекли их на нелегкую жизнь. Неудивительно, что уже через десять лет они приняли участие в восстании Пугачева. И все же, страдая и от непривычных для них засух и морозов, и от разорительных набегов соседей-кочевников, колонисты постепенно налаживали свою жизнь и, успешно осваивая выделенные им земли, даже производили на экспорт ценные сорта пшеницы.

По различным данным, в России было около 300 немецких сел-колоний, а общая численность колонистов достигала ста тысяч человек. Рост населения в этих колониях привел к переизбытку рабочей силы, к острой нехватке земли, что вызвало новую волну миграции. Группы дочерних колоний возникли на рубеже XIX—XX веков в Оренбуржье, на Алтае, в Казахстане, в Киргизии, в Средней Азии — многие из них сохранились по сей день. Несмотря на значительную изолированность немецких колоний от местного населения (следствие языкового, культурного, религиозного барьеров), социальные процессы, протекавшие здесь, в силу раннего проявления в местной экономике капиталистических элементов, нередко шли быстрее, чем в других регионах России. Однако отсутствие крупной промышленности и, как следствие, организованного рабочего класса сдерживало проявление социальной активности в немецких колониях.

Первая мировая война, способствуя быстрому росту пролетарского сознания российских немцев, формированию чувства солидарности с братьями по классу, вызвала одновременно и яростный всплеск шовинизма у классовых противников. В России это вылилось в антинемецкие публикации буржуазно-монархических авторов, перечень названий которых достаточно красноречив: «Борьба с немецким засильем», «Гадины тыла. Немецкий шпионаж», «Немецкое иго

и освободительная война», «Немецкое зло. Сборник статей, посвященных вопросу о борьбе с «внутренней Германией», «Немецкое шпионство»... На правительственном уровне антинемецкие настроения проявились в решениях, в соответствии с которыми были выселены немецкие колонисты с Волыни, закрыты национальные школы, запрещено было употребление немецкого языка в делопроизводстве и переписке, в том числе для колонистов-солдат в действующей армии. По указу царского правительства от 2 февраля 1917 года готовилось выселение и немецких колонистов Поволжья, однако Февральская революция приостановила исполнение этого указа.

После победы Советской власти в жизни немецких колоний начались коренные изменения. В 1918 году из российских немцев был сформирован Первый Екатериненштадтский коммунистический полк, который воевал против германских оккупантов на Украине. В 1919 году в составе Конной армии Буденного начал свой боевой путь Первый Немецкий кавалерийский полк, боровшийся против Врангеля, Махно и белополяков. Многие колонисты сражались в знаменитой Чапаевской дивизии, участвовали в разгроме басмачества в Средней Азии.

В 1918 году I съезд Советов немецких колоний Поволжья принял решение об образовании области немцев Поволжья. Это решение утвердил декрет Совнаркома от 19 октября 1918 года, подписанный В. И. Лениным. Автономная область немцев Поволжья, или, как еще ее называли, «Трудовая коммуна», стала первым национальным образованием подобного типа при Советской власти. В 1924 году автономная область была преобразована в Автономную республику немцев Поволжья (АССР НП). Этот акт имел не только внутриполитическое, но и внешнеполитическое значение, поскольку явил собой пример самого внимательного подхода к решению национального вопроса при социализме. И хотя в 1921 году на Поволжье обрушился страшный голод, в республику немцев Поволжья из Америки и Германии стали возвращаться колонисты, выехавшие туда в период столыпинщины и первой мировой войны. Вскоре АССР НП выдвинулась в передовые среди автономных республик СССР по успехам в хозяйственном и культурном строительстве...

Из всего вышесказанного ясно главное — немцы Поволжья были частью советского народа, это были рабочие и крестьяне, которых Советская власть освободила от гнета царизма и буржуазии, дала им государственность, способствовала быстрому расцвету культуры, просвещения, образования. Советская власть была их кровной, родной властью, эту власть они защищали от нашествия идейного и классового врага на фронтах Великой Отечественной войны, и поэтому, считаю, кощунственно было бы говорить о том, что из этих людей могла бы сформироваться «пятая колонна» в тылу Красной Армии. Аналогии с буржуазными странами тут просто неуместны, и уж если к аналогиям прибегать, то иного рода: советские немцы боролись с фашизмом так же, как и немецкие коммунисты-интернационалисты боролись с ним в самой Германии.

И все же, зная сегодня реальности того времени, можно сказать со всей определенностью: Указ о переселении немцев Поволжья был в те годы логическим продолжением политики репрессий, террора, несправедливостей, проводимой Сталиным, практики культа личности, всегда находившего «виновных» за очередную неудачу своей политики.

Конечно, если бы было принято обыкновенное решение об эвакуации мирного населения из приближающейся зоны боевых действий, все выглядело бы совершенно иначе, не было бы и речи о несправедливости, проявленной по отношению к целому народу. Но решать именно так, как решили тогда, было нормой, и это подтверждается тем, как выселяли позже калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и представителей других народов.

Хотя Указ формально касался только немцев Поволжья, фактически его действие распространили на все полтора миллиона советских немцев. На основании Указа началось выселение немцев, успевших эвакуироваться с Украины и Крыма, немцев с Кавказа, из Москвы и Ленинграда. Известны случаи выселения граждан немецкой национальности и в Средней Азии. Немецкие села Сибири и Казахстана этой акции не подвергались, но тут надо сделать оговорку: многие из этих сел после тридцать седьмого года вообще остались без мужчин старше шестнадцати лет (еще раньше в ряде немецких районов было отменено преподавание на немецком языке).

Переселенцев, прибывших в районы Сибири и Казахстана, расселяли по селам и деревням по нескольку семей. При отъезде из родных мест им разрешалось взять с собой только минимум вещей, поэтому большинство было просто не готово к жизни в новых условиях.

В первый год войны были сняты с фронта военнослужащие немецкой национальности. Они были мобилизованы в трудармию, составленную из переселенцев, где впервые узнали о том, что их автономия ликвидирована. Переселенцы работали в тайге, в шахтах, на строительстве уральских заводов. Позже в трудармию были направлены и немецкие женщины старше шестнадцати лет.

О трудармии, в которой, кстати говоря, были не только советские немцы, в советской литературе написано пока очень мало. Само это слово за многие годы даже не просачивалось в печать. Почти ничего не написано и об участии в трудармии советских немцев. Имеющиеся публикации отражали лишь их трудовой вклад в дело Победы. Не было в публикациях и правды о неимоверно тяжелом физическом и моральном положении трудармейцев. Достаточно сказать, что они содержались в лагерях, обнесенных колючей проволокой, на сторожевых вышках дежурили автоматчики. На работу трудармейцев водили под конвоем, а ведь среди них были коммунисты, комсомольцы, ветераны гражданской войны, вчерашние красноармейцы и командиры, имевшие ранения и боевые награды за заслуги перед Родиной. Скудное питание и тяжелая работа вели к быстрому истощению и высокой смертности, особенно на лесоповале в тайге. Лично я знаком с человеком, который из отряда в 2000 человек в живых остался один... Не меньшим, чем голод и тяжелая работа, был для трудармейцев моральный груз — их, советских людей, считали пособниками фашистов. Конечно, тяжелая обстановка на фронте сказывалась на атмосфере в стране. Чтобы выстоять в условиях, когда решался вопрос о существовании социализма как строя, нужна была предельная мобилизация материальных и людских ресурсов. Необходимо было воспитывать в народе ненависть к немецко-фашистским захватчикам; апофеозом ее стали статьи И. Эренбурга того времени. Одна из них, памятная многим до сих пор, называлась «Убей немца!». Призыв этот, направленный против смертельного врага, косвенно бил и по советским немцам, официально обвиненным в пособничестве германским фашистам. И какого отношения к немцам-переселенцам можно было ожидать в той обстановке от местного населения, от людей, чьи мужья, сыновья, братья погибали в войне с немецкими фашистами, а тем более от охраны трудармейских лагерей? Ведь публикация вышеназванной статьи в «Правде», пусть и признанная позже небезошибочной, придавала ей значение, далеко выходящее за пределы эмоций автора.

Единственным критерием виновности советских немцев была их национальность. В трудармию попал Адам Рамбургер, участвовавший в штурме Зимнего дворца, кристально честный коммунист, охранявший Ленина в Смольном. Этот человек, командовавший полком в Чапаевской дивизии, в начале Великой Отечественной войны возглавлял истребительный батальон по борьбе со шпионами и диверсантами. Попали в трудармию известные ученые: археолог Отто Бадер, в очереди за баландой читавший древних греков в оригинале, ученый в области ракетной техники и космонавтики Борис Раушенбах, ныне академик АН СССР...

Какой же ущерб нанесли стране те, кто таких людей лишил возможности внести в дело Победы их посильный вклад! Конечно, на фоне двадцати миллионов человеческих жизней, отданных советским народом за свою Победу, на фоне великих трагедий Ленинграда и Белоруссии многое меркнет. Но трудно представить себе нормального человека, который в горе утешается тем, что горе обрушилось и на другого. Горечь трагедии советских немцев в том, что жертвы они понесли не в борьбе с врагом, а от своих, не ради интересов Ро-

дины, а вопреки им... Нельзя не поражаться и тому, что даже в этих условиях советские люди не сдавались, проявляли трудовой героизм. Среди трудармейцев, например, развернулось стахановское движение, движение за выполнение нормы на тысячу процентов — тех, кто выполнял ее, звали «тысячниками». Активно участвовали трудармейцы и в народном патриотическом движении по сбору средств на строительство танков и самолетов. В марте 1943 года строителями Богословского алюминиевого завода на Урале была получена телеграмма, смысл которой сегодня обретает особенный трагизм: «Начальнику строительства тов. Кронову, начальнику политотдела тов. Горбачеву, секретарям парторганизаций товарищам Шмидт, Штоль, тысячникам товарищам Брейтигам, Обгольц, Эрлих, Пфундт, стахановцу товарищу Эпп. Прошу передать рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим немецкой национальности, работающим на Базстрое, собравшим 353785 рублей на строительство танков и 1 миллион 820 тысяч рублей — на строительство эскадрильи самолетов, мой братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».

Побег из трудармии приравнивался к дезертирству с фронта. Приговор нередко приводили в исполнение на глазах у строя трудармейцев, и, несмотря на это, из трудармии бежали. Бежали... на фронт. Стремление воевать с оружием в руках против врага, неприятие унизительных условий трудармии были сильнее страха смерти. Попасть на фронт с немецкой фамилией было невозможно, поэтому трудармейцы зачастую выдавали себя за представителей других национальностей. Сколько их погибло под чужими именами? А сколько живет под именами других людей? Кто знает! Мне посчастливилось встретиться с Паулем Шмидтом, уроженцем немецкого села Люксембург (ныне Болниси) на Кавказе, который, зная азербайджанский язык, выдал себя за азербайджанца Али Ахмедова и под именем своего довоенного друга из соседнего села Кабанахчи дошел до Берлина, был награжден орденом. По личному указанию маршала Жукова ему вернули подлинную фамилию, переправили документы. Увы, такие истории с благополучным концом были нетипичны...

К концу 1947 года трудармия в основном была демобилизована и многие советские немцы получили право вернуться в места, куда они были высланы в 1941 году. Однако их ждало очередное испытание: 26 ноября 1948 года вышел новый Указ, в котором говорилось, что немцы, как и калмыки, ингуши, чеченцы, карачаевцы, балкарцы, крымские татары и представители других народов переселены навечно и что выезд их с мест поселения без особого разрешения органов МВД карается каторжными работами сроком в 20 лет. Для людей, столько лет живших надеждой на возвращение в родные места, отдавших все силы делу Победы, это было настоящим крахом. Целый народ попал в собственной стране на положение изгоя — советские немцы не могли в те годы вступать в ряды партии, учиться в институтах или служить в Советской Армии...

Нельзя исключить факты сотрудничества части советских немцев, оказавшихся в оккупации, с германскими властями: из материалов о советских немцах-подпольщиках известно, что гитлеровцы привлекали их, например, в качестве переводчиков. Наверняка часть тех, кто был угнан при отступлении немцев в Германию, могла оказаться и в гитлеровской армии, когда началась «тотальная мобилизация». Однако можно сказать с уверенностью, что на сотрудничество с оккупантами шли они не по «родству крови», как кто-то мог бы предположить, и не по национальному признаку; такие случаи, как и у представителей других народов, нередко мотивировались личными качествами людей. Говорить же о массовом предательстве советских немцев, о каких-то заговорах против Советской власти неправомерно, и в истории нет фактов, подтверждающих эти измышления сталинского времени.

«Нет данных, которые показывали бы, что местные немцы, будь то на Украине или на Волге, совершали нападения в тылу русских армий или занимались бы тайной подготовкой подобных ударов,— пишет в книге «Немецкая пятая колонна во второй мировой войне» Луи де Йонг.— До сих пор не опубликовано никаких документов, подтверждающих выдвигаемые против немцев Поволжья обвинения, будто среди них имелись «тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов». Советский Союз хранил по этому поводу молчание. Среди обнародованных немецких архивных документов пока нет ни одного, который позволял бы сделать вывод о том, что между третьим рейхом и немцами, проживающими на Днепре, у Черного моря, на Дону и в Поволжье, существовали какие-либо заговорщические связи»...

13 декабря 1955 года Президиум Верховного Совета СССР принял новый Указ «О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении», которым было предписано снять с учета спецпоселения и освободить из-под административного надзора органов МВД немцев и членов их семей, выселенных на спецпоселение в период Великой Отечественной войны, а также немцев — граждан СССР, которые после репатриации из Германии были направлены на спецпоселение. Однако вторым пунктом Указа было установлено, что снятие с немцев ограничений по спецпоселению не влечет за собой предоставления им права возвращаться в места, откуда они были выселены. Только девять лет спустя очередным Указом Президиума Верховного Совета СССР «О внесении изменений в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» были сняты с советских немцев тяжкие обвинения в пособничестве немецко-фашистским захватчикам (разрешение возвращаться в родные места было дано только в 1974 году).

«Жизнь показала,— говорилось в Указе,— что эти огульные обвинения были необоснованными и явились проявлением произвола в условиях культа личности Сталина. В действительности в годы Великой Отечественной войны подавляющее большинство немецкого населения вместе со всем советским народом своим трудом способствовало победе Советского Союза над фашистской Германией, а в послевоенные годы активно участвует в коммунистическом строительстве.

Благодаря большой помощи Коммунистической партии и Советского государства немецкое население за истекшие годы прочно укоренилось на новых местах жительства и пользуется всеми правами граждан СССР. Советские граждане немецкой национальности добросовестно трудятся на предприятиях, в совхозах, колхозах, в учреждениях, активно участвуют в общественной и политической жизни. Многие из них являются депутатами Верховных и местных Советов депутатов трудящихся РСФСР, Украинской, Казахской, Узбекской, Киргизской и других союзных республик, находятся на руководящих должностях в промышленности и сельском хозяйстве, в советском и партийном аппарате. Тысячи советских граждан-немцев за успехи в труде награждены орденами и медалями СССР, имеют почетные звания союзных республик. В районах ряда областей, краев и республик с немецким населением имеются средние и начальные школы, где преподавание ведется на немецком языке или организовано изучение немецкого языка для детей школьного возраста, ведутся регулярно радиопередачи и издаются газеты на немецком языке, проводятся другие культурные мероприятия для немецкого населения».

Этот важный шаг тогдашнего руководства страны, восстанавливающий справедливость в отношении немецкого народа, мог бы сыграть решающую роль в изменении его положения, и все же позитивное значение Указа ограничилось лишь признанием невиновности советских немцев. Дело даже не в фактических неточностях. Не было «большой помощи», «прочное укоренение» происходило в результате многолетнего административного надзора и лишения прав немцев на передвижение, «руководящие должности», как правило, ограничивались уровнем председателя колхоза в немецких селах. В советском, а уж тем более в партийном аппарате немцев практически не было. Не было и школ с преподаванием на немецком языке, как нет таких школ и по сей день. Изучение немецкого языка как родного велось лишь в ряде мест, и то с огромными трудностями, а перечень «газет» ограничивался одной центральной и одной районной,

Более того, общие фразы типа «и впредь оказывать помощь и содействие» так и остались бы фразами, если бы советские немцы не посылали свои делегации в Москву, не ставили бы перед руководством страны вопрос о восстановлении автономии советских немцев. Единственным результатом было то, что в Казахстане решили открыть еще одну немецкую газету, увеличить выпуск книг советских немецких писателей...

Президиум Верховного Совета СССР тогда постановил:

«1. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» (Протокол заседания Президиума Верховного Совета СССР, 1941 год, № 9, ст. 256) в части, содержащей огульные обвинения в отношении немецкого населения, проживавшего в районах Поволжья, отменить.

2. Учитывая, что немецкое население укоренилось по новому месту жительства на территории ряда республик, краев и областей страны, а районы его прежнего места жительства заселены, в целях дальнейшего развития районов с немецким населением поручить Советам Министров союзных республик и впредь оказывать помощь и содействие немецкому населению, проживающему на территории республик, в хозяйственном и культурном строительстве с учетом его национальных особенностей и интересов».

Нельзя не сказать, что этот Указ, появившийся в результате рассмотрения вопроса о положении советских немцев, на долгие годы отодвинул его решение. То, что автономная республика советских немцев в отличие от чечено-ингушской, карачаево-черкесской, калмыцкой автономий, восстановленных еще после XX съезда, не была восстановлена и немцам по-прежнему не разрешалось возвращаться в места, где они проживали до войны, а также то, что Указ 1964 года не опубликовала массовая печать,— все это сохранило дискриминационные моменты в отношении советских немцев, затруднило работу по интернациональному воспитанию. Положение усугубила возникшая возможность так называемого «воссоединения немецких семей», выезда в ФРГ к родственникам. Почему выезд, и почему именно в ФРГ? И откуда взялись у советских немцев через 200 лет родственники в Германии, причем только в ФРГ, а не в ГДР?

В начале войны большинство немецкого населения Украины оказалось в оккупации. Отступая затем, немецкие войска угоняли советских людей в Германию. После окончания войны все советские немцы, бывшие на территории Польши и в советской зоне оккупации Германии, а вместе с ними и попавшие в плен в начале войны были репатриированы. Однако из западных зон многие не вернулись на родину — западная пропаганда запугивала советских людей неотвратимым наказанием, которое действительно ждало их. Таким образом, у части советских немцев родственники оказались именно в Западной Германии, и когда на международном уровне было принято соглашение о воссоединении семей, начался выезд немцев в ФРГ.

Допускаю, что причиной отъезда на Запад некоторой части немцев было искреннее желание восстановить родственные отношения. Однако уверен, что такие случаи единичны, ибо трудно предполагать, что чувства, допустим, к бывшему мужу спустя двадцать пять — тридцать лет были сильнее чувств, связывавших теперь бывшую жену со ставшими взрослыми детьми, зачастую не желавшими выезжать из СССР, внуками, десятками других родственников и друзей, с которыми приходилось расставаться, «восстанавливая семьи». Логичнее, на мой взгляд, другое объяснение — уезжая за рубеж, часть советских немцев выражала свое несогласие с политикой лишь декларирования равноправия советских немцев со всеми другими нациями и народами СССР, которую проводило бывшее руководство страны.

Слышу возмущенное: да в чем же таком ущемлены советские немцы, если имеют такие же права, как и все советские люди? Ведь и живут они вроде как все, учатся в тех же школах, работают наравне со всеми, многие имеют высшее образование, есть они на руководящих должностях, немало их и среди депутатов, даже в Верховный Совет страны избраны несколько человек... И все-таки не так все просто и однозначно, и не только о восстановлении автономии идет речь, но и о целом комплексе проблем, связанных с положением немцев в СССР.

Удивительный факт: об эмиграции советских немцев чаще всего рассуждали в печати не немцы. Казалось бы, это должно заставить задуматься если не о корректности самих статей, то хотя бы об их контрпропагандистском эффекте, однако ничего не менялось. В течение последних десятилетий ЦК КПСС, рассматривая идейно-политическую и культурно-массовую работу среди советских немцев, обязывал местные партийные и советские органы уделять больше внимания приему их в партию, выдвижению на руководящие должности, избранию в депутаты Советов, представлению к правительственным наградам, приему в вузы, но положение улучшалось медленно. Более того, после 1965 года, когда делегации советских немцев дважды ставили вопрос о восстановлении автономии, народ этот полностью лишился национальной художественной самодеятельности, которой всегда славился — на местах ее стали рассматривать как «проявление национализма», «стремление к национальной обособленности», «рассадник автономистских идей». Любителям самодеятельности предлагалось «петь в общем хоре, со всеми вместе».

Самым же больным для советских немцев стал вопрос об изучении родного языка, ведь из-за того, что не было национальных школ, только часть детей советских немцев изучала родной язык. Вопрос этот решался так: язык изучали, если в классе набиралось необходимое количество немецких детей, а также, если родители были за такой предмет. Но советские немцы живут разбросанно по всей стране, и потому-то обучить родному языку большинство немецких детей невозможно. А нехватка или отсутствие учителей родного языка? Дефицит необходимых учебников, продуманных программ, то, что изучение предмета ведется в дополнение к общешкольной программе? В такой ситуации учителям и директорам школ гораздо проще было получить «несогласие родителей», чем решить вопросы, связанные с преподаванием этого предмета; это в конечном итоге и привело к тому, что многие советские немцы утратили свой родной язык. Сказалось тут и многое другое — отсутствие кинофильмов на немецком языке, эпизодичность коротких телепрограмм, незначительное время радиопередач на немецком, малый объем и исключительно низкие тиражи советской немецкой литературы, практически полное отсутствие художественной самодеятельности на родном языке...

Стоит ли после этого удивляться, что кое-кто решение проблем видел в эмиграции? Между тем выезды советских немцев сопровождались на местах шумной «контрпропагандистской» кампанией, когда вместо того, чтобы объективно вскрывать подлинные причины выезда, на людей, прошедших войну, трудармию, активно участвовавших в целинной эпопее, добросовестно работавших на благо родной страны и годами надеявшихся на восстановление справедливости по отношению к ним, огульно навешивали ярлыки предателей Родины, охотников до легкой жизни и заграничных тряпок!

Я не исключаю, что среди выезжавших были и такие, которые стремились к материальному благополучию, хотя могу сказать, что советские немцы в материальном отношении живут, как правило, очень хорошо, и, чтобы убедиться в этом, достаточно посетить немецкие села. Упрощенный подход, искажавший зачастую подлинные причины отъезда, нежелание прислушаться к чаяниям народа только укрепляли желающих уехать в их решении, тем более что контрпропаганда волей-неволей представляла советских немцев чуть ли не как потенциальных перебежчиков, что, естественно, порождало лишь новые трудности, не излечивало болезнь, а только загоняло ее вглубь...

С таким комплексом проблем вошли мы в перестройку. Признак нового мышления, серьезного, взвешенного подхода к решению вопросов я вижу и в том, что вопрос об автономии открыто обсуждается в советской немецкой печати. И тут надо смотреть правде в глаза: при всем том, что подавляющее большинство советских немцев выступает за восстановление автономии, есть

и сомневающиеся в необходимости этого шага, есть и ее противники. Аргументы в пользу восстановления автономии весомы: наличие автономии сделает советских немцев фактически равноправными со всеми советскими народами, даст им возможность развиваться дальше как социалистической нации со своей национальной культурой, литературой, языком. Это будет способствовать устранению многочисленных проблем в работе с немецким населением, решение которых сегодня постоянно натыкается на непреодолимые преграды, позволит наладить среди немецкого населения идейно-воспитательную работу на родном языке, которая практически отсутствовала в течение полувека. Можно будет готовить квалифицированные национальные кадры для школ, культурных учреждений, редакций газет и издательств, радио и телевидения. Наконец, восстановление автономии освободит советских немцев от настроений пессимизма и безнадежности периода застоя, возродит в них веру в будущее и, уверен, резко понизит уровень эмиграции.

А какие же высказываются сомнения в необходимости восстановления автономии? Считаю, следует привести и эти аргументы. Прежде всего учтем, что АССР НП называлась автономией немцев Поволжья и проживало в ней лишь около четверти советских немцев. Часть сегодняшних советских немцев, никогда не проживавших в Поволжье, считает, что они могут, как и раньше, обходиться без автономии. Однако тут надо учесть, что сегодня нет ни украинских немцев, ни крымских, ни кавказских, ни немцев Поволжья — сегодня есть два миллиона советских немцев, объединенных общей судьбой, общим прошлым, общими проблемами и одинаковым положением. И нетрудно, наверное, понять, что проживание вне автономии при ее наличии и жизнь вообще без автономии — явления весьма разные. При наличии автономии можно проживать и вне ее, при этом имея возможность в любое время сюда переехать.

Есть и другие возражения против автономии: исходя из своего жизненного опыта, люди полагают, что восстановление ее будет вновь связано с насильственным переселением обратно, а ведь многие устроили свою жизнь, наладили быт, обзаведясь хозяйством,— что же, заявляют они, опять, как и в 1941 году, оставлять нажитое, чтобы начать все сызнова? Да сколько ж можно! Что на это ответишь: жизнь научила людей осторожности...

«Против» автономии и те, в ком по сей день живет страх наказания за «вольномыслие», и это понять легко, ведь в течение 47 лет высказываться за автономию было просто небезопасно, ибо как минимум на тебя навешивали ярлык «националиста», «автономиста» и вообще противника дружбы народов и всего советского. Да и откуда возьмется уверенность, что времена изменились, если зачастую идеи перестройки звучат лишь на страницах далекой центральной печати, которая при этом полна материалов о том, как на местах расправляются со сторонниками перестройки?

Против автономии выступают хозяйственные, партийные и советские руководители из числа не немцев, отстаивая экономические интересы своих районов, областей, республик: немцы в хозяйственном процессе играют заметную роль, и переезд их создаст проблему трудовых ресурсов, ведь общее число граждан немецкой национальности, повторю, 2 миллиона. При этом в расчет не принимают два момента: во-первых, вряд ли все немцы захотят уехать из данных регионов. Во-вторых, а это, на мой взгляд, главное, нельзя решать судьбу целого народа, исходя из местнического интереса. Где бы ни работали советские немцы, они прежде всего будут работать на благо страны, а сам факт восстановления автономии, уверен, даст добавочный экономический эффект, возродит в людях энтузиазм, утерянный в годы застоя.

А как же затраты на создание соцкультбыта в автономии, на строительство учреждений, жилья? — говорят оппоненты. Ведь это ж какие деньги понадобятся! Даже не прибегая к Ленину, считавшему, что ставить решение национального вопроса в зависимость от экономических соображений в корне неверно, скажу, что вряд ли «ущерб» этот будет большим: ведь и там, где советские немцы сегодня живут, им выделяют квартиры, строят для них школы, вузы,

обеспечивают тот же соцкультбыт, и все это перейдет в руки коренного населения, улучшит условия их жизни, и речь, таким образом, пойдет лишь о перераспределении государственных средств. Нельзя не сказать и о том, что многие годы советские немцы, работая наравне с представителями других народов, из общенационального продукта получали далеко не наравне из-за того, что на развитие их национальной культуры, искусства, литературы, языка, на подготовку национальных кадров выделялось несравнимо меньше средств, и причины этой диспропорции, думаю, ясны.

В прежние годы мне доводилось и читать и самому составлять письма и обращения, в которых поднимались вопросы, связанные с положением советских немцев, высказывались и предложения о восстановлении автономии. Выслушивал я и оценки этих обращений. Незабываемы ощущения тех лет: с одной стороны — горячие надежды, стремление исправить ошибки прошлых лет, расчистить завалы, оставленные сталинизмом, помочь стране, сделать ее лучше и богаче, убежденность в азбучности излагаемых тобой истин, давно уже изложенных Лениным, а с другой стороны — отчужденность, непонимание, подозрительность, горькие обвинения и нежелание разбираться в проблемах. Тогда-то и родилась у меня мысль, выходящая, по-моему, за пределы межнациональных отношений. Мысль о том, что ни с кем в нашей социалистической стране не боролись так беспощадно, никого не подавляли так жестоко, как людей, искренне стремившихся принести и социализму, и своей стране максимум пользы. Сегодня у меня иное ощущение. Сегодня я не испытываю чувства безграничной вины оттого, что отнял чье-то драгоценное время, подняв наболевшие проблемы, да еще упоминая при этом имя Ленина. Сегодня, говоря об автономии, я обсуждаю естественные жизненные проблемы своего народа с людьми живыми, заинтересованными. Я говорю с токарем, с дояркой, с военнослужащим, с партийным работником, литератором, министром, и мы все друг друга понимаем, ибо говорим мы на одном, понятном всем нам языке, на языке правды. Нас теперь ничто не разделяет, наконец-то мы поняли одно: все мы советские люди, мы все одна большая семья, и все мы хотим одного — чтобы в нашей стране жилось лучше, чтобы светлые идеи, заложенные в основу нашего государства, нашего социалистического строя, были освобождены от пут прошлых ошибок, чтобы все проблемы решались демократично и гласно, ибо время ярлыков и обвинений в инакомыслии ушло. Настало время конструктивных дискуссий, открытых споров, время правды, время решений.

Иногда я слышу от противников восстановления автономии немцев Поволжья: «А не поздно ли о ней рассуждать?» Уверен, что нет. Такой «аргумент», считаю, не должен вообще возникать: разве восстановление справедливости, равноправия людей, укрепление дружбы между народами может быть «слишком поздним»? Это актуально всегда, в любые времена.

Критика

В. Савченко

ОНИ ДЫШАЛИ СВОБОДОЙ

(ЗАМЕТКИ О СЕРИИ «ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ»)

Книги биографического жанра пользуются у читателя неизменной популярностью и выходят, как правило, в издательских сериях. Хорошо известны «Жизнь замечательных людей», «Мыслители прошлого», «Жизнь в искусстве»... О каждой из них интересно было бы написать сегодня, поразмышлять над тем, какой вклад внесли они в литературу за десятилетия существования. Но сегодня речь пойдет о серии «Пламенные революционеры» (ПР), занимающей, смею утверждать, в этом ряду несомненно почетное место. В ней издаются исторические романы и повести, о некоторых из них мне давно хотелось написать. Причем написать вполне откровенно, в духе времени, не взвешивая, о чем можно писать, о чем нельзя; постараюсь это сделать теперь. Я сам один из авторов ПР, здесь вышли мои книги о Чернышевском, народнике Долгушине и народовольце Клеточникове, и то, чем жива серия, как воспринимается читателем, мне отнюдь не безразлично.

Над историческими сочинениями писатели трудятся обычно долгие годы, ясно поэтому, что в «Пламенных революционерах» еще не могли появиться книги, которые несли бы на себе явный знак перемен, явились бы уже, так сказать, продуктом эпохи гласности. Такие книги, конечно, увидят свет, и они уже готовятся к печати, пока же выходят те, что писались в застойные времена. Впрочем, может быть, оно и к лучшему, что говорить придется мне о книгах, представляющих как бы вчерашний день, во всяком случае, на примере их можно попытаться выяснить, с чем пришла серия к новым временам, как бы подвести итог сделанному ранее. Кстати, подвести такой итог уместно сейчас еще и потому, что нынешний год — юбилейный: ровно двадцать лет назад вышла первая книжка со знаком ПР на корешке — повесть А. Шеметова «Вальдшнепы над тюрьмой» — об одном из первых распространителей марксизма в России Николае Федосееве. С тех пор читатель получил полторы сотни романов и повестей, посвященных виднейшим деятелям российского освободительного движения трех его этапов,— по ленинской классификации,— и международного революционного движения. Конечно, не все эти произведения равноценны по качеству; решаюсь даже утверждать, что большую часть составляют книги отнюдь не самобытные, многие несут на себе явные приметы литературы конъюнктурной. Но не они определяют лицо серии. Заинтересованное внимание миллионов читателей привлекли вещи действительно достойные. Из них добрых три десятка можно отнести к несомненным удачам современной прозы. И это не только мое мнение, об этом можно судить на основании многочисленных высказываний критики — пресса всегда была внимательной к изданию.

Так чем же серия ПР обогатила современную литературу?

Прежде чем говорить о новинках, хочу вернуть читательскую память к истокам, напомнить, как, с чего началась серия.

Вспомним, как в начале семидесятых неожиданно заявил о себе жанр исторического романа, вдруг вышедший на одно из первых мест по читательскому спросу, оставивший позади произведения о современности, книги о войне, даже детективную литературу, ибо отвечал насущным духовным запросам читателя. Ответы на самые важные «проклятые вопросы» времени читатель рассчитывал найти и находил в книгах, посвященных далекому и не очень далекому прошлому страны — становлению московской централизованной государственности и княжеским междоусобицам, дворцовым переворотам и попыткам разрушить непомерно вознесшуюся над человеком государственность, противопоставить ей более гуманную организацию жизни... Последняя тема особенно волновала — книги о декабристах, народовольцах были в ту пору у всех на устах, и более всего таких заметных книг выходило именно в серии «Пламенные революционеры». Здесь, в Политиздате, в самые тяжелые для литературы годы застоя теплился огонек искусства и поддерживал надежду на лучшие времена. Многие талантливые наши прозаики пробовали себя тогда в жанре исторического романа.

Интерес писателей к истории был, конечно, во многом вынужденным, все мы это сегодня понимаем. Многие были лишены возможности честно писать о своем времени и, как обнаружилось, только на историческом материале могли развивать сюжеты, которые нельзя было реализовать на современном материале. Но нет худа без добра! Вынужденное обращение талантливых прозаиков к жанру исторического романа обернулось в целом благом как для самих прозаиков, обогатившихся историческим знанием, так и для литературы. Жанр, считавшийся в последние десятилетия периферией литературы, оказался в центре внимания современников, а книги о далеком и близком прошлом — созвучными напряженным поискам выхода из тяжелого положения, в котором оказалась страна за минувшие десятилетия застоя.

С самого начала в серию «Пламенные революционеры» пришли работать Б. Окуджава, Ю. Трифонов, В. Аксенов, Н. Эйдельман, Ю. Давыдов... Эти писатели и задали тон, причем уже первые их книги отличались такими жанровыми особенностями, которые давали основание говорить о том, что на свет появился *новый* тип исторического романа. Авторы, приходившие позже, не могли не окунуться в творческую атмосферу, сложившуюся в редакции ПР, и с воодушевлением двигали дело дальше.

С книгами серии «Пламенные революционеры» в литературу вошел уникальный герой, неизвестный до той поры — революционер, руководитель народного движения, организатор народных масс. То есть, конечно, время от времени он появлялся и прежде, но это был либо проходной, плакатный персонаж, эдакий сверхчеловек, наделенный всеми возможными и невозможными добродетелями, на которого, словно на икону, можно было молиться; либо это была карикатура на героя и его время — последнее более характерно для произведений дореволюционной и зарубежной литературы.

В лучших книгах серии ПР герой-революционер стал объектом пристального и объективного художнического анализа, показан по-новому — объемно, пластично. Его характер создавался по законам современной психологической прозы. И, оказывается, что подобное изображение лидера массового движения углубляет наше знание человеческой природы, дает ключ к объяснению тайных пружин социальных конфликтов, поскольку причиной их в конечном счете извечно бунтующая человеческая личность.

Литература всегда стремилась создать идеал человеческой личности. Сколько было сделано неудачных попыток показать в романах и повестях образ положительно прекрасного человека! Но даже гениям — Достоевскому, Толстому — это оказалось не под силу. Почему же? Не видели они в реальной жизни примеров достойнейшего человеческого существования? Их собственный идеал положительно прекрасной человеческой личности был нереален, оторван от земли?.. В самом деле, нелегко вообразить себе в жизни новейшего Иисуса Христа, удовлетворяющего требованиям, которые можно было бы предъявить человеку, претендующему на роль «положительного героя». Это, очевидно, должен быть человек мыслящий, обремененный заботами мира, и не только ищущий наилучших способов его устройства, но активно пытающийся их осуществить в действительности и притом соизмеряющий свои поступки с высшими нравственными принципами. Коротко сказать: это должен быть человек мыслящий, действующий, нравственный.

Именно таким оказался герой многих книг серии «Пламенные революционеры». Но ведь, как подтверждает время, не всякий революционер, действовавший в реальной жизни, вполне отвечал требованиям этой триединой формулы и *не о псевдореволюционерах речь в этих книгах*...

Достаточно обратиться к романам и повестям А. Шеметова, А. Борщаговского, Ч. Гусейнова и, уверен, образы их героев, сильных, красивых, самоотверженных людей, непременно войдут в читательское сознание.

Удивительно, но факт: после Достоевского отечественная литература как бы утратила интерес к теме революции, к сложнейшим проблемам революционного действия, революционного процесса вообще. Достоевский как бы закрыл тему, исчерпал ее, предав анафеме сам принцип революционного вмешательства в жизнь. Однако в реальной жизни революции продолжались, и, чем дальше, тем становились они более грозными. Вероятно, трудность этих проблем отпугивала литераторов. Авторы серии «Пламенные революционеры» ухватились за эти проблемы как за последнюю надежду — так, наверное, в штормовом океане хватаются за спасательный круг терпящие кораблекрушение. Внутренне споря с Достоевским, разбирали они, при каких условиях согласуются высшие нравственные принципы и крайние средства революционной борьбы, при каких — средства подменяют собою благую цель, всякая ли революционность благотворна, всякая ли революция обречена выродиться в деспотию, существует ли в современном мире альтернатива слишком уж дорогостоящему и опасному трагическому революционному способу решения мировых проблем... В книгах Ю. Трифонова, Ю. Давыдова, М. Лохвицкого, Н. Эйдельмана, увидевших свет в 70—80-е годы, пожалуй, наиболее ярко и остро «раскручены» именно эти сюжеты.

Вот роман М. Лохвицкого «С солнцем в крови». И роман этот не только запечатлел художественный портрет грузинского революционера Прокофия (Алеши) Джапаридзе, одного из 26 бакинских комиссаров, расстрелянных эсерами в 1918 году. Рядом с Алешей дан образ бакинского рабочего Степана, для которого Алеша — Учитель, пример «правильного» отношения к жизни и револю-

ции, высший авторитет. Сопоставляя судьбы этих людей, писатель исследует характер отношений человека революционной массы и руководителя, вождя революции. Творческая задача, признаться, не из легких. Степан — бунтарь, озлобленный, ожесточенный жизнью, «ненавистью налит аж до самых ушей», но он не знает, что делать с этой ненавистью, не в силах найти ответ на мучающий вопрос: «Как жить дальше?» Под влиянием Алеши он становится мужественным, стойким и верным бойцом революции. А без этого влияния какая бы судьба ждала его? Он мог спиться, мог, ожесточенный, вступить в черносотенную «друговщину», чтоб бить инородцев, приваливших «со всего свету». Первое боевое задание подпольной революционной организации — привести в исполнение ее приговор и казнить провокатора — он выполняет без особых душевных мук: «До чего, оказывается, легко это... р-раз! — взмах руки, и ровно бы человека не было. Невесть откуда пришел и в никуда ушел». Его действия — отнюдь не зов совести, не осознанное решение — то воля пославших его людей, которым он доверил вместе с правом распоряжаться собой и право нравственного суда над другими... В эту и подобные сложнейшие ситуации бесстрашно погружается писатель.

Роман А. Нежного «Огонь над песками», повествующий о комиссаре Туркестанской республики Павле Полторацком,— как бы непрекращающийся во время эсеровского мятежа диалог, который ведет герой со своими оппонентами, друзьями и недругами, на протяжении нескольких дней, богатых чрезвычайными событиями. Построенный на диалоге роман-размышление несколько условен, но такая его форма позволяет автору приоткрыть перед читателем потаенные мысли, душу героя, до которых иначе, может быть, и не добраться. Писательское проникновение в психологию лиц исторических позволяет ответить на вопросы, на которые порой вряд ли найдешь ответ и у профессионального историка.

В чем же смысл возглавляемой Полторацким мирной делегации к восставшим эсерам? Почему он не вызывает себе на помощь вооруженный отряд даже тогда, когда становится ясно: эсеровский мятеж — не просто, как предполагалось, реакция на неверные действия одного из комиссаров Туркестанской республики, чересчур круто действовавшего в Закаспии, но прямое выступление против Советской власти? Прослеживая поступки героя, ход его размышлений, проникаясь его ощущением ситуации (писатель умеет передать мимолетное движение души, перемену настроения, смутные предчувствия), постепенно понимаешь: дело не только в том, чтобы использовать последний шанс для восстановления мира в Закаспии. Полторацкий движим сильнейшим нравственным переживанием. Он понимает, что в стане эсеров он скорее всего будет убит и едва ли ему удастся что-либо доказать мятежникам, пусть ему даже дадут возможность высказаться. Но он готов к гибели, не желает предотвратить ее, потому что считает это искупительной жертвой — за ошибки своих товарищей, за промахи молодой власти. Он всей душой верит: в исторической перспективе такие жертвы окупаются.

Так получилось, что писатели, пришедшие со своими произведениями в серию «Пламенные революционеры», оказались людьми, для которых история и прежде была предметом неравнодушного интереса: они хорошо знали ее, с уважением относились к научной истине, научно установленному факту. Мало того, их собственно литературные творческие интересы лежали в плоскости, близкой историческому знанию. В самом деле, занимаясь, например, «загадкой» русского характера, как не поинтересоваться истоками, не проследить развитие его на определенном историческом отрезке времени? Другое дело, что жизнь не всегда дает возможность осуществить задуманное. И вот писатели, прежде не занимавшиеся историей профессионально, обратились к архивам, превратились в исследователей, добытчиков фактов — нового исторического знания. Их труд оказался принципиально отличным от того, как работали исторические романисты прежде: те обращались с фактами вольно, подчиняя логику этого факта логике собственного художественного замысла. Художественный же замысел писателей — наших современников был неотделим от правды истории, степень их творческой удачи зависела от степени приближения к исторической истине, к *подлинному* смыслу происходящего в мире. В результате появились романы, в которых художественный домысел-вымысел не противостоял правде факта, напротив, опирался на действительные события, исходил или же отталкивался от них. Достоверность изображения стала условием обязательным — художественность и документальность слились воедино.

Среди книг серии найдем мы и такие, в которых нет или почти нет вымысла: все описываемые события, поступки, слова героя строго документированы. Но есть произведения, авторы которых более свободно пользуются правом на вымысел — в тех, конечно, случаях, когда возникает необходимость как-то восполнить пробелы исторической памяти. Вымысел этот, однако, особого свойства. Тут авторы следуют принципу, который еще в двадцатые годы сформулировал Ю. Тынянов, работая над романами о Пушкине, Кюхельбекере, Грибоедове: «Там, где кончается документ, там я начинаю». Суть этого принципа в том, что научно подготовленный писатель, отталкиваясь от известных фактов, домысливает недостающее звено в цепи имеющихся сведений об историческом явлении или лице, строит гипотезу по закону художественной правды, которая приобретает все признаки научной. И чем талантливее художник, тем достовернее добытое в процессе такой работы новое знание. Художество, таким образом, оказывается ключом к знанию научному.

Книги из числа вышедших в последние два года, на которых я хотел бы остановиться более подробно, написаны в лучших традициях серии. Две из них — («Никогда никого не забуду» Ст. Рассадина и «Предназначение» А. Житинского) можно отнести к той категории, что тяготеет к документу; две другие — «Огненное предзимье» В. Усова и «Тетрадь для домашних занятий» В. Зурабова — ко второй, условно говоря, «тыняновской».

Автор повести о декабристе Горбачевском Ст. Рассадин в одном из отступлений признается, что, в отличие от Тынянова, он «начинает и кончает вместе с документом», то есть если и «пробует нечто домысливать (вернее, осмысливать)», то лишь в четких его, документа, пределах. Можно, правда, усмотреть в этом признании некоторую двусмысленность (в самом деле, можно предположить, будто Тынянов в своих домыслах вовсе не считался с «четкими пределами» документа), но в целом значение и роль документа в книге определены писателем точно. Это своеобразная повесть-эссе, монтаж из дневников, писем, диалогов и монологов персонажей, реальных и вымышленных, с вкраплениями длинных цитат из официальных бумаг, пространными рассуждениями повествователя. Документ доказывает, убеждает, играет решающую роль в системе доказательств, им выстраиваемых. Впрочем, есть в повести и сюжет: действие ограничено несколькими днями последнего года жизни героя, когда его мучит бессонница и перед ним проходит вся жизнь.

Сколько написано о декабристах, и все-таки тема далеко не исчерпана. Есть какая-то манящая тайна в истории «героев 14 декабря», их подвиге и самом поражении даже. Картинное, красивое благородство дворянских революционеров странно волнует душу, и всякая новая попытка проникнуть в их тайну всегда оправданна. Книга о Горбачевском не только существенно дополняет наши представления о том, как все происходило — в данном случае — на юге России, где действовал герой, член Общества соединенных славян. Важнее понять, что же все-таки вызвало к жизни это движение, по-видимому, заведомо обреченное на неудачу. Интересно авторское рассуждение о том, что Горбачевский и его товарищи были в девятнадцатом веке «стародумами», выучениками той гражданственности, которую пестовал революционный восемнадцатый век; в их столкновении с реальностями посленаполеоновского мира — парадокс их положения. «Любая эпоха хочет равновесия. Рождая Бонапарта, она нуждается в антибонапартах... эти антибонапарты казались носителями добродетелей устаревших, навсегда опровергнутых новой эпохой и ее ярчайшей личностью, тем же Наполеоном, а стало быть, шагом вспять, даже далеко вспять, чуть не к наивной античной демократии. Но они были шагом вперед, к демократии грядущей, которая восторжествует наконец в нашей несчастной России».

Рылеев в «Войнаровском», многое угадавший в будущей судьбе декабристов, «и их сибирскую ссылку, и геройскую верность жен», одного угадать не сумел — того, что и в ссылке они «смогут полезными быть». Их «веселая, безоглядная духовная сила проявилась вначале в том, что они готовы были терять: жизнь, богатство, избранное положение в обществе». И они теряли — с легкостью. Рылеев на площади сказал: «— Последние минуты наши близки, но это минуты свободы. Мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою». Но и те, кто остался жив, кто пошел в Сибирь, ведь и они «сумели до самых последних дней дышать внутренней своей свободой». В ссылке им открылась «та простая истина, открыть которую есть дело всегда самое непростое»: если «нельзя обрести свободу собственными силами, то можно — жить». И они жили, овладевали ремеслами, устраивали в Сибири школы, библиотеки, «всякие прочие способы просвещения, неоценимые и, к несчастью, неоцененные». «Они и вправду по-робинзоновски обживали и облагораживали — уже одним своим стойким примером — этот весьма обитаемый, но еще дикий остров» — завораживающий пример жизненной стойкости!

Автор «Предназначения» А. Житинский знакомит читателя с малоизвестными страницами драматичной истории социалистического движения в Польше в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов прошлого века, когда тон в революционном движении в Российской империи задавала «Народная воля». С нею и связаны идейно и совместными практическими действиями герой повести Людвик Варыньский и его соратники, польские революционеры, создатели первой в Польше рабочей партии «Пролетариат». Отсюда — и тугой узел сложнейших проблем, отчасти уже знакомых читателю по книгам о народовольцах, отчасти впервые освещающихся в литературе. Герой Житинского рано почувствовал свое «историческое предназначение» — отсюда название повести,— еще студентом в Петербурге он понял, что «все устроено несправедливо» и что он должен «перевернуть историю Отчизны», «сделать так, чтобы исчезли бедные и богатые». Многие окружавшие Варыньского люди разделяли его веру в особую миссию и шли за ним. («...Людвик исторически предназначен к выполнению своей миссии, нужно ему помочь»,— говорит одна из героинь повести.) Велико обаяние его личности. В делах, связанных с подготовкой революционных выступлений рабочих, ему удается то, что не под

силу другим вожакам. Что же это за сила такая — власть крупной личности, лидера, над сердцами и волею людей? Откуда она берется? Своего рода — талант? Но что такое талант? Любопытно рассуждение одного из персонажей по этому поводу: «Неожиданно ему (персонажу.— В. С.) в голову пришла мысль, что степень нашей талантливости определяется не только и, может быть, не столько внутренними причинами, но больше — внешними, среди которых на первом месте — вера в себя». Итак, поверь сначала в себя, и тогда в тебя поверят другие. Вот от этой веры и приходит сила.

«Я хочу, чтобы поляки узнали о социализме»,— кратко формулирует свою программу Людвик. Он один из первых у себя на родине, кто делом своей жизни избрал борьбу за социальную, а не национальную революцию, один из тех, кто пытался «социализировать» польское оппозиционное движение. Это давалось нелегко, ибо в стране сильны еще были традиции сепаратизма. Между тем иного пути к «польской свободе» не существовало, как только добиваться ее вместе с русскими революционерами, русскими социалистами.

Но вместе с русскими социалистами значило — с «Народной волей». А эта партия все более отдавала предпочтение террористическим методам борьбы, что неминуемо вело к разрушительным последствиям, разрушительным прежде всего для самой партии. И действительно, уже через два года после убийства Александра Второго 1 марта 1881 года «Народная воля», деморализованная дегаевщиной, практически перестала существовать. Не избежала подобной участи и польская партия «Пролетариат», правда, уже после ареста Варыньского. При нем, под воздействием его обаятельной личности отношения внутри партии строились на демократических началах; после его ухода все большее влияние на ход дел оказывали люди иного склада,— честолюбивые, нетерпимые и нетерпеливые, нетвердых нравственных убеждений, сторонники жесткой централизации, «железной дисциплины». И — распались узы, скреплявшие «Пролетариат». Ведь прочнейшие узы любой, тем более конспиративной, организации — это здоровый нравственный климат. Пережили пролетариатцы и свою «нечаевщину» (убийство рабочего Гельшера, безосновательно заподозренного в шпионаже), и свою «дегаевщину» (история предательства Станислава Пацановского, история позорной попытки Станислава Куницкого вступить после ареста в сделку с жандармами «в духе Конрада Валленрода»). Однако на суде Варыньский, подобно тому, как на процессе первомартовцев поступил Желябов, принял на себя ответственность за все деяния партии. Тоже своего рода искупительная жертва.

Перед читателем в повести «Предназначение» проходит множество драматических судеб революционеров, но, пожалуй, наиболее впечатляющая — история самоубийства Шимона Дикштейна, товарища Варыньского по подполью. Это история неудавшейся жизни. С детства многое мешало Шимону чувствовать себя счастливым — и невзрачная внешность, и недостаток воли, уверенности в себе, и сжигавшее от этого чувство зависти к более ловким и предприимчивым товарищам; но что самое главное, он рано почувствовал себя чужаком у себя на родине, ему дали это почувствовать. «Первый раз ему намекнули на то, что он не имеет права любить Польшу, в гимназии». Директор гимназии, услышав однажды, как Шимон пел вместе с другими детьми «Еще Польска не сгинела...», сказал ему, нахмурившись: «Дикштейн знает наизусть наш гимн? Похвально...» Так он впервые узнал, что это был «их» гимн, Польша — «их» отечеством, а не его. В университете он уже знал, что ему можно и чего нельзя. «Тебе нельзя было любить польские песни и стихи, потому что ты их «не можешь понять»... Знакомство с Людвиком Варыньским, работа в подполье бок о бок с ним заставили Шимона на время забыть о своем «комплексе». «Рядом с ним ты не чувствовал себя евреем, Шимон! Но кем же тогда? Да ты просто не задумывался об этом рядом с Варыньским. Национализм — это гадко. Ты был поляком, евреем, русским одновременно в той пропорции, какой наделили тебя природа, воспитание, историческая условность. Русским ты был, Шимон, поскольку Варыньский из России...» Но и в подполье нашлись люди, которые «поставили его на место» («Посмотри в зеркало. Разве с такой мордой можно пропагандировать среди польских рабочих?» — сказали ему однажды в Познани). И он не выдержал, чувствуя себя ненужным ни Польше, ни революции...

Автору романа «Огненное предзимье» В. Усову более чем Ст. Рассадину и А. Житинскому понадобилась творческая способность домысливать недостающие звенья в цепи исторической памяти. Это и понятно: и эпоха Степана Разина, героя В. Усова, более отдалена от нас, чем время героев Рассадина и Житинского, и документальных свидетельств о нем дошло не так уже много — свидетельств, которым можно было бы вполне доверять. Как мы давно убедились, и документы могут, как люди, лгать. До нас, пожалуй, больше дошло легенд, в которых правда соседствует с фантастическим вымыслом. Выстраивая собственную концепцию личности Степана Разина, отличную, кстати сказать, от всех известных ранее, автор последовательно снимает с нее легендарные наслоения. Не было, оказывается, никакой персидской княжны, будто бы брошенной загулявшим атаманом в волжскую волну; не было и забубенных загулов и нелепых злодейств, которые приписывала Разину молва,— все это противоречит логике характера Разина, созданного художественным воображением автора, а раз противоречит, значит — по его логике — не должно быть. Не должно — потому что автор опирается на точное знание быта, нравов, обычаев донского казачества, реальных условий, в которых формировался характер казацкого вожака. Главное же — мотивы действий его героя выдерживают самую строгую проверку на психологическую достоверность.

Невольно задаешься вопросом: в какой мере созданный писателем портрет Разина соответствует реальному прототипу? Судить об этом, конечно, трудно. Когда-нибудь, может быть, и будут обнаружены бесспорные документальные свидетельства, которые позволят ответить на этот вопрос со всей определенностью. Но, во всяком случае, литература знает примеры, когда подобный художественный домысел оказывался бесспорно достоверным, что подтверждалось позднейшими документальными находками. Подобное, например, случилось, когда Тынянов, работая над романом о Грибоедове, описывал историю русских солдат-дезертиров, бежавших в Персию и поступивших там на военную службу. По имевшимся источникам нельзя было судить, участвовали ли эти солдаты в боевых действиях против России,— историки отвергали такого рода предположение. Писатель, пытавшийся понять мотивы поведения солдат, пришел к выводу, что — да, участвовали, и написал об этом. Позже были обнаружены документы, подтвердившие правоту не историков, а писателя.

Разин в романе В. Усова — человек основательный, вдумчивый, знает, чего хочет, движим не импульсами, не страстями — ясно осознанной целью. У него природное нетерпеливое «желание перемен, а значит, власти, но власти благодетельной, освободительной». В третьем поколении казак, выросший на вольном Дону, он с детства привык «считать свободу главным достоянием человека». Правда, сам он, казак не из последних, крестник донского атамана, на себе лично никакой несвободы как будто не испытал («обо всем дурном в стране он много знал, но не испытал на себе»), с детства много путешествовал, бывал с донскими посольствами на Москве, многое видел, знал, и это знание оказалось для него невыносимо. Почему? «Бывают в ранней жизни человека трепетные минуты, когда услышанное преобразует душу, как пережитое». Такие минуты случались в жизни Степана Разина. И в «походе за зипунами», и в походе на Москву он чувствует себя «в странной власти, взятой над ним, головщиком, людьми, поднятыми и собранными им ради благого дела». Эта власть — воля людей, страдающих от насилия и несправедливости, мечтающих о том, чтобы устроиться на земле по-человечески.

Разин — за «единый трудовой народ — черных людей», за право всем и каждому «хозяйствовать по старинию, не из-под палки»: «Я пришел дать людям избавление от бояр и дьяков, чтобы жили без насильства, по своему уму и достатку. Сие — свобода». Все в русской жизни было «повязано и ограничено», но «крестьянская обида» — горше всех. Извечную мечту крестьян, свободу «работать на себя, а не на боярина», Разин сделал одним из своих главнейших лозунгов — и потому собрал под своими знаменами громадную крестьянскую армию.

В его войске была не одна голытьба, были и «домовитые» казаки и крестьяне, и посадские люди, торговцы, которым воеводы да приказные не давали «подниматься выше положенного», и даже дети дворянские и боярские. К объединению всего трудового люда, без разделения на имущих и неимущих, он стремился сознательно. Погромов «домовитых» Разин не допускал. В разговоре с одним из крестьянских атаманов он говорит: «— Голодные да нищие явилися ко мне... Надеются, что я — отец им. А я, Максим, желаю быть отцом не нищим, а всему народу. Народ наш — черный, посадский и крестьянин,— народ наш домовит, трудолюбив. С ярыгами хорошо гулять, а жизнь вершат трудовые да домовные люди».

Роман А. Зурабова «Тетрадь для домашних занятий» о Семене Тер-Петросяне (Камо) — как бы переходный для серии мостик в нынешнюю эпоху гласности, когда снимаются запреты с разных «неудобных» тем и автору наконец-то предоставляется право независимого суждения. Во всяком случае, именно с такой свободой и независимостью авторской позиции изображен в романе Сталин. И, хотя образ этот и не центральный, его появление в главах, посвященных началу революционной деятельности Камо, запоминается. Сталин был репетитором юного Камо, подрабатывая уроками после исключения из духовной семинарии; именно он втянул молодого Тер-Петросяна в революционную работу, был его первым «революционным» учителем. Уже к тому времени это был человек мрачный, заносчивый и жестокий, вполне нечаевец по своим принципам, неразборчивый в средствах. К счастью, потом были у Камо и другие учителя, для которых Коба был одним из «безродных голодранцев»; от таких, как он, и следовало спасать революцию. Портрет Сталина, очерченный в книге, бросает отсвет на будущие зловещие события, режиссером которых станет этот человек, когда сосредоточит в своих руках громадную власть. Вот как видит его Камо: «Сталин был мал ростом, но никогда не смотрел вверх. Вероятно, он и на небо не смотрел и поэтому не мог думать, что небо одновременно и общее и разное. Сталин любил во всем ясность и ясные слова, которые не требовали объяснений. Когда разгромили первую тифлисскую демонстрацию и все, кому удалось скрыться, собрались вечером в церкви на Мтацминда, Сталин сказал: рабочие должны знать, что они победили».

Сюжетно действие романа Зурабова ограничивается даже не несколькими днями, как у Ст. Рассадина (кстати, хочу заметить, в построении сюжета оба автора не особенно оригинальны), а всего одним днем, точнее — несколькими часами. Готовясь к поступлению в военную академию (действие происходит в 1921 году), Камо занимается русским языком и одновременно, в ожидании жены, решает для себя жизненно важный вопрос: нужно ли ему вообще все это — совершенствование в языке, академия, размеренная, спокойная жизнь,— ему, человеку, который «думает о других больше, чем о себе»? Революция победила, страна переходит к нэпу, бывшим солдатам революции нужно учиться, овладевать профессиями, которые требуются для мирного строительства... Но разве и теперь нет дел, связанных с риском, требующих сверхчеловеческой мобилизации воли,— дел, как бы специально созданных для Камо, с его необыкновенной «психической энергией»? Решая эту задачу, герой обращается мыслями к прошлому, чтобы лучше разобраться в самом себе, решить, на что же он в конце концов годен. Таким образом, и читателю предоставляется возможность заглянуть в прошлое героя. А оно удивительно!.. Жизнь Камо — это жизнь удачливого, ловкого революционера-боевика. Его способность владеть собой, своей волей не раз помогала ему уходить от преследования жандармов. Самый яркий эпизод в жизни Камо, прославивший его на весь мир,— это история четырехлетнего заключения в Германской тюрьме, где он на протяжении всего этого времени притворялся сумасшедшим, чтобы не быть выданным России: там его неминуемо ждал смертный приговор...

И вот, перебирая свое прошлое, Камо размышляет, взвешивает свои поступки и неожиданно ловит себя на мысли, что он не умеет думать,— не научился. «Главное до сих пор было одно: принять решение и тут же привести в исполнение. Без раздумий. Будешь раздумывать — придет страх. Теперь надо думать...» И он думает. О нэпе. О Ленине. О себе. И к чему бы он ни обращался, неизменно упирался в противоречие, разрешить которое был не в силах. Например, эксы — акты насильственной экспроприации. Знаменитые эксы периода первой русской революции, которые он так мастерски умел подготовить и осуществить. Благодаря им пополнялась партийная касса, закупалось оружие,— ясно, делалось это для блага людей, всех людей. Но, с другой стороны, во время проведения этих эксов неизбежно гибли случайные люди... И он снова думает... Надо учиться думать!

К какому же решению, наконец, приходит Камо? «Все было ясно с самого начала, подумал он, но я не хотел этого видеть (разрядка моя.— В. С.), мне захотелось иметь свой дом, у меня никогда не было дома. И опять не будет... И для чего мне дом?.. Теперь надо уехать. Опять с учебой ничего не вышло». И он уезжает в Персию: правительство посылает его туда с ответственным поручением.

Надо полагать, Камо, человек, подобно многим большевикам-ленинцам, активно «учившийся думать», и так, к несчастью, не научившийся этому вполне в годы перехода страны к мирному социалистическому строительству, не избежал бы их трагической участи, доживи он до разгула сталинского террора.

Сегодня мы все в ожидании перемен. Во всех областях жизни. В литературе они уже свершаются. Выхода каких книг можно ждать в серии «Пламенные революционеры» в ближайшем будущем? Трудно, конечно, прогнозировать, но думаю, прежде всего это должны быть произведения о возвращенных из забвения виднейших деятелях революционного движения, жертвах сталинских репрессий. О таких страницах нашей отечественной истории, истории Октябрьской революции, гражданской войны, которые до сих пор все еще остаются для нас «белыми пятнами» только потому, что кому-то было невыгодно обнародовать правду о революции. И, разумеется, это должны быть книги честные, самобытные и талантливые.

Алла Марченко

ДЕТИ НАШЕЙ БЕДЫ

Когда-то, на заре 60-х, Борис Слуцкий написал самую короткую — из известных мне — критическую статью: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе». Падкие на афоризмы, критики носились с ней доброе десятилетие. Незадолго до смерти Слуцкий же предложил и еще одну формулу:

> Неотложные вопросы
> Ждут немедленных ответов
> Не от неподвижной прозы,
> От стремительных поэтов.

Но к моменту посмертной публикации стихотворения немедленные ответы на неотложные вопросы сделались прерогативой политико-экономической публицистики, переживающей ныне и «период энергии» и пик своей славы.

Как же среагировала «неподвижная проза» на внезапную утрату привычных позиций? А очень даже разумно среагировала: мигом «вспомнила», что испокон века ее законной, почти недосягаемой для других родов литературы, добычей был характер, вылепленный временем (тем, что бродит в нашей крови) — «по образу и духу своему».

Разумеется, чтобы воспользоваться столь трудным в обработке материалом — преодолеть его сопротивление — надо было расстаться, и как можно решительней, с предубеждением («тоска все это, тощища смертная») против «старого» реализма и заново, на ходу, овладевать и «дотошным» психологизмом, и индивидуальными речевыми характеристиками, и диалогом, и описанием,— короче, всеми теми приемами тщательной выделки, какими так свободно — вы, нынешние, ну-тка! — владела классическая проза.

Среди дебютантов последних лет, решительно повернувшихся лицом к классике не по внушению моды, а по внутренней, собственной надобности, хочу выделить как самого, на мой взгляд, удачливого «ловца типов» — Александра Белая, опубликовавшего в 4-м номере «Нового мира» за 1988 год рассказ «Овца». Тематически это «лирическое рассуждение» (подзаголовок дан автором) о «провинциалах в столице» не ново. Однако до сих пор писатели, разрабатывающие классический сей сюжет, сосредоточивали исследовательское внимание на провинциалах иной породы: не овечьей — волчьей. В сравнении с подобными хищниками, например, с героинией романа Татьяны Набатниковой «Каждый охотник», белаевская Надюха, ленивая и безынициативная деваха, вполне может сойти за безобидную неудачницу: грозилась синица море поджечь, только спички перевела... И в столичный вуз, правда, технический, с первой попытки поступила, и «по второму заходу» к «лимите» приклеилась, да вскорости и сорвалась; ни в институте не удержалась — отчислили за неуспеваемость, ни в судомойках не закрепилась. Да и как, чем уцепишься, ежели ни силы, ни ума, ни ловкости? Ежели даже хватательный инстинкт — и тот бездействует? Если и наипростейших свойств, для укоренения в жизни необходимых,— материнского тихого долготерпения да отцовской настырности — не унаследовала нескладеха?..

Короче, не выдержала «овечка» испытания столицей, восвояси возвратилась в родимый рабочий поселок. Вернулась, стянула с роскошных бедер железные джинсы, облачилась в покойный халат да и улеглась на почти обломовский диван, дабы предаться излюбленному развлечению российских бездельников: пристрастилась мечтать и наслаждаться мечтами, как явью, наперед заказывая самой себе «темы мечты». Так и валялась на возлюбленном диване, «созерцая фильмы своей души»...

И сколько бы провалялась — неведомо, но тут как раз и заявился, отслужив армию, славный и дельный парень по имени Санька, по фамилии Ворожейкин. Ни двухлетняя разлука, ни слезы-мольбы матери, ни мнение всего поселка, убежденного, что Санькина «присуха», если не шлюха, то стервь, а может, и то, и другое зараз, не в силах поколебать его решимости: жениться да зажить как все, по-людски. Пока у матери, мол, в квартирантах перекантуемся, а там и свое получим, уж он-то, Санька,— мужик с будущим, такие на заводишке нарасхват.

Задумано — сделано. Не отказала Надюха настойчивому жениху, сползла с материнского дивана, соблаговолила. И вот сидит-восседает на пиру свадебном, при фате и прочем, случаю приличном,

да не павой-хозяйкой, а все той же несмеяной, алые губки надувшей. И чему радоваться? Саньке, что ли? Да кто он такой — Санька, чтобы ради него ей, цаце из цац, во всем сразу себе отказать — и в лени, и в диване, и безропотно-вечной материнской заботе?

Шумит, гуляет свадьба, несмотря на Надюхины надутые губки, своим ходом идет, уж и забылось за вином-пивом, хлебом да солью, что на гнилую наживку Санечка клюнул. Лишь мать невесты, уж на что слепа в любви к дочери, а все же притихла: неравный брак, ох, неравный!

Но свадьба гуляет, и Санька гоголем ходит; ему бы задуматься, отчего молодая жена вроде как озирается, вроде как смысла происходящего уяснить не умеет. Да куда там! Такое лишь открытыми глазами заметить можно, а Санька на Надьку не глазами глядит.

Провинция — не столица. Здесь и свадьба — событие общественное, и посему длиться ей и длиться, так долго длиться, что даже мы, посторонние, на свадебный пир не званные, сквозь неприлично прозрачный невестин шифон не только трусики-лифчики, но и «зловещую безликость» нищего ее разума разглядеть успеваем. Разума, состоящего из «памяти, вобравшей в себя общие места», да способности мгновенно и безошибочно — брюхом — различать их в жизни и «по ним ориентироваться».

Но это мы — успеваем, это нас автор своими рассуждениями поторопил, а Санька? Да в том-то и суть, что этот вроде бы беспечный, казалось бы, от души веселящийся на гибельной для него свадьбе простяга задолго до сватовства сообразил, что держит его на привязи, держит, не отпускает не Надькина сомнительная красота... Измучив себя непосильным для своего неразвитого ума размышлением, Санька уже, оказывается, отыскал тайную причину темного влечения к этой то ли овце, то ли корове, то ли «неведомой зверушке» (тонкость коллизии делает, кстати, честь не только герою, но и автору: неординарность лирических рассуждений о «свойствах страсти» — редкость в нынешней прозе):

«Дело было не в Надьке, а в нем. Раньше Надька существовала для него как предмет влюбленности, теперь стала предметом беспокойства, заслонившего в своей силе сам предмет; именно в свое беспокойство, а не в Надьку Саня вглядывался, перебирая все оттенки своего чувства, как делают при игре «холодно-горячо». Горячее всего становилось тогда, когда он думал не о красоте или теле Надьки, то есть об обладании, а тогда, когда думал о необладании, о несуществовании Надьки для него одновременно с существованием ее для всех остальных». И дальше:

«Это был страх перед безразличием другой души, ощущавшимся как непоправимая, стыдная неспособность собственной души отразиться в другой...»

Вообще-то про это свойство любовного «недуга», про власть, какую имеет над любящим, а тем паче юным, в себе не уверенным сердцем безразличие предмета влюбленности, мы многое знаем. Про мучительный, угнетающий соблазн этой «чары» даже Лермонтов-мальчик догадывался:

Все, все наполнило б мне ум очарованьем,
Когда б совсем иным, бессмысленным желаньем
Я не был угнетен; когда бы предо мной
Не пролетала тень с насмешкою пустой,
Когда б я только мог забыть черты другие,
Лицо бесцветное и взоры ледяные!..

Однако тут, у А. Белая, у вечной формулы: «чем меньше... любим... тем легче нравимся...», есть, кажется, и сугубо современный оттенок смысла: «...Расстаться с Надькой значило для Сани насильно забыть что-то страшное о себе, что все равно останется».

Но в чем таком с т р а ш н о м подозревает себя наш образцово-показательный Ворожейкин? Что знает о нем автор,— такое, чего мы, при всем своем опыте, обнаружить не можем? И какой незримой цепью связан такой хороший парень со своей самоуверенной и вульгарной распустехой, на весь мир обидевшейся за то, что он, мир, не дает ей возможности «явить себя как лучшее в нем»? А вот что:

«Она казалась тридцатилетней, пожившей и порочной, хотя и не жила и не знала порока, который все же есть жизнь, пусть дурная жизнь. Те, кто предполагал в ней порок, то есть зло, думали о ней не самое страшное. Душа Надьки не содержала в себе собственно зла как такового, тем более желания кому-то зла; зато любое зло мира могло беспрепятственно и незамеченно пройти через эту пустоту к кому угодно».

Прочерк вместо души делает Надьку, таких, как Надька, социально куда более опасными, чем творители и носители целенаправленного, организованного волей зла. Зло, себя осознавшее как зло,— конкретно-видимая опасность, с ним можно бороться, если ты силен и храбр, его можно обойти стороной, если нет нужных для схватки бойцовских качеств. А как быть с феноменом сверхпроводимости пустоты? Как угадать, какое из зол мира беспрепятственно и незамеченно проскочит сквозь пустоту и поразит тебя, беззащитного?

А. Белай справедливо называет б е з л и к о с т ь своей героини з л о в е щ е й.

Однако Надькина пустота лежит, что называется, на поверхности; на нее указывают, предостерегая, и ее действия, и даже ее внешность. Случай Сани Ворожейкина сложнее: безликость, составляющая истинную его сущность, скрыта — и от него самого, и от нас — внешней поло-

жительностью и обаятельной «витальностью». Но ведь если заглянуть за стереотипную видимость, мы и в нем, увы, не обнаружим ничего, кроме общего места. Впрямую об этом автор «Овцы» не говорит, но логика повествования неумолимо подводит нас именно к такому выводу!

Может быть, я слишком уж расширяю, чересчур вольно толкую предложенную А. Белаем психологическую коллизию, но, на мой взгляд, автор «Овцы», сознательно или ненароком рисуя портрет, составленный из пороков выросшего в эпоху застоя «овечьего» поколения, да тонко и умно рассуждая о «свойствах страсти», натолкнулся на весьма мучительное свойство наших нынешних не только внутрисемейных отношений.

Попробуйте-ка перебрать все оттенки эмоциональной волны, испариной обдающей вас в предбаннике любого из начальственных кабинетов, перед баррикадой Стола, занятого такой вот надутой и самоуверенной Надькой? Что испытываете вы, обнаружив (при первом же беглом взгляде на сглаженное до общего места лицо), что ни ваша надобность, ни ваша мольба не заставит ее отказать себе в лени? А между тем, оглядевшись, вы уже видите, что сиятельные соцмиледи — «рожденная наслаждаться, а вынужденная довольствоваться» — этим предбанником, этим плешивым шефом, этим допотопным телефонным аппаратом — для вас, будь вы хоть Нобелевский лауреат, н е с у щ е с т в у ю щ а я, очень даже существует для каких-то иных искателей ее внимания, в том же чистилище «тусующихся». И ничем вроде бы по внешней видимости от вас не отличаются, однако надо же! О б л а д а ю т и «Надькой», и драгоценным ее временем.

Они — да. А вы — нет.

Ну, и как вы на все это резонируете? Испытываете чувство законной гордости за свою «странность»? За неумение находить спасительные общие места и по ним ориентироваться? Вас распирает радость от сознания, что эта «стервь» и «нелюдь» и не глянув угадала в вас «странного», то бишь л и ш н е г о?

Да какая там радость? Страх вас душит — постыдный, но, увы, объяснимый, ибо не этой раскрашенной куклы вы боитесь! Сквозь ее пустоту иной ужас на вас нацелился. Ужас перед тотальным — от акушерки до похоронного агента — безразличием. И к вам персонально. И к вашему Делу. И вообще к любой боли и любой насущной нужде.

В наивные, доперестроечные времена теплилась, как уголек под пеплом, робко сладкая надежда: ужо как спустят — с в е р х у в н и з — грозный приказ-постановление:

Которые тут безразличные? Слазь! Кончилось ваше время!..

И спустили, и пригрозили, но, похоже, за десятилетия «бега на месте» даже паршивые овцы так видоизменились, что и Пастырь им не указ — «Господи, чушь какая!», и Серый Волк не страшен...

Честно говоря, меня несколько удивляет нелюбопытство нашей критики. Искренне сокрушаясь, что текущая литература не в состоянии конкурировать с извлеченными из писательских «архивов» текстами, дорогие мои коллеги с поразительным упорством не замечают фактов, это распространенное, но ей-ей не безусловное, общее мнение опровергающих.

Разумеется, не в одной лености тут закавыка. При всей неповоротливости и средств производства, и навыков руководства общелитературным хозяйством журналы ежемесячно «свой пестрый мечут фараон». Налицо, так сказать, явный переизбыток информации. Инстинктивно защищаясь от стресса, неизбежного в ситуации непривычного изобилия, читатели, как правило, читают лишь то, о чем все говорят. На те же произведения ориентируются в первую очередь (обслуживая якобы спрос) и критические отделы — и массовых газет, и многотиражных журналов. Так что хочешь — не хочешь, брат критик, а работай в рамках рекомендованного общего списка. Вот и работаем, хотя вроде бы яснее ясного: подписчику в уходящем високосно-безлимитном году, когда он получал с доставкой на дом не один — свой — журнал, а от двух до десятка изданий, вовсе не нужны, тем более подряд, три — четыре — десять статей даже о Гроссмане, даже о Пастернаке, даже о Высоцком. Ему бы, от информационного стресса спасаясь, хотя бы одну какую-нибудь осилить! Однако журналы продолжают соревноваться, невольно дублируя друг друга,— чем, мол, мы хуже конкурирующего издания: что у них, то и у нас...

Но даже зная про все эти объективные обстоятельства — не вчуже, по личному опыту,— нерасторопности своих собратьев по цеху удивляться не перестаю.

Завис в пустоте поздний, но такой яркий дебют Ген. Головина («Анна Петровна» — в «Знамени», «День рождения покойника» — в «Трезвости и культуре»).

Не нашли мы, к сожалению, ни места, ни времени, чтобы удивиться роману В. Луйк «Седьмая мирная весна».

Суетясь вокруг Вл. Пьецуха (спровоцированные на восторг, убеждена, не столько «силой и качеством» уже опубликованных им вещей, сколько упоминанием его имени А. Д. Синявским на сенсационной встрече с бывшими «отщепенцами» в Копенгагене), мы начисто забыли и об А. Белае, и о многих других новых авторах, даже тех, что были открыты авторитетнейшим «Новым миром».

К числу подобных казусов отношу и отсутствие критических откликов на рез-

ко неординарную повесть 36-летнего ленинградца Вл. Рекшана «Кайф» («Нева», № 3, 1988). Молчание тем более непонятно, что речь в этом «полудокументальном повествовании» идет о предмете, который не может не интриговать всех. «Кайф» — не просто исповедь-воспоминание бывшей «звезды» ленинградского «рок-бума», но еще и история молодежного «бунта», в авангарде которого шел наш доморощенный рок-н-ролл и который мы, по причине отсутствия гласности, проглядели, хотя длилось возмущение не одно десятилетие и проявлялось в весьма выразительных, а порой и резко агрессивных формах. Как явствует из хроники В. Рекшана, уже и тогда, в конце 60-х, «волосатики» бушевали во всю, захватывая все новые и новые плацдармы для «музыки подворотен». Даже храмы науки сдавались «мятежникам» — не без сопротивления, но сдавались.

«Все желающие не смогли пробиться в Академию. Главные двери уцелели, но защитникам пришлось распылить и без того ограниченные силы и гоняться за волосатиками по лесам, походившим издали, говорят, на муравейник. Администрация пыталась перекрыть двери внутри здания, и это, отчасти сдерживая натиск, лишь отдалило развязку... В зале не предполагалось сцены, и мы концертировали прямо на полу. На шведских стенках народ сидел и висел, как моряки на реях, перекладины хрустели и ломались, кто-то падал. В разноцветной полутьме стоял вой. Он стоял, падал и лежал. И все это язычество и шаманство называлось вечером отдыха».

Не одно лишь «язычество», род юношеского «безумия» усматривает В. Рекшан в истоке рок-гонки, обернувшейся в итоге дорогой никуда. В истоке было вполне естественное, вполне здоровое противостояние. Дети больших городов пытались осознать себя как поколение и бунтовали, утверждаясь в самости, но не безадресно, как, скажем, чуть раньше в Европе — «против всего сразу», а именно против застоя, который уже крепчал — из Состояния самоформируясь в Систему,— ибо молодости, как пишет В. Рекшан, вспоминая начало, «может быть, дан дар предчувствия больше, чем опыту».

Но кто же тогда, в начале, мог угадать, во что выльется стихийный взрыв? В ту пору даже «за бугром» наркомания еще не сделалась ни болезнью миллионов, ни преступной коммерцией, приносящей чудовищные сверхприбыли. Мы же, как всегда, «отставали» и, как всегда, принимали желаемое за действительное. Да, имели место и мелкое хулиганство, и отдельные случаи нанесения материального ущерба, но...

К тому же в те баснословные года век «кайфовальщика», свидетельствует Рекшан, был сравнительно недолог: с первого по пятый курс; затем, как шлагбаум, опускался диплом, и «гонщики», поставленные перед выбором, отказывались от лишнего. Лишним в ту пору, в пору самодельных гитар и условных гонораров, как правило, оказывался рок, а не диплом.

Но времена менялись, менялись и нравы, и там, «за кордоном», и у нас.

«Рок уже размыл вузовские дамбы, уже появились отчаянные, лепившие из рока жизнь, делавшие ее формой жизни, роком-судьбой, шедшие на заведомое люмпенство, ставившие на случайную карту жизни, не зная еще, какая масть козырнет в этой игре. Кое-кто уже докайфовался до алкоголизма, появились свои дураки, шизики, крезушники с тараканами в извилинах. Многие, правда, играли в дураков и шизиков — ух, это веселая игра! Кое-кто уже поигрывал с транквилизаторами, торчал на анаше. Нет-нет да и звякал среди кайфовальщиков шприц. Нет-нет да пропадали в аптеках всякие-разные таблетки. Но все это было так — легкие тучки на горизонте».

Сам В. Рекшан вышел из опасной игры раньше, чем тучи сгустились. Вернулся в большой спорт, а потом и вовсе оторвался — не только от бывших коллег рок-н-рольщиков, ибо писательство—одинокое дело. Однако это же Дело потребовало от беглеца возвращения в мир отверженных и пропащих, потому что за время его отсутствия рок-музыку не просто перестали ругать. Ее стали внедрять с телеэкранов—вместо того, чтобы, пользуясь возможностью называть вещи своими именами, пусть поздно, но разобраться, что же случилось с нашими детьми. Вернувшись, он обнаружил: новые хозяева и учредители жизни, рассудку вопреки, наперекор стихиям, не прочь погордиться нашими достижениями и в этой области! Надо же, и в ФРГ удивляются, что самый «тяжелый рок» идет из России...

Абсурдность ситуации и заставила В. Рекшана вмешаться в нее:

«Смотрю передачу: гонят рок-номер, после его обсуждают должностные лица, сидя в кресле,— так да сяк; гонят еще номер и опять рассуждают. Неплохо так рассуждают, а вот в рок-номере на всю страну рок-мальчики пели про то, что, дескать, «трава», она, туда-сюда, моя любовь к тебе больше или меньше любви к «траве» и прочая, и прочая... «Трава» — это марихуана, анаша, гашиш... Это каждый знает. А каждый третий из тех, кто знает, курит. А знают ли те, кто в креслах? Сколько-то лет назад удивился, когда понял, как поперла в средства массовой информации поп-культура. Затем вместо удивления пришла уверенность: это все враги шуруют! Хотят нас изнутри взорвать! А теперь думаю — какие враги! Дураки! С нами в идеологии воевать не нужно. Главное — дуракам не мешать—они нас в итоге изнутри и взорвут!» А ведь и в самом деле! Где-нигде, а «достоверно в Дании» в дураках от века недостатка не было — избыток был!

Но, может, эти дураки и не дураки вовсе, а только притворяются дураками?

(«ух, это веселая игра»!) Может, они умнее нас, и тех вполне хороших, но недалеких ребят из комсомола, что, открывая-закрывая очередной рок-фестиваль, морщат еще безмятежные лбы, пытаясь уяснить «гносеологическую сущность» российского рок-психоза? Может, они сообразительнее даже предприимчивых одесских комбинаторов, жалких наследников великого Бендера? Подумаешь, исхитрились продавать запаянный в некондиционную тару (для детского питания) обыкновенный одесский воздух (о чем писали «Известия»). По пятерке за сувенирчик. Да из рок-пузырей не такую деньгу гнать можно: даром, что ли, наркотик в Ленинграде купить легче, чем туалетную бумагу, а билет на рок-фестиваль — четвертак по твердой таксе? А те, что в телекреслах? Похоже, и в самом деле, то ли не знают, то ли не хотят добираться до сути. Даже Л. Жуховицкий («Юность», № 8, 1988) успокаивает: «Ведь что произошло, что случилось с молодежью? А вот что: на наши улицы и площади выплеснулся карнавал. Да, да, карнавал... естественный, живой, изобретательный и энергичный».

В. Рекшан достаточно умен, чтобы не связываться и с играющими в дураков махинаторами, и со взаправдашними дураками. Действуя партизанскими способами, их не взорвешь. Корнями врос в российские суглинки вечный град Глупов... К тому же автор «Кайфа» по самой сути своего дара и не динамитчик, и не плакальщик, а строитель, убежденный: не заламывать руки надо, стоя перед развороченной на кирпичики кладкой, а «строить здание нового самосознания». И не из новомодных стройматериалов, а все из тех же «кирпичиков», чудом уцелевших при порухе... И не для идей строить — для людей, и прежде всего для тех, кто еще не знает, «как трудно выжить в юности и дожить до того, что называется человеком».

Но как, каким образом — не сокращая пространство своего разумения до объема открытого урока в необязательной воскресной школе,— втолковать этим юнцам, этим диким искателям «кайфа», что рок-белена, чудно разросшаяся на наших болотах и гарях, пострашнее, ядовитей заморской марихуаны; тот, кто заплутает в этой «чащобе», в этих «джунглевых чаяниях» (А. Вознесенский), никогда не вернется назад?

Была и еще одна, почти «олимпийская» трудность. Как воскресить уже миновавший, уже изжитый строй чувств, понятий и заблуждений, не прибегая к помощи сочинительства, если в тебе самом уже свершилось (это я уже В. Шаламова цитирую — «Новый мир» № 6, 1988) изменение оценок и первая твоя жизнь уже пропущена сквозь строгий контроль жизни второй?

Автор «Кайфа», во всяком случае, на мой взгляд, с этой трудностью справился: несмотря на контроль и на изменение оценок, как художник сумел остаться внутри «рок-ада», не превратился в туриста, в ностальгическом порыве на досуге заглянувшего в город «волосатиков», как это сделал, к примеру, автор повести «В поисках ближнего», тематически почти дублирующей «Кайф»,— А. Матвеев («Урал», № 1, 1988).

Казалось, А. Матвеев, как и В. Рекшан, уже пережил возраст «кайфа», да и цель, ради которой предпринимается сентиментальное путешествие из бывшего Екатеринбурга в бывший Санкт-Петербург, более чем серьезна: «...я прилетел на первый в своей почти тридцатилетней жизни рок-фестиваль... отыскать утерянную отмычку к дверям моего поколения».

Но прилетев, герой начисто позабыл и про отмычку, и про двери, ибо растворился в «эйфории»:

«Б. Г. (очевидно, Борис Гребенщиков — догадка моя.— А. М.) бросает слова, «как пощечины»: мановение руки — и «зал ревет, как в экстазе». И как не заэкстазиться, не заэйфориться, если Б. Г. и для уже бывшего «кайфовальщика» остался кумиром,— «нечто высокое, красивое». Если музыка «обволакивает», а под «обволакивание» «супер-стар» «небрежным движением головы откидывает свою знаменитую челку — и кружевное жабо на его груди распахивается, открывая то ли крестик, то ли медальон...»

Вообще-то искатель отмычки, кроме естественного желания попасть на дефицитное рок-представление, имеет и еще одно скромно-профессиональное намерение: взять у Б. Г. интервью. Это оказалось не таким уж простым делом — звезды капризны и труднодоступны. В конце концов эту дверь А. Матвеев все-таки отворил. Однако самая умная из сентенций Б. Г. оказалась на редкость неумной и не по возрасту кокетливой:

«Когда я начинал, я не был художником, но у меня с самого детства было ощущение, что жизнь — это кайфовая штука»,— ну а все остальное сводилось к проблемам чисто техническим («как я смогу все это завести вокруг себя»).

Вместо комментария позволю себе еще одну выдержку из «Кайфа». Каюсь, мне нравится цитировать прозу Рекшана: ее ироническая стройность, ее выправка и жестикуляция доставляют эстетическое удовольствие. Однако в данный момент хочу сравнить не уровни художественности, а уровни мышления. Вот так описан (если меня не подводит нарочито сдвинутая хронология А. Матвеева) тот же самый «рок-фестиваль» в «Кайфе»:

«За неделю до комсомольского рок-н-рольного мероприятия на Петроградской стороне выпили все плохие и кислые вина и закомплексовали тамошнюю милицию, которой, похоже, в условиях проснувшейся демократии предложили особо руки кайфовальщикам не заламывать, но быть иначе... Президента рок-клуба задержали и отпустили, меня и самого стоило задержать и отпустить, но тут на комсомольскую сцену стали забирать-

ся «панки». Шведско-канадские же дипломаты забегали с видеокамерами. Первые «панки» поливали зрителей из кислотно-пенного огнетушителя и «погасили» заодно пару усилителей «Динаккорда», на полторы тысячи золотых рублей; вторые «панки» обтошнили себя перед концертом и матерились в микрофон, третьих «панков» попытались побить «металлисты» из Пскова, одетые в настоящие кольчуги, и возле сцены началось побоище... Все-таки была и музыка... Была и гласность. По стенам раскатали куски обоев, и каждый мог выразиться письменно. И выражались».

Не уверена, что «Кайф», как, видимо, надеется автор, остановит тех, кто уже сделал «рок» формой жизни. Да и вообще его текст, пожалуй, слишком сложен и личностен для полудокументального повествования с узконазидательной установкой. Правда, это сложность не формы, слога и стиля. В этом-то отношении «Кайф» почти эталон ясности и простоты, но ясности и простоты выражения далеко не простых мыслей и соображений.

Тем, к кому взывает Владимир Рекшан, растрепанная, хаотичная сложность А. Матвеева явно «понятнее», ибо она и не рассчитана на понимание — между автором и читателями как бы заключен тайный договор. И это отнюдь не нынешнее изобретение. Задолго до Пастернака над загадкой сложности, которая почему-то понятнее людям, чем нужная им позарез простота, еще князь Вяземский-старший задумывался:

«Знаю читателей, которые готовы... сказать автору: если книгу вашу пойму, то и читать ее не хочу... Для таких читателей неудобопонятность книги или журнальной статьи неминуемо возвышает достоинство и ценность ея... они в подобном чтении находят поживу самолюбию своему. Вот, дескать, думают они, с самодовольством и гордостью, какие книги читаем мы, а не эту дребедень, которую каждый понять может...»

Сложность Рекшана иного сорта. Она не льстит и настойчиво требует понимания.

И все-таки, будь моя власть, я бы издала эту педагогическую рок-поэму сверхмассовым тиражом, экспрессом и с грифом: «Специально для школьных библиотек». Ведь пока мы с вами успокаиваем себя безразмерным «авось» (авось обойдется?) и по пятницам, и по воскресеньям, и средь будничной теленедели приучаем отсталые наши уши к пещерным ритмам рок-клипов, там, в стране «Кайфа», гибнут всерьез.

«Ноздря в ноздрю» с «Кайфом» («Аврора», № 2—3, 1988) появилось и еще одно произведение, преподнесшее нам то ли ключ, то ли отмычку к вратам еще одной социальной ниши-зоны: «Интердевочка» В. Кунина. Слух о том, что в молодежном ленинградском журнале появилось что-то про проституток, распространился с быстротой необычайной. Книжечки «Авроры» передавались по цепочке, не прикасаясь к полкам открытого доступа даже в научных залах Ленинской библиотеки. Да и как было не разгореться общественному любопытству, ведь речь шла не об обычных привокзальных «дешевках», а о птицах иного полета. Вот как представляет героиня В. Кунина своих «коллежанок» по древнейшей профессии:

«...парад элиты! Дому моделей делать нечего. «Вог», «Бурда», «Неккерман»... «Карден», «Нина Ричи». Каждый костюмчик — штука, полторы. Сапожки — шестьсот, семьсот. Это вам не Наташа-школьница. Это наш профсоюз. Интердевочки. Валютные проститутки».

Красота — товар прибыльный, к тому же конвертируемый. У каждой из девочек, сумевших, на зависть конкурентам, подняться на самый верх лестницы, ведущей вниз, кроме костюмчиков-сапожек, еще и солидные суммы на сберкнижках — до ста тысяч. Впрочем, как следует из текста, даже эти профессионалки не всегда имеют выгодную работу, а так как бизнес не терпит простоя, то на случай временной валютной безработицы члены профсоюза на кооперативных началах снимают у какого-то инженеришки хату для клиентов попроще. Копейка, как известно, рупь бережет, и девочкам передых нужен, надо же натуре послабление сделать: «Девки ходили по квартире немытые, нечесаные после бурной «рабочей» ночи...»

Но это, увы, лишь промежуток краткий. А вообще-то, не в пример разиням там веркам-наташкам-школьницам, возмечтавшим, что их пятнадцатилетней свежести достаточно, чтобы «начать ходить» по благоухающей, заманчивой, как коробочка из-под духов «от Диора», дорожке, они профессионалки-трудяги. И этот вид свободного предпринимательства требует не только уникальных секс-данных, но и постоянного тренинга: «с утра бассейн, потом теннисный корт, обед только с деловыми людьми». Но и, конечно же, языки. «Профминимум» на широте Ленинграда: английский, немецкий, финский. Однако наша героиня, особа энергичная, еще и шведский изучает, и не по профессиональному куцему разговорнику, а всерьез, не из потребности в усовершенствовании своего имиджа, разумеется. И не из-за романтичной, такой специфически «петербургской» мечты о Стокгольме. Помните, у Игоря Северянина?

Я вскочила в Стокгольме
на летучую яхту,
На крылатую яхту из березы
карельской,—
Капитан, мой любовник, встал
с улыбкой на вахту,

Закружился пропеллер белой ночью
апрельской.

У нынешних «грезэрок», проживающих, как встарь, «поблизости от невских вод», куда более практичные мечтания: «Хочу свой дом, свою машину!.. Хочу зайти в магазин и купить ту шмотку, которая мне нужна, а не переплачивать фарцовщикам втридорога!.. Хочу мир увидать. Разные страны... Не по телеку, не в программе «Время», не в «Клубе кинопутешествий»... А сидя здесь на кухне, хрен я что увижу!»

Бедные, глупые закордонные «растиньяки», заглядывающиеся на загоревших на Ривьере дочек миллионеров. А мы-то все сетуем, что не доросли до демократии! Еще как доросли! Да у нас каждая танька-встанька по одной-единственной причине — потому что «и без шмоток выглядит будьте-нате» — уверена в своем праве увидеть весь мир!

Агрессивный Танечкин монолог имеет вполне конкретную дипломатическую цель: втолковать милой мамочке, почему хорошая и правильная дочка выходит замуж за немолодого, с незавидной наружностью и далеко не перспективного — «всего лишь с тенденцией служебного роста внутри собственной фирмы» — шведа. Ведь Алла Сергеевна Зайцева и в самом деле не подозревает, чем занимается Зайцева-младшая в свободные от «больнички» дни и ночи. Об этом, кстати, не подозревают и ее сослуживцы. Обитают мать и дочь Зайцевы в районе новостроек, пока сюда тачка дотащится, «фрекен Танька» успевает и униформу с себя стянуть, и лицо переменить. Впрочем, не в пример дурам из своего профсоюза, наша Таня — положительная, она своих ночных туалетов не любит,— у нее иной стиль, более подходящий будущей хозяйке уютного «шале» в чистенькой, богатенькой Швеции. Вот, к примеру, в каком достойном виде является бывшая «интердевочка», а с сегодняшнего дня законная невеста фирмача Эрика Ларссена на смотрины в шведское посольство: «У меня хватило ума не напяливать на себя вечернее «рабочее» платье, и я выглядела скромно и респектабельно: белые американские «бананы», темно-красная спортивная рубашечка из чистого коттона и белоснежная курточка фирмы «Пума». Грим — самый незаметный, слегка тонированные очки и красная «адидасовская сумочка».

Но вернемся к задушевному разговору двух милых женщин на крохотной кухоньке ленинградской «хрущобы». Ни разу не задумавшись, откуда у ее дочери при их-то достатках (жалованье школьной учительницы да зарплата медсестры) и темно-красные рубашечки из чистого коттона, и белоснежные фирменные курточки, Алла Сергеевна ужасается: брак по расчету? Да это же — «торговать собой»! В ответ на эту сентенцию дочка произносит еще один монолог:

«Ну, кто же не торгует собой? Кто не стремится подороже продать свою профессию, свой талант? Кто не хочет получить вознаграждение за свои достоинства? Писатель торгуется с издательством, у художника покупают его картины, конструктор получает гонорар за изобретение».

Разумеется, двадцатидвухлетняя девчонка вольна произносить любые монологи, но в том-то и фокус, что В. Кунин и не думает поправлять ее, он вроде как полностью в данном вопросе согласен со своей героиней!

Однако погодите негодовать: у каждого жанра своя мера правды и свой уровень высоты: тот, с которого взирает и на мир, и на природу вещей В. Кунин, предполагает самые грубые, но зато и самые ходовые приметы времени: торгует... подороже продать... получить вознаграждение... покупают... гонорар...

Как я уже упоминала, «Аврора» с «Интердевочкой» имела не просто шумный, но и широкий успех и, кажется, не только на внутреннем рынке. Как сообщила «Советская культура», по повести В. Кунина запущен в производство советско-шведский фильм (режиссер — П. Тодоровский, в роли фрекен Таньки — обаятельная Е. Яковлева).

Не устояла и «Молодая гвардия»: «Интердевочка» издана двухсоттысячным тиражом, тогда как для «Рассказов тридцатилетних», собравших под одной обложкой цвет нашей молодой новеллистики — от П. Краснова до Т. Толстой,— бумаги хватило лишь... на 30 000 экземпляров!

Ну, что касается «той» стороны, шведов можно понять.

Во-первых, экзотика. Во-вторых, мода на гласность. В третьих, щекотливая проблема не всегда кондиционных импортных невесток.

Ну а мы? С нашим-то предубеждением к поп-культуре? Чем нас-то обворожил этот откровенный «кич»? Не на безрыбье же, а при избытке серьезнейшей литературы, которую не успеваем не то что прочитать — перелистать? Даже «Чевенгур» — удивляется Золотусский — перелистываем! За легендарным романом А. Кестлера «Слепящая тьма» — никакой толкучки, а вот за «Интердевочкой» — хвост: и «элита», и «масса» покорно ждут своей очереди. Чем же пленила эта откровенно рассчитанная на массовый спрос повесть? Да, похоже, этой самой откровенностью и взяла!

Собрав первую, такую свежую, такую крупную «клубничку» с только что открытой для широкого пользования запретной «грядки», В. Кунин ловко и быстро сварил из нее варенье почти на все вкусы: предложил в определенном отношении почти образцовый текст, по которому можно прямо-таки изучать специфическую художественность, если воспользоваться термином Вл. Ф. Одоевского, «низших слоев литературы».

В дискуссиях о проблеме «низких жанров» как образец массовой культуры ча-

ще всего вспоминают романы В. Пикуля[1].

Однако, на мой взгляд, В. Пикуль в этом отношении никак не образец, уже хотя бы по одному тому, что резко индивидуален, в известном смысле уникален даже в недостатках. Да, властвует над толпой, но — разделяя, тогда как истинное назначение истинно массовой культуры — объединять, на краткий миг примиряя все вкусы. Вот В. Кунин и объединяет! Его бесстильность абсолютно стерильна и в силу этого исключает аллергию на дурновкусие. Даже сюжет его повести, несмотря на кажущуюся определенность, фактически безразмерен, то есть способен растягиваться до бесконечности.

Ревнители милосердия будут явно благодарны автору «Интердевочки» за то, что, вписавшись в традицию («от лермонтовского «Сашки» до купринской «Ямы»), призвал нас снизойти до жалости к погибшим, но милым созданиям. Блюстители социалистической нравственности получат убедительный материал для возмущения: это надо же, до чего докатились! Полумиллионным тиражом печатаем инструкцию для начинающих шлюх. Этих соплячек, этих чертовых кукол на панель зазываем.

Но и серьезные читатели не останутся внакладе, не зря время потратят, ибо знают: «бессмысленных книг нет, если читатель бдительно ищет в них смысл жизни» (А. Платонов, «Чевенгур»).

А уж про любителей детективов и говорить нечего: есть над чем голову поломать! Почему, скажем, группа противодействия беззаконному и безнравственному бизнесу не столько дело делает, сколько времечко ведет? Ну, отберут при обыске у какой-нибудь из них мелочишку карманную. Так ведь для близира это: надо же мальчикам с университетским образованием в глазах общественности оправдаться. Но нас-то, поднаторевших, не проведешь на мякине: с чего бы это такие чистенькие, при костюмах-галстуках с э т и м и чикаются? Нет уж, не иначе как подпольная мафия действует! И девахи — эти дамы без камелий про мафию лучше нас понимают:

«Да если бы вам потребовалось, вы бы нас и без закона ликвидировали. А мы вот гуляем... Значит, нужны мы вам!»

Может, и вправду — нужны?..

А ведь можно и еще чуточку потянуть — в иную сторону, с иным нравственным знаком... Потянем и выкроим из безразмерного полотна что-нибудь занятное, например, современную сказочку про современную золушку... Специально для тех, кто нынешней ночью валокордин в рюмку капает, за своих бесприданниц, невесть где пропадающих, беспокоясь... Для них сказочка — утешительный сон наяву... Чистенький, кукольный дом за кордоном-бугром. А при домике — сад. А в саду розы. А при розах — доченька. И одета так славно, и выглядит хорошо, курить, верно, бросила. Далеко домик — не дойдешь ногами, и перед людьми неловко... Но лучше заморский, плешивенький, чем свой, кудрявый, да пьющий, а то и еще, господи пронеси, и «травку» покуривающий!..

Е. Шкловский, проанализировав не менее дюжины отнюдь не дюжинных книг дебютантов 80-х годов, пришел тем не менее к не очень утешительному выводу: «Читая очередное произведение молодого прозаика, нередко ловишь себя на мысли, что все хорошо знакомо — и темы не новы, и разработка их не отличается особой оригинальностью, да и сама художественность... не впечатляет. По тем же кругам идет молодая проза, что и проза писателей старшего поколения, почти след в след, явно теряясь в тени предшественников и почти не предлагая чего-то своего, осязаемо свежего — взгляда, мысли, формы»...

Применительно к произведениям своего выбора автор статьи «Идущие вослед» («Знамя», № 4, 1988), пожалуй что и прав. Более того, подмеченная Е. Шкловским тенденция просматривается и в молодой поэзии: и здесь, увы, сплошь и рядом недостает самостоятельности, и здесь не смеют порой оторваться от уже проложенного следа.

Однако же и иные устремления нет-нет да прорываются сквозь надежные издательские заслоны, сквозь настороженное отношение к авангардистским крайностям. (Зачитанный и разворованный даже в зале периодики Ленинской библиотеки, целиком отданный молодым экспериментальный «Урал» № 1 — наглядное тому свидетельство). Но если в поэзии и в живописи авангардизм (как «осознание, а не профессия», как отказ от сложившегося языка) уже оперился и даже получил общественное, пусть скромное, но признание, в прозе он чувствует себя неуверенным. «Новаторы» словно бы сомневаются — не столько в своих собственных потенциях, сколько вообще в необходимости «рваться вперед» — да так, чтобы «брюки трещали в шагу». И не потому ли сомневаются, что в чрезвычайных наших обстоятельствах — «быть иль не быть — вот в чем вопрос» — самым верным, во всяком случае в зоне ответственности и дозора прозы, самым новым вполне может оказаться хорошо забытое старое.

Вот ведь и двое из трех героев моих рассуждений — А. Белай и В. Рекшан, хотя, казалось бы, и идут след в след за предшественниками, и никаких формальных новшеств вроде бы не изобретают, однако в их тени не теряются, предлагая свой, о с я з а е м о с в е ж и й взгляд.

[1] См. статью С. Зенкина «О вкусах читателей — спорят» в № 7 «ЛО» за 1988 г. Во избежание недоразумений хочу привести и выдержку из этой работы, с которой я совершенно согласна: «...критика очень неохотно, видимо, не желая пересматривать свой привычный инструментарий, изучает всякого рода «низкие», «массовые» жанры как художественное явление (сколь бы специфичной ни была эта «художественность»)».

Возвращаясь к нам...

Тезисы сталинской «клятвы», запечатленной в одноименном кинофильме, многократно заученной нами в школах и институтах, давно забылись, но ее назойливый рефрен — «уходя..., уходя..., уходя от нас» — остался в памяти навсегда. Как будто специально «наследник и продолжатель» внушал: ушел Ленин, ушел...

А что же было на деле? Исполнив клятву как некий ритуальный акт «принятия полномочий», Сталин затем сделал все, чтобы убить в народе саму память о подлинном завещании Ленина: слишком уж расходилась его трактовка путей социалистического строительства с теми, что были намечены Лениным. Порой говорят, что последние ленинские работы, в том числе и «Письмо к съезду», были опубликованы сразу же после окончания XV съезда ВКП(б), в его бюллетене № 30. Это так. Но многие ли прочли тогда этот малодоступный бюллетень? Как убедительно доказано сейчас, он не только был вскоре изъят из обращения, но и само «Письмо к съезду» было объявлено «антисоветской фальшивкой». Только в 1956 году, после XX съезда КПСС, ленинское завещание было возвращено людям. К сожалению, отголоски предшествующих лет оказались живучи.

Примеры? Увы! — их немало. Думаю, не один я был удивлен, прочтя недавно в статье академика М. Кима такое высказывание: «Отдельные авторы склонны отрицательно оценивать тот факт, что XIII съезд партии не последовал совету В. И. Ленина и оставил И. Сталина на посту Генсека, недвусмысленно связывая это с возникновением впоследствии культа его личности». Эта фраза могла остаться ребусом, если бы академик далее не пояснил уже однозначно, что ленинские рекомендации были отклонены XIII съездом правильно, «с учетом той исторической ситуации», поскольку-де надо было сражаться с троцкистами, которые «были противниками ленинской идеи построения социализма в СССР» («Правда», 5 февраля 1988 г.). Можно подумать, что Сталин строил социализм по Ленину!

Но правда всегда торжествует, и такой подход уже не определяет нашего отношения к ленинскому завещанию, наших нынешних знаний о нем: было немало интересных статей, были пьесы М. Шатрова и его публицистические выступления, были острые дискуссии вокруг выступлений историка Ю. Афанасьева... И вот — первая книга, посвященная политическому завещанию Ленина. Она невелика, всего 140 страниц, но предельно информативна. «Воды», которая до последних лет была неизбежной спутницей работ по истории партии, в книге Е. Плимака практически нет. Е. Плимак, думается, сумел на небольшом пространстве рассмотреть оптимальный круг основных проблем ленинского завещания.

Эту работу отличает редкая даже по сегодняшним временам свобода мысли, суждений. В нынешнем «публицистическом взрыве» порой встречаешь то перехлесты, то явные умолчания и зигзаги вокруг острых углов, «запретных» тем. Ходу рассуждений Е. Плимака веришь даже тогда, когда их суть вызывает замечания, ибо веришь искренности автора, его стремлению разобраться: где же, когда и в чем мы отступили от ленинских заветов, почему?

Эти вопросы автор задает себе (и всем нам) не раз, напоминая и о ленинском предостережении о возможности термидора, и о словах Маркса о «грубом коммунизме», о том, что «устаревшее стремится восстановиться и упрочиться в рамках вновь возникших форм». Но особо я бы выделил небольшой раздел, названный Е. Плимаком «Концепция «злого умысла». Эта, условно говоря, концепция — своего рода кредо тех, кто и прежде, и сегодня (надо ли доказывать, что такие есть?) видит в соратниках Ленина, уничтоженных Сталиным, злоумышленников и шпионов. Автор убедительно показывает научную несостоятельность этой «концепции», придающей истории ленинской партии «какой-то мистический характер: получается, что ленинское ядро партии было сплошь набито деятелями, только и знавшими, что выступать против Ленина, ленинизма, партии и народа».

Е. Плимак ясно и четко обозначает грань между ленинским и сталинским отношениями к оппозиции: «Принципиальная борьба Ленина с оппозицией не обескровливала партию и страну. Ленин умел — после горячей «пропарки» — впрягать бывших оппозиционеров, порой заблуждающихся, но честных руководителей РКП(б), честных коммунистов, в коллективную работу ЦК и партии...

Е в г е н и й П л и м а к. Политическое завещание Ленина. Истоки, сущность, выполнение. М., Политиздат, 1988.

Сталин же быстро внес в борьбу с оппозицией черты того «озлобления», которое, по выражению Ленина, «вообще играет в политике обычно самую худую роль». Уничтожая «заодно» с оппозицией последовательных сторонников Ленина и славных полководцев, лучших ученых и писателей, миллионы «простых» людей, Сталин объявил наш народ самым культурным и передовым. Как это было далеко от ленинского завета, выделенного Е. Плимаком: «Сколько еще настоятельной черновой работы предстоит нам сделать, чтобы достигнуть уровня обыкновенного цивилизованного государства Западной Европы».

Среди достоинств книги Плимака отмечу и то, что ее автор работает с, казалось бы, давно известным и изученным материалом смело, неожиданно, не боясь упреков, в которых, думаю, недостатка не будет. Да, раздающийся и по сей день (порой с довольно высоких трибун) начальственный окрик «Не очерняты», к сожалению, не остается гласом вопиющего в пустыне. Но очернять черное нет нужды: оно у ж е черное. И так ли уж виноваты сами «очернители» в той лавине беспощадной, жестокой правды, которая нежданно-негаданно обрушилась сейчас на наши головы? Не действуют ли тут неумолимые физические законы? Ведь если «маятник» исторических часов был насильно разбалансирован, если его упорно сбивали в сторону фанфар и лакировки, то для восстановления равномерного хода ему неизбежно придется какое-то время уходить в противоположную сторону, иначе инерцию фанфар не победить. И потому справедливо, что Е. Плимак заклеймил Сталина и его окружение словами, когда-то сказанными Энгельсом о движущих механизмах якобинского террора: «Шайка прохвостов, обделывавшая свои делишки при терроре». Позволю себе добавить сюда и характеристику, которую Энгельс там же дал террору: « Мы понимаем под последним (т. е. под террором.— **С. Б.**) господство людей, внушающих ужас; в действительности же, наоборот,— это господство людей, которые сами напуганы. Террор — это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх».

Так уж повелось: чем серьезнее работа — тем строже спрос с нее. В чем-то с Е. Плимаком хочется поспорить. Он правильно напоминает о том, что публикация в «Правде» (январь 1923 г.) ленинской статьи «Как нам реорганизовать Рабкрин» сопровождалась направленным во все губкомы партии письмом Политбюро и Оргбюро, в котором давалось понять, что Ленин-де тяжело болен, не читает газет, ему не присылают протоколов заседаний Политбюро, поэтому к его последним работам следует относиться как к своего рода личному дневнику, ничего не значащим заметкам. К сожалению, письмо это подписали такие видные деятели партии, как Андреев, Бухарин, Дзержинский, Калинин, Каменев, Куйбышев, Рыков, Томский, Троцкий, а также Сталин и Молотов. Автор книги справедливо и безоговорочно осуждает это письмо. Однако он пишет: «Печать болезни — этого не надо скрывать — лежит на последних ленинских работах. Эти работы вопреки «своей старой привычке писать, а не диктовать» парализованный Ленин надиктовывал секретарям, он торопился с записью» и т. д. Но, между прочим, одна из этих секретарей, М. А. Володичева, писала, что вплоть до «начала марта 1923 года, когда болезнь положила конец работе Владимира Ильича, он никогда не давал почувствовать, что он болен. Это был тот же Владимир Ильич, которого все мы знали, Владимир Ильич, глаза которого так зорко и неустанно смотрели далеко вперед, мысль которого работала так глубоко...»

Далее. Автор ссылается на известную формулу из постановления ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. о том, что культ личности Сталина «не мог изменить и не изменил природы нашего общественного строя». В работе есть и такие слова, уже авторские: «Всей своей деятельностью Сталин, безусловно, подтвердил данную ему Лениным характеристику как одного из «двух выдающихся вождей современного ЦК» — ему были присущи смелость в решениях, несгибаемость в их проведении, большие организаторские способности, логичность в полемике. Сталин усвоил и передал народу ленинское понимание критичности ситуации, в которой Советской России пришлось строить новое общество». Что ж, считать так — право автора. И все же относительно «неизменной природы нашего общественного строя» хочется поспорить. Сошлюсь на выступление М. С. Горбачева во время встречи с деятелями польской культуры, где, в частности, было сказано: «Только сейчас мы пришли к пониманию, что вновь должны возвратить ленинский подход, который означает: в полной мере вернуть человека в социалистическое общество» («Правда», 15 июля, 1988 г.).

И еще одно замечание. Полностью согласен со словами Е. Плимака: «Наша историко-партийная наука стала (с начала 30-х годов. — **С. Б.**) фактически «запретной зоной», зоной, находящейся вне всякой научной критики. Она оказалась той областью обществоведения, где десятилетиями... была задавлена аналитическая мысль, приглушалось свободное обсуждение, разве что кроме обсуждения десятистепенных вопросов». Но в другом месте работы автор пишет: «Историческая наука с громадным трудом оправляется от ударов, нанесенных ей в конце 60 — начале 70-х годов», приводя в качестве примеров «расформирование Института истории АН СССР» и «занятие руководящих кресел приспособленцами от науки». Люди несведущие могут решить, что безымянные злодеи оставили историков без института. На деле же Институт истории в 1968 году был разделен на Институты истории СССР и всеобщей истории, что позволило примерно вдвое увеличить штаты, создать новые научные направления. Другое дело, что и в новых, и в старых направлениях продолжали процветать рутина и косность, но это — увы! — уже хроническое состояние нашей исторической науки и «расформирование» тут ни при чем. Что же касается «приспособленцев от науки», то их в обществоведении (в том числе и в «руководящих креслах») хватало и до и после названного Е. Плимаком рубежа.

Многое меняется сейчас в нашей жизни. Все яснее слышатся ленинская речь, ленинские мысли. В этом процессе возрождения, возвращения того, что мы так неразумно растеряли, найдет свое достойное место и книга Е. Плимака.

Сергей Бурин

Год и вся жизнь

Минувший литературный год принес глубокие и честные произведения, посвященные одной из самых драматических страниц нашей истории — времени «сплошной» коллективизации, необоснованного раскулачивания, «великого перелома», обернувшегося гибелью миллионов крестьян. Об этом — «Кануны» В. Белова, «Мужики и бабы» Б. Можаева, «Касьян остудный» И. Акулова, «Страницы пережитого» И. Твардовского. Повесть С. Антонова «Овраги» — из того же ряда.

Художник, испытывая искреннюю боль за каждую сломленную судьбу, за поруганное человеческое достоинство, говорит о происшедшем в деревне на рубеже двадцатых — тридцатых годов.

«В порядке подготовки к чистке» в дом рабочего Платонова является «бытовая комиссия», на нелепые вопросы которой вынуждена отвечать жена Платонова Клаша: «Где ваш муж? — Куда он отлучается по вечерам? — Часто ли отлучается? — Поздно ли приходит? — Есть у него другая женщина? — Почему у вас один ребенок? — Почему кровать с шишками? — Откуда такой шикарный комод? — Почему нет портретов вождей?» Член комиссии, «тощая, с зеленым лицом старуха», перед уходом зловеще предупреждает: «Имейте в виду, нам все известно. А за свои показания будете отвечать».

Сцена эта запоминается и не дает покоя прежде всего потому, что перепуганная Клаша, безропотно отвечая на бестактные вопросы, даже не задумывается, по какому праву посторонние люди, испытывающие наслаждение от причастности к власти, бесцеремонно вторгаются в жизнь ее семьи. Молодая женщина давно сжилась с мыслью, что все именно так и должно быть, тем более что и муж ее, Роман Гаврилович Платонов, не теряет «бдительности» ни на минуту. Плоть от плоти своего времени, он даже в житейских, порой комических конфликтах непримиримо выискивает контрреволюционную подоплеку. «Ну,— наступает он на Клашу с угрозой на лице и в голосе,— давай мне фамилию вредителя, который подначил напустить ядовитый дым в квартиру секретаря партячейки. Фамилия? Инициалы?»

Между тем живут Платоновы трудно, дает о себе знать голод, и «смычка города с деревней», как говорит один из героев повести, «получается только на картинке». В тяжелые дни Клаша вместе с сыном Митей отправляется в деревню, чтобы выменять на продукты отрез материи. По трагической случайности Платоновы попадают в Атамановку. Именно сюда несколько дней назад был послан Роман Гаврилович вместе с бойцами заградительного отряда — для «ускорения темпа хлебозаготовок».

В Атамановке Митя становится невольным виновником гибели матери.

Тяжелейшее нравственное и психологическое испытание, выпавшее на долю подростка, чувство вины и ничем не заполнимая пустота после смерти матери переданы С. Антоновым с глубоким проникновением в детское сознание. Жар, бред, галлюцинации, решение покончить с собой преследуют Митю в течение нескольких дней. Это первое серьезное потрясение в жизни подростка, уверенного в правоте своих родителей и неизбежно вовлеченного в жестокую схватку. Да, он боится признаться отцу в том, что погубил мать, но ведь и с самим Романом Гавриловичем в его размышлениях связано что-то непредставимое, пугающее. «Папа,— спрашивает однажды Митя,— а когда в женщину стреляют, она кричит?»

Время внушало людям определенные представления о гуманизме: «если враг не сдается — его уничтожают». И очень скоро Митя убежденно скажет: «Кулаков надо ставить к стенке всех, без всякого исключения, чтобы и духу их не было. А кто их пожалеет, тех тоже расстреливать». Он забудет об убитой женщине, перестанет рассуждать о правоте

С. Антонов. Овраги. Дружба народов, №№ 1, 2, 1988.

отца, заранее оправдывая жестокость, сознательно подавляя в себе жалость по отношению к «кулацкой дочке» — Маргарите Чугуевой.

О том, как сложится дальнейшая судьба Мити и Маргариты Чугуевой, читатель уже знает из повести С. Антонова «Васька», опубликованной в прошлом году «Юностью». Пока же они дети, разведенные жизнью по разные стороны классовых баррикад. И все, чему становятся свидетелями Митя и Рита, неизбежно калечит и ломает их души.

Ничем не оправданное, совершаемое вопреки здравому смыслу и элементарным понятиям о милосердии раскулачивание семьи Чугуевых, в котором Митя участвует вместе с отцом,— один из самых трагических эпизодов повести. Хозяйка дома не перенесла приказа о немедленном выселении с родной земли и повесилась в сарае.

Какие-то угрызения совести Платонов после такой «раскулачки» (слово-то какое!) испытал. Но активист Петр поспешил его успокоить рассказом о еще более суровых мерах при прежнем председателе. «Ночью уполномоченный прибыл, наган на стол, а у нас уже список кулаков готов... Только у нас шесть, а согласно инструкции окружкома надо восемь. Моментально собрали комиссию и совместно добавили двух, у кого дома под железом. Опомниться не дали. Проснулись кулачки, а под окнами милиция с винтовками».

Да, недаром деревенский балагур Макун встретил двадцатипятитысячника Платонова, призванного партией поднимать и создавать колхозы, насмешливым вопросом: «Неужто на Руси цельных двадцать пять тысяч дерьмовых колхозов наплодили?» Преступные действия были лицемерно названы Сталиным «головокружением от успехов», и фраза, в которую с надеждой вчитывались жители Сядемок — «Нельзя насаждать колхозы силой»,— на деле означала неуклонный рост числа липовых, нежизнеспособных хозяйств, образованных с помощью угроз и прямой расправы. Колхоз в Сядемках — именно из таких, существующих только на бумаге. Секретарь райкома Орловский занимается подлогами, беззастенчивым обманом, подсовывая крестьянам готовый текст заявлений о вступлении в колхоз. Председатель райисполкома Догановский тоже гонится за показателями, его волнуют лишь цифры, но не судьбы людей. Распекая своего заместителя за то, что в отчете указана слишком маленькая цифра раскулаченных хозяйств, Клим Степанович грозно спрашивает: «Ты что, позабыл, что мы с Острогожским районом соревнуемся? Они к октябрьским шесть процентов раскулачили, а у нас два и две десятых?! Ты, я гляжу, сильно мужичков жалеешь».

Показуха, администрирование, бюрократическое чванство, недоверие к вековому крестьянскому опыту и здравому смыслу превращают колхозное строительство в авантюру, которую народ поддерживать не хочет. Бунт, вооруженное восстание в районе — это та реальность, с которой приходилось сталкиваться любителям волевых решений.

Во время восстания в Сядемках погибает Платонов. Он замерзает в степи, и в его затухающем сознании происходит важный спор с пригрезившимся оппонентом. Тот говорит Платонову, что «любая ошибка в перестройке крестьянского производства, любой просчет в перестройке его потрясают жизнь крестьянской семьи сверху донизу, приносят не только протори и убытки, не только разруху и семейные неурядицы, но в первую очередь физическое истребление людей. Здесь можно ошибиться один раз, от силы — два раза, но выдюжит ли двужильный русский мужик десять переделок? Вот в чем вопрос. Машину десять раз переделать можно, а живого мужика — нельзя».

Платонов не соглашается с оппонентом, но сам факт его появления может означать только одно: он что-то понял, этот несгибаемый двадцатипятитысячник, в результате долгой, ожесточенной борьбы с мужиком. Понял, но не успел додумать до конца. Год великого перелома обернулся сломом судьбы, смертью.

Говоря от имени народа, выражая его точку зрения, С. Антонов в «Оврагах» ориентируется прежде всего на разговорную речь. Рядом с трагическими сценами в повести соседствуют откровенная сатира, злая шутка, ирония, вызванная несоответствием громких лозунгов правде жизни. Живое слово часто сменяется бесцветным языком газетных передовиц, и эти мертвые обороты, введенные в текст повести, показывают, как насильственно внедряется канцелярит в народное сознание и как выламывается он из естественного живого потока крестьянской речи.

Кому-то, наверное, покажется, что нелепость и разрушительная сущность происходящих в Сядемках перемен слишком наглядны, что иные характеры персонажей спрямлены С. Антоновым. Но откровенная нарочитость, с которой все это сделано, приводит к мысли о том, что художник задался целью разоблачить, высмеять этих людей, показать их тупость и безнравственность, не оставить ни малейших сомнений в чудовищных последствиях их бездумной деятельности. Недаром деревенский дурачок Данилушка, преследуя, как тень, «радетелей за народ», постоянно выкрикивает бессмысленные лозунги: «Да здравствует Союз-хлеб!», «Да здравствует Авиахим!», «Позор нехотимцам!» Слово, извращающее дело, как и слово, оторванное от дела,— трагедия не только уже далекого, но и совсем недавнего нашего прошлого.

Е. Скарлыгина

«...Жгучее стремление быть творцом»

С радостью согласилась написать о недавно вышедшей книге Эм. Казакевича. С радостью прежде всего потому, что люблю и высоко ценю этого писателя, старого моего друга, столь рано — увы! — ушедшего из жизни. С радостью, во-вторых, потому, что ему в нынешнем году исполнилось бы семьдесят пять лет (а он ведь не дожил и до пятидесяти), и вспомнить его имя, вспомнить его работу, книги, право же, не лишне. С радостью, наконец, потому, что обратился ко мне журнал «Знамя», который решительно и радостно вводит в нашу литературу новые имена и которому все же хочется напомнить, что при этом не следует забывать и иные, быть может, не столь уж многочисленные, однако честные и талантливые имена писателей, выдержавших нелегкую и серьезную проверку нашим сложным временем, начавших свой непростой путь в литературу тоже на страницах «Знамени». Одно из самых достойных и чистых в этом ряду имен — имя Эммануила Казакевича.

Вот уж кому бы жить сегодня... Вот уж кто стал бы истинным и незаменимым солдатом перестройки. Да он, в сущности, и был таким солдатом в том, что успел сделать достоянием нашей литературы, наших читателей, начав свою работу в 1946-м, едва вернувшись с войны, из армии и протрудившись полноценно и весьма азартно, заметно и ощутимо всего каких-нибудь пятнадцать-шестнадцать лет. Только тогда он не очень-то пришелся ко двору, и его, поначалу сразу же заметив и даже отметив, довольно быстро постарались заслонить, отодвинуть в сторону, чтобы не очень-то бросался в глаза. В начале нынешнего июля «Советская культура» опубликовала его статью «Гений и злодейство», написанную в конце пятидесятых годов, где дан блистательный анализ личности Ленина, показано предательство и отступничество от ленинизма Сталина. Ее и тогда, более тридцати лет назад, очень хотели опубликовать разные периодические издания, включая «Новый мир» Александра Твардовского, но, увы, это никому не удалось.

Когда Эм. Казакевич вернулся с войны, у него в Москве, кроме молодой семьи, ничего не было — ни кола, ни двора, никакого пристанища. Помог генерал Выдриган — Казакевич долго был его адъютантом, и на всю жизнь они остались друзьями,— дали крошечную комнатенку без всяких удобств в доме барачного типа, в Хамовниках. Наконец-то появилась крыша над головой, появился какой-никакой стол, и вот на нем-то и была написана первая повесть Казакевича, высокая, чистая и ясная «Звезда». Она решительно и бесповоротно изменила жизнь молодого писателя. В 1947 году «Звезду» опубликовало «Знамя», возглавляемое в ту пору Всеволодом Вишневским. Повесть сразу была замечена, принята читателями и, что бывало не часто, литературной общественностью. Первому увидевшему свет произведению никому неведомого писателя была присуждена Сталинская премия. Вскоре ему дали небольшую квартирку в новом жилом районе, выстроенном на тогдашней окраине Москвы немецкими военнопленными. И уже в следующем году «Знамя» опубликовало вторую повесть молодого писателя «Двое в степи». Повесть поражала глубиной, тонкостью, человечностью отважно и решительно поставленной проблемы.

«Итак, началась литературная моя деятельность. Две маленьких лодочки пустил я в море, и они, удаляясь, теряются в туманном море, становятся уже не моим достоянием, а достоянием волн играющих и ветров бушующих. Два крошечных паруса еле виднеются вдали в безграничной пучине, но пучина требует меня всего. И вот я, как неопытный пловец, стою на скалистом берегу, готовый к прыжку в пучину. Страшно и сладостно стоять так на открытом ветру» — такую запись сделал Казакевич после выхода в «Знамени» второй повести.

Однако, как это нередко случалось в те времена, судьба повести оказалась нелегкой и глубоко несправедливой. Она была грубо, вульгарно, тенденциозно раскритикована в «лучших» традициях литературной критики конца сороковых годов и даже не выпущена отдельной книжкой; ее напечатали лишь в сборнике спустя много лет, после XX съезда КПСС. Гуманистический пафос произведения пришелся «не ко двору» тому времени. Лишь спустя более десяти лет повесть «Двое в степи» получила достойное признание, была издана, по ней был написан сценарий, а потом и снят фильм.

Надо сказать, молодой автор, может быть, не отдавая себе отчета, и не предчувствовал подобной опасности. Строке о двух лодочках в его записной книжке предшествуют другие, связанные с тем, что повесть «Двое в степи» будто бы понравилась руководству Союза писателей: «Это было бы прекрасно... и не так для меня, как для советской литературы. Удар по моей повести — это удар по мало-мальски острому сюжету в прозе, и по проблеме, и ergo — удар по литературе».

Удар этот, однако, обрушился со всей силой и, конечно, мог надолго вывести из строя молодого писателя. Слава богу,

Эм. Казакевич. Весна на Одере. Повести. М., Художественная литература, 1988.

этого не случилось, ибо он был защищен — защищен тем, что уже писал новый роман и был увлечен новой задачей.

«Весна в Европе» (как поначалу автор назвал свой роман),— я снова цитирую записную книжку писателя,— роман о советском человеке, гвардии-майоре Сергее Петровиче Лубенцове. Он прошел огонь, воду и медные трубы. Он трижды умирал и трижды воскресал из мертвых. Чувство собственности чуждо ему уже. Долг для него — прежде всего».

И далее: «Если говорить о влиянии критики «Двоих...» на работу над романом, то оно выразилось в том, что я больше сомневаюсь, а значит, и больше мучаюсь, тружусь, борюсь с материалом. Ergo — влияние положительное, в конечном счете. И любовь ко мне читателей, и настороженность руководителей имеют одно следствие: страстное мое желание, оставаясь самим собой, остаться своим и для тех, и для других».

Далее в записной книжке следует множество записей с пометкой «К роману «Весна на Одере». Одну из них, наиболее полно выражающую авторское ощущение новой работы, мне хочется привести полностью:

«Ему (герою романа.— **М. А.**) вдруг стало жгуче-радостно оттого, что его артиллеристы узнали его, и оттого, что им наплевать на то, еврей он, или таджик, или русский — он был просто их товарищ, ставший командиром потому, что знал больше, чем они. И от этого неожиданного, ни разу так ясно не пережитого чувства равенства, он радостно задрожал, как может радостно задрожать (затрепетать) рыба, брошенная с песчаного берега в прохладную реку».

Э. Казакевич увлеченно писал роман «Весна на Одере», был целиком в нем. И уже становится совершенно очевидно, какой крупный и серьезный писатель пришел в нашу литературу.

«Для писателя не может и не должно быть работ более важных и менее важных. Любой очерк, рассказ, статью, даже письмо он должен писать так, словно пишет великое произведение»,— Казакевич любил формулировать для себя законы литературного труда и был верен им.

«Знамя» публикует «Весну на Одере». Роман читатели встречают с интересом, его хвалит критика, он, как и «Звезда», получает Государственную премию. Но писатель еще не исчерпал своей темы, еще не расстается со своим героем, с армией, не расстается с Германией конца войны и первых послевоенных лет. И он еще продолжит судьбу Лубенцова в романе «Дом на площади», который завершит и опубликует через несколько лет. В этом втором романе он проведет своего героя через нелегкие и непростые душевные испытания, покажет, какой строгой и непростой школой жизни оказалась война.

И сегодня очень хотелось бы, чтобы оба этих романа вышли единой книгой, т. к. это, по существу, неразделимое целое, оба произведения развивают и глубокий писательский замысел. Правильнее было бы, на мой взгляд, полнее представить и книжку повестей, добавив к вошедшим в нее «Звезде» и «Двоим в степи» замечательную повесть «Сердце друга», написанную и опубликованную в промежутке между романами. И, конечно, «Синюю тетрадь» — произведение трудной судьбы, долго не публиковавшееся и очень дорогое для автора. «Синей тетрадью» он предполагал открыть широко задуманный цикл повестей о Ленине. К этой теме Казакевич относился трепетно, взволнованно и, знаю, был уже глубоко погружен в собранные и собираемые материалы. Убеждена, что цикл этот получился бы весьма значительным, полезным для нас и сегодня.

Должна признаться, не вижу надобности рассматривать и судить о сборнике повестей «Весна на Одере» критически. Все, что в нем опубликовано, давно известно читателю, обо всем этом в свое время много писалось.

Пожалуй, самое отрадное заключается сегодня в том, что появилось новое издание произведений Э. Казакевича. И вспоминать о них, ставших, по существу, советской классикой, конечно, следует.

В скором времени, наконец, выйдет и трехтомник произведений писателя. Для меня же, пожалуй, главное в том, что выходят отдельным изданием его дневники и записные книжки, после прочтения которых становится ясно, как взыскателен был к себе писатель, как много еще хотел успеть и мог сделать Эммануил Казакевич, как был бы нужен нашей литературе в наше нелегкое и прекрасное время перестройки, возрождения, очищения. В подтверждение этих слов и в заключение своих размышлений хочу привести из записных книжек «Предисловие» к роману «Новая земля», замысел которого Казакевич вынашивал много лет, а написать набело успел всего сто тридцать страниц: «Мысль о создании этой книги (или вернее сказать, серии книг) пришла мне в голову неожиданно и, придя, ошеломила меня. Ошеломила своей дерзостью, грандиозностью замысла. Потом испугала невероятным обилием трудностей различного порядка, среди которых немалое место занимает строгая (хотя и справедливая.— **Примеч. автора**) цензура. Но, отдавая себе полный отчет во всех этих трудностях, я уже, сам того не зная, был в плену категорического императива. Случайная задача стала казаться неслучайной, нужной, ценной, необходимой, наконец — неизбежной, неотвратимой, как сама смерть. Я говорил себе: 1) Не надо. Это — 12 лет жизни. Это — беспрерывное, на всю жизнь копание в старых фактах, бумагах, книгах. 2) Не следует: это ковыряние в исторических фактах, о которых я не могу иметь суждения ввиду недоступности почти всех подлинных материалов. 3) Нельзя — объективность тут так же опасна, как яростная субъективность — первая фальшива, вторая — неубедительна. 4) Брось Толстого, Бальзака, Золя. 5) Гляди — ты можешь ошибиться самым роковым для писателя образом — ты мастер в новелле, делай то, что ты умеешь делать наиболее хорошо, не увлекайся заманчивым, но обманчивым желанием охватить все, что ты знаешь.

Но жгучее стремление быть творцом в большом смысле слова — то есть создать целый гармонический мир, а не детали мира — это стремление победило все. Количество переходит в качество... Количество — тоже качество. До изнеможения боролся я с этим, но не смог побороть.

Поборотый, я хочу немногого. Пусть эта книга станет настольной книгой моего поколения, пусть она будет художественным учебником революции, пусть по ней будущие люди увидят и оценят всю нашу боль, всю нашу радость — такую боль и такую радость, какие немногие поколения знали».

Маргарита Алигер

«...Тем и интересен»

В популярной серии «Жизнь замечательных людей», как это ни парадоксально, до сих пор нет книги об А. С. Пушкине. И до нынешнего года не было книги о Владимире Маяковском. Это тем более удивительно, что и в эпоху, когда Маяковский почитался «лучшим, талантливейшим», и в пору духовного возрождения, после XX съезда, не существовало научно выверенной биографии поэта.

Пока были живы современники, «друзья» и «враги» Маяковского, мы, молодые тогда исследователи его творчества, влюбленные в него, близко к сердцу принимавшие его сложную жизнь и художническую судьбу, ждали, что о поэте обязательно напишет кто-то из близко знавших и помнивших его. Но, видимо, противоречивость точек зрения в осмыслении творческого наследия (еще в 50-е годы литературно-критические баталии о поэте достигали высочайшего накала) все еще не давала возможности обратиться к созданию всеобъемлющей биографии. Правда, выходили многочисленные исследования, но острые моменты жизни и судьбы, анализируя которые можно было бы пробиться к истокам трагедии личности, оставались до недавней поры под «запретом».

И вот перед нами книга Ал. Михайлова, работа не традиционная, ибо критик идет в своем исследовании от поэзии наших дней к Маяковскому, осмысливает его наследие с точки зрения дня нынешнего.

В манере непринужденной беседы автор говорит об одном из крупнейших поэтов XX века, о неразрывной связи его с эпохой, демократических традициях семьи Маяковских, об участии юноши в революционной борьбе, национальных истоках творчества «урбаниста» и «футуриста», как называли раннего Маяковского, его роли в русской культуре начала века. В книге показано, как происходило становление творчества поэта в литературной борьбе того времени.

Маяковский был поэтом Революции, она призвала его, определила судьбу, силу таланта, словно заговорив его голосом. Без агитационной, политической его поэзии трудно представить жизнь России 20-х годов. Но Маяковский, подчеркивает Михайлов, в то же время поэт необычайной лирической силы, небывалого гуманистического потенциала. Автор ищет «ключ» к пониманию природы разностороннего таланта этого «должника Вселенной», «пленника времени», отдавшего свое перо, по его собственному признанию, «в услужение сегодняшнему часу настоящей действительности».

Историзм, отличающий работу Михайлова, позволяет понять многие противоречия сложнейшего творческого и личностного бытия поэта. Автор книги осознанно идет на обнажение противоречий — в этом позиция критика, во многом определившая и его собственный интерес к исследованию.

Михайлов показал Маяковского-интернационалиста с его романтической мечтой — «в мире без Россий и Латвий жить единым человечьим общежитьем». Убедительно прослежена в книге и преемственность русских национальных поэтических традиций, идущих от Пушкина, Лермонтова, Некрасова.

Представив Маяковского в динамике отношений с крупнейшими деятелями культуры — Горьким, Луначарским, Мейерхольдом, Цветаевой, Ахматовой, Пастернаком, с самой широкой читательской аудиторией (известно, как много ездил поэт по стране, с какой заинтересованностью добивался признания и понимания народа, как страстно пропагандировал новое искусство за рубежом), автор книги дает возможность почувствовать не только силу природного таланта «горлана-главаря», но и его всестороннюю образованность, эрудицию, глубокое знание литературы, искусства,

---

Ал. Михайлов. Маяковский. Жизнь замечательных людей. Серия биографий. М., Молодая гвардия, 1988.

философии. (Кстати, В. Б. Шкловский со свойственным ему темпераментом не уставал выступать против расхожего мифа о некоей нутряной силе дарований Маяковского и Есенина и отсутствии у этих поэтов филологической культуры.)

Поэт предстает перед читателем во всем многообразии своего таланта: художник-новатор с трагическим мировосприятием, умеющий заглянуть в будущее, актер, редактор, романтик и максималист, нежный и резкий, обаятельный, искренний и ранимый человек.

Во многом по-новому рассматривает критик явление русского футуризма — движения, по его мнению, общедемократического в противоположность антигуманистической направленности, скажем, футуризма итальянского, прослеживаются судьбы русского футуризма в 20-е годы в связи с программой Лефа.

Авторская мысль ведет к утверждению целостности личности Маяковского как поэта и гражданина — такой «сюжет» исключает возможность противопоставления доактябрьского и послеоктябрьского периодов творчества, традиций классики — новаторству.

Идет в книге речь и об отношениях Маяковского с Бриками. Сказанное в адрес Л. Ю. Брик в достаточной мере объективно. Что же касается «демонизма» О. М. Брика (кстати, О. Брику уделяется в книге неоправданно много места) — «демоном» Маяковского его называл А. В. Луначарский, увлекавшийся, как известно, романтической лексикой,— то здесь можно с Михайловым и поспорить.

Разумеется, воздействие на Маяковского мертворожденных теорий утилитарного искусства «жизнестроения», увы, не было благотворным. О. Брик «конструировал» подобные теории с учетом интересов Маяковского, пытаясь удержать поэта в уже теснивших его рамках Лефа. Но ведь известны и сетования Брика, приведенные в книге Михайлова: вот, мол, обо всем вроде бы договоришься с Маяковским, а он начнет выступать и говорит все по-иному...

Весьма интересной была, если вспомнить, программа Рефа (Революционный фронт искусств) с обширными планами издания мировой политической поэзии, которые, естественно, не могли не заинтересовать Маяковского, считавшего себя в первую очередь политическим поэтом, как, скажем, немецкие поэты Фердинанд Фрейлиграт и Георг Гервег, переводы стихов которых сделал Маяковский для вечера Рефа, состоявшегося в Политехническом музее 8 октября 1929 года. Известны также неосуществленные намерения Маяковского, мечтавшего переводить лирику Гейне.

Думаю, что в книге недостаточно глубоко показаны отношения Маяковского с Горьким, отношения неровные: от взаимного восхищения — к ссоре; примирение так и не состоялось. Осталась в тени и полемика с конструктивистами — И. Сельвинским, А. Адуевым, К. Зелинским: отзвуки этой полемики слышны в поэме «Во весь голос». К сожалению, мимоходом сказано и о самой поэме, явившейся по существу поэтическим завещанием.

Изучение творчества поэта продолжается. В нынешнем году, в июле, Маяковскому исполнилось бы 95 лет. Ал. Михайлов опубликовал в «Правде» новые архивные материалы; в № 7 «Вопросов литературы» появилась его статья об одной из самых сложных поэм Маяковского «Про это». В «Московской правде» напечатано полемическое выступление Олега Смолы с публикацией письма Л. Ю. Брик И. В. Сталину.

Институт мировой литературы АН СССР приступает к подготовке Академического собрания сочинений поэта.

Возникают и несколько неожиданные попытки осмысления феномена Маяковского. Так, в Мюнхене в 1985 году вышла книга Юрия Карабичевского, где внимание сосредоточено на творческой трагедии поэта, обстоятельствах его личной жизни. Неожиданно предложил собственную «версию...» последнего года жизни поэта и автор политических детективов Юлиан Семенов («Нева» № 3, 1988), несколько озадачив специалистов и дезориентировав читателя. Задушевным другом и «ангелом-хранителем» Маяковского в повести представлен весьма романтизированный чекист Ян (Яков) Агранов... Как видим, в последнее время появляются все новые и новые сенсационные версии, объясняющие те или иные этапы жизни Маяковского, и они настоятельно требуют своего конкретно-исторического, научно выверенного анализа.

Наверное, можно было бы и еще более углубиться в осмысление труда Ал. Михайлова, более подробно проанализировать отдельные разделы. Несомненно одно: работа проделана исследователем немалая. Но суть в ином. Главное — книга о Маяковском написана, и, думаю, судьба ее не будет простой и легкой. Это как раз тот случай, который дает повод и для резкого отрицания иных положений, заявленных автором, и для яростных споров.

Светлана Коваленко

Из почты «Знамени»

Главному редактору журнала «Знамя» товарищу Бакланову Г. Я.

Уважаемый Григорий Яковлевич!

Мы, как коммунисты и дети генерала армии Штеменко С. М., решительно отметаем домыслы о нашем отце, содержащиеся в воспоминаниях К. Симонова «Глазами человека моего поколения», подготовленных Л. Лазаревым и опубликованных в журнале «Знамя» № 5 за 1988 г., стр. 93—95.

Представление отца в период его работы в Генеральном штабе при Сталине как ставленника Берия и его пособника является ничем не обоснованными домыслами. Эти домыслы совершенно не соответствуют реальному положению вещей и имеющимся документам.

В неопубликованных материалах, подготовленных отцом для 3-й книги о Генеральном штабе после войны, отец прямо и откровенно описал все события, связанные с его работой в Генеральном штабе. Из этих материалов ясно, что отец был переведен Сталиным с поста начальника Генерального штаба на должность начальника штаба группы Советских войск в Германии для получения опыта работы в войсках. По свидетельству соратников отца, Сталин сделал это с перспективой дальнейшего военного роста отца. Это подтверждает избрание отца (после его перевода) на XIX съезде партии кандидатом в члены ЦК КПСС.

В этих же материалах отец упоминает и о своих поездках на фронт со многими членами Политбюро и маршалами, в том числе и с Берия. Этот факт пытались использовать против отца еще во время процесса над Берия. Однако отсутствие каких-либо документов и фактов, подтверждающих его связь с Берия, позволило полностью отмести клеветнические обвинения в его адрес. После этого отец до конца своей жизни продолжал службу в Советской Армии на командных должностях. Поэтому домыслы Симонова о причинах назначения и снятия отца с поста начальника Генерального штаба не имеют под собой никакой почвы.

Очень горько, что попытка очернить нашего отца сделана сегодня, через 12 лет после его смерти, накануне праздника Победы, для достижения которой он отдавал все свои силы и знания. Видно, сработала старая, времен Сталина логика: раз ездил на фронт с Берия, значит, его пособник.

Кроме того, полностью искажена историческая последовательность событий жизненного пути отца, которую Л. Лазарев даже не потрудился уточнить по имеющимся открытым публикациям. Считаем, что публикации, основанные на домыслах и измышлениях, искажают нашу историю и подрывают авторитет журнала «Знамя».

На протяжении всей своей службы отец пользовался уважением и поддержкой крупнейших советских полководцев, таких, как Г. К. Жуков, В. И. Чуйков, С. С. Бирюзов, А. А. Гречко, и других.

Отец прожил честную, трудную жизнь, всегда оставался мужественным, стойким человеком, отдавал все свои силы на благо нашей Родины. По воспоминаниям его соратников, он был принципиальным и прямым человеком, и в коллективах, которые он возглавлял, царила атмосфера доброжелательности и открытости.

Мы считаем недопустимым излагать исторические факты и характеризовать деятельность людей, основываясь на мнениях и домыслах отдельных лиц.

Просим опубликовать наше письмо и материалы к 3-й книге отца «Генеральный штаб после войны», чтобы восстановить его доброе имя.

Штеменко С. С., Штеменко Л. С., Захарова Н. С.

Уважаемые товарищи Штеменко Людмила Сергеевна,

Сергей Сергеевич и Захарова Нинель Сергеевна!

Печатая ваше письмо, мы вынуждены привести тот отрывок из книги К. М. Симонова «Глазами человека моего поколения», который вызвал ваше неприятие, поскольку прошло уже много времени, не все помнят, о чем шла речь, а у новых подписчиков, возможно, нет этого номера журнала. Это нужно для того, чтобы читатели могли сопоставить и вынести свое непредвзятое суждение. Вот текст:

«В одном из дальнейших разговоров Александр Михайлович коротко охарактеризовал Штеменко. Сказал, что это человек в военном отношении образованный, очень работоспособный, и не только работоспособный, но и способный, энергичный, с волевыми качествами. В свое время, когда Сталин послал на Кавказ Берию с поручением спасти там положение после поражения Южного фронта, Берия просил рекомендовать, кого из работников Генерального штаба ему взять с собой, и мы ему порекомендовали, сказал Александр Михайлович, Штеменко как молодого и способного штабного работника, он взял его с собой, и несколько месяцев Штеменко был с ним. Это, к сожалению, многое потом определило и в его судьбе, и в его поведении.

Начальником Генерального штаба он был назначен совершенно неожиданно для Василевского. В послевоенное время, когда Булганин был министром, а Василевский в течение довольно продолжительного времени был и первым заместителем министра, и начальником Генерального штаба, он обратился к Булганину с предложением освободить его от одной из этих обязанностей, потому что ему просто невмоготу справляться с ними с обеими.

— А кого же назначить? — спросил Булганин.

— Антонова,— сказал Василевский.

И охарактеризовал Антонова самым отменным образом, указав при этом, что он уже имеет опыт работы начальником Генерального штаба, уже побывал в этой роли. К тому времени, когда возник этот разговор, Антонов был первым заместителем Василевского по Генеральному штабу. Булганин согласился, с этим они и пришли на Политбюро. Но там, на Политбюро, произошло нечто совершенно неожиданное для Василевского. Когда они доложили о предложении, Сталин сказал, что на пост начальника Генерального штаба следует выдвинуть Штеменко. Попытки настоять на назначении Антонова ни к чему не привели. Вопрос был предрешен еще до заседания. С тем они ушли. Штеменко был назначен начальником Генерального штаба прямо из начальников Оперативного управления.

А Антонов с должности заместителя начальника Генерального штаба поехал на должность заместителя командующего Кавказским военным округом. Когда я сказал ему об этой совершенно неожиданной для него новости, он чуть не заплакал, рассказывал Василевский.

Снятие Штеменко с должности начальника Генерального штаба произошло тоже при Сталине и столь же неожиданно, как и его назначение.

Однажды — к тому времени Василевский был уже министром обороны — его вызвали на Политбюро, был доклад об очередных делах, вместе с ним был Соколовский — первый заместитель министра и Штеменко как начальник Генерального штаба.

Сталин выслушал доклады и сказал:

— А теперь еще один вопрос надо решить. Надо назначить нового начальника Генерального штаба вместо товарища Штеменко. Какие у вас будут предложения? — обратился он к Василевскому.

Василевский сказал, что он предложение внести не готов, что ему надо подумать.

— Вот всегда так, надо отложить, подумать,— сказал Сталин.— Почему у вас нет предложений?

Я, рассказывал Василевский, был совершенно не готов к такому серьезному делу, как замена одного начальника Генерального штаба другим. Вносить предложение по такому вопросу непросто.

В это время сидевший рядом со мной Соколовский толкнул меня в бок и тихо говорит:

— Саша, я готов пойти на это, на Генеральный штаб.

— А как же ты как мой заместитель, кто же вместо тебя?

— Там посмотрим,— так же тихо сказал Соколовский,— я пока буду и то, и другое. Не подведу.

Соколовского я знал как очень сильного штабного работника и после того, как он предложил мне себя на этот пост, я тут же сказал Сталину, что, вот, считаю, что можно на этот пост назначить Соколовского.

Сталин задал тот же вопрос, что задал Соколовскому я:

— А как же будет с исполнением обязанностей заместителя министра?

Я ответил словами Соколовского, сказал, что надеюсь, что он справится с тем и с другим. Тут же было принято и записано соответствующее решение.

После этого мы ушли. Первый ушел Штеменко. Потом мы с Соколовским. Штеменко так и не сказал за все заседание ни слова. Когда я, уходя последним, уже был в дверях, Сталин позвал меня обратно. Я зашел, поняв, что он хочет говорить со мной, с одним из нас троих.

— Чтоб вы знали, товарищ Василевский, почему мы освободили Штеменко. Потому что он все время пишет, и пишет, и пишет на вас, надоело. Поэтому решили освободить.

Так Сталин объяснил мне тогда причины снятия Штеменко.

Впоследствии я мог убедиться в правильности его слов, держа в руках документы.

Назначение Штеменко начальником Генерального штаба, очевидно, было подготовлено Берией, который, с одной стороны, оценил его как сильного работника, когда был с ним вместе на Кавказе, а с другой стороны, имел на него, очевидно, свои виды. (А этого Василевский не говорил, это уж мое собственное соображение или, точнее, домысел. Думается мне, что именно это, то, что Берия имел на Штеменко свои виды, и послужило причиной его снятия Сталиным. Слишком большого и непосредственного влияния Берии на военные дела Сталин не хотел. Очевидно, усмотрев через какое-то время, что Берия осуществляет такое влияние и имеет соответствующую информацию от Штеменко, решил вопрос о его снятии с поста начальника Генерального штаба.— **К. С.**)».

Как видите, ни маршал А. М. Василевский, ни К. М. Симонов, говоря о С. М. Штеменко, не употребляют такого выражения: «пособник Берия». В нашей недавней истории со словом «пособник» связаны тяжкие, трагические воспоминания. Поэтому будем особенно точны: слова эти дважды встречаются в вашем письме, а в тексте К. М. Симонова их нет, и обвинения ваши безосновательны.

Вы пишете: «В неопубликованных материалах, подготовленных отцом для 3-й книги о Генеральном штабе после войны, отец прямо и откровенно описал все события, связанные с его работой в Генеральном штабе». Процитируем: «1948 год был для меня памятным годом. Как-то осенью меня вызвал бывший тогда Военным Министром Н. А. Булганин... Я спросил, что с собой захватить, он засмеялся и сказал: «Духовой оркестр». И вот такой происходит разговор: «Как Вы смотрите на то, что Вас назначат начальником Генерального штаба?» «Я бы категорически отказался»,— ответил я. Мотивируя свой ответ, продолжал, что у нас есть достаточно опытных военачальников, маршалов, которые могут занять этот пост, а некоторые его уже занимали, назвал фамилии. Я не командовал ни фронтом, ни округом и полагаю, что принесу больше пользы на своем посту. Зато Вы отлично знаете штабную работу снизу доверху и работу центрального аппарата, перебил меня Булганин, а разве Василевский и Антонов командовали армиями, фронтами до назначения их на пост начальника Генштаба? В общем, прекратим этот бесполезный разговор, прочитайте,— протянул он мне какой-то документ. Я прочитал и остолбенел: в постановлении за подписью И. В. Сталина было сказано, что я назначаюсь начальником Генерального штаба. Как же так, никто не спросил? — промолвил я. Вас все знают, чего же спра-

шивать и что бы вы сказали товарищу Сталину? То же, что и Вам, я ему напишу письмо,— сказал я».

Однако Булганин «прочитал нотацию на эту же тему», сказал: «...я вам рекомендую написать письмо товарищу Сталину и поблагодарить его». И — «Сталину письмо я тут же написал, поблагодарил за оказанное доверие, заверил, что приложу все силы, чтобы оправдать его... На другой день в газетах было опубликовано о назначении и присвоении звания генерала армии мне, Г. К. Маландину и В. В. Курасову...»

Отрывок дан по рукописи, в нем сохранены орфография и обороты речи. Событие описано чрезвычайное: против ожидания — и это подчеркнуто — С. М. Штеменко назначают на высочайшую должность, приведены мельчайшие подробности, не забыты и лестные слова, но совершенно обойдено молчанием одно важное обстоятельство: назначен С. М. Штеменко начальником Генерального штаба, так сказать, через голову А. И. Антонова, который был в то время первым заместителем нач. Генштаба. В карьере военного человека такие события, конечно, случаются, но не часто и, как правило, имеют причину. А. М. Василевский и К. М. Симонов считают, что причина была, выдвигают свою версию. С. М. Штеменко этот важнейший момент совершенно обходит, умалчивает о нем. Были ли на это какие-то основания, мы не знаем, но в данном случае трудно согласиться с утверждением, что он «прямо и откровенно описал все события, связанные с его работой в Генеральном штабе».

Второе событие — снятие с должности начальника Генерального штаба — описано кратко: «Однажды в мае 1952 года меня вызвал Н. А. Булганин. Принято решение послать Вас первым заместителем Главнокомандующего группой Советских войск в Германии, начальником штаба этой группы... Оправившись от неожиданности, я спросил, почему, какие ко мне претензии? Он сказал, претензий никаких, но товарищ Сталин хочет, чтобы Вы приобрели опыт работы в войсках, ведь Вы же сами когда-то говорили, что не командовали выше батальона...»

Вы утверждаете в своем письме: «Из этих материалов ясно, что отец был переведен Сталиным с поста начальника Генерального штаба на должность начальника группы Советских войск в Германии для получения опыта работы в войсках. По свидетельству соратников отца, Сталин сделал это с перспективой дальнейшего военного роста отца».

Но С. М. Штеменко уже занимал все высшие должности. Вот что сообщает краткая военная энциклопедия: «С 1946 нач. Гл. управления и зам. нач. Генштаба, в 1948—52 нач. Генштаба, зам. мин. Вооруж. Сил СССР (с февр. 1950 воен. мин. СССР)...»

О каком же дальнейшем росте могла бы идти речь?

И, наконец, о «домыслах», которые вы называете «ничем не обоснованными». Не будем сейчас разбирать, имел ли К. М. Симонов достаточно оснований выдвигать свою версию, которая внешне выглядит вполне логичной. Важнее сейчас определить в принципе: имеет ли право мемуарист на свою версию событий, даже если он не документирует ее подробно? Откроем книгу С. М. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны», читаем наугад на стр. 112 в главе 6: «Наиболее часто Ставку представляли на местах первый заместитель Верховного Главнокомандующего Г. К. Жуков и начальник Генерального штаба А. М. Василевский. Некоторые из тогдашних командующих фронтов позже утверждали, что постоянное пребывание рядом с ними Жукова или Василевского отрицательно сказывалось на руководстве войсками».

Утверждение это никак в дальнейшем не документируется и не аргументируется, а оно, согласитесь, не столь уж безобидное для маршалов А. М. Василевского и Г. К. Жукова. Надо учесть, что в ту пору Г. К. Жуков был не у дел, опала с него все еще не была снята; и если бы он, прочтя, захотел, допустим, возразить печатно, ему не так просто было это сделать.

«Мы считаем недопустимым,— пишете вы,— излагать исторические факты и характеризовать деятельность людей, основываясь на мнениях и домыслах отдельных лиц». А разве непоименованные «некоторые из тогдашних командующих фронтов» — это не те самые «отдельные лица», «основываясь на мнениях» которых в приведенном отрывке характеризуется деятельность двух маршалов?

Понимая и ценя те чувства, которые побудили вас написать это письмо в защиту отца, чье имя неотделимо от истории Советской Армии, мы все же вынуждены отдать предпочтение беспристрастному взгляду на исторические свидетельства. Тот принцип, с которым мы подходим к жанру мемуаров, в том числе к мемуарам С. М. Штеменко, получившим широкую известность, правильно и справедливо будет сохранить и для книги К. М. Симонова «Глазами человека моего поколения».

С уважением

Г. Бакланов

В память о выдающемся проявлении патриотизма нашего народа на начальном этапе Великой Отечественной войны предлагаю создать памятную медаль «Народное ополчение 1941 года».

В наших музеях сохраняется подобная медаль в память о народном ополчении 1812 года. Считаю, что двухмиллионное Народное ополчение 1941 года в гораздо большей степени заслуживает такой медали.

В те тревожные месяцы 1941 года Народное ополчение малым оружием и большой кровью дало возможность выиграть время для организации обороны и существенно замедлило «блицкриг». Мы и до сих пор мало знаем, каких людей и сколько мы потеряли в той «спешке».

Думаю, мое предложение будет поддержано не только еще живущими ополченцами, но и всеми истинными патриотами.

Александр Авдюнин,
участник Великой Отечественной войны,
полковник-инженер в отставке

18 апреля 1988.

О подписке на «Знамя»

Читатели огорчены и возмущены тем, как шла в этом году подписная кампания, тем, что во многих местах подписаться на «Знамя» практически невозможно («Я отстоял на костылях огромную очередь в дождь, а затем в грозу с ураганным ветром, но так и не смог подписаться на «Знамя». А. П. Копылов, Ленинград»). Множество писем получаем мы от читателей, которые выписывают «Знамя» по 10, 15, 20 лет (Н. А. Тарасова из Киева, к примеру, наш старейший читатель, она выписывает «Знамя» непрерывно с 1946 года!). И вот оказывается, что многих таких читателей лишили подписки на «Знамя» 1989 года.

Читатель В. С. Назаров из Кременчуга считает, что журнал «Знамя» должен нести полную ответственность за сложившееся положение дел с подпиской, и заключает свое письмо тем, что «если бы суды принимали к рассмотрению жалобы на действие компетентных органов, я бы подал иск к редакции журнала». «Вы должны нам помочь, не можете же вы нас бросить, ваших подписчиков, на произвол «Союзпечати»!» — пишет в «Знамя» О. В. Никитина из Евпатории. «Как фирма, вы наверняка дорожите — а это должно быть именно так! — своими постоянными читателями. И. Г. Грызлов, полковник в отставке, член КПСС с 1939 года, Москва». «Знамя»! Надо дорожить своей репутацией!» — обращается к нам читательница из Владивостока Т. Д. Березина. «Что думает редакция по поводу нынешней подписной кампании? — спрашивает З. И. Поварчук из Одессы.— Собираетесь ли высказаться?»

«В любой нормальной стране издательства заинтересованы в увеличении числа подписчиков. Почему у вас не так?» — пишет А. Дворочкин из Гомеля. «Ограничение тиража ведет к ограничению доходов редакции. И это — при повсеместном переходе на хозрасчет? Какой буржуй на Западе стал бы ограничивать тираж своего издания, имей оно огромную популярность?» Ляшенко Г. Б., Киев.

«Я одинокий человек, участник войны, инвалид второй группы. Мне отказали в подписке, говорят, что на весь город всего семь подписок пришло, только для библиотек, но в них не набегаешься, ведь я больной человек. В. В. Москалев, город Отрадный, Куйбышевская область».

«Считаю журнал «Знамя» своим старым, добрым другом. А чтобы оформить подписку на 89-й год, нужны связи, блат, свои люди. А у меня, как у большинства простых смертных, их нет. С уважением к редакции А. Михайленко, Кировоград».

«Сам я работаю механизатором в совхозе. В этом году наша семья была единственным подписчиком в нашем почтовом отделении. И вот теперь лимит. Каждый дефицит оборачивается прежде всего на нас, рабочих. У нас только нет лимита на грязь, которую видим, работая на тракторе. Узнав, что в 1989 году «Знамя» будет печатать интересные материалы, нас взяли и отбросили. Кувшинов В. А., Дмитровский район Московской области».

«Только на нашей маленькой улице Тельмана, где всего пять десятков домиков, журнал выписывают пять человек... Сахар по талонам, маслом не торгуют у нас уже 17 лет, а теперь и гласность будет по талонам? Клюкас А. Г., деревня Сенгилей, Ульяновская область».

«Я инвалид 1-й группы, лежу без движения уже несколько лет и нахожусь на длительном лечении в больнице, куда и выписываю «Знамя». Читают его и все больные, находящиеся на лечении, а теперь даже в этой малости мне отказали. Саяпина М. С., Пензенская область, Городищенский район, ст. Чаадаевка, туберкулезная больница, дача номер один».

«По профессии я военный. 25 июля отбыл в Казахстан и вернулся 25 августа. Пошел в «Союзпечать», чтобы выписать «Знамя», а подписка уже закончилась... Где же справедливость? У военных и так жизнь не сахар, а тут еще и в подписке отказали. Кузьминых С. Н., Красноярский край».

«Нахожусь сейчас в состоянии человека, который внезапно потерял что-то очень близкое и родное, без чего дальнейшее свое существование не мыслю. Бадыштова И. М., Москва».

«Для меня «Знамя» как родной человек, друг. Журнал прочитывался весь, от корки до корки — проза, поэзия, публицистика. Дарил мне общение с любимыми писателями. И теперь этот друг покинул мой дом. Я испробовала все. Меня уже гоняли то на Сретенку, то на улицу Куйбышева, я просто в отчаянии. Только в насмешку могли дать на целое почтовое отделение всего два номера. Видно, для кого-то перестройка — это создание небывалых очередей. Они ждут нас и впредь: бегать к киоскам, стеречь журнал, стоять в очереди... Н. Талпа, Москва».

«Неужели за 10 лет сталинской Колымы я не заработал право читать «Знамя»? Вот тебе и перестройка. Болтовня натуральная. А может быть, как на сахар, пришлете мне талончик? Да благословит вас Господь! Соловьев М. И., село Поддорье, Поддорский район Новгородской области».

«Живу одна с детьми и целый год собираю по крохам на подписку. Я лишена многих жизненных благ, у меня нет связей и средств, но книги и журналы для меня святое. И вот теперь я этого счастья лишилась. Что делать? Бегать по библиотекам я не могу, дети малые, а на дом не выписать. Добывать «блат» ценой унижений — не для меня. Н. Смирнова, Львов».

«Одна была радость — «Знамя», и ту отняли. Мы живем, ничего не видим, по телевизору показывают у нас в поселке только третью московскую программу, книг не купишь, все из-под прилавка, а теперь и журналы так же будут. У кого карманы больше, те и будут читать «Знамя», а у меня пенсия, и я не могу переплачивать. Будем теперь сидеть, как медведи в берлогах. Извините за писанину, не могу совершенно успокоиться. Николаева К. И., Белово Кемеровской области».

«Мы столько говорим и пишем о помощи старикам и об уважении к ним. Так проявите это на деле, подпишите, пожалуйста, на «Знамя»! Может быть, это мой последний год, ведь я ровесница века. Не омрачайте его. Гарбер М. П., Иваново».

«Странно у нас все получается. Сахар по талонам — виноваты алкаши. Бумаги стало мало потому, что закрыли часть ЦБК. Зайдешь же в книжный магазин — голова кругом: сколько книг! Хотя читаю 30 лет, но о 95 процентах из них и слыхом не слыхал. Наумов М. Г., Красноярск».

«Являюсь инвалидом Великой Отечественной войны, персональным пенсионером республиканского значения. Другого журнала, кроме «Знамени», мне не надо. Базаев И. П., Новомосковск Тульской области».

«Обращается к вам инвалид второй группы, бывший учитель. Вот уже несколько лет выписываю «Знамя» и не хочу с ним расставаться. Никому, конечно, это не интересно, но скажу, что ограничена финансами, а еще какое-то наваждение в этом году на нашу семью,— вынесли четыре гроба. И вот, опять похороны... Фетисова А. А., Большие Вяземы Одинцовского района Московской области».

«Нам с мужем чуть больше 30-ти, мы представители поколения, обделенного правдой, поэтому читаем взахлеб «Знамя» и сохраняем все журналы для подрастающих детей. Ухта, супруги Борец».

«Каждый номер «Знамени» — как маленький праздник, тем более что библиотеки у нас в селе нет. И вот отказали в подписке... Гончаров Ю. П., село Скорицкое, Репьевский район, Воронежская область».

«Я оказался в местах лишения свободы. Но все впереди! Мне предстоит участвовать в перестройке. Не хочу стоять в стороне от преобразований, происходящих в нашей стране. Ваш журнал помогает мне быть в курсе всех событий. К сожалению, я не смог выписать «Знамя» на 1989 год. На нашу колонию почти с тысячью осужденных не выделено ни одного номера журнала. Помогите выписать «Знамя»! Саввин А. О., Калининская область».

«Это безобразие — жить на Севере и не подписаться на журнал! У нас и так культурные мероприятия ограниченны, двенадцать месяцев зима, а остальное, как в народе говорят, лето. С уважением, ваш постоянный подписчик Яковлев А. В., Кировск Мурманской области».

«Происходящее с подпиской воспринимается как саботаж. Тираж «Знамени» мог бы увеличиться в несколько раз, если бы подписали всех желающих... Мы живем в горах, в академгородке, младшие научные сотрудники специальной астрофизической обсерватории. До ближайшего аэропорта 5 часов езды автобусом, до железнодорожного вокзала — 3. С уважением и надеждой Виктор и Лариса Бычковы. Ставропольский край, Нижний Архыз».

«Нас столько лет лишали информации, что люди отупели от лозунгов и плакатов, от речей и обещаний, и ни к чему это хорошему не привело. Так что теперь, обратно поворачиваем? Почитали и хватит? Шемуратова, Москва».

«Я работаю в школе, филолог... Согласитесь, что жить в селе, преподавать литературу и быть ограниченной в возможности познакомиться с публикациями «Знамени» — положение далеко не нормальное. В. П. Головатенко, поселок Вулканешты, Молдавская ССР».

«Народ опять сочли за болванчиков, удовлетворив его объяснениями дефицита бумаги и полиграфических мощностей. Неловко, конечно, говорить от имени народа, но если я — не народ, мои друзья — не народ, страждущие возле агентства «Союзпечать» — не народ, мои сослуживцы — не народ, то кто же народ? И кто решает, что ему можно читать, а что нет? А. Л. Иванов, Ставрополь».

«То, что нет бумаги,— это очередная ложь наших министерств, здесь, видимо, получается так же, как и с сахаром. В Воронежской области 7 сахарных заводов забиты продукцией, не хватает складов. Сахар «плывет» от сырости, его переплавляют в хлебных формах и в г. Бутурлиновка Воронежской области он лежит свободно в магазинах (в виде буханок), правда, его никто не покупает, потому что он по цене 1 рубль 60 копеек за килограмм, а обычно сахарный песок продается в два раза дешевле. Там портится, а у нас его по талонам дают. С. В. Ткачев, Невель, Псковская область».

«Наше почтовое отделение обслуживает жителей трех деревень. И вот на всех «отпустили» по два экземпляра «Москвы» и «Авроры». А «Знамя» как же?..

До такого не доходило даже и во времена, именуемые ныне «периодом застоя». Вот, по сути, и все. Слова, слова... И. Селин, рабочий. Село Гимрека Подпорожского района Ленинградской области».

«Какому невеже пришло в голову торговать в розницу «Доктором Живаго» и «Детьми Арбата»? Рогова Г. В., Городецкая И. Е., сотрудники Института мировой экономики и международных отношений, Москва».

«Меняю квартальную норму сахара на годовую подписку «Знамени»! Киев, Трегуб».

«Может, передать подборки писем в ЦК? Если наши голоса имеют хоть какое-то значение, дайте нам понять! Евдокимовы, Ленинград».

«Открыли с этой подпиской махинацию. У нас никогда такого безобразия не было. Начальству любой дефицит можно, да взятку если дать, то получишь подписку. Бондаренко С. А., Владивосток».

«Введение лимитов на журналы сродни наморднику на гласность. Колодиев А. Ф., Москва».

«Нас почти тысяча работает на мебельной фабрике «Тейка». Ни одного экземпляра «Знамени» не выделили, как нам объяснить все это? Как подписаться? У народа масса предложений, кому их только адресовать? Общественные распространители печати, Л. Петрова и еще шесть фамилий, Рига».

«На нашем предприятии выделен лишь один экземпляр «Знамени» на 800 сотрудников. Карпова Н. Н., Москва».

«Аппаратный зуд на «разгулявшуюся» прессу, кажется, пройдет: гласность загоняют на «черный рынок». К чему все это приведет? К привилегиям номенклатурных работников и масштабности спекуляций. Что же мы — дети, чтоб не понимать этого? С уважением, сотрудники отдела автоматизации научно-исследовательских и проектных работ института титана Волосатый А. П., Гуглина Л. П. (и еще 14 подписей), Запорожье».

«На 7000 человек нашего завода имени Петрова ПО «Волгограднефтемаш» не дали ни одного номера «Знамени»! Инженеры завода (19 подписей)».

«На 13 кафедр и 2 лаборатории плюс деканат юридического факультета МГУ выделено всего 7 подписок на «Знамя». К. Новицкая».

«Говорят, что тираж «Знамени» не уменьшился, а везде у нас называют какие-то бредово малые цифры лимитов. На механосборочном производстве ВАЗа — 5 экземпляров, на Автозаводский район — 3 экземпляра. Естественно, это ушло родным и близким. Надо искать выход из этого тупика лимитной лихорадки. Блинов Н. С., Тольятти».

«На Запорожский электроаппаратный завод дали всего два номера «Знамени»! Семья Задорожных, Запорожье».

«На весь город отпущено 20 экземпляров «Знамени». Говорят, что подписка будет только для библиотек, а их у нас 28... Мурашкин В. П., Шумерля Чувашской АССР».

«На весь Владимир с населением в 350 тысяч человек выделено 127 подписок на «Знамя»! На заводе, где работает муж, подписок хватило только на администрацию. Алеева А. А., Владимир».

«Кроме «Знамени», мне отказали в подписке на «Литгазету», «Огонек», «Новый мир», «Неву». Я вижу в этом определенный умысел, ведь позиция вашего и вышеназванных журналов предельно ясна, и она нашла поддержку миллионов. У. Сонхи, г. Южно-Сахалинск Сахалинской области».

«Может быть, нам собрать подписи на безлимитную подписку? Но в чей адрес? Ведь Министерство связи СССР наверняка не главный виновник?» Читатели из г. Горького, шесть подписей.

«Кто теперь будет читать ваш журнал? Все те же обладатели дефицита... Кто же вы, если вас не интересует результат вашей деятельности? Не те же бюрократы, что работают за получку и держатся за кресла? Для кого вы работаете? С кем вы «якобы» боретесь и какое вы имеете право рассуждать о гласности, если вы душите ее своими руками, выполняете указания. Тогда, если так, не критикуйте культы, нет у вас такого права! Л. В. Козина, Ленинград».

«Народ не дурак, народ не проведешь сказками о недостатке бумаги для активных борцов за демократизацию, для «Знамени», «Нового мира», «Огонька», «Московских новостей»! Так что прощай, дорогое «Знамя»! А может, все-таки до свидания?.. Назаренко С. М., 36 лет, старший лейтенант запаса, Москва».

«Бюрократия правит бал. Как все-таки это чудовище сильно еще у нас. Пора бы указать ему место. Семенов Н., рабочий, Черногорск Красноярского края».

«В эпоху застоя никто не хотел читать прессу, которая печатала обман и ложь. И никто не хотел подписываться. Я сам лично добивался этого, будучи начальником политотдела, чтобы каждый комсомолец подписался на «Комсомолку». И знал таких товарищей, которые после принудительной подписки вынимали газеты из почтового ящика и ежедневно опускали в мусорный. Это в прошлом, а теперь не подписаться!.. Думаю, какую дать киоскерам мзду, чтобы «подписаться» на «Знамя». Только зачем все это? Вернигоров В. И., Минск».

«Мне не надо тряпок, не надо журнала «Бурда-Моден», я насчет этого спокойна. Но отказаться от «Знамени»... Обидно! Долгие годы сидели, как в конуре, не высовывая голов, мало чем интересуясь, и только-только потянулись к своей истории, экономике, экологии, к судьбе Родины, а тут... В. Трефилова, Новокузнецк».

«Ограниченная подписка на «Знамя» означает лишь одно — получать его будет престижно. Следовательно, об его истинном предназначении не может быть и речи... Начал раскручиваться уродливый маховик дефицита, были читатели «Знамени», а теперь будут «обладатели». А. Беренштейн, Одесса».

«Не хватает бумаги? Но ведь можно сократить ведомственную переписку, которая, по данным печати, составляет 120 тысяч тонн! Цыпкин В. Н., Владимирская область, поселок Белая речка».

«Предлагаю создать фонд макулатуры для снятия ограничений с подписки на «Знамя». Готов сдать 200 килограммов, сообщите, куда. Харьков. Суплин».

«Я на пенсии уже 21 год и все время читала «Знамя», хотя пенсия моя всего 53 рубля 65 копеек. Дочь репрессированного отца, я не получила образования, не смогла, а теперь меня лишают и журнала. Куда дальше? Как будто кто-то специально все делает наоборот. Мы, рядовые, возмущаемся, а «вверху» рассуждают, что все хорошо. Где же хорошо-то? Маевская З. А., Орел».

«Как можно совместить то, что происходит, с резолюцией «О гласности», принятой на XIX партконференции? Там ведь что записано? «Конференция видит неотложную задачу партии во всемерном способствовании утверждению... неотъемлемого права каждого гражданина на получение... полной и достоверной информации». Сложившаяся обстановка вокруг подписки отчуждает от народа средства массовой информации. Кому это выгодно? Кто роет могилу перестройке? Садогурский В. М., член КПСС с 1963 года, Москва».

«Лимитируя подписку, лимитируют гласность!» 58 подписей. Харьковская область, поселок Подворки Дергачевского района.

«Коммунисты и трудовой коллектив Института космических исследований АН СССР, обсудив на открытом партийном собрании проведение подписки на периодические издания 1989 года, нашли ее крайне неудовлетворительной. Серьезные шаги по демократизации и гласности, предпринятые ЦК КПСС при проведении подписки на 1988 год, в этом году практически сведены к нулю. Лимитирование, по существу, всех общественно-политических изданий снизило уровень подписки в три раза по сравнению с 1988 годом. Заверения ответственных представителей правительства по вопросу подписки, к сожалению, являются неубедительными и расходятся с действительностью. Считаем, что введение лимита через 1,5—2 месяца после XIX партконференции является серьезным политическим просчетом и противоречит решениям конференции... По поручению партийного бюро В. Д. Козлов».

От редакции

Почему теперь, как бы задним числом, мы все же печатаем эту небольшую подборку из читательских писем, которых редакция получила многие, многие сотни? Что это, запоздалый отклик? Нет, это подведение итогов и некоторые уроки события, которые следует извлечь.

Мы целиком разделяем убеждение наших читателей в том, что введенный без какого-либо гласного обсуждения хотя бы с редакторами журналов и газет, без научного исследования и обоснования, введенный волевым, административно-бюрократическим методом лимит на подписку не был вызван объективными условиями.

Однако время и опыт, который все мы обрели на прошедшей XIX партконференции, сделали свое дело: этот удар не вызвал растерянности, как случилось после опубликования в марте месяце печально известного манифеста антиперестроечных сил, названного письмом Нины Андреевой. Редакции газет и журналов, не ожидая указаний, немедленно повели борьбу за гласность, за право советских людей на объективную информацию о том, что происходит в стране, борьбу за то, чтобы резолюции партконференции были проведены в жизнь. Выступили «Известия», «Комсомольская правда», «Правда», «Московские новости», из номера в номер вел кампанию «Огонек», неоднократно выступала «Литературная газета», опубликовав в том числе письмо главного редактора «Нового мира» С. Залыгина, газета «Советская культура» привела итоги опроса, проведенного Всесоюзным центром общественного мнения по социально-экономическим вопросам, руководимым академиком Т. Заславской. В нем, в частности, говорилось:

«В этом году трудности подписки затронули практически все издания (5 процентов не смогли так или иначе подписаться даже на «Правду»). Но степень жесткости ограничений крайне неравномерна. По-прежнему дефицитны массовые популярные издания, на которые и раньше были ограничения (на «Работницу» не смогли подписаться 49 процентов желающих, на «Крестьянку», «Здоровье», «За рулем» соответственно — 40, 33 и 61 процент. «Комсомолку» не смогли получить 25,5 процента. «Московский комсомолец» — 30 процентов, «Труд» — 37 процентов). Однако максимум недовольства связан не с этими изданиями, а со сравнительно небольшим числом журналов и газет, вышедших на передовые рубежи общественного интереса. На их страницах поставлены самые серьезные вопросы общественной и социально-экономической жизни страны, дан исторический и социальный диагноз состояния общества, они оказывают серьезную помощь партии в ее перестроечной деятельности.

Именно эти издания поставлены под удар введением лимитов. Лимитирование даже в пределах тиражей этого 1988 года означает насильственную приостановку роста аудитории этих изданий-лидеров, которая за последние два года увеличилась от 30 до 400 процентов, и это желание не выполнено.

...Лимит стал преградой и для многолетних и новых подписчиков. На «Огонек» не смогли подписаться 73,1 процента желающих, на «Знамя» — 61,7 процента, на «Новый мир» — 55,2 процента, на «Дружбу народов» — 51 процент. Такое же положение и с некоторыми газетами и еженедельниками: «Литературную газету» смогли выписать только 48,8 процента тех, кто хотел бы это сделать, «Аргументы и факты» — 49 процентов и т. д.

С журналами «Молодая гвардия», «Наш современник» ситуация не столь кризисная. Спрос на них во много раз (от 5 до 20 раз) ниже, чем, скажем, на «Новый мир» или «Дружбу народов». В Москве в 1988 году расходится, например, всего 1,5—2 процента тиража «Молодой гвардии» (тогда как у «Нового мира» — 23 процента).»

Впечатляющим был парад замминистров на телевидении в передаче «Разговор по существу» — «Что с подпиской?»: «Кто хочет — делает, кто не хочет — ищет причину». Не заботясь о собственном престиже, не боясь «потерять лицо», замминистры друг перед другом выискивали причины, почему ну просто никак невозможно сделать то, что сделать необходимо. И это государственное мышление? И это государственные мужи? Подведя итог этому печальному «Разговору по существу», обозреватель Центрального телевидения В. П. Бекетов вынужден был сказать: приходишь в министерство с ясным решением вопроса, а уходишь с больной головой...

И все же самым радостным итогом было то, что сами читатели, сам народ наш не позволил на этот раз не посчитаться с его мнением. Попытка ввести лимит на гласность вызвала буквально всенародное возмущение.

В предвоенные времена всех нас учили, что Родина без каждого из нас обойдется, но мы не обойдемся без Родины. Грянула война, и мы убедились: не только мы не обойдемся без Родины, но и Родина не может обойтись без каждого из нас, кроме нас самих защитить ее некому.

Так будем знать, что без каждого из нас и перестройка не обойдется, перестройку надо защищать, и мы способны ее защитить.

Годы безвременья, застоя, в народе прозванные «застольными годами», трагедии предшествующих времен приучили многих к пассивности, к печальному убеждению, что от меня одного, да и от нас всех ничего не зависит. Пора понять: сегодня — зависит! Ты — гражданин, и даже один в поле ты — воин. А все мы — могучая рать. Нам неоткуда ждать чуда, и благодать сама собой на нас не снизойдет. И если кто-то захочет вернуть нас в прежнее безгласное состояние, мы должны помнить, что мы — граждане, и от нашего слова, от наших дел зависит и будущее страны, и ее настоящее: касается ли это крестьянского семейного подряда, выборов депутатов, воздуха над городами, которым мы дышим, чистоты рек и озер, сохранности земель, лесов, все это — наше общее, мы на этой земле не временные жители, не наемные работники, мы — хозяева. Нам предстоят еще нелегкие годы, слишком тяжелое наследие досталось, но мы выдержим, выстоим, если будем ясно сознавать, что сегодня решается историческая судьба нашей Родины, а решать ее призваны мы сами.

Время мужать. Давайте научимся извлекать уроки, в трудностях быть стойкими, в борьбе — решительными, в победе — великодушными, друг к другу — доброжелательными, не поддаваясь тем злым силам, которые пытаются нас разъединить. Ибо при всех различиях, при том, что каждый из нас — и народ, и человек — по-своему неповторимы, все мы — единый народ великой могучей страны, которой суждено историческое будущее.

История и призвала нас, будем достойны этого призвания.

Советуем прочитать

Л. И. Абалкин. Перестройка: пути и проблемы. Интервью директора Института экономики АН СССР академика Л. И. Абалкина с советскими и иностранными журналистами (сентябрь 1986 г.— май 1988 г.). М., Экономика, 1988.

Книга Леонида Ивановича Абалкина отражает возросший интерес общественности к экономическим проблемам.

Почему именно интервью? Потому, что разговор по телевидению, радио, на страницах журналов и газет о радикальной перестройке хозяйственной системы — это беседа со всей страной, одна из наиболее оперативных и действенных форм общения.

На 60 вопросов о ключевых проблемах современной экономической стратегии ответил Л. И. Абалкин в своей книге. «Экономика на переломе: задачи экономической науки», «Кардинальная хозяйственная реформа: концепция и проблемы», «Решительные перемены: трудности первых шагов», «Что интересует Запад?» — так называются основные разделы.

Ф. Шипунов. Оглянись на дом свой. М., Современник, 1988.

«...Эту книгу Вам предстоит не читать, а избаливать, сопротивляясь, как болезни, правде, которую нам бы хотелось видеть утешительной...» — пишет Валентин Распутин, представляя работу Ф. Шипунова.

Здесь приводятся факты, которые говорят сами за себя. Сейчас биосферу заражают 40 миллионов тонн в год токсических веществ. Со стоком с суши в Мировой океан ежегодно поступает 13—14 миллионов тонн нефти, а из атмосферы выпадает до 90 миллионов тонн нефтепродуктов — бензина и других летучих продуктов неполного сгорания, поэтому физическое и духовное состояние людей катастрофически ухудшается. Драматическая статистика заставляет задуматься.

«Давайте будем оберегать наследие наших дедов и отцов: каждый экологически безопасный источник энергии и технологии,— пишет автор,— скажем, ветряной двигатель, водяную мельницу, кузницу, сушильный склад, погреб, навес или колодец, ибо они есть драгоценное приобретение, вековой экономический опыт».

Албертс Бэлс. Люди в лодках. Голос зовущего. Клетка. Бессонница. Романы. Перевели с латышского Ю. Абызов, С. Цебаковский. Рига, Лиесма, 1987.

Действие романа «Люди в лодках» относится к середине прошлого столетия, но незримые нити связывают героев с древностью и современностью, когда потомок куршей, солдат немецкой армии, возвращается домой из плена. Курши исчезают с лица земли, смыкаются пески над их селениями, над старой церковью, умирает их язык, но память о гордом и бесстрашном народе остается, ибо человек — это «исток, он звезда. И нет иной вселенной, кроме человека».

Не исчезнет память и о героях романа «Голос зовущего», латышских революционерах-боевиках, переживших в 1905—1907 годах аресты и пытки, поражения и отступления, но всегда твердо веривших в победу.

В основе детективного сюжета романа «Клетка» — судьба архитектора Эдмунда Берза: его ограбили и заперли в клетку, символ насилия над личностью, оставшуюся на дне заброшенного оврага еще со времен фашистской оккупации. И Берз отчаянно борется за жизнь против этого насилия.

В видениях, посещающих ночью героя романа «Бессонница», нашего современника, он переносится то в средневековую Ригу, то во времена второй мировой войны... Мучительны споры с полуночными призраками, когда пытаешься решить для себя главные вопросы существования: «Кто мы? Зачем явились на свет? Как жить дальше?»

Ю. М. Каган. И. В. Цветаев. Жизнь. Деятельность. Личность. М., Наука, 1987.

Долгожданная книга рождалась учеными и литераторами трех поколений. В 1900-е годы — соратниками, друзьями, учениками И. В. Цветаева; в 1920—1930-е годы — старшей дочерью, Мариной Цветаевой; в 1969—1970-е — младшей, Анастасией. Письма, дневники, мемуарная литература, литографированные лекции, стенограммы заседаний, редкие журнальные публикации — все это легло в ее основу.

И. В. Цветаев, собирая деньги у дарителей-жертвователей, основал первый в России Музей истории архитектуры и скульптуры древности, средних веков и эпохи Возрождения. Создание музея, просветительское служение делу было главным в его жизни.

Каким был Цветаев, как складывалась его жизнь, какой была его личная судьба, какие житейские обстоятельства, какие люди были для него интересны и близки, о его сторонниках и противниках и о том, чем было для него искусство, рассказывает книга. Здесь изданные и неизданные воспоминания современников, документы, письма. Эти свидетельства помогают понять незаурядную личность ученого-подвижника, выдающегося деятеля отечественной культуры Ивана Владимировича Цветаева, основателя Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

Взгляд: Критика. Полемика. Публицистика. Составители А. Н. Латынина, С. С. Лесневский. М., Советский писатель. 1988.

Книга задумана как полемический ежегодник, созвучный нынешнему духу демократии и гласности. Это попытка вынести суждения о произведениях современных писателей, дать им объективные оценки. Замысел нового издания — противостоять благодушию, комплиментарности, чинопочитанию в критике.

На что в сегодняшней литературе обращен «Взгляд»? Он останавливается на наиболее заметных публикациях, которые вызвали общественный резонанс и всеобщий читательский интерес. На произведениях, вокруг которых развернулись шумные и острые дискуссии. Это «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Печальный детектив» Виктора Астафьева, «Плаха» Чингиза Айтматова, «Новое назначение» Александра Бека, «Один и одна» Владимира Маканина, «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина, «Ювенильное море» Андрея Платонова, «Мы» Евгения Замятина, «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова...

Лев Аннинский, Игорь Золотусский, Алла Латынина, Наталья Иванова, Вадим Кожинов, Тамара Балашова, Вячеслав Иванов, Мариэтта Чудакова, Дмитрий Лихачев, Владимир Лакшин... представляют разные творческие позиции.

Естественно, что читатели согласятся не со всеми суждениями. В оценках и размышлениях авторов есть и субъективные пристрастия, и полемические заострения.

Анатолий Стреляный. Стрельба влет. Дружба народов, № 6, 1988.

В сентябре 1983 года Виталия Владимировича Гребенникова избрали первым секретарем Ижского райкома партии. Район молодому секретарю достался престижный, богатый. «Нечерноземной Швейцарией» называли его. Но проблем в этой «Швейцарии» оказалось предостаточно.

Материальные интересы различных людей, начиная с работников обкома и райкома партии, прокуратуры и кончая продавцами, сплелись в такой тугой клубок, что распутать его практически невозможно. Коррупция, бражничество, разврат, взяточничество, воровство из государственного кармана, круговая порука накрепко повязали многих.

Гребенников бросается в бой, из которого трудно выйти невредимым,— слишком неравны силы. Обвинив в непартийном поведении, Гребенникова насильственно и незаконно отстранили от руководства районом, но все же ему удалось сделать первый шаг: люди начали обретать веру в справедливость. Настоящий партийный руководитель, он опирался на народ, советовался с ним, вселял надежду, не скрывал горькой правды, искал поддержки, дал почувствовать людям, что такое «хотя бы один день свободы», заставил их задуматься. Об этом документальная повесть Анатолия Стреляного. И хотя кончается она на печальной ноте, веришь, что за такими людьми, как Гребенников,— будущее.

Юлиан Семенов. Ненаписанные романы. Нева, № 6, 1988.

В коротких сюжетах-новеллах из «Ненаписанных романов» нет вымысла: они построены на встречах с живыми свидетелями и участниками событий 30-х — 40-х годов.

Отец писателя был помощником Николая Ивановича Бухарина, и ему доводилось встречаться со Сталиным. Как-то он взял с собою сына. «Я никогда не забуду руки Сталина,— вспоминает Семенов,— маленькие, стариковские уже, ласковые...» Сколько же людей погубили эти «ласковые» руки!

«Преемник Виктора Абакумова министр Игнатьев передал Сталину секретный отчет: людей, находящихся в лагерях,— двенадцать миллионов; членов семей врагов народа — двадцать миллионов; крестьян, лишенных паспортов,—сорок два миллиона...»

Накануне «большого террора», десятого апреля 1935 года, по предложению Сталина был проведен закон, по которому уголовной ответственности и наказаниям — вплоть до расстрела — подлежали все граждане Советского Союза с двенадцатилетнего возраста.

Один из создателей советской контрразведки, Артузов, когда его арестовали, вскрыл вены и написал кровью на простыне, вывесив ее, уже умирающий, в окно камеры: «Каждый большевик, верный идеям ленинской революции, обязан — в случае первой же возможности — обличить Иосифа Сталина, предателя, изменившего делу коммунизма, сатрапа, мечтающего о государстве единоличной тиранической диктатуры!»

Леонид Завальнюк. Дальняя дорога. Стихи. Хабаровское книжное издательство, 1987.

В книге Л. Завальнюка собраны стихи разных лет. Любители поэзии найдут здесь немало произведений, знакомых по предыдущим сборникам, журнальным публикациям, песням. Однако новый сборник с особенной полнотой представляет творчество этого своеобразного автора, у которого пронзительная горечь сочетается с юмором, точность повседневных наблюдений—с причудливым вымыслом, отражение трудного житейского опыта — со сказочностью, лиризм — с сюжетностью.

Мир Л. Завальнюка беспокоен, полон неожиданностей, противоречий. Разговорная речь внезапно становится старомодно возвышенной и на фоне безотрадного быта вдруг совершается чудо, но на каких бы контрастах ни строились стихи Л. Завальнюка, одно в них остается неизменным: человечность, дар сострадания.

В новых стихах слышны неожиданные ноты. Дарованию поэта кроме меланхолических фантазий, полных иронии и боли за все живое, близки надежда, радость, отвага, азарт публициста.

В. Л. Мальков. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренней политики и дипломатии. Историко-документальные очерки. М., Мысль, 1988.

Деятельность Рузвельта на посту президента США отвела ему «особое место в национальной истории рядом с Вашингтоном, Джефферсоном и Линкольном». Помнит о нем и наш народ.

В октябре 1944 года Рузвельт заявил, что «решение о признании Советского Союза он относит к самым большим достижениям внешнеполитической деятельности возглавляемой им администрации». Развитию советско-американских отношений, взаимодействию двух держав в годы второй мировой войны посвящена значительная часть книги.

В. Мальков анализирует политику президента в стране и за ее рубежами. В 30-е годы Ф. Рузвельт призывает поддержать самое радикальное в истории американского государства социальное законодательство; он направляет в Берлин посла У. Додда, сыгравшего важную роль в формировании внешней политики США тех лет. Как известно, еще в декабре 1933 года У. Додд предлагал президенту «положить конец наглым действиям диктаторских режимов в Центральной Европе и проложить путь к подлинному сотрудничеству всех великих держав», путь, к которому и сегодня стремятся народы мира.

В № 10 за 1988 год на странице 240 допущена опечатка. В рецензии на книгу Л. В. Шапошниковой предпоследнюю строчку первого абзаца следует читать «жена Елена Ивановна и старший сын...»

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78 отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 923-75-82, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 02.09.88. Подписано к печати 29.09.88. А 05411. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Учетно-изд. л. 23,27. Тираж 516 000 экз. Заказ № 3053.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.